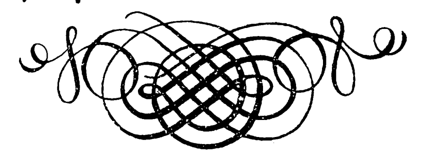
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Сочинения

Г. Р. ДЕРЖАВИН



Сочинения

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1985

84 Р1
Д 36

Составление,
биографический очерк и комментарии
И. И. Подольской

Иллюстрации и оформление
Е. Е. Мухановой и Л. И. Волчека

Д $\frac{4702010100-864}{080(02)-85}$ 864—85

ДЕРЖАВИН

В начале октября 1803 года Александр I позвал к себе шестидесятилетнего министра юстиции Гавриила Романовича Державина и раздраженно сказал ему: «Ты очень ревностно служишь». Через несколько дней был дан высочайший указ об отставке Державина. Жизнь словно с разбегу остановилась. Державин оказался не у дел.

Хотя в начале нового 1804 года Державин и писал своим друзьям Капнистам, будто «очень доволен, что сложил с себя иго должности», которое его угнетало, он чувствовал обиду, беспокойство и пустоту в душе.

Успокоение приходило к нему только на Званке, где проводил он каждое лето. Имение это, купленное им в 1797 году, находилось в ста семидесяти верстах от Петербурга, на высоком берегу Волхова, в окружении лугов и лесов. Здесь учил Державин грамоте и молитвам дворовых ребятишек, наблюдал за полевыми работами, выслушивал вполуха старосту, нехотя проверял счета, без устали восхищался удивительным званским эхом, разносившимся по окрестностям, и каждый день восседал во главе веселого и пышного обеденного стола, за которым собирались многочисленные родственники второй жены его, Дарьи Алексеевны, и гости, охотно посещавшие хлебосольный дом.

Уверяя себя и других в том, что он доволен своим уделом, Державин через несколько лет после выхода в отставку писал:

Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!

Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Званке?
Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой мне нужен — дней в останке.

«Евгению. Жизнь Званская»

Но не покой был нужен ему: его мучила потребность в деле, смолоду усвоенная привычка к нему. И дело неожиданно нашлось.

В 1805 году случай свел Державина с Евгением, в ту пору новгородским викарием. До пострижения в монахи звали его Евфимием Алексеевичем Болховитиновым. Евгений был человеком широких и разносторонних интересов. Он окончил духовную академию и слушал лекции в Московском университете. Особую склонность питал он к истории, библиографии и литературе. «Простое перечисление сочинений его, изданных и рукописных,— писал академик Я. К. Грот,— показывает, как обширны и разнообразны были его знания, как многочисленны были предметы, занимавшие деятельный ум его» [1].

Встреча Евгения с Державиным была одним из тех случаев, в которых мы склонны видеть перст судьбы, но на самом деле они помогают осуществиться тому, что должно было произойти; может быть, лишь ускоряют ход событий.

В ту пору Евгений трудился над составлением словаря русских писателей, светских и духовных. Собирая материалы для словаря и не имея сведений о Державине, Евгений решил написать Д. И. Хвостову, приятелю поэта: «Вам коротко знаком Г. Р. Державин. А у меня нет ни малейших черт его жизни. Буква же *Д* близко. Напишите, сделайте милость, к нему и попросите его именем всех литераторов, почитающих его, чтобы вам сообщил записки: 1) которого года, месяца и числа он родился и где, а также нечто хотя о родителях его, 2) где воспитывался и чему учился, 3) хотя самое краткое начертание его службы, 4) с которого года начал писать и издавать сочинения свои и которое из них было самое первое. 5) Не сообщит ли каких о себе и анекдотов, до литературы касающихся?» [2].

Письму этому суждено было сыграть особую роль в биографии Державина — как прижизненной, так и посмертной. Вопросы, поставленные Евгением, упали, словно зерна, на почву, готовую принять их. И, как зерна, они дали всходы: знаменитые «Записки» и не менее известные, хотя и более загадочные, «Объяснения на сочинения Державина».

Просьба Евгения, переданная Д. И. Хвостовым Державину, заинтересовала его, и он живо на нее откликнулся. Получив письмо от Хвостова в середине мая, Державин поспешно отвечал ему: «Сейчас получил письмо вашего сиятельства от 15 текущего месяца. Усерднейше за оное благодарю. Из него я вижу, что преосвященный Евгений Новгородский требует моей биографии. Охотно желаю познакомиться с сим почтенным архипастырем. Буду к нему писать и попрошу его к себе. Через 30 верст, может быть, и удостоит посетить меня в моей хижине. Тогда переговорю с ним о сей материи лично; ибо не весьма ловко самому о себе класть на бумагу, а особливо некоторые анекдоты, в жизни моей случившиеся <...>, а вам вот что скажу:

---

[1] Грот Я. К. Переписка Евгения с Державиным. СПб., 1868, с. 65.

[2] Там же, с. 61

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных содом:
Природа, нýжда и враги.

Объяснение четырех сих строк составит историю моего стихотворства, причины оного и необходимость...» [1]

Однако «объяснение», написанное по просьбе Евгения, увлекло Державина далеко за пределы «четырех сих строк». Вместе с составлением этого объяснения для поэта открылась новая пора — пора подведения итогов. Работа над «Записками» и «Объяснениями» стала последним *делом* Державина; захватив его, она заняла его ум и душу. Воскрешая в памяти далекое и близкое прошлое, он словно жил заново; при этом мысль то сознательно, то неосознанно обрабатывала воспоминания, а потому под пером Державина порой возникал «беловой вариант» его жизни — тот вариант, который казался ему, умудренному опытом, достойнее и светлее. Впрочем, вымысла в этом не было; было несколько иное отношение к пережитому, несколько иная оценка его.

«Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа» [2],— так начал Державин автобиографию. Его феерическая судьба казалась удивительной и достойной восхищения ему самому. Тем более он желал сохранить все перипетии своей жизни для памяти потомков и отчасти в назидание им.

«Благородные родители» поэта были бедными дворянами. Убогих средств их не достало на то, чтобы нанять учителей сыновьям Гавриилу и Андрею. От «церковников», то есть дьячков или пономарей, научился Державин читать и писать. Из последующего учения вынес он изрядное знание немецкого языка и умение рисовать. То и другое позднее определило многое в характере его творчества: немецкий язык был в ту пору ключом к европейской образованности, а Державин, как и многие другие поэты, начал с переводов и подражаний; способности к рисованию сказались в необычайной пластике его поэтических образов.

В девятнадцать лет, не успев окончить Казанскую гимназию, Державин стал солдатом Преображенского полка. В темные зимние вечера он сочинял в казарме письма для своих однополчан, «ел хлеб с водой и марал стихи при слабом свете полушечной сальной свечки».

Горячий, простодушный и честный, он медленно продвигался по службе и был долгое время обойден чинами и наградами.

Начало солдатской службы Державина совпало с дворцовым переворотом 1762 года, в котором его Преображенский полк сыграл немалую роль. Впрочем, сам Державин не сразу понял, что произошло.

[1] Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти томах, т. 6, СПб., 1871, с. 169—170.

[2] Державин родился не в Казани, а в одной из деревень Казанской губернии — Кармачи или Сокура.

На престол вступила Екатерина II. В своих «Записках» Державин пишет об этом событии со всей непосредственностью современника и очевидца.

В течение многих лет Державин не только высоко ставил императрицу, но связывал с нею самые разнообразные надежды — как личные, так и государственные. Она казалась ему, убежденному стороннику просвещенного абсолютизма, образцом ума и обаяния, доброты и справедливости. Он готов был писать о ней, служить ей и защищать ее.

Поэтому, когда вспыхнула Крестьянская война под предводительством Пугачева, Державин со свойственной ему пылкостью бросился отстаивать интересы своей государыни. Конечно, при этом лелеял он и свои собственные честолюбивые замыслы, полагая, что продвижение по службе во многом зависит теперь от него самого. Получив назначение в Следственную комиссию, служил он в Оренбурге рьяно и ревностно. Но ему не суждено было сделать военную карьеру. Только долгие, подчас унизительные хлопоты принесли ему в 1777 году 300 душ в Белоруссии и чин коллежского советника. С военной службы он был уволен за неспособностью к ней.

В 1777 году началась его статская служба в должности экзекутора в Сенате. На этом поприще Державину повезло больше.

Впрочем, этим был он обязан своим стихам. Стихи он писал давно и временами предавался этому занятию страстно. В ранних стихах подражал он Ломоносову, которого называл позднее русским Пиндаром и «славой россов». Привлекала его и гражданственность поэзии Сумарокова, хотя самого Сумарокова не раз высмеивал он в эпиграммах.

Усваивая традицию и преодолевая ее, Державин шел к поэтическим открытиям дотоле неслыханного масштаба. Первым из русских поэтов он стал писать о человеке. Не о человеке вообще, а о личности, индивидууме, в том числе и о себе самом. Этот новый человек был сведен Державиным с горних одических высот на землю. У него были собственные привычки и пристрастия, чувства и мысли и даже неповторимые жесты. И человек этот жил не в условном мире, а в совершенно конкретном, осязаемо-конкретном. Называя вещи, предметы, Державин словно впервые, заново открывал их:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются...

«Приглашение к обеду»

Новыми красками заиграла у Державина и природа. Он увидел ее неисчерпаемость, с восторженным трепетом наблюдая ее изменчивость, постигая ее живую душу. Он стал живописцем в поэзии:

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;

В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.

«Видение Мурзы»

Еще в 1776 году Державин выпустил небольшую книжку стихов «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». Но и в ту пору и позднее книжка эта, да и другие стихи его, напечатанные в «Санкт-Петербургском вестнике», были известны лишь небольшому кружку друзей Державина. Сложился этот кружок во второй половине 70-х годов, а душой его были Н. А. Львов, архитектор, переводчик, художник, поэт и музыкант, В. В. Капнист, поэт и драматург, и И. И. Хемницер, баснописец и поэт. Входили в кружок композиторы Д. С. Бортнянский и Е. И. Фомин, художники В. Л. Боровиковский и Д. Г. Левицкий. Здесь формировались общественные и литературно-эстетические взгляды и вкусы, здесь обсуждались и получали первую оценку произведения участников кружка, здесь происходили горячие споры, с благодарностью принимались и яростно отвергались прошеные и непрошеные советы.

Слава российского поэта пришла к сорокалетнему Державину неожиданно. В 1783 году была опубликована его ода «Фелица», и Екатерина II обратила благосклонное внимание на ее автора. Судьба наконец улыбнулась Державину. Его карьера стремительно пошла в гору. Недавний солдат стал правителем Олонецкой (1784), затем Тамбовской (1785) губерний, кабинет-секретарем императрицы (1791), президентом коммерц-коллегии (1794), вторым министром при государственном казначействе (1800) и — при последнем взлете (уже в Александровскую эпоху) — министром юстиции (1802).

В отставке, на закате дней, Державин перебирал в памяти подробности своей жизни, и ему по-прежнему казалось, что государственное поприще было главным делом его, его предназначением. С ним и только с ним связывал он все остальное, в том числе и стихи.

Ему было приятно писать для Евгения. И биографию и объяснения к стихам он писал быстро; воспоминания легко ложились на бумагу: услужливая и крепкая еще память возвращала к жизни полузабытые лица, старые обиды, нечастые радости, трудные и запутанные дела, в которых он всегда старался разобраться по совести и справедливости, и мимолетные, но яркие впечатления, отразившиеся в его стихах или, как казалось Державину, заставившие его написать их.

Через месяц все было готово, и Евгений радостно сообщил Д. И. Хвостову: «Похвалюсь вам, что он (Державин.— *И. П.*) прислал мне самую обстоятельную свою биографию и пространные примечания на случаи и на все намеки своих од. Это драгоценное сокровище для русской литературы. Но теперь еще и на свет показать их нельзя. Ибо много живых витязей его намеков» [1].

[1] Грот Я. К. Переписка Евгения с Державиным, с. 71.

Составив «пространные примечания» для Евгения, Державин вскоре решил сопроводить объяснениями и собрание своих сочинений. В предисловии к изданию 1808 года поэт посулил публике показать в недалеком будущем «...случаи, для которых что писано и что к кому относится»[1]. Исполняя это обещание, он год спустя продиктовал своей племяннице Елизавете Николаевне Львовой подробнейшие «Объяснения» к своим стихам. «Объясняя», он рассказывал о своей жизни, но рассказывал пока только то, что было связано со стихами.

Между тем, завершив этот труд, он захотел поведать о себе больше, что-то объяснить себе самому, в чем-то оправдаться перед собою и потомками. Тогда он начал писать «Записки». О литературных делах своих говорил он здесь мало, разве что вспоминалось особенно важное: «Фелица», «Бог», «Буря». Главным в «Записках» была служба, поприще, взлеты и падения, обманутые надежды и долго, порой тщетно взыскуемые награды. Его «Записки» вдохновляла мысль о честно выполненном гражданском долге.

Как «Объяснения», так и «Записки» Державина не появлялись в печати уже более ста лет. Немудрено поэтому, что для читателей они давно утратили органическую связь с его поэзией. Попробуем восстановить эту связь, взглянув на поэзию Державина сквозь призму «Объяснений» и отчасти «Записок» — так, как сделал это он сам в конце жизни.

* * *

В письме к давнему приятелю своему П. А. Гасвицкому (29 июля 1807 г.) Державин заметил по поводу оды своей «Афинейскому витязю»: «Приметить надобно, что без ключа, или без особливого объяснения, аллегории ее в совершенном смысле многие не поймут и понимать не могут; ибо всякое слово тут относится к действиям, лицам и обстоятельствам того времени, как она писана, чего теперь и объяснять было бы неосторожно; а эта история уже после меня может объясниться из записок, мною оставленных, так как и о многих прочих моих сочинениях, которые хотя и читают теперь, но прямые мысли, может быть, некоторые только понимают»[2].

«Объяснения» и «Записки» — бесценный материал для истории литературы. Не только потому, что они раскрывают эпоху в ее частных проявлениях и воссоздают ее атмосферу. Они живой факт державинской биографии и возвращают стихи Державина к той почве, с которой они были неразрывно связаны, к впечатлениям бытия, вдохновлявшим и питавшим их на протяжении всей жизни поэта. Ибо деятельность, судьба и стихи Державина — единое целое, неделимое по своей сути.

Намеки, анекдоты, «случаи», когда они не были намеренно зашифрованы Державиным, читатель его времени легко угадывал. И, конечно, момент узнавания сообщал этим стихам ту особую

---

[1] Державин Г. Р. Сочинения. СПб., 1808, ч. I, с. III.

[2] Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти томах, т. 6, СПб., 1871, с. 184.

привлекательность, которой обладает разгадывание аллюзий для читателей определенного времени и определенного круга.

К концу XVIII — началу XIX века стихи Державина начали неуклонно отрываться от того, что в свое время было поводом для них. Прежде всех и острее всех это ощутил сам поэт. В 1815 году, когда А. Ф. Мерзляков, уже известный критик и профессор Московского университета, опубликовал разбор его оды «На взятие Варшавы», Державин почти сердито написал ему: «Так будьте, милостивый государь мой, на счет моих незаслуженных хвал поумереннее. Вы знаете, что время и место придают красóты вещам. С какой и когда точки зрения, кто на что будет глядеть: в одно и то же время одному будет что-либо приятно, а другому противно. Самая та же ода, которую вы столь превозносите теперь, в свое время была причиною многих мне неприятностей. <...> Вы мне скажете, что до этого вам нужды нет, но что вы только смотрите на красоты поэзии, будучи поражаемы ими по чувствам вашего сердца. Вы правы; но смею сказать: точно ли вы дали вес тем мыслям, коими я хотел что изобразить, ибо вам обстоятельства, для чего что писано, неизвестны. <...> ...в некоторых моих произведениях и поныне многие, что читают, того не понимают совершенно...» [1].

Диктуя «Объяснения» и работая над «Записками», Державин закреплял связь стихов с эпохой, своей биографией, с историческим моментом — со всем тем, что когда-то давало им жизнь, а вместе с тем было и его жизнью, или, как писал он Хвостову, «вело его на Геликон». Недаром князь П. А. Вяземский, человек проницательный и великий острослов, заметил, что стихи Державина, «точно как Горациевы, могут при случае заменить записки его века» [2].

Но в «Объяснениях» в отличие от серьезных и даже тяжеловесных «Записок» было нечто очень важное для Державина. Они стали прозаическим подкреплением к тому, что он называл «забавным слогом» своих стихов, развивали полуигровой метод, который с такой поразительной легкостью и беззаботностью соединял, скрещивал «горнее» и «дольнее», отвлеченное и сугубо личное, парящий дух и земные дела, эстетическое и внеэстетическое.

Стихи его разрушали классицизм изнутри, а «Объяснения» еще настойчивее, чем стихи, утверждали самоценное значение житейского факта, быта, конкретной индивидуальности, повседневной мелочи.

Он осознавал огромную дистанцию, разрыв между стихом и примечанием к нему, но именно в этом разрыве и был для Державина элемент игры, «забавы», вовлечения в эту забаву читателя, воображавшего, читая стихи, одно и находившего в «Объяснениях» совсем другое.

В своих «Объяснениях» он вел читателя от многозначного, философского, отвлеченного к конкретному и земному, показывая

[1] Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти томах, т. I. СПб., 1864, с. 651—652.

[2] Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 35.

их неразрывную взаимосвязь. В восьмой строфе стихотворения «Ключ» (1779) Державин писал:

Сгорая стихотворства страстью,
К тебе я прихожу, ручей:
Завидую пиита счастью,
Вкусившего воды твоей,
Парнасским лавром увенчанна.

Конечно же, читатель думал, что это написано о Поэте с большой буквы. Но Державин разъяснял читателю, что он имел в виду «Михайла Васильевича Хераскова, сочинителя «Россияды» [1]. Можно подумать, что, не будь Хераскова, образ Поэта вовсе не появился бы в стихотворении!

Державин так последовательно и настойчиво связывал свою поэзию с определенными лицами, с чувственными, осязательными проявлениями бытия, будто страшился, что «высокие парения» его стихов когда-нибудь оторвут их от земли и навсегда унесут в эмпирей. Примечания вновь возвращали стихам связь с почвой, с давно забытыми или потускневшими от времени реалиями, а вместе с тем тот изначальный, конкретный смысл, который вкладывал в них поэт.

Между тем время, оторвав его стихи от всего злободневного, словно пересмотрело ценность двух планов этой поэзии — внешнего и внутреннего. Внешний, с конкретностью намеков и иносказаний, остался в тени. Зато внутренний предстал как громадное, доведенное едва ли не до космических пределов обобщение — многозначное, емкое и оттого кажущееся вневременным.

В общефилософские формулы о жизни и смерти, открытые задолго до него, Державин вложил конкретное содержание, проникнутое глубоким личным чувством, сильным и ярким индивидуальным переживанием.

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился;
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там.— Где там? — Не знаем.

За этой напряженной интонацией, сбоем ритма, за этими мучительными вопросами, остающимися без ответа, не только философия, но смятение и растерянность человеческого духа, тщетно ищущего имя тому, что много лет спустя Пушкин назовет «тайнами счастия и гроба». И именно это, а не общие рассуждения, поднимает оду Державина высоко над риторической поэзией его времени.

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает...

---

[1] Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице Е. Н. Львовой в 1809 году. СПб., 1834, ч. I, с. 24. Далее: Объяснения.

Эти строки оторвались от екатерининского века и принадлежат в равной мере всем эпохам — неисчерпаемостью мысли и образа, общечеловеческим содержанием, поразительной психологической точностью. Не «пугает», не «отталкивает», а именно «смущает». Державин нашел единственное, незаменимое слово, обладающее множеством смысловых оттенков. И каждая эпоха будет вкладывать в это слово, в эти строки свой смысл, пытаясь разгадать в этом «смущает» одну из вечных загадок бытия.

Такими вошли стихи Державина в XIX век, и совершенно понятно, что авторская трактовка их, предложенная в «Объяснениях» и отчасти в «Записках», не совпадала с более поздним читательским восприятием этих стихов. Не совпадала настолько, что ставила читателя в тупик. А между тем возможность сопоставить самостоятельную жизнь стихов в поколениях читателей с авторской трактовкой их уникальна. И в этом состоит особое значение державинских «Объяснений» для истории русской литературы.

Заботясь об адекватности восприятия своих стихов читателем, Державин раз и навсегда объяснил потомкам что к чему, и, как бы ни обрастала новыми смыслами его поэзия, ветер неуклонно возвращается на круги своя — к последней и непреложной воле поэта.

Оба плана стихов Державина — конкретный и отвлеченный — были связаны для него нерасторжимо, и «Объяснениями» он утверждал эту связь навеки: «Все примечатели и разбиратели моей поэзии, без особых замечаний, оставленных мною на случай смерти моей, будут судить невпопад»[1]. Здесь речь идет о конкретном плане; об отвлеченном Державин заботился мало. Человек здравого и практического ума, он был далек от мысли комментировать свои поэтические прозрения. Но для него было важно, очень важно, чтобы в стихах не смещались планы, чтобы сугубо конкретное, злободневное сохранило свою актуальность и не было принято потомками за поэтическую абстракцию. Поэтому он комментировал только то, что имело признаки времени и места.

В оде «На Счастие» (1789) Державин объяснил строки:

На пышных карточных престолах
Сидят мишурные цари —

«на счет тех из господ наместников, которые, обольстясь вверенною им монаршею властию, гордо говорили и поступали»[2]. Так он заодно свел и личные счеты с генерал-губернаторами Олонецким и Тамбовским — Тутолминым и Гудовичем.

К строке «Где стол был яств, там гроб стоит» («На смерть князя Мещерского») он написал примечание: «Перфильев был большой хлебосол и жил весьма роскошно»[3]. Конечно, сейчас это кажется наивным. И не только наивным. Много лет назад Б. М. Эйхенбаум высказал мнение, что «Объяснения» — это «беспощадное обращение с собственным творчеством»[4]. Но разве не

---

[1] Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти томах, т. I. СПб., 1864, с. 652.
[2] Объяснения. Ч. I, с. 22.
[3] Объяснения. Ч. I, с. 17.
[4] Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л., 1924, с. 7.

сохраняют примечания конкретный план стихов, разве не дают возможность увидеть происхождение многих державинских строк, почувствовать первый импульс к их созданию?

По мнению же самого Державина, эти примечания должны были сберечь для потомства то, что неумолимо «топит в пропасти забвенья» «река времен», то, что поэт так простодушно и обреченно пытался связать навеки с живым течением жизни и человеческой памятью.

И в «Объяснениях», и в «Записках», и даже в самых отвлеченных стихах Державина есть строки, главы, строфы, связывающие его стихи и прозу с эпохой не только стилем, внутренним строем и образом мыслей автора, но чем-то еще более конкретным, возможно, тем, что мы называем приметами времени. В прозе это более наглядно. В стихах — словно случайно:

Но ах! как некая ты сфера
Иль легкий шар Монгольфиера,
Блистая в воздухе, летишь...

«На Счастие»

Но если такая связь с временем кажется нам понятной, то отчего же смущает нас примечание о хлебосольстве Перфильева и, напротив, поражает смелостью в той же оде слишком уж личностная строфа:

Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость;
Не столько тешит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен;
Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум.

Ведь, по сути дела, и примечание и эта строфа — явления одного порядка. Но в стихах мы воспринимаем это как особенность поэтического метода Державина, одну из черт его «забавного слога», а в «Объяснениях» это кажется проявлением старческого педантизма.

«Как страшна его ода «На смерть Мещерского»,— писал Белинский,— кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают на голове встревоженною ратью, когда в ушах ваших раздается вещий бой глагола времен, когда в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в руках» [1]. Но что же мы читаем по этому поводу в «Объяснениях»? «Действительный тайный советник князь Александр Иванович Мещерский, главный судья таможенной канцелярии» [2]. И только-то? Величие стихотворения, его тайна словно убиты этим примечанием; понятно, что страх после него бесследно рассеивается и «остов смерти с косою в руках» уже не кажется столь ужасным.

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13 томах, т. I. М., 1953, с. 50.

[2] Объяснения. Ч. I, с. 17.

Державин первый ввел в серьезную, гордую своим пафосом одическую русскую поэзию детски-простодушное игровое начало. В его обращении к Фелице и ее мурзам легко различима поза enfant terrible («ужасного ребенка») — роль, которую берет на себя Державин, охотно и успешно играя ее.

Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки резвимся порой;
То в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся;
То в книгах рыться я люблю,
Мой ум и сердце просвещаю,
Полкана и Бову читаю;
Над библией, зевая, сплю,—

сообщает он императрице. На фоне куртуазного XVIII столетия это неслыханная поэтическая вольность, вольность, которая была бы дерзостью, если бы не поза enfant terrible и соответствующий ей простодушно-наивный тон.

Жизнь со всеми ее оттенками вторгается в стихи Державина, где в самом деле только один шаг от великого до смешного. Говоря об истине и пороке, о добре и зле, задавая «вечные» вопросы и по мере своего разумения разрешая их, он посмеивается над вельможами и царями, над собою, над счастьем и удачей и даже немного над самою смертью, которую он, быть может, впервые в истории русской поэзии показывает как составную часть жизни, ни на минуту не останавливающей и даже не замедляющей свой ход. «Кто бы посмел, кроме его,— восхищался Гоголь,— выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть, как гостью, ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным делом, каково кручение усов?» [1]. Так ведь и в смерти у Державина есть что-то домашнее: она у него *гостья*. И в ожидании ее столь же мало торжественного, как и в кручении усов — жесте сугубо повседневном.

Все проявления бытия для Державина равновелики в смысле их неповторимости. Но подчас кажется, что о мимолетном, малозначительном, незаметном он сожалеет и тоскует больше, чем о вечном и нетленном. В его стихах — пронзительная ностальгия по мелочам жизни, милым подробностям домашнего уюта, по всему тому, что составляет непременную, надежную и устойчивую основу человеческого существования, что индивидуально-неповторимо в каждой жизни и что «жерло вечности» поглотит значительно скорее, чем дела поэтов, героев и царей. Он понимал тщету всего

[1] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VIII. М.—Л., 1952, с. 374.

земного и, не таясь, горевал об этом. «А я Пиит — и не умру»,— убежденно произнес Державин, действительно веря в свое поэтическое бессмертие. Но этого бессмертия ему мало. Ему надо, чтобы бессмертным стало все, чем он жил, что его окружало, с чем он соприкасался, все, кто был ему дорог, все, с кем сталкивала его судьба.

И к небогатому богатый
За нýждою ко мне идет,
За храм — мои просты палаты,
За золото — солому чтет...

«Меркурию»

По поводу последней строки Державин писал: «В доме Автора одна комната была убрана соломенными обоями первой жены его» [1]. Делая это примечание, он словно ведет за собою в бессмертие и свою Пleниру, первую, так горячо и нежно любимую жену, и скромный плод ее творчества.

Или:

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами.

«Водопад»

Державину мало, что в двух лаконичных строках он создал великолепный образ. Он хочет непременно указать, что это не водопад вообще, а именно тот, который видел он сам: «Сим описывается точное изображение водопада в Олонецкой губернии, Кивачем называемого...» [2].

Недаром воспоминания Державина носят характерное название: «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина». Жизнь, в которой для поэта не было ничего бесконечно малого, недостойного внимания, наблюдения, пристального разглядывания. Причины такого скрупулезного интереса к своей и чужой — любой человеческой жизни — верно определил Г. А. Гуковский: «Культ конкретного, живого человека, а не отвлеченного, подвергнутого «разумному» анализу человека классицизма, культ человека, имеющего право на жизнь, свободу, мысль, творчество и счастье независимо от того, монарх он или подданный, дворянин или крепостной,— привел к изображению простых, обыкновенных людей, полнокровных и целостных, с их духом, душой и плотью, с их бытом, окружением, нравами, привычками, со всеми материальными мелочами их жизни» [3].

Будь иначе, из-под пера Державина никогда не вышло бы «Евгению. Жизнь Званская», где он благодарит создателя за каждый прожитый день, за то, «что вновь чудес, красот позор / Открыл мне в жизни толь блаженной». А «чудеса» для него — это и «тетеревей глухое токованье», и «коней ржанье», и «усатый староста», который «Дает отчет казне, и хлебу, и вещам, / С улыбкой часто плу-

---

[1] Объяснения. Ч. I, с. 24—25.
[2] Там же, ч. II, с. 36.
[3] Гуковский Г. А. Г. Р. Державин.—В кн.: Державин Г. Стихотворения. «Сов. писатель», 1947, с. XXVIII.

товатой»,— все, чем живет и дышит человек, в том числе и послеполуденная трапеза:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны!

«Евгению. Жизнь Званская»

Почти все исследователи Державина писали о живописной выразительности этой строфы, о редком богатстве ее цветовой гаммы. Конечно, Державин достиг в «Жизни Званской» небывалого художественного мастерства, но разве само это мастерство не плод отношения к жизни, особого психологического склада поэта, одержимого идеей закрепить в слове, звуке, краске каждое мгновение бытия во всей его индивидуальной неповторимости, чтобы сохранить, сберечь, не дать бесследно исчезнуть.

Не в этом ли разгадка державинских «Объяснений»? Ведь и здесь, как и в стихах, поэт хочет сохранить для потомков мгновение, случай, забытое или полузабытое имя и даже награды, должности и чины, которыми он был пожалован. «Ничто не должно кануть в Лету» — эти слова могли бы стать девизом и к «Объяснениям» и к «Запискам».

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах,—

говорит Державин в стихотворении «Лебедь» (1804), а в «Объяснениях» замечает: «Средь звезд или орденов совсем не сгнию так, как другие» [1].

В стихах он шел от конкретного к неслыханно высоким образам; в «Объяснениях» же возвращал эти образы с неба на землю, словно желая показать равновеликость, равнозначность для жизни мгновенного повода к созданию стиха и его последующего художественного воплощения.

Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.

В двояком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.

Кто знает, быть может, и в самом деле посетила его мысль об орденах, когда он писал эти строки? Но как же далеко ушел от нее Державин! Скорее же эта мысль возникла у него, когда он диктовал «Объяснения». Впрочем, оттолкнуться Державин мог дей-

---

[1] Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти томах, т. 3. СПб., 1866, с. 711.

ствительно от чего угодно, ибо причудливость художественно-поэтических ассоциаций неисчерпаема и находится далеко за пределами рационально-логического мышления. Ведь известно, например, что Суриков задумал написать «Боярыню Морозову», увидев ворону на белом снегу. Только Державин, будь он на месте Сурикова, непременно увековечил бы эту ворону в «Объяснениях».

«Объяснения» и «Записки» можно лишь с известной долей условности отнести к жанру художественной прозы. Диктуя первые и быстро набрасывая вторые, Державин менее всего заботился о литературности слога. Ему нужно было успеть рассказать о себе и своей эпохе. Этой торопливостью объясняются шероховатость стиля, незавершенность фраз, иногда отсутствие согласования — все то, чем грешат «Объяснения», а еще больше «Записки». Проза Державина необработанна и тяжеловесна. Но в самой необработанности ее, первозданности и стихийности состоит ее особая ценность, обаяние «человеческого документа». Это не «сочинение» в буквальном смысле этого слова, а скорее порыв души, запечатленный на бумаге. Отсюда характерная для «Записок» сбивчивость, повторения уже сказанного, эмоциональная взволнованность, вызванная особенно важными или дорогими для поэта воспоминаниями.

«Объяснения» и «Записки» раскрывают новую грань в нашем представлении о Державине, его личности, отношении к жизни, творчеству, себе самому. А вместе с тем показывают путь, который предначертал Державин для русской литературы, научив ее видеть важность, значительность, даже величие в повседневном, сиюминутном, преходящем.

В 1913 году, отделенная от Державина почти столетием, Марина Цветаева писала: «Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым: Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох!.. Не презирайте «внешнего»! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного!» [1].

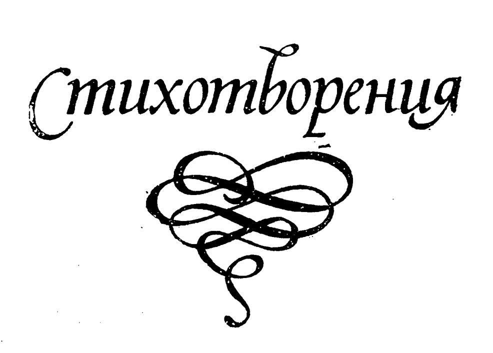
Это, конечно, не «поэтическая традиция», но та духовная преемственность, которую на протяжении веков свято хранит в себе и несет дальше русская литература.

И. И. Подольская

---

[1] Цветаева М. И. Из двух книг. М., 1913, с. 3.

Сочинения



Разлука

Неизбежным уже роком
Расстаешься ты со мной,
Во стенании жестоком
Разлучаюсь я с тобой;
Обливаяся слезами,
Не могу тоски снести,
Не могу сказать словами,
Сердцем говорю: прости.
Белы руки, милы очи
Я целую у тебя.
Нету силы, нету мочи
Мне уехать от тебя.
Лобызая, обмирая,
Тебе душу отдаю
Иль из уст твоих желаю
Душу взять с собой твою.

Первая пол. 70-х гг.

Сонет

Красавица, не трать ты времени напрасно
И знай, что без любви все в свете суеты:
Жалей и не теряй прелестной красоты,
Чтоб после не тужить, что век прошел несчастно.

Любися в младости, доколе сердце страстно;
Как сей век пролетит, ты будешь уж не ты.
Плети себе венки, покуда есть цветы,
Гуляй в садах весной, а осенью ненастно.

Взгляни когда, взгляни на розовый цветок,
Тогда, когда уже завял ее листок:
И красота твоя подобно ей завянет.

Не трать своих ты дней, доколь ты не стара,
И знай, что на тебя никто тогда не взглянет,
Когда, как розы сей, пройдет твоя пора.

Первая пол. 70-х гг.

Пикники

Оставя беспокойство в граде
И всё, смущает что умы,
В простой приятельской прохладе
Свое проводим время мы.

Невинны красоты природы
По холмам, рощам, островам,
Кустарники, луга и воды —
Приятная забава нам.

Мы положили меж друзьями
Законы равенства хранить;
Богатством, властью и чинами
Себя отнюдь не возносить.

Но если весел кто, забавен,
Любезнее других тот нам;
А если скромен, благонравен,
Мы чтим того не по чинам.

Нас не касаются раздоры,
Обидам места не даем;
Но, души всех, сердца и взоры
Совокупя, веселье пьем.

У нас не стыдно и герою
Повиноваться красотам;
Всегда одной дышать войною
Прилично варварам, не нам.

У нас лишь для того собранье,
Чтоб в жизни сладость почерпать;
Любви и дружества желанье —
Между собой цветы срывать.

Кто ищет общества, согласья,
Приди повеселись у нас;
И то для человека счастье,
Когда один приятен час.

1776

Кружка

Краса пирующих друзей,
Забав и радостей подружка,
Предстань пред нас, предстань скорей,
Большая сребряная кружка!

Давно уж нам в тебя пора
Пивца налить
И пить.
Ура! ура! ура!

Ты дщерь великого ковша,
Которым предки наши пили;
Веселье их была душа,
В пирах они счастливо жили.
И нам, как им, давно пора
Счастливым быть
И пить.
Ура! ура! ура!

Бывало, старики в вине
Свое всё потопляли горе,
Дралися храбро на войне:
Ведь пьяным по колени море!
Забыть и нам всю грусть пора,
Отважным быть
И пить.
Ура! ура! ура!

Бывало, дольше длился век,
Когда диет не наблюдали;
Был здрав и счастлив человек,
Как только пили да гуляли.
Давно гулять и нам пора,
Здоровым быть
И пить.
Ура! ура! ура!

Бывало, пляска, резвость, смех,
В хмелю друг друга обнимают;
Теперь наместо сих утех
Жеманством, лаской угощают.
Жеманство нам прогнать пора,
Но просто жить
И пить.
Ура! ура! ура!

В садах, бывало, средь прохлад
И жены с нами куликают,

А ныне клуб да маскарад
И жен уж с нами разлучают.
Французить нам престать пора,
Но Русь любить
И пить.
Ура! ура! ура!

Бывало — друга своего,
Теперь карманы посещают;
Где вист, да банк, да макао,
На деньги дружбу там меняют.
На карты нам плевать пора,
А скромно жить
И пить.
Ура! ура! ура!

О сладкий дружества союз,
С гренками пивом пенна кружка!
Где ты наш услаждаешь вкус,
Мила там, весела пирушка.
Пребудь ты к нам всегда добра:
Мы станем жить
И пить.
Ура! ура! ура!

1777

Правило жить

Утешь поклоном горделивца,
Уйми пощечиной сварливца,
Засаль подмазкой скрып ворот,
Заткни собаке хлебом рот,—
Я бьюся об заклад,
Что все четыре замолчат.

Ок. 1777

Невесте

Хотел бы похвалить, но чем начать, не знаю.
Как роза ты нежна, как ангел хороша,
Приятна как любовь, любезна как душа;
Ты лучше всех похвал; тебя я обожаю.

Нарядом мнят придать красавице приятство.
Но льзя ль алмазами милей быть дурноте?
Прелестнее ты всех в невинной простоте:
Теряет на тебе сияние богатство.

Лилеи на холмах груди твоей блистают,
Зефиры кроткие во нрав тебе даны,
Долинки на щеках — улыбки зарь, весны;
На розах уст твоих — сóты благоухают.

Как по челу власы ты рассыпаешь черны,
Румяная заря глядит из темных туч;
И понт как голубый пронзает звездный луч,
Так сердца глубину провидит взгляд твой скромный.

Но я ль, описывать красы твои дерзая,
Все прелести твои изобразить хочу?
Чем больше я прельщен, тем больше я молчу:
Собор в тебе утех, блаженство вижу рая!

Как счастлив смертный, кто с тобой проводит время!
Счастливее того, кто нравится тебе.
В благополучии кого сравню себе,
Когда златых оков твоих несть буду бремя?

1778

Препятствие к свиданию с супругой

Что начать во утешенье
Без возлюбленной моей?
Сердце! бодрствуй в сокрушенье,
Я увижусь скоро с ней;
Мне любезная предстанет
В прежней нежности своей,
И внимать, как прежде, станет
Нежности она моей.
Сколько будет разговоров!
Сколько радостей прямых!
Сколько милых, сладких взоров,
Лучше и утех самих!

Укротися же, стихия,
Подстелися, путь, стопам;
Для жены моей младыя
Должно быть послушным вам.
Так, свирепыми волнами
Сколько с нею ни делюсь,
Им не век шуметь со льдами,—
С нею вечен мой союз.
Не страшился б я ввергаться
В волны яры для нея.
Но навеки с ней расстаться,—
Жизнь мне дорога моя.
Жизнь утехи и покою!
Возвратись опять ко мне;
Жить с толь милою женою
Рай во всякой стороне;
Там веселия сердечны,
Сладки, нежны чувствы там;
Там блаженствы бесконечны,
Лишь приличные богам.

1778

На рождение в Севере порфирородного отрока

С белыми Борей власами
И с седою бородой,
Потрясая небесами,
Облака сжимал рукой;
Сыпал инеи пушисты
И метели воздымал,
Налагая цепи льдисты,
Быстры воды оковал.
Вся природа содрогала
От лихого старика;
Землю в камень претворяла
Хладная его рука;
Убегали звери в норы,
Рыбы крылись в глубинах,
Петь не смели птичек хоры,
Пчелы прятались в дуплах;
Засыпали нимфы с скуки
Средь пещер и камышей,
Согревать сатиры руки
Собирались вкруг огней.
В это время столь холодно,
Как Борей был разъярен,
Отроча порфирородно
В царстве Северном рожден.
Родился,— и в ту минуту
Перестал реветь Борей;
Он дохнул,— и зиму люту
Удалил Зефир с полей;
Он воззрел,— и солнце красно
Обратилося к весне;
Он вскричал,— и лир согласно
Звук разнесся в сей стране;
Он простер лишь детски руки,—
Уж порфиру в руки брал;
Раздались громовы звуки,
И весь Север воссиял.
Я увидел в восхищеньи
Растворен судеб чертог;
И подумал в изумленьи:

«Знать, родился некий бог».
Гении к нему слетели
В светлом облаке с небес;
Каждый гений к колыбели
Дар рожденному принес:
Тот принес ему гром в руки
Для предбудущих побед;
Тот художества, науки,
Украшающие свет;
Тот обилие, богатство,
Тот сияние порфир;
Тот утехи и приятство,
Тот спокойствие и мир;
Тот принес ему телесну,
Тот душевну красоту;
Прозорливость тот небесну,
Разум, духа высоту.
Словом: все ему блаженства
И таланты подаря,
Все влияли совершенства,
Составляющи царя;
Но последний, добродетель
Зарождаючи в нем, рек:
«Будь страстей твоих владетель,
Будь на троне человек!»
Все крылами восплескали,
Каждый гений восклицал:
«Се божественный,— вещали,—
Дар младенцу он избрал!
Дар, всему полезный миру!
Дар, добротам всем венец!
Кто приемлет с ним порфиру,
Будет подданным отец!» —
«Будет,— и судьбы гласили,—
Он монархам образец!»
Лес и горы повторили:
«Утешением сердец!» —
Сим Россия восхищенна
Токи слезны пролила,
На колени преклоненна,
В руки отрока взяла;
Восприяв его, лобзает
В перси, очи и уста;

В нем геройство возрастает,
Возрастает красота.
Все его уж любят страстно,
Всех сердца уж он возжёг:
Возрастай, дитя прекрасно!
Возрастай, наш полубог!
Возрастай, уподобляясь
Ты родителям во всем;
С их ты матерью равняясь,
Соравняйся с божеством.

1779

К портрету Михайла Васильевича Ломоносова

Се Пиндар, Цицерон, Вергилий — слава россов,
Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.
В восторгах он своих где лишь черкнул пером,
От пламенных картин поныне слышен гром.

<1779>

Князю Кантемиру, сочинителю сатир

Старинный слог его достоинств не умалит.
Порок, не подходи! — Сей взор тебя ужалит.

<1779>

На гроб вельможе и герою

В сем мавзолее погребен
Пример сияния людского,
Пример ничтожества мирского —
Герой и тлен.

Между 1779 и 1791

На смерть князя Мещерского

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет
И дни мои, как злак, сечет.

Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник — снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глотает царства алчна смерть.

Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою,
На то, чтоб умереть, родимся.
Без жалости всё смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

Не мнит лишь смертный умирать
И быть себя он вечным чает;
Приходит смерть к нему, как тать,
И жизнь внезапу похищает.
Увы! где меньше страха нам,
Там может смерть постичь скорее;
Ее и громы не быстрее
Слетают к гордым вышинам.

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский! ты сокрылся?

Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился;
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? — Он там.—Где там? — Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»

Утехи, радость и любовь
Где купно с здравием блистали,
У всех там цепенеет кровь
И дух мятется от печали.
Где стол был яств, там гроб стоит;
Где пиршеств раздавались лики,
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит.

Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И точит лезвие косы.

Смерть, трепет естества и страх!
Мы гордость, с бедностью совместна;
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра — где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хао́са в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век.

Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость;
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен;

Желанием честей размучен,
Зовет, я слышу, славы шум.

Но так и мужество пройдет
И вместе к славе с ним стремленье;
Богатств стяжание минет,
И в сердце всех страстей волненье
Прейдет, прейдет в чреду свою.
Подите счастьи прочь возможны,
Вы все пременны здесь и ложны:
Я в двéрях вечности стою.

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно:
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.

1779

Ключ

Седящ, увенчан осокóю,
В тени развесистых древес,
На урну облегшись рукою,
Являющий лице небес
Прекрасный вижу я источник.

Источник шумный и прозрачный,
Текущий с горной высоты,
Луга поящий, долы злачны,
Кропящий перлами цветы,
О, коль ты мне приятен зришься!

Ты чист — и восхищаешь взоры,
Ты быстр — и утешаешь слух;

Как серна скачуща на горы,
Так мой к тебе стремится дух,
Желаньем петь тебя горящий.

Когда в дуги твои сребристы
Глядится красная заря,
Какие пурпуры огнисты
И розы пламенны, горя,
С паденьем вод твоих катятся!

Гора в день стадом покровенну
Себя в тебе, любуясь, зрит;
В твоих водах изображенну
Дуброву ветерок струит,
Волнует жатву золотую.

Багряным брег твой становится,
Как солнце катится с небес;
Лучом кристалл твой загорится,
В дали начнет синеться лес,
Туманов море разольется.

О! коль ночною темнотою
Приятен вид твой при луне,
Как бледны холмы над тобою
И рощи дремлют в тишине,
А ты один, шумя, сверкаешь!

Сгорая стихотворства страстью,
К тебе я прихожу, ручей:
Завидую пиита счастью,
Вкусившего воды твоей,
Парнасским лавром увенчанна.

Напой меня, напой тобою,
Да воспою подобно я,
И с чистою твоей струею
Сравнится в песнях мысль моя,
А лирный глас с твоим стремленьем.

Да честь твоя пройдет все грады,
Как эхо с гор сквозь лес дремуч:

Творца бессмертной «Россиады»,
Священный Гребеневский ключ,
Поил водой ты стихотворства.

1779

К первому соседу

Кого роскошными пирами
На влажных Невских островах,
Между тенистыми древами,
На мураве и на цветах,
В шатрах персидских, златошвенных
Из глин китайских драгоценных,
Из венских чистых хрусталей,
Кого толь славно угощаешь
И для кого ты расточаешь
Сокровищи казны твоей?

Гремит музы́ка, слышны хоры
Вкруг лакомых твоих столов;
Сластей и ананасов горы,

И множество других плодов
Прельщают чувствы и питают;
Младые девы угощают,
Подносят вина чередой,
И алиатико с шампанским,
И пиво русское с британским,
И мозель с зельцерской водой.

В вертепе мраморном, прохладном,
В котором льется водоскат,
На ложе роз благоуханном,
Средь лени, неги и отрад,
Любовью распаленный страстной,
С младой, веселою, прекрасной
И нежной нимфой ты сидишь;
Она поет, ты страстью таешь,
То с ней в весельи утопаешь,
То, утомлен весельем, спишь.

Ты спишь,— и сон тебе мечтает,
Что ввек благополучен ты,
Что само небо рассыпает
Блаженства вкруг тебя цветы,
Что парка дней твоих не косит,
Что откуп вновь тебе приносит
Сибирски горы серебра
И дождь златый к тебе лиется.
Блажен, кто поутру проснется
Так счастливым, как был вчера!

Блажен, кто может веселиться
Беспрерывно в жизни сей!
Но редкому пловцу случится
Безбедно плавать средь морей:
Там бурны дышут непогоды,
Горам подобны гонят воды
И с пеною песок мутят.
Петрополь сосны осеняли,—
Но вихрем пораженны пали,
Теперь корнями вверх лежат.

Непостоянство доля смертных,
В пременах вкуса счастье их;

Среди утех своих несметных
Желаем мы утех иных.
Придут, придут часы те скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанут грации трепать;
И, может быть, с тобой в разлуке
Твоя уж Пенелопа в скуке
Ковер не будет распускать.

Не будет, может быть, лелеять
Судьба уж более тебя
И ветр благоприятный веять
В твой парус: береги себя!
Доколь текут часы златые
И не приспели скорби злые,
Пей, ешь и веселись, сосед!
На свете жить нам время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за коим нет.

1780

На модное остроумие 1780 года

Не мыслить ни о чем и презирать сомненье,
На все давать тотчас свободное решенье,
Не много разуметь, о многом говорить;
Быть дерзку, но уметь продерзостями льстить;
Красивой пустошью плодиться в разговорах
И другу и врагу являть приятство в взорах;
Блистать учтивостью, но, чтя, пренебрегать,
Смеяться дуракам и им же потакать,
Любить по прибыли, по случаю дружиться,
Душою подличать, а внешностью гордиться;
Казаться богачом, а жить на счет других;
С осанкой важничать в безделицах самих;
Для острого словца шутить и над законом;
Не уважать отцом, ни матерью, ни троном;
И словом, лишь умом в поверхности блистать,
В познаниях одни цветы только срывать;
Тот узел рассекать, что развязать не знаем,—
Вот остроумием что часто мы считаем!

Ок. 1776; 1780

На Новый год

Рассекши огненной стезею
Небесный синеватый свод,
Багряной облечен зарею,
Сошел на землю Новый год;
Сошел,— и гласы раздалися,
Мечты, надежды понеслися
Навстречу божеству сему.

Гряди, сын вечности прекрасный!
Гряди, часов и дней отец!
Зовет счастливый и несчастный:
Подай желаниям венец!
И са́мого среди блаженства
Желаем блага совершенства
И недовольны мы судьбой.

Еще вельможа возвышаться,
Еще сильнее хочет быть;
Богач богатством осыпаться
И горы злата накопить;
Герой бессмертной жаждет славы,
Корысти льстец, Лукулл забавы
И счастия игрок в игре.

Мое желание: предаться
Всевышнего во всем судьбе,
За счастьем в свете не гоняться,
Искать его в самом себе.
Меня здоровье, совесть права,
Достаток нужный, до́бра слава
Творят счастливее царей.

А если милой и приятной
Любим Пленирой я моей
И в светской жизни коловратной
Имею искренних друзей,
Живу с моим соседом в мире,
Умею петь, играть на лире,—
То кто счастливее меня?

От должностей в часы свободны
Пою моих я радость дней;
Пою творцу хвалы духовны
И добрых я пою царей.
Приятней гласы становятся,
И слезы нежности катятся,
Как россов матерь я пою.

Петры, и Генрихи, и Титы
В народных век живут сердцах;
Екатерины не забыты
Пребудут в тысящи веках.
Уже я вижу монументы,
Которых свергнуть элементы
И время не имеют сил.

Конец 1780 или начало 1781

На выздоровление Мецената

Кровавая луна блистала
Чрез покровенный ночью лес,
На море мрачном простирала
Столбом багровый свет с небес.
По огненным зыбям мелькая,
Я видел, в лодке некто плыл;
Тут ветер, страшно завывая,
Ударил в лес — и лес завыл;
Из бездн восстали пенны горы,
Брега пустили томный стон;
Сквозь бурные стихиев споры
Зияла тьма со всех сторон.

Ко брегу лодка приплывала,
Приближилась она ко мне;
Тень белая на ней мелькала,
Как образ мраморный, во тьме.
Утих шум рощ, умолк рев водный,
Лишь стонут в тишине часы;
Стремится пот по мне холодный
И дыбом восстают власы;
На брег из лодки вылезает
Старик угрюмый и седой
И, озираясь, подпирает
Себя ужасною косой.

Тогда по брегу раздалися
Надгробный плач и вой людей,
Отвсюду к старику сошлися
Бесчисленны толпы теней;
Прискорбны, бледны и безгласны,
Они, потупя взоры, шли;
Цепями фурии ужасны
К морскому брегу их вели.
Старик кровавыми когтями
К себе на лодку их влечет:
Богач и нищ, рабы с царями,
Все ра́вно оставляют свет.

Уж в лодке многие мечтались
Знакомые и мне черты,
Другие к оной приближались;
Меж их, Шувалов! был и ты.
И ты, друг муз, друг смертных роду,
Фарос младых вельмож и мой!
И ты Коцита зрел уж воду;
Коса смертельна над тобой,
Рассекши мрак густой, сверкала,
Подобно как перун с небес;
Эреба бездна уж зияла,
И ногу в вечность ты занес.

Болезнь и страх неизреченный
Тогда стеснили грудь мою:
«Кем добродетели почтенны,
Кто род, и сан, и жизнь свою
Старался тем единым славить,
Чтоб ближнему благотворить,
Потомству храм наук оставить,
Тому ли век толь краткий жить?
Ужель враг чести и пороку,
И злой и добрый человек,
Единому подвластны року?
О боже праведный!» — я рек.

Но вдруг средь облака златого,
На крыльях утренней зари,
Во зраке божества младого,
Которого рабы, цари,
Все люди равномерно любят,
Но все не равно берегут,
Которого лень, роскошь губят,
Крепят умеренность и труд,—
Здоровье — дар небес бесценный —
Слетело в твой чертог и, взяв
В златом сосуде сок врачебный,
Кропя тебя, рекло: «Будь здрав!»

Ты здрав! Хор муз, тебе любезных,
Драгую жизнь твою любя,
Наместо кипарисов слезных
Венчают лаврами тебя.

Прияв одна трубу златую,
Другая строя лирный глас,
Та арфу, та свирель простую,
Воспели,— и воспел Парнас:
«Живи, наукам благодетель!
Твоя жизнь ввек цвести должна;
Не умирает добродетель,
Бессмертна музами она».

Бессмертны музами Периклы,
И Меценаты ввек живут.
Подобно память, слава, титлы
Твои, Шувалов, не умрут.
Великий Петр к нам ввел науки,
А дщерь его ввела к нам вкус;
Ты, к знаньям простирая руки,
У ней предстателем был муз;
Досель гремит нам в Илиаде
О Несторах, Улиссах гром,—
Равнó бессмертен в Петриаде
Ты Ломоносовым пером.

1781

Фелица

Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает:
Она мой дух и ум пленяет,
Подай, найти ее совет.

Подай, Фелица! наставленье:
Как пышно и правдиво жить,
Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть?
Меня твой голос возбуждает,
Меня твой сын препровождает;
Но им последовать я слаб.
Мятясь житейской суетою,
Сегодня властвую собою,
А завтра прихотям я раб.

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь;
Подобно в карты не играешь,
Как я, от утра до утра.

Не слишком любишь маскарады,
А в клуб не ступишь и ногой;
Храня обычаи, обряды,
Не донкишотствуешь собой;
Коня парнасска не седлаешь,
К духа́м в собранье не въезжаешь,
Не ходишь с трона на Восток,—
Но кротости ходя стезею,
Благотворящею душою
Полезных дней проводишь ток.

А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью;
Преобращая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан.

Или в пиру я пребогатом,
Где праздник для меня дают,
Где блещет стол сребром и златом,
Где тысячи различных блюд:
Там славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят;
Шампанским вафли запиваю
И всё на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат.

Или средь рощицы прекрасной
В беседке, где фонтан шумит,
При звоне арфы сладкогласной,
Где ветерок едва дышит,
Где всё мне роскошь представляет,
К утехам мысли уловляет,
Томит и оживляет кровь,
На бархатном диване лежа,
Младой девицы чувства нежа,
Вливаю в сердце ей любовь.

Или великолепным цугом
В карете англинской, златой,
С собакой, шутом, или другом,
Или с красавицей какой
Я под качелями гуляю;
В шинки пить меду заезжаю;
Или, как то наскучит мне,
По склонности моей к премене,
Имея шапку набекрене,
Лечу на резвом бегуне.

Или музыкой и певцами,
Органом и волынкой вдруг,
Или кулачными бойцами
И пляской веселю мой дух;
Или, о всех делах заботу
Оставя, езжу на охоту
И забавляюсь лаем псов;
Или над Невскими брегами
Я тешусь по ночам рогами
И греблей удалых гребцов.

Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки ре́звимся порой;
То в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся;
То в книгах рыться я люблю,
Мой ум и сердце просвещаю,
Полкана и Бову читаю;
За библией, зевая, сплю.

Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож.
Кто сколько мудростью ни знатен,
Но всякий человек есть ложь.
Не ходим света мы путями,
Бежим разврата за мечтами.
Между лентяем и брюзгой,
Между тщеславья и пороком
Нашел кто разве ненароком
Путь добродетели прямой.

Нашел,— но льзя ль не заблуждаться
Нам, слабым смертным, в сем пути,
Где сам рассудок спотыкаться
И должен вслед страстям идти;
Где нам ученые невежды,
Как мгла у путников, тмят вежды?
Везде соблазн и лесть живет;
Пашей всех роскошь угнетает.
Где ж добродетель обитает?
Где роза без шипов растет?

Тебе единой лишь пристойно,
Царевна! свет из тьмы творить;
Деля Хаос на сферы стройно,
Союзом целость их крепить;
Из разногласия — согласье
И из страстей свирепых счастье
Ты можешь только созидать.
Так кормщик, через понт плывущий,
Ловя под парус ветр ревущий,
Умеет судном управлять.

Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачествы сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьем правишь,
Как волк овец, людей не давишь,
Ты знаешь прямо цену их.
Царей они подвластны воле,—
Но богу правосудну боле,
Живущему в законах их.

Ты здраво о заслугах мыслишь,
Достойным воздаешь ты честь;
Пророком ты того не числишь,
Кто только рифмы может плесть,
А что сия ума забава —
Калифов добрых честь и слава.
Снисходишь ты на лирный лад:
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.

Слух и́дет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда;
Любезна и в делах и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;
Что ты в напастях равнодушна,
А в славе так великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорят неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.

Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и въявь и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самым крокодилам,
Твоих всех милостей зоилам,
Всегда склоняешься простить.

Стремятся слез приятных реки
Из глубины души моей.
О! коль счастливы человеки
Там до́лжны быть судьбой своей,
Где ангел кроткий, ангел мирной,
Сокрытый в светлости порфирной,
С небес ниспослан скиптр носить!
Там можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.

Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы въявь им не хохочут
И сажей не марают рож.

Ты ведаешь, Фелица! правы
И человеков, и царей;
Когда ты просвещаешь нравы,
Ты не дурачишь так людей;
В твои от дел отдохновеньи
Ты пишешь в сказках поученьи
И Хлору в азбуке твердишь:
«Не делай ничего худого,
И самого сатира злого
Лжецом презренным сотворишь».

Стыдишься слыть ты тем великой,
Чтоб страшной, нелюбимой быть;
Медведице прилично дикой
Животных рвать и кровь их пить.
Без крайнего в горячке бедства
Тому ланцетов нужны ль средства,
Без них кто обойтися мог?
И славно ль быть тому тираном,
Великим в зверстве Тамерланом,
Кто благостью велик, как бог?

Фелицы слава — слава бога,
Который брани усмирил;
Который сира и убога
Покрыл, одел и накормил;
Который оком лучезарным
Шутам, трусáм, неблагодарным
И праведным свой свет дарит;
Равно всех смертных просвещает,
Больных покоит, исцеляет,
Добро лишь для добра творит.

Который даровал свободу
В чужие области скакать,
Позволил своему народу
Сребра и золота искать;
Который воду разрешает
И лес рубить не запрещает;
Велит и ткать, и прясть, и шить;
Развязывая ум и руки,
Велит любить торги, науки
И счастье дома находить.

Которого закон, десница
Дают и милости и суд.—
Вещай, премудрая Фелица!
Где отличéн от честных плут?
Где старость пó миру не бродит?
Заслуга хлеб себе находит?
Где месть не гонит никого?
Где совесть с правдой обитают?
Где добродетели сияют? —
У трона разве твоего!

Но где твой трон сияет в мире?
Где, ветвь небесная, цветешь?
В Багдаде? Смирне? Кашемире? —
Послушай, где ты ни живешь:
Хвалы мои тебе приметя,
Не мни, чтоб шапки иль бешметя
За них я от тебя желал.
Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.

Прошу великого пророка,
Да праха ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезренья наслаждусь!
Небесные прошу я силы,
Да их простря сафирны крылы,
Невидимо тебя хранят
От всех болезней, зол и скуки;
Да дел твоих в потомстве звуки,
Как в небе звезды, возблестят.

1782

Благодарность Фелице

Предшественница дня златого,
Весення утрення заря,
Когда из понта голубого
Ведет к нам звездного царя,
Румяный взор свой осклабляет
На чела гор, на лоно вод,
Багряным златом покрывает
Поля, леса и неба свод.

Крылаты кони по эфиру
Летят и рассекают мрак,
Любезное светило миру
Пресветлый свой возносит зрак,
Бегут толпами тени черны:
Какое зрелище очам!
Там блещет брег в реке зеленый,
Там светят перлы по лугам.

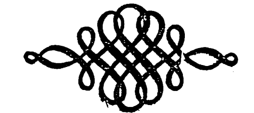
Там степи, как моря, струятся,
Седым волнуясь ковылем;
Там тучи журавлей стадятся,
Валторн с высот пуская гром;
Там небо всюду лучезарно
Янтарным пламенем блестит,—
Мое так сердце благодарно
К тебе усердием горит.

К тебе усердием, Фелица,
О кроткий ангел во плоти!
Которой разум и десница
Нам кажут к счастию пути.
Когда тебе в нелицемерном
Угодна слоге простота,
Внемли.— Но в чувствии безмерном
Мои безмолвствуют уста.

Когда поверх струистой влаги
Благоприятный дунет ветр,
Попутны вострепещут флаги
И ляжет между водных недр
За кораблем сребро грядою,—
Тогда испустят глас пловцы
И с восхищенною душою
Вселенной полетят в концы.

Когда небесный возгорится
В пиите огнь, он будет петь;
Когда от бремя дел случится
И мне свободный час иметь,—
Я праздности оставлю узы,
Игры, беседы, суеты;
Тогда ко мне приидут музы,
И лирой возгласишься ты.

1783



Решемыслу

Веселонравная, младая,
Нелицемерная, простая,
Подруга Флаккова и дщерь
Природой данного мне смысла!
Приди ко мне, приди теперь,
О Муза! славить Решемысла.

Приди, иль в облаке спустися,
Или хоть в санках прикатися
На легких, резвых, шестерней,
Оленях белых, златорогих,
Как ездят барыни зимой
В странах сибирских, хладом строгих.

Приди, и на своей свиреле
Не оного пой мужа, древле
Служившего царице той,
Которая в здоровье малом
Блистала славой и красой
Под соболиным одеялом.

Но пой, ты пой здесь Решемысла,
Великого вельможу смысла,
Наперсника царицы сей,
Которая сама трудится
Для блага области своей
И спать в полудни не ложится;

Которая законы пишет,
Любовию к народу дышит,
Пленит соседей без оков,
Военны отвращая звуки;
Дарит и счастье и покров
И не сидит поджавши руки.

Сея царицы всепочтенной,
Великой, дивной, несравненной,
Сотрудников достойно чтить;
Достойно честью и хвалами
Ее вельмож превозносить
И осыпать их вкруг цветами.

Ты, Муза! с самых древних ве́ков
Великих, сильных человеков
Всегда умела поласкать;
Ты можешь в былях, небылицах
И в баснях правду представлять,—
Представь мне Решемысла в лицах.

Скажи, скажи о сем герое:
Каков в войне, каков в покое,
Каков умом, каков душой,
Каков и всякими делами? —
Скажи, и ничего не скрой:
Не хочешь прозой, так стихами.

Бывали прежде дни такие,
Что люди самые честные
Страшилися близ трона быть,
Любимцев царских убегали
И не могли тех змей любить,
Которые их кровь сосали.

А он, хоть выше всех главою,
Как лавр цветет над муравою,
Но всюду всем бросает тень:
Одним он мил, другим любезен;
Едва прохаживал ли день,
Кому бы ни был он полезен.

Иной ползет, как черепаха,
Другому мил топор да плаха,—
А он парит как бы орел
И всё с высот далече видит;
Он в сердце злобы не имел
И даже мухи не обидит.

Он сердцем царский трон объемлет,
Душой народным нуждам внемлет
И правду между их хранит;
Отечеству он верно служит,
Монаршу волю свято чтит,
А о себе никак не тужит.

Не ищет почестей лукавством,
Мздоимным не прельщен богатством,
Не жаждет тщетно сан носить;
Но тщится тем себя лишь славить,
Что любит он добро творить
И может счастие доставить.

Закону божию послушен,
Чувствителен, великодушен,
Не горд, не подл и не труслив,
К себе строжае, чем к другому,
К поступкам хитрым не ревнив,
Идет лишь по пути прямому.

Не празден, не ленив, а точен;
В делах и скор, и беспорочен,
И не кубарит кубарей;
Но столько же велик и дома,
В деревне, хижине своей,
Как был когда метатель грома.

Глубок, и быстр, и тих, и сме́тлив,
При всей он важности приветлив,
При всей он скромности шутлив;
В миру он кажется роскошен;
Но в самой роскоши ретив,
И никогда он не оплошен.

Хотя бы возлежал на розах,
Но в бурях, зноях и морозах
Готов он с лона неги встать;
Готов среди своей забавы
Внимать, судить, повелевать
И молнией лететь в храм славы.

Друг честности и друг Минервы,
Восшед на степень к трону первый,
И без подпор собою тверд;
Ходить умеет по паркету
И, устремяся славе вслед,
Готовит мир и громы свету.

Без битв, без браней побеждает,
Искусство уловлять он знает;
Своих, чужих сердца пленит.
Я слышу плеск ему сугубый:
Он вольность пленникам дарит,
Героям шьет коты́ да шубы.

Но, Муза! вижу, ты лукава;
Ты хочешь быть пред светом права,
Ты Решемысловым лицом
Вельможей должность представляешь:
Конечно, ты своим пером
Хвалить достоинства лишь знаешь.

1783

Бог

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем — бог!

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий,—
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает,—
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.

Создавый всё единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!

Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,—
Так звезды в безднах под тобой.

Светил возжженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры —
Перед тобой — как нощь пред днем.

Как капля в море опущенна,
Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров,— и то,
Когда дерзну сравнить с тобою,
Лишь будет точкою одною:
А я перед тобой — ничто.

Ничто! — Но ты во мне сияешь
Величеством твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;

Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно есть и ты!

Ты есть! — Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

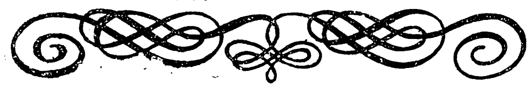
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие твое.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,

Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

1780—1784



Видение Мурзы

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.
Сон томною своей рукою
Мечты различны рассыпал,
Кропя забвения росою,
Моих домашних усыплял.
Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Бельт в брегах своих сверкал;
Природа, в тишину глубоку
И в крепком погруженна сне,
Мертва казалась слуху, оку
На высоте и в глубине;
Лишь веяли одни зефиры,
Прохладу чувствам принося.
Я не́ спал — и, со звоном лиры
Мой тихий голос согласяя,
«Блажен,— воспел я,— кто доволен
В сем свете жребием своим,
Обилен, здрав, покоен, волен
И счастлив лишь собой самим;
Кто сердце чисто, совесть праву
И твердый нрав хранит в свой век
И всю свою в том ставит славу,
Что он лишь добрый человек;

Что карлой он и великаном
И дивом света не рожден
И что не создан истуканом
И оных чтить не принужден;
Что все сего блаженствы мира
Находит он в семье своей;
Что нежная его Пленира
И верных несколько друзей
С ним могут в час уединенный
Делить и скуку и труды! —
Блажен и тот, кому царевны
Какой бы ни было орды
Из теремов своих янтарных
И сребро-розовых светлиц,
Как будто из улусов дальных,
Украдкой от придворных лиц,
За россказни, за растабары,
За вирши, иль за что-нибудь,
Исподтишка драгие дары
И в досканцах червонцы шлют;
Блажен!» — Но с речью сей незапно
Мое всё зданье потряслось,
Раздвиглись стены, и стократно
Ярчее молний пролилось
Сиянье вкруг меня небесно;
Сокрылась, побледнев, луна.
Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена,—
Сошла — и жрицей очутилась
Или богиней предо мной.
Одежда белая струилась
На ней серебряной волной;
Градская на главе корона,
Сиял при персях пояс злат;
Из черно-огненна виссона,
Подобный радуге, наряд
С плеча десного полосою
Висел на левую бедру;
Простертой на алтарь рукою
На жертвенном она жару
Сжигая маки благовонны
Служила вышню божеству.
Орел полунощный, огромный,

Сопутник молний торжеству,
Геройской провозвестник славы,
Сидя пред ней на груде книг,
Священны блюл ее уставы;
Потухший гром в когтях своих
И лавр с оливными ветвями
Держал, как будто бы уснув.
Сафиро-светлыми очами,
Как в гневе иль в жару, блеснув,
Богиня на меня воззрела.
Пребудет образ ввек во мне,
Она который впечатлела!
«Мурза! — она вещала мне,—
Ты быть себя счастливым чаешь,
Когда по дням и по ночам
На лире ты своей играешь
И песни лишь поешь царям.
Вострепещи, Мурза несчастный!
И страшны истины внемли,
Которым стихотворцы страстны
Едва ли верят на земли;
Одно к тебе лишь доброхотство
Мне их открыть велит.— Когда
Поэзия не сумасбродство,
Но вышний дар богов,— тогда
Сей дар богов лишь к чести
И к поученью их путей
Быть должен обращен, не к лести
И тленной похвале людей.
Владыки света люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы
Яд лести их вредит не реже,—
А где поэты не льстецы?
И ты сирен поющих грому
В вред добродетели не строй;
Благотворителю прямому
В хвале нет нужды никакой.
Хранящий муж честные нравы,
Творяй свой долг, свои дела,
Царю приносит больше славы,
Чем всех пиитов похвала.
Оставь нектаром наполненну
Опасну чашу, где скрыт яд».—

«Кого я зрю столь дерзновенну
И чьи уста меня разят?
Кто ты? Богиня или жрица?» —
Мечту стоящу я спросил.
Она рекла мне: «Я Фелица!»
Рекла — и светлый облак скрыл
От глаз моих ненасыщенных
Божественны ее черты;
Курение мастик бесценных
Мой дом, и место то цветы
Покрыли, где она явилась.
Мой бог! мой ангел во плоти!..
Душа моя за ней стремилась,
Но я за ней не мог идти.
Подобно громом оглушенный,
Бесчувствен я, безгласен был.
Но, током слезным орошенный,
Пришел в себя и возгласил:
«Возможно ль, кроткая царевна!
И ты к Мурзе чтоб своему
Была сурова столь и гневна,
И стрелы к сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
К себе и ты не одобряла?
Довольно без тебя людей,
Довольно без тебя поэту
За кажду мысль, за каждый стих
Ответствовать лихому свету
И от сатир щититься злых!
Довольно золотых кумиров,
Без чувств мои что песни чли;
Довольно кадиев, факиров,
Которы в зависти сочли
Тебе их неприличной лестью;
Довольно нажил я врагов!
Иной отнес себе к бесчестью,
Что не дерут его усов;
Иному показалось больно,
Что он наседкой не сидит;
Иному — очень своевольно
С тобой Мурза твой говорит;
Иной вменял мне в преступленье,

Что я посланницей с небес
Тебя быть мыслил в восхищенье
И лил в восторге токи слез.
И словом: тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов,—
Но пусть им здесь докажет муза,
Что я не из числа льстецов;
Что сердца моего товаров
За деньги я не продаю
И что не из чужих анбаров
Тебе наряды я крою.
Но, венценосна добродетель!
Не лесть я пел и не мечты,
А то, чему весь мир свидетель,—
Твои дела суть красоты.
Я пел, пою и петь их буду
И в шутках правду возвещу;
Татарски песни из-под спуду,
Как луч, потомству сообщу;
Как солнце, как луну, поставлю
Твой образ будущим векам;
Превознесу тебя, прославлю;
Тобой бессмертен буду сам».

1783—1784

Желание Зимы

Его милости разжалованному
отставному сержанту,
дворянской думы копиисту,
архивариусу без архива, управителю без имения
и стихотворцу без вкуса
1787 года

На кабаке Борея
Эол ударил в нюни;
От вяхи той бледнея,
Бог хлада слякоть, слюни
Из глотки источил,
Всю землю замочил.

Узря ту Осень шутку
Их вправду драться нудит,
Подняв пред ними юбку,
Дожди, как реки, прудит,
Плеща им в рожи грязь,
Как дуракам смеясь.

В убранстве козырбацком,
Со ямщиком-нахалом,
На иноходце хватском,
Под белым покрывалом
Бореева кума
Катит в санях — Зима.

Кати, кума драгая,
В шубеночке атласной,
Чтоб Осень, баба злая,
На Астраханской Красной
Не шлендала кабак
И не кутила драк.

Кати к нам белолика,
Кати, Зима младая,
И, льстя седого трыка
И страсть к нему являя,
Эола усмири,
С Бореем помири.

Спеши, и нашу музу,
Кабацкую певицу,
Наполнь хмельного грузу,
Наладь ее скрыпицу,—
Строй пунш твоей рукой,
Захарьин! пей и пой.

Пой, только не стихеры,
И будь лишь в стойке дивен,
На разные манеры
Ори *ширень да вирень*,
Да *лист, братцы, трава*.
О пьяна голова!

1787

Властителям и судиям

Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! — Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,—
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, боже! боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Ок. 1780—1787

На смерть графини Румянцовой

Не беспрестанно дождь стремится
На класы с черных облаков,
И море не всегда струится
От пременяемых ветров;
Не круглый год во льду спят воды,
Не всякий день бурь слышен свист,
И с скучной не всегда природы
Падет на землю желтый лист.

Подобно и тебе крушиться
Не должно, <Дашкова>, всегда,
Готово ль солнце в бездну скрыться
Иль паки утру быть чреда;
Ты жизнь свою в тоске проводишь,
По англинским твоим коврам,
Уединясь, в смущеньи ходишь
И волю течь даешь слезам.

Престань! и равнодушным оком
Воззри на оный кипарис,
Который на брегу высоком
На Невские струи навис
И мрачной тени под покровом,
Во дремлющих своих ветвях,
Сокрыл недавно в гробе новом
Румянцовой почтенный прах.

Румянцовой! — Она блистала
Умом, породой, красотой

И в старости любовь снискала
У всех любезною душой;
Она со твердостью смежила
Супружний взор друзей, детей;
Монархам осьмерым служила,
Носила знаки их честей.

И зрела в торжестве и славе
И в лаврах сына своего;
Не изменялась в сердце, нраве
Ни для кого, ни для чего;
А доброе и злое купно
Собою испытала всё,
И как вертится всеминутно
Людской фортуны колесо.

Воззри на памятник сей вечной
Ты современницы твоей,
В отраду горести сердечной,
К спокойствию души своей,
Прочти: «Сия гробница скрыла
Затмившего мать лунный свет;
Смерть добродетели щадила,
Она жила почти сто лет».

Как солнце тускло ниспущает
Последние свои лучи,
По небу, по водам блистает
Румяною зарей в ночи,—
Так с тихим вздохом, взором ясным
Она оставила сей свет;
Но именем своим прекрасным
Еще, еще она живет.

И ты, коль победила страсти,
Которы трудно победить;
Когда не ищешь вышней власти
И первою в вельможах быть;
Когда не мстишь, и совесть права,
Не алчешь злата и сребра,
Какого же, коль телом здрава,
Еще желаешь ты добра?

Одно лишь в нас добро прямое,
А прочее всё в свете тлен;
Почиет чья душа в покое,
Поистине тот есть блажен.
Престань же ты умом крылатым
По треволнению летать;
С убогим грузом иль богатым
Всяк должен к вечности пристать.

Пожди,— и сын твой с страшна бою
Иль на щите, иль со щитом,
С победой, с славою, с женою,
С трофеями приедет в дом;
И если знатности и злата
Невестка в дар не принесет,—
Благими нравами богата,
Прекрасных вну́чат приведет.

Утешься — и в объятьи нежном
Облобызай своих ты чад;
В семействе мирном, безмятежном,
Фессальский насаждая сад,
Живи и распложай науки;
Живи и обессмерть себя,
Да громогласной лиры звуки
И музы воспоют тебя.

Седый собор Ареопага,
На истину смотря в очки,
На счет общественного блага
Нередко ей давал щелчки;
Но в век тот Аристиды жили,
Сносили ссылки, казни, смерть;
Когда судьбы благоволили,
Не должно ли и нам терпеть?

Терпи! — Самсон сотрет льву зубы,
А На́вин потемнит луну;
Румянцов молньи дхнет сугубы,
Екатерина — тишину;
Меня ж ничто вредить не может,
Я злобу твердостью сотру;
Врагов моих червь кости сгложет,—
А я Пиит — и не умру.

1788

Справки

Без справок запрещает
Закон дела решить;
Сенат за справки отрешает
И отдает судить.
Но как же поступать? —
Воровать?

1788

Осень во время осады Очакова

Спустил седой Эол Борея
С цепей чугунных из пещер;
Ужасные криле расширя,
Махнул по свету богатырь;
Погнал стадами воздух синий,
Сгустил туманы в облака,
Давнул, — и облака расселись,
Пустился дождь и восшумел.

Уже румяна Осень носит
Снопы златые на гумно,
И роскошь винограду просит
Рукою жадной на вино.
Уже стада толпятся птичьи,
Ковыль сребрится по степям;
Шумящи красно-желты листьи
Расстлались всюду по тропам.

В опушке заяц быстроногий,
Как колпик поседев, лежит;
Ловецки раздаются роги,
И выжлиц лай и гул гремит.
Запасшися крестьянин хлебом,
Ест добры щи и пиво пьет;

Обогащенный щедрым небом,
Блаженство дней своих поет.

Борей на Осень хмурит брови
И Зиму с севера зовет:
Идет седая чародейка,
Косматым машет рукавом;
И снег, и мраз, и иней сыплет
И воды претворяет в льды;
От хладного ее дыханья
Природы взор оцепенел.

Наместо радуг испещренных
Висит по небу мгла вокруг,
А на коврах полей зеленых
Лежит рассыпан белый пух.
Пустыни сетуют и долы,
Голодны волки воют в них;
Древа стоят и холмы голы,
И не пасется стад при них.

Ушел олень на тундры мшисты,
И в логовище лег медведь;
По селам нимфы голосисты
Престали в хороводах петь;
Дымятся серым дымом домы,
Поспешно едет путник в путь,
Небесный Марс оставил громы
И лег в туманы отдохнуть.

Российский только Марс, Потемкин,
Не ужасается зимы:
По развевающим знаменам
Полков, водимых им, орел
Над древним царством Митридата
Летает и темнит луну;
Под звучным крил его мельканьем
То черн, то бледн, то рдян Эвксин.

Огонь, в волнах неугасимый,
Очаковские стены жрет,
Пред ними росс непобедимый
И в мраз зелены лавры жнет;

Седые бури презирает,
На льды, на рвы, на гром летит,
В водах и в пламе помышляет:
Или умрет, иль победит.

Мужайся, твердый росс и верный,
Еще победой возблистать!
Ты не наемник — сын усердный;
Твоя Екатерина мать,
Потемкин — вождь, бог — покровитель;
Твоя геройска грудь — твой щит,
Честь — мзда твоя, вселенна — зритель,
Потомство плесками гремит.

Мужайтесь, росски Ахиллесы,
Богини северной сыны!
Хотя вы в Стикс не погружались,
Но вы бессмертны по делам.
На вас всех мысль, на вас всех взоры,
Дерзайте ваших вслед отцов!
И ты спеши скорей, Голицын!
Принесть в твой дом с оливой лавр.

Твоя супруга златовласа,
Пленира сердцем и лицом,
Давно желанного ждет гласа,
Когда ты к ней приедешь в дом;
Когда с горячностью обнимешь
Ты семерых твоих сынов,
На матерь нежны взоры вскинешь
И в радости не сыщешь слов.

Когда обильными речами
Потом восторг свой изъявишь,
Бесценными побед венцами
Твою супругу удивишь;
Геройские дела расскажешь
Ее ты дяди и отца,
И дух и ум его докажешь
И как к себе он влек сердца.

Спеши, супруг, к супруге верной,
Обрадуй ты, утешь ее;

Она задумчива, печальна,
В простой одежде, и, власы
Рассыпав по челу нестройно,
Сидит за столиком в софе;
И светло-голубые взоры
Ее всечасно слезы льют.

Она к тебе вседневно пишет:
Твердит то славу, то любовь,
То жалостью, то негой дышит,
То страх ее смущает кровь;
То дяде торжества желает,
То жаждет мужниной любви,
Мятется, борется, вещает:
«Коль долг велит, ты лавры рви!»

В чертоге вкруг ее безмолвном
Не смеют нимфы пошептать;
В восторге только музы томном
Осмелились сей стих брякать.—
Румяна Осень! — радость мира!
Умножь, умножь еще твой плод!
Приди, желанна весть! — и лира
Любовь и славу воспоет.

1788

Философы, пьяный и трезвый

Пьяный

Сосед! на свете все пустое:
Богатство, слава и чины;
А если за добро прямое
Мечты быть могут почтены,—
То здраво и покойно жить,
С друзьями время проводить,
Красот любить, любимым быть
И с ними сладко есть и пить.

Как пенится вино прекрасно!
Какой в нем запах, вкус и цвет!
Почто терять часы напрасно?
Нальем, любезный мой сосед!

Трезвый

Сосед! на свете не пустое
Богатство, слава и чины;
Блаженство сыщем в них прямое,
Когда мы будем лишь умны,
Привыкнем прямо честь любить,
Умеренно, в довольстве жить,
По самой ну́жде есть и пить,—
То можем все счастливы быть.

Пусть пенится вино прекрасно,
Пусть запах в нем хорош и цвет;
Не наливай ты мне напрасно:
Не пью, любезный мой сосед.

Пьяный

Гонялся я за звучной славой,
Встречал я смело ядры лбом;
Сей зверской упоен отравой,
Я был ужасным дураком.
Какая польза страшным быть,
Себя губить, других мертвить,
В убийстве время проводить?
Безумно на убой ходить.

Как пенится вино прекрасно!
Какой в нем запах, вкус и цвет!
Почто терять часы напрасно?
Нальем, любезный мой сосед!

Трезвый

Гоняться на войне за славой
И с ядрами встречаться лбом
Велит тому рассудок здравой,
Кто лишь рожден не дураком:
Царю, отечеству служить,
Чад, жен, родителей хранить,
Себя от плена боронить —
Священна должность храбрым быть!

Пусть пенится вино прекрасно,
Пусть запах в нем хорош и цвет;
Не наливай ты мне напрасно:
Не пью, любезный мой сосед.

Пьяный

Хотел я сделаться судьею,
Законы свято соблюдать,—
Увидел, что кривят душею,
Где должно сильных осуждать.
Какая польза так судить?
Одних щадить, других казнить
И совестью своей шутить?
Смешно в тенета мух ловить.

Как пенится вино прекрасно!
Какой в нем запах, вкус и цвет!
Почто терять часы напрасно?
Нальем, любезный мой сосед!

Трезвый

Когда судьба тебе судьею
В судах велела заседать,—
Вертеться ну́жды нет душею,
Когда не хочешь взяток брать.
Как можно так и сяк судить,
Законом правду тенетить
И подкупать себя пустить?
Судье злодеем страшно быть!

Пусть пенится вино прекрасно,
Пусть запах в нем хорош и цвет;
Не наливай ты мне напрасно:
Не пью, любезный мой сосед.

1789

На Счастие

Всегда прехвально, препочтенно,
Во всей вселенной обоженно
И вожделенное от всех,
О ты, великомощно Счастье!
Источник наших бед, утех,
Кому и в вёдро и в ненастье
Мавр, ло́парь, пастыри, цари,

Моляся в кущах и на троне,
В воскликновениях и стоне,
В сердцах их зиждут алтари!

Сын время, случая, судьбины
Иль недоведомой причины,
Бог сильный, резвый, добрый, злой!
На шаровидной колеснице,
Хрустальной, скользкой, роковой,
Вослед блистающей деннице
Чрез горы, степь, моря, леса
Вседневно ты по свету скачешь,
Волшебною ширинкой машешь
И производишь чудеса.

Куда хребет свой обращаешь,
Там в пепел грады претворяешь,
Приводишь в страх богатырей;
Султанов заключаешь в клетку,
На казнь выводишь королей;
Но если ты ж, хотя в издевку,
Осклабишь взор свой на кого,—
Раба творишь владыкой миру,
Наместо рубища порфиру
Ты возлагаешь на него.

В те дни людского просвещенья,
Как нет кикиморов явленья,
Как ты лишь всем чудотворишь:
Девиц и дам магнизируешь,
Из камней золото варишь,
В глаза патриотизма плюешь,
Катаешь кубарем весь мир;
Как резвости твоей примеров,
Полна земля вся кавалеров,
И целый свет стал бригадир.

В те дни, как всюду скороходом
Пред русским ты бежишь народом
И лавры рвешь ему зимой,
Стамбулу бороду ерошишь,

На Тавре едешь чехардой,
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы,
А Темзу в фижмы наряжаешь,
Хохол Варшаве раздуваешь,
Коптишь голландцам колбасы.

В те дни, как Вену ободряешь,
Парижу пукли разбиваешь,
Мадриту поднимаешь нос,
На Копенгаген иней сеешь,
Пучок подносишь Гданску роз,
Венецьи, Мальте не радеешь,
А Греции велишь зевать,
И Риму, ноги чтоб не пухли,
Святые оставляя туфли,
Царям претишь их целовать.

В те дни, как всё везде в разгулье:
Политика и правосудье,
Ум, совесть, и закон святой,
И логика пиры пируют,
На карты ставят век златой,
Судьбами смертных пунтируют,
Вселенну в трантелево гнут;
Как полюсы, меридианы,
Науки, музы, боги — пьяны,
Все скачут, пляшут и поют.

В те дни, как всюду ерихонцы
Не сеют, но лишь жнут червонцы,
Их денег куры не клюют;
Как вкус и нравы распестрились,
Весь мир стал полосатый шут;
Мартышки в воздухе явились,
По свету светят фонари,
Витийствуют уранги в школах;
На пышных карточных престолах
Сидят мишурные цари.

В те дни, как мудрость среди тронов
Одна не месит макаронов,

Не ходит в кузницу ковать;
А разве временем лишь скучным
Изволит муз к себе пускать
И перышком своим искусным,
Не ссоряся никак, ни с кем,
Для общей и своей забавы,
Комедьи пишет, чистит нравы
И припевает *хем, хем, хем.*

В те дни, ни с кем как не сравненна,
Она с тобою сопряженна,—
Нельзя ни в сказках рассказать,
Ни написать пером красиво,—
Как милость любит проливать,
Как царствует она правдиво,
Не жжет, не рубит без суда;
А разве кое-как вельможи,
И так и сяк, нахмуря рожи,
Тузят иного иногда.

В те дни, как мещет всюду взоры
Она вселенной на рессоры
И весит скипетры царей,
Следы орлов парящих видит
И пресмыкающихся змей;
Разя врагов, не ненавидит,
А только пресекает зло;
Без лат богатырям и в латах
Претит давить лимоны в лапах:
А хочет, чтобы все цвело.

В те дни, как скипетром любезным
Она перун к страна́м железным
И гром за тридевять земель
Несет на лунно государство,
И бомбы сыплет, будто хмель;
Свое же ублажая царство,
Покоит, греет и живит;
В мороз камины возжигает,
Дрова и сено запасает,
Бояр и чернь благотворит.

В те дни и времена чудесны
Твой взор и на меня всеместный
Простри, о над царями царь!
Простри и удостой усмешкой
Презренную тобою тварь;
И если я не создан пешкой,
Валяться не рожден в пыли,
Прошу тебя моим быть другом;
Песчинка может быть жемчу́гом,
Погладь меня и потрепли.

Бывало, ты меня к боярам
В любовь введешь: беру всё даром,
На вексель, в долг без платежа;
Судьи, дьяки и прокуроры,
В передней про себя брюзжа,
Умильные мне мещут взоры
И жаждут слова моего,—
А я всех мимо по паркету
Бегу, нос вздернув, к кабинету
И в грош не ставлю никого.

Бывало, под чужим нарядом
С красоткой чернобровой рядом
Иль с беленькой, сидя со мной,
Ты в шашки, то в картеж играешь;
Прекрасною твоей рукой
Туза червонного вскрываешь,
Сердечный твой тем кажешь взгляд;
Я к крале короля бросаю,
И ферзь к ладье я придвигаю,
Даю марьяж иль шах и мат.

Бывало, милые науки
И музы, простирая руки,
Позавтракать ко мне придут
И всё мое усядут ложе;
А я, свирель настроя тут,
С их каждой лирой то же, то же
Играю, что вчерась играл.
Согласна трель! взаимны тоны!
Восторг всех чувств! За вас короны
Тогда бы взять не пожелал.

А ныне пятьдесят мне било;
Полет свой счастье пременило,
Без лат я горе-богатырь;
Прекрасный пол меня лишь бесит,
Амур — без перьев — нетопырь,
Едва вспорхнет — и нос повесит.
Сокрылся и в игре мой клад;
Не страстны мной, как прежде, музы;
Бояра понадули пузы,
И я у всех стал виноват.

Услышь, услышь меня, о Счастье!
И солнце как сквозь бурь, ненастье,
Так на меня и ты взгляни;
Прошу, молю тебя умильно,
Мою ты участь премени;
Ведь всемогуще ты и сильно
Творить добро из самых зол;
От божеской твоей десницы
Гудок гудит на тон скрыпицы
И вьется локоном хохол.

Но ах! как некая ты сфера
Иль легкий шар Монгольфиера,
Блистая в воздухе, летишь;
Вселенна длани простирает,
Зовет тебя — ты не глядишь;
Но шар твой часто упадает
По прихоти одной твоей
На пни, на кочки, на колоды,
На грязь и на гнилые воды;
А редко, редко на людей.

Слети ко мне, мое драгое,
Серебряное, золотое,
Сокровище и божество!
Слети, причти к твоим любимцам!
Я храм тебе и торжество
Устрою, и везде по крыльцам
Твоим рассыплю я цветы;
Возжгу куреньи благовонны
И буду ездить на поклоны,
Где только обитаешь ты.

Жить буду в тереме богатом,
Возвышусь в чин, и знатным браком
Горацию в родню причтусь;
Пером моим славно-школярным
Рассудка выше вознесусь
И, став тебе неблагодарным,
«*Беатус!* брат мой, на волах
Собою сам поля орющий
Или стада свои пасущий!» —
Я буду восклицать в пирах.

Увы! еще ты не внимаешь,
О Счастие! моей мольбе,
Мои обеты презираешь;
Знать, неугоден я тебе.
Но на софах ли ты пуховых,
В тенях ли миртовых, лавровых
Иль в золотой живешь стране,
Внемли,— шепни твоим любимцам,
Вельможам, королям и принцам:
Спокойствие мое во мне!

1789

Праведный судия

Я милость воспою и суд
И возглашу хвалу я богу;
Законы, поученье, труд,
Премудрость, добродетель строгу
И непорочность возлюблю.

В моем я доме буду жить
В согласьи, в правде, в преподобьи;
Как чад, рабов моих любить,
И сердца моего в незлобьи
Одни пороки истреблю.

И мысленным очам моим
Не предложу я дел преступных;
Ничем не приобщуся к злым,
Возненавижу я распутных
И отвращуся от льстецов.

От своенравных уклонюсь,
Не прилеплюсь в совет коварных,
От порицаний устранюсь,
Наветов, наущений тайных,
И изгоню клеветников.

За стол с собою не пущу
Надменных, злых, неблагодарных;
Моей трапе́зой угощу
Правдивых, честных, благонравных,
К благим и добрым буду добр.

И где со мною ни сойдутся
Лжецы, мздоимцы, гордецы,—
Отвсюду мною изженутся
В дальнейшие земны концы,
Иль казнь повергнет их во гроб.

1789

Изображение Фелицы

Рафа́эль! живописец славный,
Творец искусством естества!
Рафа́эль чудный, бесприкладный,
Изобразитель божества!
Умел ты кистию свободной
Непостижимость написать,—
Умей моей богоподобной
Царевны образ начертать.

Изобрази ее мне точно
Осанку, возраст и черты,
Чтоб в них я видел и заочно
Ее и сердца красоты,
И духа чувствы возвышенны,
И разума ее дела:
Фелица, ангел воплощенный,
В твоей картине бы жила.

Небесно-голубые взоры
И по ланитам нежна тень
Сквозь мрак времен, стихиев споры
Блистали бы, как ясный день;
Как утренняя заря весення,
Так улыбалась бы она;
Как пальма, в рае насажденна,
Так возвышалась бы стройна.

Как пальма клонит благовонну
Вершину и лице свое,—
Так тиху, важну, благородну
Ты поступь напиши ее.
Коричными чело власами,
А перлом перси осени;
Премудрость и любовь устами,
Как розы дышут, изъясни.

Представь в лице ее геройство,
В очах величие души;
Премилосердо, нежно свойство
И снисхожденье напиши.

Не позабудь приятность в нраве
И кроткий глас ее речей;
Во всей изобрази ты славе
Владычицу души моей.

Одень в доспехи, в брони златы
И в мужество ее красы:
Чтоб шлем блистал на ней пернатый,
Зефиры веяли власы;
Чтоб конь под ней главой крутился
И бурно бразды опенял;
Чтоб Норд седый ей удивился
И обладать собой избрал.

Избрал — и, падши на колена,
Поднес бы скиптр ей и венец;
Она, мольбой его смягченна
И став владычицей сердец,
Бесстрашно б узы разрешила
Издревле скованных цепьми,
Свободой бы рабов пленила
И нарекла себе детьми.

Престол ее на Скандинавских,
Камчатских и Златых горах,
От стран Таймурских до Кубанских
Поставь на сорок двух столпах;
Как восемь бы зерцал стояли
Ее великие моря;
С полнеба звезды освещали,
Вокруг багряная заря.

Средь дивного сего чертога
И велелепной высоты
В величестве, в сияньи бога,
Ее изобрази мне ты;
Чтоб, сшед с престола, подавала
Скрыжаль заповеде́й святых;
Чтобы вселенна принимала
Глас божий, глас природы в них.

Чтоб дики люди отдаленны,
Покрыты шерстью, чешуей,
Пернатых перьем испещренны,

Одеты листьем и корой,
Сошедшися к ее престолу
И кротких вняв законов глас,
По желто-смуглым лицам долу
Струили токи слез из глаз.

Струили б слезы — и, блаженство
Своих проразумея дней,
Забыли бы свое равенство
И были все подвластны ей:
Финн в море, бледный, рыжевласый,
Не разбивал бы кораблей,
И узкоглазый гунн жал класы
Среди седых, сухих зыбей.

Припомни, чтоб она вещала
Бесчисленным ее ордам:
«Я счастья вашего искала,
И в вас его нашла я вам;
Став сами вы себе послушны,
Живите, славьтеся в мой век
И будьте столь багополучны,
Колико может человек.

Я вам даю свободу мыслить
И разуметь себя ценить,
Не в рабстве, а в подда́нстве числить
И в ноги мне челом не бить.
Даю вам право без препоны
Мне ваши нужды представлять,
Читать и знать мои законы
И в них ошибки замечать.

Даю вам право собираться
И в думах золото копить,
Ко мне послами отправляться
И не всегда меня хвалить.
Даю вам право беспристрастно
В судьи друг друга выбирать,
Самим дела свои всевластно
И начинать и окончать.

Не воспрещу я стихотворцам
Писать и чепуху и лесть;
Халдеям, новым чудотворцам,
Махать с духáми, пить и есть;
Но я во всем, что лишь не злобно,
Потщуся равнодушной быть,
Великолепно и спокойно
Мои благодеянья лить».

Рекла,— и взор бы озарился
Величеством ее души,
Хаос на сферы б разделился
Ее рукою,— напиши.
Чтоб солнцы в путь свой покатились
И тысящи вкруг их планет;
Из праха грады возносились,
Восстали царствы,— и был свет.

Изобрази мне мир сей новый
В лице младого летня дня;
Как рощи, холмы, башни, кровы,
От горнего златясь огня,
Из мрака восстают, блистают
И смотрятся в зерцало вод;
Все новы чувства получают,
И движется всех смертных род.

Представь мне лучезарны храмы
И ангелов поющих лик,
И благовонны фимиамы
Как облака б носились в них;
И чтоб царевна, умиленна,
Вперя свой взор на небеса,
Слезами зрелась окропленна,
Блистающими как роса.

Как с синей крутизны эфира
Лучам случится ниспадать,—
От вседержителя так мира
Чтоб к ней сходила благодать
И в виде счастия земного
Чтоб сыпала пред ней цветы,

И купно века бы драгого
Катилися часы златы.

Чтоб видел я в рога зовущих
Там пастухов стада на луг;
На рощах липовых, цветущих
Рои жужжащих пчел вокруг;
Шумя, младых бы класов волны
Переливались ветерком,
Граненых бриллиантов холмы
В след сыпались за кораблем.

Чтобы с ристалища мне громы
И плески доходили в слух,
И вихрем всадники несомы
Поспешно б натягали лук,
И стрелу, к облакам пущенну,
Пересекали бы другой;
И всю в стязаньи бы вселенну
Я пред Фелицей зрел младой.

И зрел бы я ее на троне
Седящу в утварях царей:
В порфире, бармах и короне,
И взглядом вдруг одним очей
Объемлющу моря и сушу
Во всем владычестве своем,
Всему дающу жизнь и душу
И управляющую всем.

Чтоб свыше ею вдохновенны
Мурзы, паши и визири́,
Сединой мудрости почтенны,
В диване зрелись как цари;
Закон бы свято сохраняли
И по стезям бы правды шли,
Носить ей скипетр пособляли
И пользу общую блюли.

Она б пред ними председала,
Как всемогущий царь царей,
Свои наказы подтверждала
Для благоденствия людей.

Рекла б: «Почто писать уставы,
Коль их в диванах не творят?
Развратные вельможей нравы —
Народа целого разврат.

Ваш долг монарху, богу, царству
Служить, и клятвой не играть;
Неправде, злобе, мзде, коварству
Пути повсюду пресекать;
Пристрастный суд разбоя злее,—
Судьи — враги, где спит закон:
Пред вами гражданина шея
Протянута без оборон».

Представь, чтоб глас сей светозарный,
Как луч с небес, проник сердца,
Извлек бы слезы благодарны,
И все монарха, и отца,
И бога бы в Фелице зрели,
Который праведен и благ;
Из уст бы громы лишь гремели,
Которы у нее в руках.

Соделай, чтоб судебны храмы
Ее лугами обросли,
Весы бы в них стояли прямы
И редко к ним бы люди шли;
Чтоб совесть всюду председала
И обнимался с ней закон,
Чтоб милость истину лобзала
И миру поставляла трон.

Представь, чтоб все царевна средствы
В пособие себе брала
Предупреждать народа бедствы
И сохранять его от зла;
Чтоб отворила всем дороги
Чрез почту письма к ней писать,
Велела бы в свои чертоги
Для объясненья допускать.

Как молния, ее бы взоры
Сверкали быстро в небесах,

Проникнуть мысли были скоры
И в самых скрытнейших сердцах;
Чтоб издалече познавала
Она невинного ни в чем,
Как ангел бы к нему блистала
Благоволения лицем.

Дерзни мне кистию волшебной
Святилище изобразить,
Где взора смертных удаленной
Благоволит Фелица быть;
Где тайна перстом помавает
И на уста кладет печать,
Где благочестье председает
И долг велит страстям молчать.

Представь ее облокоченну
На Зороастров истукан,
Смотрящу там на всю вселенну,
На огнезвездный океан,
Вещающу: «О ты, превечный!
Который волею своей
Колеса движешь быстротечны
Вратящейся природы всей!

Когда ты есть душа едина
Движенью сих огромных тел,—
То ты ж, конечно, и причина
И нравственных народных дел;
Тобою царствы возрастают,
Твое орудие цари;
Тобой они и померцают,
Как блеск вечерния зари.

Наставь меня, миров содетель!
Да воле следуя твоей,
Тебя люблю и добродетель
И зижду счастие людей;
Да век мой на дела полезны
И славу их я посвящу,
Самодержавства скиптр железный
Моей щедротой позлащу.

Да удостоенна любови,
Надзрения твоих очес,
Чтоб я за кажду каплю крови,
За всякую бы каплю слез
Народа моего пролитых
Тебе ответствовать могла
И чувств души моей сокрытых
Тебя свидетелем звала».

Представь, чтоб тут кидала взоры
Со отвращением она
На те ужасны приговоры,
Где смерть написана, война
Свинцова грифеля чертами,
И медленно б крепила их,—
И тут же горькими слезами
Смывала бы слова все с них.

Но милости б определяла
Она с смеющимся лицом,
Златая бы струя бежала
За скоропишущим пером
И проливалась бы с престолу
В несчетных тысящах прохлад,
Как в ясный день с крутых гор долу
Лучистый с шумом водопад.

Чтоб сей рекой благодеяний
Покрылась вся ее страна;
Я зрел бы цепь пространных зданий,
Где пользует больных она,
Где бедных пищей насыщает,
Где брошенных берет сирот,
Где их лелеет, возращает,
Где просвещает свой народ.

Представь мне, в мысли восхищенной,
Сходила бы с небес она;
Как солнце грудь, в ткани зеленой,
Рукой метала семена;
Как искры огненны дождились
Златые б зерна в снедь птенцам;

Орлы младые разбудились
И воскрилялись бы к лучам.

Яви искусством чудотворным,
Чтоб льды прияли вид лилей;
Весна дыханьем теплотворным
Звала бы с моря лебедей;
Летели б с криком вереницы,
Звучали б трубы с облаков,—
Так в царство бы текли Фелицы
Народы из чужих краев.

Не позабудь ее представить,
Как, вместо алтарей себе,
Царя великого поставить
Велела на мольбу Орде;
Как всюду раздалися клики
И громы света по конец:
«Предстал нам Зороастр великий,
Воскрес отечества отец!»

Изобрази и то в картине,
Чтоб сей подобный грому клик
В безмерной времени долине,
Как будто бы катясь, затих;
Фелицы ж славою удвоен,
Громчай в потомстве возгласил:
«Велик, кто алтарей достоен,
Но их другому посвятил!»

Представь, сей славой возбужденны,
Чтоб зреть ее цари пришли
И как бы древле, удивленны,
В ней Соломона вновь нашли;
Народ счастливый и блаженный
Великой бы ее нарек,
Поднес бы титлы ей священны;
Она б рекла: «Я человек».

Возвысь до облак лавр зеленый,
И чтоб он на полях стоял;
Под ним бы, тенью прохлажденный,
Спокойно Исполин дремал;

Как мрамор бела б грудь блистала,
Ланиты бы цвели зарей,—
Фелица так бы услаждала
Полсвета под своей рукой.

И, здравие его спасая,
Без ужаса пила бы яд;
От твердости ее смерть злая
Свой отвратила б смутный взгляд;
Коса ее дала бы звуки,
Преткнувшись о великий дух;
На небеса воздели б руки
Младенцев миллионы вдруг.

Супругов чувствы благодарны
За оживленье их детей,
Как бы пылинки лучезарны,
Огнистой от стекла струей
Отпрянув, в воздухе сверкали,
Являли б пламень их сердец:
«Мы зрим в Фелице,— восклицали,—
Твое подобие, творец!»

Изобрази ты мне царевну
Еще и в подвигах других:
Стоглаву гидру разъяренну
И фуриев с земель своих
Чтобы гнала она геройски;
Как мать,— своих спасала б чад;
Как царь,— на гордость двигла войски
Как бог,— свергала злобу в ад.

На сребролунно государство
Простри крылатый, сизый гром;
В железно-каменное царство
Брось молньи — и поставь вверх дном;
Орел царевнин бы ногою
Вверху рога луны сгибал,
Тогда ж бы на земле другою
У гладна льва он зев сжимал.

Чтобы ее бесстрашны войски
От колыбели до седин
Носили дух в себе геройский,

И отрок будто б исполин
Врагам в сражениях казался;
Их пленник бы сказал о них:
«Никто в бою им не равнялся,
Кроме души великой их».

Чтобы вселенныя владыки
И всяк ту истину узнал:
Где войски Зороастр великий
Образовал и учреждал
И где великую в них душу
Великая Фелица льет,—
Те войски горы, море, сушу
Пройдут — и им препоны нет.

Чтоб грозный полк их представлялся
Как страшна буря вдалеке,
И Мир в порфире приближался
Тогда б к царевниной руке.
Она б его облобызала
И ветвь его к себе взяла,
«Да будет тишина!» — сказала,
И к нам бы тишина пришла.

Как ангел в синеве эфира
И милосердия в лице,
Со кротостью в душе зефира,
С сияньем тихим звезд в венце,
Благолюбивая б царевна
В день зрелась мирна торжества;
Душа моя бы восхищенна
Была делами божества.

Из уст ее текла бы сладость
И утишала стон вдовиц;
Из глаз ее блистала б радость
И освещала мрак темниц;
Рука ее бы награждала
Прямых отечества сынов;
Душа ее в себе прощала
Неблагодарных и врагов.

Приятность бы сопровождала
Ее беседу, дружбу, власть;
Приветливость ее равняла
С монархом подданного часть.
Повсюду музы, в восхищенье,
Ей сыпали б цветы сердец,
И самое Недоуменье
Ей плесков поднесло б венец.

Черты одной — красот ей ложно
Блюдися приписать в твой век;
Представь, каков, коль только можно,
Богоподобный человек!
Исполнь ее величеств, власти,
Бессмертных мудрости даров,
Вдохни, вдохни ей также страсти:
Щедроту, славу и любовь.

И славу моему ты взору
Ее представь как бы в ночи
Возжженну бриллиантов гору,
От коей бы лились лучи
И живо в вечности играли;
На светлу оной крутизну
Калифы многие желали —
Ползли — скользили — пали в тьму.

Как огненн столп на понте, взорам
К горе сей колебался б путь;
Фелица бы внушала Хлорам:
«Там розы без шипов растут».
Мурза б, в восторге, в удивленье,
Под золотым ее щитом
В татарском упражнялся пеньи
И восклицал открытым ртом:

«Бросай, кто хочет: остры стрелы
От чистой совести скользят;
Имея сердце, руки белы,
Мне стыдно мстить, стыднее лгать;
Того стыднее — в дни блаженны
За истину страшиться зла:

Моей царевной восхищенный,
Я лишь ее пою дела».

Но что, Рафáэль! что ты пишешь?
Кого ты, где изобразил?
Не на холсте, не в красках дышишь,
И не металл ты оживил;
Я в сердце зрю алмазну гору,
На нем божественны черты
Сияют исступленну взору:
На нем в лучах — Фелица, ты!

1789

На взятие Измаила

> О, коль монарх благополучен,
> Кто знает россами владеть!
> Он будет в свете славой звучен
> И всех сердца в руке иметь.
>
> *Ода г. Ломоносова*

Везувий пламя изрыгает,
Столп огненный во тьме стоит,
Багрово зарево зияет,
Дым черный клубом вверх летит;
Краснеет понт, ревет гром ярый,
Ударам вслед звучат удары;
Дрожит земля, дождь искр течет;
Клокочут реки рдяной лавы,—
О росс! таков твой образ славы,
Что зрел под Измаилом свет!

О росс! о род великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполин, царю послушный!
Когда и где ты досягнуть
Не мог тебя достойной славы?
Твои труды — тебе забавы;
Твои венцы — вкруг блеск громов:

В полях ли брань — ты тмишь свод звездный;
В морях ли бой — ты пенишь бездны,—
Везде ты страх твоих врагов!

На подвиг твой вождя веленьем
Ты и́дешь, как жених на брак.
Марс видит часто с изумленьем,
Что и в беда́х твой весел зрак:
Где вкруг драконы медны ржали,
Из трехсот жерл огнем дышали,
Ты там прославился днесь вновь.
Вождь рек: «Се стены Измаила!
Да сокрушит твоя их сила!..»
И воскипела бранна кровь.

Как воды, с гор весной в долину
Низвержась, пенятся, ревут,
Волнами, льдом трясут плотину,—
К твердыням россы так текут.
Ничто им путь не воспящает;
Смертей ли бледных полк встречает
Иль ад скрежещет зевом к ним,—
Идут, как в тучах скрыты громы,
Как двигнуты, безмолвны холмы;
Под ними стон,— за ними дым.

Идут в молчании глубоком,
Во мрачной, страшной тишине,
Собой пренебрегают, роком;
Зарница только в вышине
По их оружию играет;
И только их душа сияет,
Когда на бой, на смерть ид
Уж блещут молнии крылами,
Уж осыпаются громами;
Они молчат — идут вперед.

Не бард ли древний, исступленный,
Волшебным их ведет жезло́м?
Нет! свыше пастырь вдохновенный
Пред ними и́дет со крестом;
Венцы нетленны обещает
И кровь пролить благословляет
За честь, за веру, за царя;

За ним вождей ряд пред полками,
Как бурных дней пред облаками
Идет огнистая заря.

Идут.— Искусство зрит заслугу,
И сколь их дух был тут велик
Вещает слух земному кругу;
Но мне их раздается крик:
По лествицам на град, на стогны,
Как шумны волны через волны,
Они возносятся челом;
Как угль их взоры раскаленны,
Как львы на тигров устремленны,—
Бегут, стеснясь, на огнь, на гром.

О! что за зрелище предстало?
О пагубный, о страшный час!
Злодейство что ни вымышляло,
Поверглось, россы, все на вас!
Зрю камни, ядра, вар и бревны,—
Но чем герои устрашенны?
Чем может отражен быть росс? —
Тот лезет по бревну на стену;
А тот летит с стены в геенну;
Всяк Курций, Деций, Буароз!

Всяк помнит должность, честь и веру,
Всяк душу и живот кладет.
О россы! нет вам, нет примеру,
И смерть сама вам лавр дает.
Там в грудь, в сердца лежат пронзенны,
Без сил, без чувств, полмертвы, бледны;
Но мнят еще стерть вражий рог:
Иной движеньем ободряет,
А тот с победой восклицает:
«Екатерина! — с нами бог!»

Какая в войсках храбрость рьяна!
Какой великий дух в вождях!
В одних душа рассудком льдяна,
У тех пылает огнь в сердцах.
В зиме рожденны под снегами,
Под молниями, под громами,

Которых с самых юных дней
Питала слава, верность, вера,—
Где можно вам сыскать примера?
Не посреди ль стихийных прей?

Представь: по светлости лазуря,
По наклонению небес
Взошла черно-багрова буря
И грозно возлегла на лес;
Как страшна нощь, надулась чревом,
Дохнула с свистом, воем, ревом,
Помчала воздух, прах и лист;
Под тяжкими ее крылами
Упали кедры вверх корнями
И затрещал Ливан кремнист.

Представь последний день природы,
Что пролилася звезд река;
На огнь пошли стеною воды,
Бугры взвились за облака;
Что вихри тучи к тучам гнали,
Что мрак лишь молньи освещали,
Что гром потряс всемирну ось,
Что солнце, мглою покровенно,
Ядро казалось раскаленно:
Се вид, как вшел в Измаил росс!

Вошел! «Не бойся»,— рек и всюды
Простер свой троегранный штык:
Поверглись тел кровавы груды,
Напрасно слышен жалоб крик;
Напрасно — бранны человеки! —
Вы льете крови вашей реки,
Котору должно бы беречь,—
Но с самого веков начала
Война народы пожирала,
Священ стал долг: рубить и жечь!

Тот мыслит овладеть всем миром,
Тот не принять его оков;
Вселенной царь, стал врану пиром,
Герои — снедию волков.
Увы! пал крин, и пали терны.

Почто ж? — Судьбы небесны темны:
Я здесь пою лишь браней честь.
Нас горсть,— но полк лежит пред нами;
Нас полк,— но с тысячьми и тьмами
Мы низложили город в персть.

И се уже шумя стремится
Кровавой пены полн Дунай,
Пучина черная багрится,
Спершись от трупов, с краю в край;
Уже бледнеюща Мармора
Дрожит пловуща к ней позора,
Костры тел видя за костром!
Луна полна на башнях крови,
Поникли гордой Мекки брови;
Стамбул склонился вниз челом.

О! ежели издревле миру
Побед славнейших звук гремит
И если приступ славен к Тиру,—
К Измайлу больше знаменит.
Там был вселенной покоритель,
Машин и башен сам строитель,
Горой он море запрудил,—
А здесь вождя одно веленье
Свершило храбрых россов рвенье;
Великий дух был вместо крыл.

Услышь, услышь, о ты, вселенна!
Победу смертных выше сил;
Внимай, Европа удивленна,
Каков сей россов подвиг был.
Языки, знайте, вразумляйтесь,
В надменных мыслях содрогайтесь;
Уверьтесь сим, что с нами бог;
Уверьтесь, что его рукою
Один попрет вас росс войною,
Коль встать из бездны зол возмог!

Я вижу страшную годину:
Его три века держит сон,
Простертую под ним долину
Покрыл везде колючий терн;

Лице туман подернул бледный,
Ослабли мышцы удрученны,
Скатилась в мрак глава его;
Разбойники вокруг суровы
Взложили тяжкие оковы,
Змея на сердце у него.

Он спит! — и насекомы гады
Румяный потемняют зрак,
Войны́ опустошают грады,
Раздоры пожирают злак;
Чуть зрится блеск его короны,
Страдает вера и законы,
И ты, к отечеству любовь!
Как зверь, его Батый рвет гладный,
Как змей, сосет лжецарь коварный:
Повсюду пролилася кровь!

Лежал он во своей печали,
Как темная в пустыне ночь;
Враги его рукоплескали,
Друзья не мыслили помочь,
Соседи грабежом алкали;
Князья, бояра в неге спали
И ползали в пыли, как червь,—
Но бог, но дух его великий
Сотряс с него беды толики,
Расторгнул лев железну вервь!

Восстал! — как утром холм высокой
Встает, подъемляся челом
Из мглы широкой и глубокой,
Разлитой вкруг его,— и гром
Поверх главы в ничто вменяя,
Ногами волны попирая,
Пошел,— и кто возмог проти́в?
От шлема молнии скользили,
И океаны уступили,
Стопам его пути открыв.

Он сильны о́рды пхнул ногою,
Края азийски потряслись;
Упали царствы под рукою,
Цари, царицы в плен влеклись;

И победителей разитель,
Монархий света разрушитель
Простерся под его пятой:
В Европе грады брал, тряс троны,
Свергал царей, давал короны
Могущею своей рукой.

Где есть народ в краях вселенны,
Кто б столько сил в себе имел:
Без помощи, от всех стесненный,
Ярем с себя низвергнуть смел
И, вырвав бы венцы лавровы,
Возверг на тех самих оковы,
Кто столько свету страшен был?
О росс! твоя лишь добродетель
Таких великих дел содетель;
Лишь твой орел луну затмил.

Лишь ты, простря твои победы,
Умел щедроты расточать:
Поляк, турк, перс, прусс, хин и шведы
Тому примеры могут дать.
На тех ты зришь спокойно стены,
Тем паки отдал грады пленны;
Там унял прю, тут бунт смирил;
И сколь ты был их победитель,
Не меньше друг, благотворитель,
Свое лишь только возвратил.

О кровь славян! Сын предков славных!
Несокрушаемый колосс!
Кому в величестве нет равных,
Возросший на полсвете росс!
Твои коль славны древни следы!
Громчай суть нынешни победы:
Зрю вкруг тебя лавровый лес;
Кавказ и Тавр ты преклоняешь,
Вселенной на среду ступаешь
И досязаешь до небес.

Уже в Эвксине с полунощи
Меж вод и звезд лежит туман,
Под ним плывут дремучи рощи;

Средь них как гор отломок льдян
Иль мужа нека тень седая
Сидит, очами озирая:
Как полный месяц, щит его,
Как сосна, рында обожженна,
Глава до облак вознесенна,—
Орел над шлемом у него.

За ним златая колесница
По розовым летит зарям;
Седящая на ней царица,
Великим равная мужам,
Рукою держит крест одною,
Возжженный пламенник другою,
И сыплет блески на Босфор;
Уже от северного света
Лице бледнеет Магомета,
И мрачный отвратил он взор.

Не вновь ли то Олег к Востоку
Под парусами флот ведет
И Ольга к древнему потоку
Занятый ею свет лиет?
Иль россов йдет дух военный,
Христовой верой провожденный,
Ахеян спасть, агарян стерть? —
Я слышу, громы ударяют,
Пророки, камни, возглашают:
«То будет ныне или впредь!»

О вы, что в мыслях суетитесь
Столь славный россу путь претить,
Помочь врагу Христову тщитесь
И вере вашей изменить!
Чем столько поступать неправо,
Сперва исследуйте вы здраво
Свой путь, цель росса, суд небес;
Исследуйте и заключите:
Вы с кем и на кого хотите?
И что ваш року перевес?

Ничто, коль росс рожден судьбою
От варварских хранить вас уз,
Темиров попирать ногою,
Блюсть ваших от Омаров муз,
Отмстить крестовые походы,
Очистить иордански воды,
Священный гроб освободить,
Афинам возвратить Афину,
Град Константинов Константину
И мир Афету водворить.

Афету мир? — О труд избранный!
Достойнейший его детей,
Великими людьми желанный,
Свершишься ль ты средь наших дней?..
Доколь, Европа просвещенна,
С перуном будешь устремленна
На кровных братиев своих?
Не лучше ль внутрь раздор оставить
И с россом грудь одну составить
На общих супостат твоих?

Дай руку! — и пожди спокойно;
Сие и росс один свершит,
За беспрепятствие достойно
Тебя трофеем наградит.
Дай руку! — дай залог любови!
Не лей твоей и нашей крови,
Да месть всем в грудь нам не взойдет;
Пусть только ум Екатерины,
Как Архимед, создаст машины;
А росс вселенной потрясет.

Чего не может род сей славный,
Любя царей своих, свершить?
Умейте лишь, главы венчанны!
Его бесценну кровь щадить.
Умейте дать ему вы льготу,
К делам великим дух, охоту
И правотой сердца пленить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною,
Весь мир себя заставить чтить.

Война — как северно сиянье,
Лишь удивляет чернь одну:
Как светлой радуги блистанье,
Всяк мудрый любит тишину.
Что благовонней аромата?
Что слаще меда, краше злата
И драгоценнее порфир?
Не ты ль — которого всем взгляды
Лиют обилие, прохлады —
Прекрасный и полезный мир?

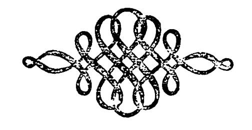
Приди, о кроткий житель неба,
Эдемской гражданин страны!
Приди! — и, как сопутник Феба,
Дух теплотворный, бог весны,
Дохни́ везде твоей душою!
Дохни́,— да расцветет тобою
Рой сладости в домах, в сердцах!
Под сению Екатерины
Венчанны лавром исполины
Возлягут на своих громах.

Премудрость царствы управляет;
Крепит их вера, правый суд;
Их труд и мир обогащает,
Любовию они цветут.
О пол прекрасный и почтенный,
Кем россы рождены, кем пленны!
И вам днесь предлежат венцы.
Плоды побед суть звуки славы,
Побед основа — тверды нравы,
А добрых нравов вы творцы!

Когда на брани вы предметов
Лишилися любви своей,
И если без войны, наветов
Полна жизнь наша слез, скорбей,—
Утешьтесь! — Ветры в ветры дуют,
Стихии меж собой воюют;
Сей свет — училище терпеть.
И брань коль восстает судьбою,
Сын россиянки среди бою
Со славой должен умереть.

А слава тех не умирает,
Кто за отечество умрет;
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет.
Времен в глубоком отдаленьи
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.
С гробов их в души огнь польется,
Когда по рощам разнесется
Бессмертной лирой дел их звук.

1790



Любителю художеств

Сойди, любезная Эрата!
С горы зеленой, двухолмистой,
В одежде белой, серебристой,
Украшенна венцом и поясом из злата,
С твоею арфой сладкогласной!
Сойди, утех собор,
И брось к нам нежно-страстный
С улыбкою твой взор;
И царствуй вечно в доме сем
На берегах Невы прекрасных!
Любителю наук изящных
Мы песнь с тобою воспоем.

«Небеса, внемлите
Чистый сердца жар
И с высот пошлите
Песен сладкий дар.
О! мольба прилежна,
Как роса, взнесись:
К нам ты, муза нежна,
Как зефир спустись!»

Как легкая серна́
Из дола в дол, с холма на холм
Перебегает;

Как белый голубок, она
То вниз, то вверх под облачком
Перелетает;
С небесных светлых гор дорогу голубую
Ко мне в минуту перешла
И арфу золотую
С собою принесла;
Резвилась вкруг меня, ласкалася, смотрела
И, будто ветерочек, села
На лоне у меня.
Тут вдруг, веселый вид на важный пременя,
Небесным жаром воспылала,
На арфе заиграла.

Ее бело-румяны пе́рсты
По звучным бегают струнам;
Взор черно-огненный, отверстый,
Как молния вослед громам,
Блистает, жжет и поражает
Всю внутренность души моей;
Томит, мертвит и оживляет
Меня приятностью своей.

«Боги взор свой отвращают
От нелюбящего муз,
Фурии ему влагают
В сердце черство грубый вкус
Жажду злата и сребра.
Враг он общего добра!

Ни слеза вдовиц не тронет,
Ни сирот несчастных стон;
Пусть в крови вселенна тонет,
Был бы счастлив только он;
Больше б со́брал серебра.
Враг он общего добра!

Напроти́в того, взирают
Боги на любимца муз,
Сердце нежное влагают
И изящный нежный вкус;
Всем душа его щедра.
Друг он общего добра!

Отирает токи слезны,
Унимает скорбный стон;
Сиротам отец любезный,
Покровитель музам он;
Всем душа его щедра.
Друг он общего добра!»

О день! о день благоприятный!
Несутся ветром голоса,
Курятся крины ароматны,
Склонились долу небеса;
Лазурны тучи, краезлаты,
Блистающи рубином сквозь,
Как испещренный флот богатый,
Стремятся по эфиру вкось;
И, плавая туда,
Сюда,
Спускаются пред нами.
На них сидит небесных муз собор,
Вкруг гениев крылатых хор,—
Летят, вслед тянутся цепями,
Как бы весной
Разноперистых птичек рой
Вьет воздух за собою
Кристальною струею,
И провождает к нам дев горних красный лик!
Я слышу вдалеке там резкий трубный зык;
Там бубнов гром,
Там стон
Валторн
Созвучно в воздух ударяет;
Там глас свирелей
И звонких трелей
Сквозь их изре́дка пробегает,
Как соловьиный свист сквозь шум падущих вод.
От звука разных голосов,
Встречающих полубогов
На землю сход,
По рощам эхо как хохочет,
По мрачным горным дебрям ропчет,
И гул глухой в глуши гудет.
Я слышу, сонм небесных дев поет:

«Науки смертных просвещают,
Питают, облегчают труд;
Художествы их украшают
И к вечной славе их ведут.
Благополучны те народы,
Которы красотам природы
Искусством могут подражать,
Как пчелы мед с цветов сбирать.
Блажен тот муж, блажен стократно,
Кто покровительствует им!
Вознаградят его обратно
Они бессмертием своим».

Наполнил грудь восторг священный,
Благоговейный обнял страх,
Приятный ужас потаенный
Течет во всех моих костях;
В веселье сердце утопает,
Как будто бога ощущает,
Присутствующего со мной!
Я вижу, вижу Аполлона
В тот миг, как он сразил Тифона
Божественной своей стрелой:
Зубчата молния сверкает,
Звенит в руке священный лук;
Ужасная змия зияет
И вмиг свой испущает дух,
Чешуйчатым хвостом песок перегребая
И черну кровь ручьем из раны испуская.
Я зрю сие — и вмиг себе представить мог,
Что так невежество сражает света бог.

Полк бледных теней окружает
И ужасает дух того,
Кто кровью руки умывает
Для властолюбья своего;
И черный змей то сердце гложет,
В ком зависть, злость и лесть живет
И кто своим добром жить может,
Но для богатства мзду берет.
Порок спокоен не бывает;
Нрав варварский его мятет,

Наук, художеств не ласкает,
И света свет ему не льет.
Как зверь, он ищет места темна;
Как змей, он, ползая, шипит;
Душа, коварством напоенна,
Глазами прямо не глядит.

«Черные мраки,
Злые призраки
Ужасных страстей!
Бегите из града,
Сокройтесь в дно ада
От наших вы дней!
Света перуны,
Лирные струны,
Минервин эгид!
Сыпьте в злость стрелы,
Брань за пределы
От нас да бежит!»

Как солнце гонит нощи мрак
И от его червлена злата
Румянится природы зрак,
Весело-резвая Эрата!
Ты ходишь по лугам зеленым
И рвешь тогда себе цветы,
Свободным духом, восхищенным,
Поёшь свои утехи ты;
Вослед тебе забав собор,
Певиц приятных хор,
Наяды пляшут и фауны;
Составь же ты, прелестно божество!
И нам теперя торжество,
Да сладкогласной лиры струны,
Твоею движимы рукой,
Манят нас к пляскам пред тобой

«Радостно, весело в день сей
Вместе сбирайтеся, други!
Бросьте свои недосуги,
Скачите, пляшите смелей:
Бейте в ладоши руками,
Щелкайте громко перстами,

Черны глаза поводите,
Станом вы всем говорите;
Фертиком руки вы в боки,
Делайте легкие скоки;
Чобот о чобот стучите,
С наступью смелой свищите,
Молвьте спасибо душею
Мужу тому, что снисходит
Лаской, любовью своею,
Всем нам веселье находит.
Здравствуй же, муз днесь любитель!
Здравствуй, их всех покровитель!»

1791

Прогулка в Сарском Селе

В прекрасный майский день,
В час ясныя погоды,
Как всюду длинна тень,
Ложась в стеклянны воды,
В их зеркале брегов
Изображала виды
И как между столпов
И зданием Фемиды,
Сооруженных ей
Героев росских в славу,
При гласе лебедей,
В прохладу и забаву,
Вечернею порой
От всех уединяясь,
С Пленирою младой
Мы, в лодочке катаясь,
Гуляли в озерке;
Она в корме сидела,
А посредине я.
За нами вслед летела
Жемчужная струя,
Кристалл шумел от весел.
О, сколько с нею я
В прогулке сей был весел!
Любезная моя! —

Я тут сказал,— Пленира!
Тобой пленен мой дух,
Ты дар всего мне мира.
Взгляни, взгляни вокруг
И виждь, красы природы
Как бы стеклись к нам вдруг:
Сребром сверкают воды,
Рубином облака,
Багряным златом кровы,
Как огненна река;
Свет ясный, пурпуровый
Объял все воды вкруг;
Смотри в них рыб плесканье,
Плывущих птиц на луг
И крыл их трепетанье.

Весна во всех местах
Нам взор свой осклабляет,
В зеленых муравах
Ковры нам подстилает;
Послушай рога рев,
Там эха хохотанье;
Тут шепоты ручьев,
Здесь розы воздыханье!
Се ветер помавал
Крылами тихо слуху.

Какая пища духу! —
В восторге я сказал,—
Коль красен взор природы
И памятников вид,
Они где зрятся в воды
И соловей сидит
Где близ и воспевает,
Зря розу иль зарю!
Он будто изъявляет
И богу и царю
Свое благодаренье:
Царю — за память слуг;
Творцу — что влил стремленье
К любви всем тварям в дух.

И ты, сидя при розе,
Так, дней весенних сын,
Пой, Карамзин! — И в прозе
Глас слышен соловьин.

1791

Водопад

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.

Шумит — и средь густого бора
Теряется в глуши потом;
Луч чрез поток сверкает скоро;
Под зыбким сводом древ, как сном
Покрыты, волны тихо льются,
Рекою млечною влекутся.

Седая пена по брегам
Лежит буграми в дебрях темных;

Стук слышен млатов по ветрам,
Визг пил и стон мехов подъемных:
О водопад! в твоем жерле
Все утопает в бездне, в мгле!

Ветрами ль сосны пораженны? —
Ломаются в тебе в куски;
Громами ль камни отторженны? —
Стираются тобой в пески;
Сковать ли воду льды дерзают? —
Как пыль стеклянна ниспадают.

Волк рыщет вкруг тебя и, страх
В ничто вменяя, станови́тся;
Огонь горит в его глазах,
И шерсть на нем щетиной зрится;
Рожденный на кровавый бой,
Он воет согласясь с тобой.

Лань и́дет робко, чуть ступает,
Вняв вод твоих падущих рев,
Рога на спину приклоняет
И быстро мчится меж дерев;
Ее страшит вкруг шум, бурь свист
И хрупкий под ногами лист.

Ретивый конь, осанку горду
Храня, к тебе порой идет;
Крутую гриву, жарку морду
Подняв, храпит, ушми прядет;
И подстрекаем быв, бодрится,
Отважно в хлябь твою стремится.

Под наклоненным кедром вниз,
При страшной сей красе природы,
На утлом пне, который свис
С утеса гор на яры воды,
Я вижу — некий муж седой
Склонился на руку главой.

Копье, и меч, и щит великой,
Стена отечества всего,
И шлем, обвитый повиликой,
Лежат во мху у ног его.

В броне блистая злато-рдяной,
Как вечер во заре румяной,—

Сидит — и, взор вперя к водам,
В глубокой думе рассуждает:
«Не жизнь ли человеков нам
Сей водопад изображает? —
Он также блеском струй своих
Поит надменных, кротких, злых.

Не так ли с неба время льется,
Кипит стремление страстей,
Честь блещет, слава раздается,
Мелькает счастье наших дней,
Которых красоту и радость
Мрачат печали, скорби, старость?

Не зрим ли всякий день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземной?
Не упадает ли в сей зев
С престола царь и друг царев?

Падут — и вождь непобедимый,
В Сенате Цезарь средь похвал,
В тот миг, желал как диадимы,
Закрыв лице плащом, упал;
Исчезли замыслы, надежды,
Сомкнулись алчны к трону вежды.

Падут — и несравненный муж
Торжеств несметных с колесницы,
Пример великих в свете душ,
Презревший прелесть багряницы,
Пленивший Велизар царей
В темнице пал, лишен очей.

Падут.— И не мечты прельщали,
Когда меня, в цветущий век,
Давно ли города встречали,
Как в лаврах я, в оливах тек?
Давно ль? — Но ах! теперь во брани
Мои не мещут молний длани!

Ослабли силы, буря вдруг
Копье из рук моих схватила;
Хотя и бодр еще мой дух,
Судьба побед меня лишила».
Он рек — и тихим позабылся сном.
Морфей покрыл его крылом.

Сошла октябрьска нощь на землю,
На лоно мрачной тишины;
Нигде я ничего не внемлю,
Кроме ревущия волны,
О камни с высоты дробимой
И снежною горою зримой.

Пустыня, взор насупя свой,
Утесы и скалы́ дремали;
Волнистой облака грядой
Тихонько мимо пробегали,
Из коих трепетна, бледна
Проглядывала вниз луна.

Глядела, и едва блистала,
Пред старцем преклонив рога,
Как бы с почтеньем познавала
В нем своего того врага,
Которого она страшилась,
Кому вселенная дивилась.

Он спал, — и чудотворный сон
Мечты ему являл геройски:
Казалося ему, что он
Непобедимы водит войски;
Что вкруг его перун молчит,
Его лишь мановенья зрит;

Что огнедышущи за перстом
Ограды вслед его идут;
Что в поле гладком, вкруг отверстом,
По слову одному растут
Полки его из скрытых станов,
Как холмы в море из туманов;

Что только по траве росистой
Ночные знать его шаги;
Что утром пыль, под твердью чистой,
Уж поздно зрят его враги;
Что остротой своих зениц
Блюдет он их, как ястреб птиц;

Что, положа чертеж и меры,
Как волхв невидимый, в шатре,
Тем кажет он в долу химеры,
Тем в тиграх агнцев на горе,
И вдруг решительным умом
На тысячи бросает гром;

Что орлю дерзость, гордость луну,
У черных и янтарных волн,
Смирил Колхиду златорунну,
И белого царя урон
Рай вечерня пред границей
Отмстил победами сторицей;

Что, как румяной луч зари,
Страну его покрыла слава;
Чужие вожди и цари,
Своя владычица, держава,
И все везде его почли,
Триумфами превознесли;

Что образ, имя и дела
Цветут его средь разных глянцев;
Что верх сребристого чела
В венце из молненных румянцев
Блистает в будущих родах,
Отсвечиваяся в сердцах;

Что зависть, от его сиянья
Свой бледный потупляя взор,
Среди безмолвного стенанья
Ползет и ищет токмо нор,
Куда бы от него сокрыться,
И что никто с ним не сравнится.

Он спит — и в сих мечтах веселых
Внимает забыванье псов,
Рев ветров, скрып дерев дебелых,
Стенанье филинов и сов,
И вещих глас вдали животных,
И тихий шорох вкруг бесплотных.

Он слышит: сокрушилась ель,
Станица вранов встрепетала,
Кремнистый холм дал страшну щель,
Гора с богатствами упала;
Грохочет эхо по горам,
Как гром гремящий по громам.

Он зрит одету в ризы черны
Крылату некую жену,
Власы имевшу распущенны,
Как смертну весть, или войну,
С косой в руках, с трубой стоящу,
И слышит он: «проснись!» гласящу.

На шлеме у нее орел
Сидел с перуном помраченным,
В нем герб отечества он зрел;
И, быв мечтой сей возбужденным,
Вздохнул и, испустя слез дождь,
Вещал: «Знать, умер некий вождь!

Блажен, когда, стремясь за славой,
Он пользу общую хранил,
Был милосерд в войне кровавой
И самых жизнь врагов щадил:
Благословен средь поздных веков
Да будет друг сей человеков!

Благословенна похвала
Надгробная его да будет,
Когда всяк жизнь его, дела
По пользам только помнить будет;
Когда не блеск его прельщал
И славы ложной не искал!

О слава, слава в свете сильных!
Ты точно сей есть водопад.

Он вод стремлением обильных
И шумом льющихся прохлад
Великолепен, светл, прекрасен,
Чудесен, силен, громок, ясен;

Дивиться вкруг себя людей
Всегда толпами собирает,—
Но если он водой своей
Удобно всех не напояет,
Коль рвет брега и в быстротах
Его нет выгод смертным,— ах!

Не лучше ль менее известным,
А более полезным быть;
Подобясь ручейкам прелестным,
Поля, луга, сады кропить
И тихим вдалеке журчаньем
Потомство привлекать с вниманьем?

Пусть на обросший дерном холм
Приидет путник и воссядет
И, наклонясь своим челом
На подписанье гроба, скажет:
«Не только славный лишь войной,
Здесь скрыт великий муж душой».

О! будь бессмертен, витязь бранный,
Когда ты весь соблюл свой долг!» —
Вещал сединой муж венчанный
И, в небеса воззрев, умолк.
Умолк,— и глас его промчался,
Глас мудрый всюду раздавался.

Но кто там идет по холмам,
Глядясь, как месяц, в воды черны?
Чья тень спешит по облакам
В воздушные жилища горны?
На темном взоре и челе
Сидит глубока дума в мгле!

Какой чудесный дух крылами
От севера парит на юг?
Ветр медлен течь его стезями,
Обозревает царствы вдруг;

Шумит, и как звезда блистает,
И искры в след свой рассыпает.

Чей труп, как на распутье мгла,
Лежит на темном лоне нощи?
Простое рубище чресла,
Два лепта покрывают очи,
Прижаты к хладной груди персты,
Уста безмолвствуют отверсты!

Чей одр — земля, кров — воздух синь,
Чертоги — вкруг пустынны виды?
Не ты ли, счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?

Не ты ль наперсником близ трона
У северной Минервы был;
Во храме муз друг Аполлона;
На поле Марса во́ждем слыл;
Решитель дум в войне́ и мире,
Могущ — хотя и не в порфире?

Не ты ль, который взвесить смел
Мощь росса, дух Екатерины
И, опершись на них, хотел
Вознесть твой гром на те стремнины,
На коих древний Рим стоял
И всей вселенной колебал?

Не ты ль, который орды сильны
Соседей хищных истребил,
Пространны области пустынны
Во грады, в нивы обратил,
Покрыл понт Черный кораблями,
Потряс среду земли громами?

Не ты ль, который знал избрать
Достойный подвиг росской силе,
Стихии самые попрать
В Очакове и в Измаиле,
И твердой дерзостью такой
Быть дивом храбрости самой?

Се ты, отважнейший из смертных!
Парящий замыслами ум!
Не шел ты средь путей известных,
Но проложил их сам — и шум
Оставил по себе в потомки;
Се ты, о чудный вождь Потемкин!

Се ты, которому врата
Торжественные созидали;
Искусство, разум, красота
Недавно лавр и мирт сплетали;
Забавы, роскошь вкруг цвели,
И счастье с славой следом шли.

Се ты, небесного плод дара
Кому едва я посвятил,
В созвучность громкого Пиндара
Мою настроить лиру мнил,
Воспел победу Измаила,
Воспел,— но смерть тебя скосила!

Увы! и хоров сладкий звук
Моих в стенанье превратился;
Свалилась лира с слабых рук,
И я там в слезы погрузился,
Где бездны разноцветных звезд
Чертог являли райских мест.

Увы! — и громы онемели,
Ревущие тебя вокруг;
Полки твои осиротели,
Наполнили рыданьем слух;
И всё, что близ тебя блистало,
Уныло и печально стало.

Потух лавровый твой венок,
Гранена булава упала,
Меч в полножны войти чуть мог.
Екатерина возрыдала!
Полсвета потряслось за ней
Незапной смертью твоей!

Оливы свежи и зелены
Принес и бросил Мир из рук;

Родства и дружбы вопли, стоны
И муз ахейских жалкий звук
Вокруг Перикла раздается:
Марон по Меценате рвется,

Который почестей в лучах,
Как некий царь, как бы на троне,
На сребро-розовых конях,
На златозарном фаэтоне,
Во сонме всадников блистал
И в смертный черный одр упал!

Где слава? Где великолепье?
Где ты, о сильный человек?
Мафусаила долголетье
Лишь было б сон, лишь тень наш век;
Вся наша жизнь не что иное,
Как лишь мечтание пустое.

Иль нет! — тяжелый некий шар,
На нежном волоске висящий,
В который бурь, громов удар
И молнии небес ярящи
Отвсюду беспрестанно бьют,
И ах! зефиры легки рвут.

Единый час, одно мгновенье
Удобны царствы поразить,
Одно стихиев дуновенье
Гигантов в прах преобразить;
Их ищут места — и не знают:
В пыли героев попирают!

Героев? — Нет! Но их дела
Из мрака и веков блистают;
Нетленна память, похвала
И из развалин вылетают,
Как холмы, гробы их цветут;
Напишется Потемкин труд.

Театр его — был край Эвксина,
Сердца обязанные — храм;
Рука с венцом — Екатерина;

Гремяща слава — фимиам;
Жизнь — жертвенник торжеств и крови,
Гробница — ужаса, любови.

Когда багровая луна
Сквозь мглу блистает темной нощи,
Дуная мрачная волна
Сверкает кровью, и сквозь рощи
Вкруг Измаила ветр шумит,
И слышен стон,— что турок мнит?

Дрожит,— и во очах сокрытых
Еще ему штыки блестят,
Где сорок тысяч вдруг убитых
Вкруг гроба Вейсмана лежат.
Мечтаются ему их тени
И росс в крови их по колени!

Дрожит — и обращает взгляд
Он робко на окрестны виды;
Столпы на небесах горят
По суше, по морям Тавриды!
И мнит, в Очакове что вновь
Течет его и мерзнет кровь.

Но в ясный день, средь светлой влаги,
Как ходят рыбы в небесах
И вьются полосаты флаги,
Наш флот на вздутых парусах
Вдали белеет на лиманах,—
Какое чувство в россиянах?

Восторг, восторг они,— а страх
И ужас турки ощущают;
Им мох и терны во очах,
Нам лавр и розы расцветают
На мавзолеях у вождей,
Властителей земель, морей.

Под древом, при заре вечерней,
Задумчиво Любовь сидит,
От цитры ветерок весенний
Ее повсюду голос мчит;

Перлова грудь ее вздыхает,
Геройский образ оживляет.

Поутру солнечным лучом
Как монумент златый зажжется,
Лежат объяты серны сном
И пар вокруг холмов виется,
Пришедши старец надпись зрит:
«Здесь труп Потемкина сокрыт!»

Алцибиадов прах! — И смеет
Червь ползать вкруг его главы?
Взять шлем Ахиллов не робеет,
Нашедши в поле, Фирс? — Увы!
И плоть, и труд коль истлевает,
Что ж нашу славу составляет?

Лишь истина дает венцы
Заслугам, кои не увянут;
Лишь истину поют певцы,
Которых вечно не престанут
Греметь перуны сладких лир;
Лишь праведника свят кумир.

Услышьте ж, водопады мира!
О славой шумные главы!
Ваш светел меч, цветна порфира,
Коль правду возлюбили вы,
Когда имели только мету,
Чтоб счастие доставить свету.

Шуми, шуми, о водопад!
Касаяся странам воздушным,
Увеселяй и слух и взгляд
Твоим стремленьем светлым, звучным
И в поздной памяти людей
Живи лишь красотой твоей!

Живи! — и тучи пробегали
Чтоб редко по водам твоим,
В умах тебя не затмевали
Разжженный гром и черный дым;

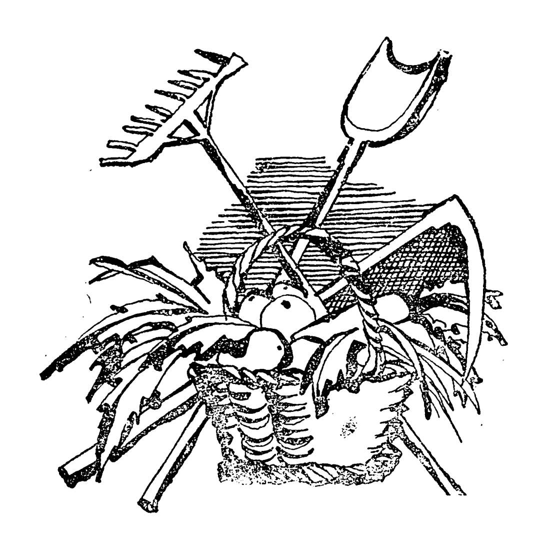
Чтоб был вблизи, вдали любезен
Ты всем; сколь дивен, столь полезен.

И ты, о водопадов мать!
Река, на Севере гремяща,
О Суна! коль с высот блистать
Ты можешь — и, от зарь горяща,
Кипишь и сеешься дождем
Сафирным, пурпурным огнем, —

То тихое твое теченье —
Где ты сама себе равна,
Мила, быстра и не в стремленье,
И в глубине твоей ясна,
Важна без пены, без порыву,
Полна, велика без разливу,

И без примеса чуждых вод
Поя златые в нивах бреги,
Великолепный свой ты ход
Вливаешь в светлый сонм Онеги —
Какое зрелище очам!
Ты тут подобна небесам.

1791—1794



Ко второму соседу

Не кость резная Колмогор,
Не мрамор Тифды и Рифея,
Не Невски зеркала, фарфор,
Не шелк Баки, не глазумея
Благоуханные пары
Вельможей делают известность,
Но некий твердый дух и честность,
А паче муз дары.

Почто же, мой вторый сосед,
Столь зданьем пышным, столь отличным
Мне солнца застеняя свет,
Двором межуешь безграничным
Ты дому моего забор?
Ужель полей, прудов и речек
Тьмы скупленных тобой местечек
Твой не насытят взор?

В тот миг, как с пошвы до конька
И около, презренным взглядом,
Мое строение слегка
С своим обозревая рядом,
Ты в гордости своей с высот
На низменны мои мнишь кровы
Навесить темный сад кедровый
И шумны токи вод,—

Кто весть, что рок готовит нам?
Быть может, что сии чертоги,
Назначенны тобой царям,
Жестоки времена и строги
Во стойлы конски обратят.
За счастие поруки нету,
И чтоб твой Феб светил век свету,
Не бейся об заклад.

Так, так! — но примечай, как день,
Увы! ночь темна затмевает;
Луну скрывает облак, тень;
Она растет иль убывает:

С сумой не ссорься и тюрьмой.
Хоть днесь к звездам ты высишь стены,
Но знай: ты прах одушевленный
И скроешься землей.

Надежней гроба дома нет,
Богатым он отверст и бедным;
И царь и раб в него придет:
К чему ж с столь рвеньем ты безмерным
Свой постоялый строишь двор,
И ах! сокровищи Тавриды
На барках свозишь в пирамиды
Средь полицейских ссор?

Любовь граждан и слава нам
Лишь воздвигают прочны домы;
Они, подобно небесам,
Стоят и презирают громы.
Зри, хижина Петра до днесь,
Как храм, нетленна средь столицы!
Свят дом, под кой народ гробницы
Матвееву принес!

Рабочих в шуме голосов,
Машин во скрыпе, во стенаньи,
Средь громких песен и пиров
Трудись, сосед, и строй ты зданьи;
Но мой не отнимай лишь свет.
А то оставь молве правдивой
Решить: чей дом скорей крапивой
Иль плющем зарастет?

1791; 1798 (?)

Анакреон в собрании

Нежный, нежный воздыхатель,
О певец любви и неги!
Ты когда бы лишь увидел
Столько нимф и столько милых,
Без вина бы и без хмелю
Ты во всех бы в них влюбился;

И в мечте иль в восхищеньи
Ты бы видел, будто въяве:
На станице птичек белых
Во жемчужной колеснице,
Как на облачке весеннем
Тихим воздуха дыханьем,
Со колчаном вьется мальчик,
С позлащенным легким луком,
И туда-сюда летает;
И садится он по нимфам,
То на ту, то на иную,
Как садятся желты пчелы
На цветы в полях младые.
Он у той блистал во взглядах,
У иной блистал в улыбке
И пускал оттуда жалы,
Как лучи пускает солнце.
Жалы были ядовиты,
Но и меду были слаще,
Не летали они мимо,
Попадали они в душу,
И душа б твоя томилась,
Уязвленная любовью;
Лишь Паллады щит небесной
Утолил твои бы вздохи.

1791

К силуэту Ивана Ивановича Хемницера

Эзоп лампадой освещал;
А басня кистию тень с истины снимала,—
Лицом Хемницера незапно тень та стала,
Котору в баснях он столь живо описал.

Ок. 1791

Скромность

Тихий, милый ветерочек,
Коль порхнешь ты на любезну,
Как вздыханье ей в ушко шепчи.
Если спросит, чье? — молчи.

Чистый, быстрый ручеечек,
Если встретишь ты любезну,
Как слезинка ей в лицо плещи.
Если спросит, чья? — молчи.

Ясный, ведряный денечек,
Как осветишь ты любезну,
Взглядов пламенных ей брось лучи.
Если спросит, чьи? — молчи.

Темный, миртовый лесочек,
Как сокроешь ты любезну,
Тихо веткой грудь ей щекочи.
Если спросит, кто? — молчи.

1791; 1798

Заздравный орел

По северу, по югу
С Москвы орел парит;
Всему земному кругу
Полет его звучит.

О! исполать, ребяты,
Вам, русские солдаты!
Что вы неустрашимы,
Никем непобедимы:
За здравье ваше пьем.

Орел бросает взоры
На льва и на луну,
Стокгольмы и Босфоры
Все бьют челом ему.

О! исполать вам, вои,
Бессмертные герои,
Румянцев и Суворов!
За столько славных боев:
Мы в память вашу пьем.

Орел глядит очами
На солнце в высоты,
Герои под шлемами —
На женски красоты.

О! исполать, красотки,
Вам, росски амазонки!
Вы в мужестве почтенны,
Вы в нежности любезны:
　　За здравье ваше пьем!

1791; 1801

На умеренность

Благополучнее мы будем,
Коль не дерзнем в стремленье волн,
Ни в вихрь, робея, не принудим
Близ берега держать наш челн.
Завиден тот лишь состояньем,
Кто среднею стезей идет,
Ни благ не восхищен мечтаньем,
Ни тьмой не ужасаем бед;
Умерен в хижине, чертоге,
Равен в покое и тревоге.

Собрать не алчет миллионов,
Не скалится на жирный стол;
Не требует ничьих поклонов
И не лощит ничей сам пол;
Не вьется в душу к царску другу,
Не ловит таинств и не льстит;
Готов на труд и на услугу
И добродетель токмо чтит.
Хотя и царь его ласкает,
Он носа вверх не поднимает.

Он видит, что и дубы мшисты
Кряхтят, падут с вершины гор,
Перун дробит бугры кремнисты
И пожигает влажный бор.
Он видит, с белыми горами
Вверх скачут с шумом корабли;
Ревут, и черными волнами
Внутрь погребаются земли;
Он видит — и, судьбе послушен,
В пременах света равнодушен.

Он видит — и, душой мужаясь,
В несчастии надежды полн;
Под счастьем же, не утомляясь,
В беспечный не вдается сон;
Себя и ближнего покоя,
Чтит бога, веру и царей;
Царств метафизикой не строя,
Смеется, зря на пузырей,
Летящих флотом к небу с грузом,
И вольным быть не мнит французом.

Он ведает: доколе страсти
Волнуются в людских сердцах,
Нет вольности, нет равной части
Царю в венце, рабу в цепях;
Несет свое всяк в свете бремя,
Других всяк жертва и тиран,
Течет в свое природа стремя;
А сей закон коль ввек ей дан,
Коль ввек мы под страстьми стенаем,—
Каких же дней златых желаем?

Всяк долгу раб.— Я не мечтаю
На воздухе о городах;
Всем счастливых путей желаю
К фортуне по льду на коньках.
Пускай Язон с Колхиды древней
Златое сбрил себе руно,
Крез завладел чужой деревней,
Марс откуп взял,— мне все равно,
Я не завидлив на богатство
И царских сумм на святотатство.

Когда судьба качает в люльке,
Благословляю часть мою;
Нет дел — играю на бирюльке,
Средь муз с Горацием пою.
Но если б царь где доброй, редкой
Велел мне грамотки писать,
Я б душу не вертел рулеткой,
А стал бы пнем — и стал читать
Равно о людях, о болванах,
О добродетелях в карманах.

А ежели б когда и скушно
Меня изволил он принять,
Любя его, я равнодушно
И горесть стал бы ощущать,
И шел к нему опять со вздором
Суда и милости просить.
Равно когда б и светлым взором
Со мной он вздумал пошутить
И у меня просить прощенья,—
Не заплясал бы с восхищенья,

Но с рассужденьем удивлялся
Великодушию его,
Не вдруг на похвалы пускался;
А в жаре сердца моего
Воспел его бы без притворства
И в сказочке сказал подчас:
«Ты громок браньми — для потомства,
Ты мил щедротами — для нас,
Но славы и любви содетель
Тебе твоя лишь добродетель».

Смотри и всяк, хотя б чрез шашни
Фортуны стал кто впереди,
Не сплошь спускай златых змей с башни
И, глядя в небо, не пади;
Держися лучше середины
И ближнему добро твори;
Назавтра крепостей с судьбины
Бессильны сами взять цари.
Есть время,— сей, оно превратно;
Прошедше не придет обратно.

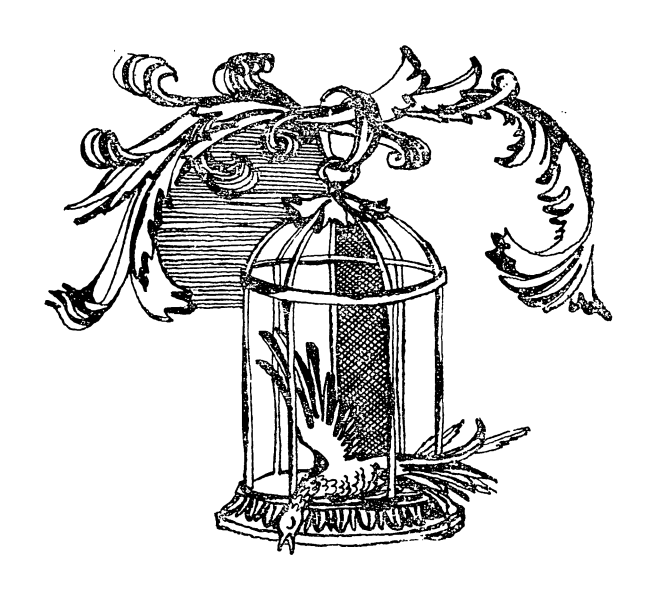
Хоть чья душа честна, любезна,
Хоть бескорыстен кто, умен,—
Но коль умеренность полезна
И тем, кто славою пленен!
Умей быть без обиды скромен,
Осанист, тверд, но не гордец;
Решим без скорости, спокоен,
Без хитрости ловец сердец;
Вздув в ясном парусá лазуре,
Умей их не сронить и в буре.

1792

На птичку

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту;
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

1792 или 1793



Амур и Псишея

Амуру вздумалось Псишею,
Резвяся, поймать,
Опутаться цветами с нею
И узел завязать.

Прекрасна пленница краснеет
И рвется от него;
А он как будто бы робеет
От случая сего.

Она зовет своих подружек,
Чтоб узел развязать;
И он своих крылатых служек,
Чтоб помощь им подать.

Приятность, младость к ним стремятся
И им служить хотят;
Но узники не суетятся,
Как вкопаны стоят.

Ни крылышком Амур не тронет,
Ни луком, ни стрелой;
Психея не бежит, не стонет,
Свились, как лист с травой.

Так будь, чета, век нераздельна,
Согласием дыша:
Та цепь тверда, где сопряженна
С любовию душа.

1793

Храповицкому

Товарищ давний, вновь сосед,
Приятный, острый Храповицкой!
Ты умный мне даешь совет,
Чтобы владычице киргизской
Я песни пел
И лирой ей хвалы гремел.

Так, так,— за средственны стишки
Монисты, гривны, ожерелья,
Бесценны перстни, камешки
Я брал с нее бы за безделья
И был — гудком —
Давно Мурза с большим усом.

Но ежели наложен долг
Мне от судеб и вышня трона,
Чтоб не лучистый милый бог
С высот лазурна Геликона
Меня внушал,
Но я экстракты б сочинял,

Был чтец и пономарь Фемиды
И ей служил пред алтарем;
Как омофором от обиды
Одних покрыв, других мечом
Своим страшит
И счастье всем она дарит,—

То как Я<кобия> оставить,
Которого весь мир теснит?
Как Л<огинова> дать оправить,
Который золотом гремит?
Богов певец
Не будет никогда подлец.

Ты сам со временем осудишь
Меня за мглистый фимиам;
За правду ж чтить меня ты будешь,
Она любезна всем векам;
В ее венце
Светлее царское лице.

1793

Горелки

На поприще сей жизни склизком
Все люди бегатели суть:
В теченьи дальном или близком
Они к мете своей бегут.

И сильный тамо упадает,
Свой кончить бег где не желал:
Лежит; но спорника, мечтает,
Коль не споткнулся бы,— догнал.

Надеждой, самолюбья дщерью,
Весь возбуждается сей свет;
Всяк рвенье прилагает к рвенью,
Чтоб у передних взять перед.

Хоть детской сей игре, забаве
И насмехается мудрец,
Но гордый дух летит ко славе,
И свят ему ее венец.

Сие ристалище отличий,
Соревнование честей —
Источник и творец величий
И обожения людей;

Оно изящного содетель,
Великолепен им сей свет:
Превозможенье, добродетель
Лишь им крепится и растет.

О! вы, рожденные судьбою
Вождями росским во́ждям быть,
Примеры подавать собою
И плески мира заслужить!

Дерзайте! рвение полезно,
Где предстоит вам славы вид;
Но больше праведно, любезно,
Кто милосердьем знаменит.

Екатерине подражая,
Ее стяжайте вы венец;
Она, добротами пленяя,
Царица подданных сердец.

1793

Колесница

Течет златая колесница
По расцветающим полям;
Седящий, правящий возница,
По конским натянув хребтам
Блестящи вожжи, держит стройно,
Искусством сравнивая их,
И в дальнем поприще спокойно
Осаживая скок одних,
Других же, к бегу побуждая,
Прилежно взорами блюдет;
К одной мете их направляя,
Грозит бичом иль им их бьет.

Животные, отважны, горды,
Под хитрой ездока уздой
Лишенны дикия свободы
И сопряженны меж собой,
Едину волю составляют,
Взаимной силою везут;
Хоть под ярмом себя считают,
Но, ставя славой общий труд,
Дугой нагнув волнисты гривы,
Бодрятся, ре́звятся, бегут,
Великолепный и красивый
Вид колеснице придают.

Возница вожжи ослабляет,
Смиренством коней убедясь,
Вздремал.— И тут врасплох мелькает
Над ними черна тень, виясь,
Коварных вранов, своевольных:
Кричат — и, потемняя путь,
Пужают ко́ней толь покойных.—
Дрожат, храпят, ушми прядут
И, стиснув сталь во рту зубами,
Из рук возницы вожжи рвут,
Бросаются, и прах ногами
Как вихорь под собою вьют;
Как стрелы, из лука пущенны,
Летят они во весь опор.
От сна возница возбужденный
Поспешно открывает взор.

Уже колеса позлащенны
Как огнь, сквозь пыль кружась, гремят:
Ездок, их шумом устрашенный,
Вращая побледнелый взгляд,
Хватает вожжи, но уж поздно;
Зовет по именам коней,
Кричит и их смиряет грозно;
Но уж они его речей
Не слушают, не понимают,
Не знают голоса того,
Кто их любил, кормил,— пыхают
И зверски взоры на него
Бросают страшными огнями.
Уж дым с их жарких морд валит,
Со ребр лиется пот реками,
Со спин пар облаком летит,
Со бразд кровава пена клубом
И волны от копыт текут.

Уже, в жару ярясь сугубом,
Друг друга жмут, кусают, бьют
И, по распутьям мчась в расстройстве,
Как бы волшебством обуяв,
Рвут сбрую в злобном своевольстве;
И, цели своея не знав,
Крушат подножье, ось, колеса,
Возница падает под них.
Без управленья, перевеса,
И колесница вмиг,
Как лодка, бурей устремленна,
Без кормщика, снастей, средь волн,
Разломанна и раздробленна
В ров мрачный вержется вверх дном.

Рассбруенные Буцефалы,
Томясь от жажды, от алчбы,
Чрез камни, пни, бугры, забралы
Несутся, скачут на дыбы,—
И что ни встретят, сокрушают.
Отвсюду слышен вопль и стон,
Кровавы реки протекают,
По стогнам мертвых миллион!

И в толь остервененьи лютом,
Все силы сами потеряв,
Падут стремглав смердящим трупом,
Безумной воли жертвой став.

Народ устроенный, блаженный
Под царским некогда венцом,
Чей вкус и разум просвещенный
Европе были образцом;
По легкости своей известный,
По остроте своей любим,
Быв добрый, верный, нежный, честный
И преданный царям своим,—
Не ты ли в страшной сей картине
Мне представляешься теперь?
Химер опутан в паутине,
Из человека лютый зверь!

Так, ты! о Франция несчастна,
Пример безверья, безначальств,
Вертеп убийства преужасна,
Гнездо безнравья и нахальств.
Так, ты, на коей тяжку руку
Мы зрим разгневанных небес,
Урок печальный и науку,
Свет изумляющие весь.
От филосо́фов просвещенья,
От лишней царской доброты,
Ты пала в ха́ос развращенья
И в бездну вечной срамоты.

О вы, венчанные возницы,
Бразды держащие в руках,
И вы, царств славных колесницы
Носящи на своих плечах!
Учитесь из сего примеру
Царями, подданными быть,
Блюсти законы, нравы, веру
И мудрости стезей ходить.
Учитесь, знайте: бунт народный
Как искра чуть сперва горит,
Потом лиет пожара волны,
Которых берег небом скрыт.

1793; 1804

Меркурию

Почто меня от Аполлона,
Меркурий! ты ведешь с собой,
Средь пышного торговли трона
Мне кажешь ворох золотой?
Сбирать, завидовать — измлада
Я не привык, и не хочу.
Богатство ль старику награда?
Давно с презреньем я топчу
Его всю прелесть равнодушно.

Коль я здоров, хлеб-соль имею,
И дар мне дан судьи, певца,
И челобитчиков я смею
Встречать с переднего крыльца,
И к небогатому богатый
За ну́ждою ко мне идет,
За храм — мои просты палаты,
За золото — солому чтет,—
На что же мне твоя излишность?

Но ах! когда я стал послушен
Тебе, мой вождь и бог златой,—
То будь и ты великодушен
И мой не отними покой;
Но хлопотать когда устану,
Весь день быв жертвой и игрой
Среброчешуйну океану,—
Позволь, как грянет гром, домой
Пришедшему обнять мне музу.

Да вместо виста и бостону
Я с ней на лире порезвлюсь,
Монаршу, божеску закону,
Суду и правде поучусь;
Не дам волкам овечки скушать;
А ты, коль хочешь одолжить,
Приди моей сей песни слушать,
Посеребрить, позолотить
Мою трубу Екатерине.

1794

Буря

Судно, по морю носимо,
Реет между черных волн;
Белы горы и́дут мимо,
В шуме их — надежд я полн.

Кто из туч бегущий пламень
Гасит над моей главой?
Чья рука за твердый камень
Малый челн заводит мой?

Ты, творец, господь всесильный,
Без которого и влас
Не погибнет мой единый,
Ты меня от смерти спас!

Ты мне жизнь мою пробавил,
Весь мой дух тебе открыт;
В сонм вельмож меня поставил,—
Будь средь них мой вождь и щит.

1794

Призывание и явление Плениры

Приди ко мне, Пленира,
В блистании луны,
В дыхании зефира,
Во мраке тишины!
Приди в подобьи тени,
В мечте иль легком сне
И, седши на колени,
Прижмися к сердцу мне;
Движения исчисли,
Вздыхания измерь
И все мои ты мысли
Проникни и поверь:
Хоть острый серп судьбины
Моих не косит дней,
Но нет уж половины
Во мне души моей.

Я вижу, ты в тумане
Течешь ко мне рекой,
Пленира! на диване
Простерлась надо мной,
И легким осязаньем
Уст сладостных твоих,
Как ветерок дыханьем,
В объятиях своих
Меня ты утешаешь
И шепчешь нежно в слух:
«Почто так сокрушаешь
Себя, мой милый друг?
Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слез ни лей;
Миленой половину
Займи души твоей».

1794

Пчелка

Пчелка златая!
Что ты жужжишь?
Всё вкруг летая,
Прочь не летишь?
Или ты любишь
Лизу мою?

Соты ль душисты
В желтых власах,
Розы ль огнисты
В алых устах,
Сахар ли белый
Грудь у нее?

Пчелка златая!
Что ты жужжишь?
Слышу, вздыхая,
Мне говоришь:
«К меду прилипнув,
С ним и умру».

1794

Вельможа

Не украшение одежд
Моя днесь муза прославляет,
Которое, в очах невежд,
Шутов в вельможи наряжает;
Не пышности я песнь пою;
Не истуканы за кристаллом,
В кивотах блещущи металлом,
Услышат похвалу мою.

Хочу достоинствы я чтить,
Которые собою сами
Умели титлы заслужить
Похвальными себе делами;
Кого ни знатный род, ни сан,
Ни счастие не украшали;
Но кои доблестью снискали
Себе почтенье от гражда́н.

Кумир, поставленный в позор,
Несмысленную чернь прельщает;
Но коль художников в нем взор
Прямых красот не ощущает,—
Се образ ложныя молвы,
Се глыба грязи позлащенной!
И вы, без благости душевной,
Не все ль, вельможи, таковы?

Не перлы перские на вас
И не бразильски звезды ясны,—
Для возлюбивших правду глаз
Лишь добродетели прекрасны,
Они суть смертных похвала.
Калигула! твой конь в Сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела.

Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

О! тщетно счастия рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака.

Каких ни вымышляй пружин,
Чтоб мужу бую умудриться,
Не можно век носить личин,
И истина должна открыться.
Когда не сверг в боях, в судах,
В советах царских, супостатов,—
Всяк думает, что я Чупятов
В мароккских лентах и звездах.

Оставя скипетр, трон, чертог,
Быв странником, в пыли и в поте,
Великий Петр, как некий бог,
Блистал величеством в работе:
Почтен и в рубище герой!
Екатерина в низкой доле
И не на царском бы престоле
Была великою женой.

И впрямь, коль самолюбья лесть
Не обуяла б ум надменный,—
Что наше благородство, честь,
Как не изящности душевны?
Я князь — коль мой сияет дух;
Владелец — коль страстьми владею;
Болярин — коль за всех болею,
Царю, закону, церкви друг.

Вельможу до́лжны составлять
Ум здравый, сердце просвещенно;
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно,
Что он орудье власти есть,
Подпора царственного зданья;
Вся мысль его, слова, деянья
Должны быть — польза, слава, честь.

А ты, вторый Сарданапал!
К чему стремишь всех мыслей беги?
На то ль, чтоб век твой протекал
Средь игр, средь праздности и неги?
Чтоб пурпур, злато всюду взор
В твоих чертогах восхищали,
Картины в зеркалах дышали,
Мусия, мрамор и фарфор?

На то ль тебе пространный свет,
Простерши раболепны длани,
На прихотливый твой обед
Вкуснейших яств приносит дани,
Токай — густое льет вино,
Левант — с звездами кофе жирный,
Чтоб не хотел за труд всемирный
Мгновенье бросить ты одно?

Там воды в просеках текут
И, с шумом вверх стремясь, сверкают;
Там розы средь зимы цветут
И в рощах нимфы воспевают
На то ль, чтобы на всё взирал
Ты оком мрачным, равнодушным,
Средь радостей казался скучным
И в пресыщении зевал?

Орел, по высоте паря,
Уж солнце зрит в лучах полдневных,—
Но твой чертог едва заря
Румянит сквозь завес червленных;
Едва по зыблющим грудям
С тобой лежащая Цирцеи
Блистают розы и лилеи,
Ты с ней покойно спишь,— а там?

А там израненный герой,
Как лунь во бранях поседевший,
Начальник прежде бывший твой,—
В переднюю к тебе пришедший
Принять по службе твой приказ,—
Меж челядью твоей златою,
Поникнув ла́вровой главою,
Сидит и ждет тебя уж час!

А там — вдова стоит в сенях
И горьки слезы проливает,
С грудным младенцем на руках,
Покрова твоего желает.
За выгоды твои, за честь
Она лишилася супруга;
В тебе его знав прежде друга,
Пришла мольбу свою принесть.

А там — на лестничный восход
Прибрел на костылях согбенный
Бесстрашный, старый воин тот,
Тремя медальми украшенный,
Которого в бою рука
Избавила тебя от смерти:
Он хочет руку ту простерти
Для хлеба от тебя куска.

А там, — где жирный пес лежит,
Гордится вратник галунами, —
Заимодавцев полк стоит,
К тебе пришедших за долгами.
Проснися, сибарит! — Ты спишь
Иль только в сладкой неге дремлешь,
Несчастных голосу не внемлешь
И в развращенном сердце мнишь:

«Мне миг покоя моего
Приятней, чем в истории веки;
Жить для себя лишь одного,
Лишь радостей уметь пить реки,
Лишь ветром плыть, гнесть чернь ярмом;
Стыд, совесть — слабых душ тревога!
Нет добродетели! нет бога!» —
Злодей, увы! — И грянул гром.

Блажен народ, который полн
Благочестивой веры к богу,
Хранит царев всегда закон,
Чтит нравы, добродетель строгу
Наследным перлом жен, детей,

В единодушии — блаженство,
Во правосудии — равéнство,
Свободу — во узде страстей!

Блажен народ! — где царь главой,
Вельможи — здравы члены тела,
Прилежно долг все правят свой,
Чужого не касаясь дела;
Глава не ждет от ног ума
И сил у рук не отнимает,
Ей взор и ухо предлагает,—
Повелевает же сама.

Сим твердым у́злом естества
Коль царство лишь живет счастливым,—
Вельможи! — славы, торжества
Иных вам нет, как быть правдивым;
Как блюсть народ, царя любить,
О благе общем их стараться;
Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять — и правду говорить.

О росский бодрственный народ,
Отечески хранящий нравы!
Когда расслаб весь смертных род,
Какой ты не причастен славы?
Каких в тебе вельможей нет? —
Тот храбрым был средь бранных звуков;
Здесь дал бесстрашный Долгоруков
Монарху грозному ответ.

И в наши вижу времена
Того я славного Камилла,
Которого труды, война
И старость дух не утомила.
От грома звучных он побед
Сошел в шалаш свой равнодушно,
И от сохи опять послушно
Он в поле Марсовом живет.

Тебе, герой! желаний муж!
Не роскошью, вельможа славный;

Кумир сердец, пленитель душ,
Вождь, лавром, ма́слиной венчанный!
Я праведну здесь песнь воспел.
Ты ею славься, утешайся,
Борись вновь с бурями, мужайся,
Как юный возносись орел.

Пари — и с высоты твоей
По мракам смутного эфира
Громовой пролети струей
И, опочив на лоне мира,
Возвесели еще царя.—
Простри твой поздный блеск в народе,
Как отдает свой долг природе
Румяна вечера заря.

1794

Мой истукан

Готов кумир, желанный мною,
Рашетт его изобразил!
Он хитрою своей рукою
Меня и в камне оживил.
Готов кумир! — И будет чтиться
Искусство Праксителя в нем,—
Но мне какою честью льститься
В бессмертном истукане сем?
Без славных дел, гремящих в мире,
Ничто и царь в своем кумире.

Ничто! и не живет тот смертный,
О ком ни малой нет молвы,
Ни злом, ни благом не приметный,
Во гробе погребен живый.
Но ты, о зверских душ забава!
Убийство! — я не льщусь тобой,
Батыев и Маратов слава
Во ужас дух приводит мой;
Не лучше ли мне быть забвенну,
Чем узами сковать вселенну?

Злодейства малого мне мало,
Большого делать не хочу;
Мне скиптра небо не вручало,
И я на небо не ропчу.
Готов я управляться властью;
А если ею и стеснюсь
Чрез зло,— моей я низкой частью
С престолом света не сменюсь.
Та мысль всех казней мне страшнее:
Представить в вечности злодея!

Злодей, который самолюбью
И тайной гордости своей
Всем жертвует; его орудью
Преграды нет, алчбе — цепей;
Внутрь совестью своей размучен,
Вне с радостью губит других;
Пусть дерзостью, удачей звучен,
Но не велик в глазах моих.
Хотя бы богом был он злобным,
Быть не хочу ему подобным.

Легко злом мир греметь заставить,
До Герострата только шаг;
Но трудно доблестью прославить
И воцарить себя в сердцах:
Век должно добрым быть нам тщиться,
И плод нам время даст одно;
На зло лишь только бы решиться,
И вмиг соделано оно.
Редка на свете добродетель,
И редок благ прямых содетель.

Он редок! — Но какая разность
Меж славой доброй и худой?
Чтоб имя приобресть нам, знатность,
И той греметь или другой,
Не все ль равно? — Когда лишь будет
Потомство наши знать дела,
И злых и добрых не забудет.
Ах, нет! — природа в нас влила
С душой и отвращенье к злобе,
Любовь к добру — и сущим в гробе.

Мне добрая приятна слава,
Хочу я человеком быть,
Которого страстей отрава
Бессильна сердце развратить;
Кого ни мзда не ослепляет,
Ни сан, ни месть, ни блеск порфир;
Кого лишь правда научает,
Любя себя, любить весь мир
Любовью мудрой, просвещенной,
По добродетели священной.

По ней, котора составляет
Вождей любезных и царей;
По ней, котора извлекает
Сладчайши слезы из очей.
Эпаминонд ли защититель
Или благотворитель Тит,
Сократ ли, истины учитель,
Или правдивый Аристид,—
Мне все их имена почтенны
И истуканы их священны.

Священ мне паче зрак героев,
Моих любезных сограждáн,
Пред троном, на суде, средь боев
Душой великих россиян.
Священ! — Но если здесь я чести
Совре́менных не возвещу,
Боясь подозренья в лести,—
То вас ли, вас ли умолчу,
О праотцы! делами славны,
Которых вижу истуканы?

А если древности покровом
Кто предо мной из вас и скрыт,
В венце оливном и лавровом
Великий Петр как жив стоит;
Монархи мудры, милосерды,
За ним отец его и дед;
Отечества подпоры тверды,
Пожарский, Минин, Филарет,
И ты, друг правды, Долгоруков!
Достойны вечной славы звуков.

Достойны вы! — Но мне ли права
Желать — быть с вами на ряду?
Что обо мне расскажет слава,
Коль я безвестну жизнь веду?
Не спас от гибели я царства,
Царей на трон не возводил,
Не стер терпением коварства,
Богатств моих не приносил
На жертву, в подкрепленье трона,
И защитить не мог закона.

Увы! — Почто ж сему болвану
На свете место занимать,
Дурную, лысу обезьяну
На смех ли детям представлять,
Чтоб видели меня потомки
Под паутиною в пыли,
Рабы ступали на обломки
Мои, лежащи на земли?
Нет! лучше быть от всех забвенным,
Чем брошенным и ввек презренным.

Разбей же, мой вторый создатель,
Разбей мой истукан, Рашетт!
Румянцева лица ваятель
Себе мной чести не найдет;
Разбей! — Или постой немного;
Поищем, нет ли дел каких,
По коим бы, хотя не строго
Судя о качествах моих,
Ты мог ответствовать вселенной
За труд, над мною понесенной.

Поищем! — Нет. — Мои безделки
Безумно столько уважать,
Дела обыкновенны мелки,
Чтоб нас заставить обожать;
Хотя б я с пленных снял железы,
Закон и правду сохранил,
Отер сиротски, вдовьи слезы,
Невинных оправдатель был,
Орга́н монарших благ и мира, —
Не стоил бы и тут кумира.

Не стоил бы: все знаки чести,
Дозволенны самим себе,
Плоды тщеславия и лести,
Монарх! постыдны и тебе.
Желает хвал, благодаренья
Лишь низкая себе душа,
Живущая из награжденья,—
По смерти слава хороша;
Заслуги в гробе созревают,
Герои в вечности сияют.

Но если дел и не имею,
За что б кумир мне посвятить,—
В достоинство вменить я смею,
Что знал достоинствы я чтить,
Что мог изобразить Фелицу,
Небесну благость во плоти,
Что пел я россов ту царицу,
Какой другой нам не найти
Ни днесь, ни впредь в пространстве мира:
Хвались моя, хвались тем, лира!

Хвались! — и образ мой скудельной
В храм славы возноси с собой;
Ты можешь быть столь дерзновенной,
Коль тихой некогда слезой
Ты взор кропя Екатерины
Могла приятною ей быть;
Взносись, и достигай вершины,
Чтобы на ней меня вместить,
Завистников моих к досаде,
В ее прекрасной колоннаде.

На твердом мраморном помосте,
На мшистых сводах меж столпов,
В меди, в величественном росте,
Под сенью райских вкруг дерев,
Поставь со славными мужами!
Я стану с важностью стоять;
Как от зарей всяк день лучами,
От светлых царских лиц блистать,
Не движим вихрями, ни громом,
Под их божественным покровом.

Прострется облак благовонный,
Коврами вкруг меня цветы.—
Постой, пиит, восторга полный!
Высоко залетел уж ты;
В пыли валялись и Омиры.
Потомство — грозный судия:
Оно рассматривает лиры,
Услышит глас и твоея,
И пальмы взвесит и перуны,
Кому твои гремели струны.

Увы! легко случиться может,
Поставят и тебя льстецом;
Кого днесь тайно злоба гложет,
Тот будет завтра въявь врагом;
Трясут и троны люди злые:
То, может быть, и твой кумир
Через решетки золотые
Слетит и рассмешит весь мир,
Стуча с крыльца ступень с ступени,
И скатится в древесны тени.

Почто ж позора ждать такого?
Разбей, Рашетт, мои черты!
Разбей! — Нет, нет; еще полслова
Позволь сказать себе мне ты.
Пусть тот, кто с бóльшим дарованьем
Мог добродетель прославлять,
С усерднейшим, чем я, стараньем
Желать добра и исполнять,
Пусть тот, не медля, и решится,—
И мой кумир им сокрушится.

Я рад отечества блаженству:
Дай больше, небо, таковых,
Российской силы к совершенству,
Сынов ей верных и прямых!
Определения судьбины
Тогда исполнятся во всем;
Доступим мира мы средины,
С Гангеса злато соберем;
Гордыню усмирим Китая,
Как кедр, наш корень утверждая.

Тогда, каменосечец хитрый!
Кумиры твоего резца
Живой струей испустят искры
И в внучатах возжгут сердца.
Смотря на образ Марафона,
Зальется Фемистокл слезой,
Отдаст Арману Петр полтрона,
Чтоб править научил другой;
В их урнах фениксы взродятся
И вслед их славы воскрылятся.

А ты, любезная супруга!
Меж тем возьми сей истукан;
Спрячь для себя, родни и друга
Его в серпяный твой диван;
И с бюстом там своим, мне милым,
Пред зеркалом их в ряд поставь,
Во знак, что с сердцем справедливым
Не скрыт наш всем и виден нрав.
Что слава! — Счастье нам прямое
Жить с нашей совестью в покое.

1794

Ласточка

О домовитая Ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнездышком сидя поешь,
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьешь.
Ты часто по воздуху вьешься,
В нем смелые кру́ги даешь;
Иль стелешься долу, несешься,
Иль в небе простряся плывешь.
Ты часто во зеркале водном
Под рдяной играешь зарей,
На зыбком лазуре бездонном
Тенью мелькаешь твоей.
Ты часто, как молния, реешь
Мгновенно туды и сюды;

Сама за собой не успеешь
Невидимы видеть следы,—
Но видишь там всю ты вселенну,
Как будто с высот на ковре:
Там башню, как жар, позлащенну,
В чешуйчатом флот там сребре;
Там рощи в одежде зеленой,
Там нивы в венце золотом,
Там холм, синий лес отдаленный,
Там мошки толкутся столпом;
Там гнутся с утеса в понт воды,
Там ластятся струи к берегам.
Всю прелесть ты видишь природы,
Зришь лета роскошного храм;
Но видишь и бури ты черны
И осени скучной приход;
И прячешься в бездны подземны,
Хладея зимою, как лед.
Во мраке лежишь бездыханна,—
Но только лишь при́дет весна
И роза вздохнет лишь румяна,
Встаешь ты от смертного сна;
Встанешь, откроешь зеницы
И новый луч жизни ты пьешь;
Сизы расправя косицы,
Ты новое солнце поешь.

Душа моя! гостья ты мира:
Не ты ли перната сия? —
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я,—
Восстану — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?

1792; 1794

На смерть Катерины Яковлевны, 1794 году июля 15 дня приключившуюся

Уж не ласточка сладкогласная,
Домовитая со застрехи,
Ах! моя милая, прекрасная
Прочь отлетела,— с ней утехи.

Не сияние луны бледное
Светит из облака в страшной тьме,
Ах! лежит ее тело мертвое,
Как ангел светлый во крепком сне.

Роют псы землю, вкруг завывают,
Воет и ветер, воет и дом;
Мою милую не пробуждают;
Сердце мое сокрушает гром!

О ты, ласточка сизокрылая!
Ты возвратишься в дом мой весной;
Но ты, моя супруга милая,
Не увидишься век уж со мной.

Уж нет моего друга верного,
Уж нет моей доброй жены,
Уж нет товарища бесценного,
Ах, все они с ней погребены.

Все опустело! Как жизнь мне снести?
Зельная меня съела тоска.
Сердца, души половина, прости,
Скрыла тебя гробова́ доска.

1794

К лире

Звонкоприятная лира!
В древни златые дни мира
Сладкою силой твоей
Ты и богов, и царей,
Ты и народы пленяла.

Глас тихострунный твой, звоны,
Сердце прельщающи тоны
С дебрей, вертепов, степей
Птиц созывали, зверей,
Холмы и дубы склоняли.

Ныне железные ль веки?
Тверже ль кремней человеки?
Сами не знаясь с тобой,
Свет не пленяют игрой,
Чужды красот доброгласья.

Доблестью чужды плениться,
К злату, к сребру лишь стремятся,
Помнят себя лишь одних;
Слезы не трогают их,
Вопли сердец не доходят.

Души все льда холоднее.
В ком же я вижу Орфея?
Кто Аристон сей младой?
Нежен лицом и душой,
Нравов благих преисполнен?

Кто сей любитель согласья?
Скрытый зиждитель ли счастья?
Скромный смиритель ли злых?
Дней гражданин золотых,
Истый любимец Астреи!

1794

Соловей

На хо́лме, сквозь зеленой рощи,
При блеске светлого ручья,
Под кровом тихой майской нощи,
Вдали я слышу соловья.
По ве́трам легким, благовонным
То свист его, то звон летит,
То, шумом заглушаем водным,
Вздыханьем сладостным томит.

Певец весенних дней пернатый,
Любви, свободы и утех!
Твой глас отрывный, перекаты
От грома к нежности, от нег
Ко плескам, трескам и перунам,
Средь поздних, ранних красных зарь,
Раздавшись неба по лазурям,
В безмолвие приводят тварь.

Молчит пустыня, изумленна,
И ловит гром твой жадный слух
На крыльях эха раздробленна
Пленяет песнь твоя всех дух.
Тобой цветущий дол смеется,
Дремучий лес пускает гул;
Река бегущая чуть льется,
Стоящий холм чело нагнул.

И, свесясь со скалы кремнистой,
Густокудрява мрачна ель
Напев твой яркий, голосистый
И рассыпную звонку трель,
Как очарованна, внимает.
Не смеет двигнуться луна
И свет свой слабо ниспускает;
Восторга мысль моя полна!

Какая громкость, живость, ясность
В созвучном пении твоем,
Стремительность, приятность, каткость
Между колен и перемен!
Ты щелкаешь, крути́шь, поводишь,
Журчишь и стонешь в голосах;

В забвенье души ты приводишь
И отзываешься в сердцах.

О! если бы одну природу
С тобою взял я в образец,
Воспел богов, любовь, свободу,—
Какой бы славный был певец!
В моих бы песнях жар и сила
И чувствы были вместо слов;
Картину, мысль и жизнь явила
Гармония моих стихов.

Тогда б подобно Тимотею,
В шатре персидском я возлег
И сладкой лирою моею
Царево сердце двигать мог:
То, вспламеняя любовной страстью,
К Таисе бы его склонял;
То, возбудя грозой, напастью,
Копье ему на брань вручал.

Тогда бы я между прудами
На мягку мураву воссел
И арфы с тихими струнами
Приятность сельской жизни пел;
Тогда бы нимфа мне внимала,
Боясь в зерцало вод взглянуть;
Сквозь дымку бы едва дышала
Ее высока, нежна грудь.

Иль храбрых россиян делами
Пленясь бы, духом возлетал,
Героев полк над облаками
В сиянье звезд я созерцал;
О! коль бы их воспел я сладко,
Гремя поэзией моей
Отважно, быстро, плавно, кратко,
Как ты, о дивный соловей!

1794

На кончину великой княжны Ольги Павловны

Ночь лишь седьмую
Мрачного трона
Степень прешла,
С росска Сиона
Звезду златую
Смерть сорвала.
Луч, покатяся
С синего неба,
В бездне погас!

Утрення, ясна,
Тень золотая!
Краток твой блеск.
Ольга прекрасна,
Ольга драгая!
Тень твой был век.
Что твое утро
В вечности целой?
Меней, чем миг!

Юная роза
Лишь развернула
Алый шипок,
Вдруг от мороза
В лоне уснула,
Свянул цветок:
Так и с царевной;
Нет уж в ней жизни,
Смерть на челе!

К отчему лону,
К матери нежной,
К братьям, сестра́м,
К скипетру, трону,
К бабке любезной,
К верным рабам,
Милый младенец!
Ты уж с улыбкой
Рук не прострешь.

Лик полутонный,
Тихое пенье,
Мрачность одежд,
Вздохи и стоны,
Слезно теченье,
В дыме блеск свеч,
Норда царицы
Бледность, безмолвье —
Страшный позор!

Где вы стеснились?
Что окружили?
Чей видим труп?
Иль вы забылись,
В гроб положили
Спящего тут
Ангела в теле? —
Ольга прекрасна
Ангел был наш.

Вижу в сиянье
Грады эфира,
Солнцы кругом!
Вижу собранье
Горнего мира;
Ангелов сонм,
Руки простерши,
Ольгу приемлют
В светлый свой полк.

Вижу блаженну
Чистую душу
Всю из огня,
В свет облеченну!
В райскую кущу
Идет дитя;
Зрит на Россию,
Зрит на Петрополь,
Зрит на родных,

Зрит на пииту,
Жизнь и успенье
Кто ее пел,

Чей в умиленье
Дождь на ланиту
Искрой летел;
Слышит звук лиры,
Томные гласы
Песни моей.

Мира содетель,
Святость и прочность
Царства суть чьи!
Коль добродетель
И непорочность
Слуги твои,
Коих ко смертным
Ты посылаешь
Стражами быть,—

Даждь, да над нами
Ольги блаженной
Плавает дух;
Чтоб, как очами,
Над полвселенной
Неба сей друг
Зрел нас звездами,
Дланью багряной
Сыпал к нам свет.

Племя Петрово,
Екатерины
Здравьем чело,
Сень бы лаврова,
Мирные крины —
Всё нам цвело;
Дни бы златые,
Сребряны росы
С облак лились.

Не было б царства
В свете другого
Сча́стливей нас;
Яда коварства,
Равенства злого,
Буйства зараз,

Вольности мнимой,
Ангел хранитель,
Нас ты избавь!

И средь эфира,
В дебри тьмозвездной,
В райской тиши,
Где днесь Пленира,
Друг мой любезной,
Сердца, души
В ней половину,
Гений России,
Призри мою!

1795

Приглашение к обеду

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В крафинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вкруг ожидая;
Хозяйка статная, младая
Готова руку протянуть.

Приди, мой благодетель давный,
Творец чрез двадцать лет добра!
Приди — и дом, хоть не нарядный,
Без ре́зьбы, злата и сребра,
Мой посети; его богатство —
Приятный только вкус, опрятство
И твердый мой, нельстивый нрав;
Приди от дел попрохладиться,
Поесть, попить, повеселиться,
Без вредных здравию приправ.

Не чин, не случай и не знатность
На русский мой простой обед
Я звал, одну благоприятность:

А тот, кто делает мне вред,
Пирушки сей не будет зритель.
Ты, ангел мой, благотворитель!
Приди — и насладися благ;
А вражий дух да отженется,
Моих порогов не коснется
Ничей недоброхотный шаг!

Друзьям моим я посвящаю,
Друзьям и красоте сей день;
Достоинствам я цену знаю
И знаю то, что век наш тень;
Что лишь младенчество проводим —
Уже ко старости приходим,
И смерть к нам смотрит чрез забор.
Увы! — то как не умудриться
Хоть раз цветами не увиться
И не оставить мрачный взор?

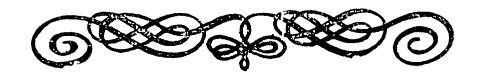
Слыхал, слыхал я тайну эту,
Что иногда грустит и царь;
Ни ночь, ни день покоя нету,
Хотя им вся покойна тварь.
Хотя он громкой славой знатен,
Но, ах! — и трон всегда ль приятен
Тому, кто век свой в хлопота́х?
Тут зрит обман, там зрит упадок:
Как бедный часовой тот жалок,
Который вечно на часах!

Итак, доколь еще ненастье
Не помрачает красных дней,
И приголубливает счастье,
И гладит нас рукой своей;
Доколе не пришли морозы,
В саду благоухают розы,
Мы поспешим их обонять.
Так! будем жизнью наслаждаться
И тем, чем можем, утешаться,
По платью ноги протягать.

А если ты иль кто другие
Из званых милых мне гостей,
Чертоги предпочтя златые

И яствы сахарны царей,
Ко мне не срядитесь откушать,—
Извольте мой вы толк прослушать:
Блаженство не в лучах порфир,
Не в вкусе яств, не в неге слуха,
Но в здравьи и спокойстве духа,—
Умеренность есть лучший пир.

1795



Фельдмаршалу графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому на пребывание его в Таврическом дворце 1795 года

Когда увидит кто, что в царском пышном доме
По звучном громе Марс почиет на соломе,
Что шлем его и меч хоть в лаврах зеленеют,
Но гордость с роскошью повержены у ног,
И доблести затмить лучи богатств не смеют,—
Не всяк ли скажет тут, что браней страшный бог,
Плоть Эпиктетову прияв, преобразился,
Чтоб мужества пример, воздержности подать,
Как внешних супостат, как внутренних сражать?
Суворов! страсти кто смирить свои решился,
Легко тому страны и царства покорить,
Друзей и недругов себя заставить чтить.

1795

Анакреон у печки

Случись Анакреону
Марию посещать;
Меж ними Купидону,
Как бабочке, летать.

Летал божок крылатый
Красавицы вокруг,
И стрелы он пернаты
Накладывал на лук.

Стрелял с ее небесных
И голубых очей,
И с роз в устах прелестных,
И на грудях с лилей.

Но арфу как Мария
Звончáтую взяла
И в струны золотыя
Свой голос издала,—

Под алыми перстами
Порхал резвее бог,
Острейшими стрелами
Разил сердца и жёг.

Анакреон у печки
Вздохнул тогда сидя,
«Как бабочка от свечки,
Сгорю,— сказал,— и я».

1795

Гостю

Сядь, милый гость! здесь на пуховом
Диване мягком, отдохни;
В сем тонком пологу, перловом,
И в зеркалах вокруг, усни;
Вздремли, после стола немножко
Приятно часик похрапеть:
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь.

Случится, что из снов прелестных
Приснится здесь тебе какой:
Хоть клад из облаков небесных
Златой посыплется рекой,
Хоть девушки мои домашни
Рукой тебе махнут,— я рад:
Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни клад.

Около 1795

Хариты

По следам Анакреона
Я хотел воспеть харит,
Феб во гневе с Геликона
Мне предстал и говорит:
«Как! и ты уже небесных
Дев желаешь воспевать? —
Столько прелестей бессмертных
Хочет смертный описать!
Но бывал ли на высоком
Ты Олимпе у богов?
Обнимал ли бренным оком
Ты веселье их пиров?
Видел ли харит пред ними,
Как под звук приятных лир,
Плясками они своими
Восхищают горний мир;
Как с протяжным тихим тоном
Важно павами плывут;

Как с веселым быстрым звоном
Голубками воздух вьют;
Как вокруг они спокойно
Величавый мещут взгляд;
Как их всех движеньи стройно
Взору, сердцу говорят?
Как хитоны их эфирны,
Льну подобные власы,
Очи светлые, сафирны
Помрачают всех красы?
Как богини всем собором
Признают: им равных нет,
И Минерва важным взором
Улыбается им вслед?
Словом: видел ли картины,
Непостижные уму?» —
«Видел внук Екатерины»,—
Я ответствовал ему.
Бог Парнаса усмехнулся,
Дав мне лиру, отлетел.—
Я струнам ее коснулся
И младых харит воспел.

1795

Флот

Он, белыми взмахнув крылами
По зыблющей равнине волн,
Пошел,— и следом пена рвами
И с страшным шумом искры, огнь
Под ним в пучине загорелись,
С ним рядом тень его бежит;
Ширинки с шлемов распростерлись,
Горé пред ним орел парит.

Водим Екатерины духом,
Побед и славы громкий сын,
Ступай еще, и землю слухом
Наполнь, о российский исполин!
Ты смело Сциллы и Харибды
И свет весь прежде проходил:
То днесь препятств какие виды?
И кто тебе их положил?

Ступай — и стань средь океана,
И брось твоих гортаней гром:
Европа, злобой обуянна,
И гидр лилейных бледный сонм
От гроз твоих да потрясется,
Проснется Людвиг звуком лир!
Та дщерью божьей наречется,
Кто даст смущенным царствам мир.

1795

Павлин

Какое гордое творенье,
Хвост пышно расширяя свой,
Черно-зелены в искрах перья
Со рассыпною бахромой
Позадь чешуйной груди кажет,
Как некий круглый, дивный щит?

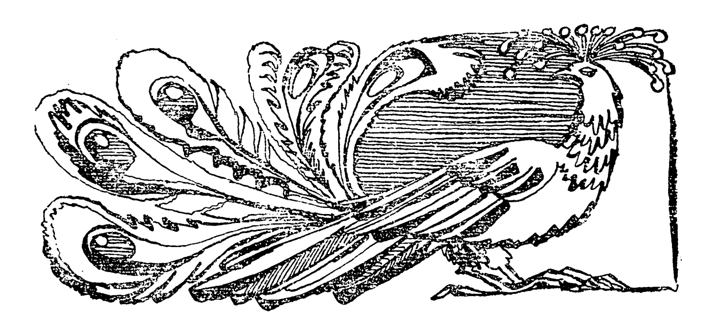
Лазурно-сизы-бирюзовы
На каждого конце пера,
Тенисты круги, волны новы
Струиста злата и сребра:
Наклонит — изумруды блещут!
Пове́рнет — яхонты горят!

Не то ли славный царь пернатый?
Не то ли райска птица *Жар*,
Которой столь убор богатый
Приводит в удивленье тварь?
Где ступит — радуги играют!
Где станет — там лучи вокруг!

Конечно, сила и паренье
Орлиные в ее крылах,
Глас трубный, лебедино пенье
В ее пресладостных устах;
А пеликана добродетель
В ее и сердце и душе!

Но что за чудное явленье?
Я слышу некий странный визг!
Сей Феникс опустил вдруг перья,
Увидя гнусность ног своих.—
О пышность! как ты ослепляешь!
И барин без ума — павлин.

1795



Доказательство творческого бытия

Небеса вещают божью славу,
   Рук его творенье твердь;
День за днем течет его уставу,
   Нощи нощь приносит весть.

Не суть речи то иль гласы лиры,
   Не доходит всем чей звон;
Но во все звучит глагол их миры,
   В безднах раздается тон.

Се чертог горит в зыбях эфира,
   Солнце блещет как жених,
Как герой грядет к победам мира,
   Мещет огнь очей своих.

С одного края́ небес лишь сходит,
   Уж сретается в другом.
Нет вертепов, он куда не вводит
   Теплоты своим лучом.

Всем закон природы зримый ясный
Может смертным доказать:
Без творца столь стройный мир, прекрасный
Сей не может пребывать.

<1796>

Другу

Пойдем сегодня благовонный
Мы черпать воздух, друг мой! в сад,
Где вязы светлы, сосны темны
Густыми купами стоят,
Который с милыми друзьями,
С подругами сердец своих
Садили мы, растили сами:
Уж ныне тень приятна в них.

Пусть Даша статна, черноока
И круглолицая, своим
Взмахнув челом, там у потока,
А белокурая живым
Нам Лиза, как зефир, порханьем
Пропляшут вместе казачка,
И нектар с пламенным сверканьем
Их розова подаст рука.

Мы, сидя там в тени древесной,
За здравье выпьем всех людей:
Сперва за женский пол прелестной,
За искренних своих друзей;
Потом за тех, кто нам злодеи:
С одними нам приятно быть;
Другие же, как скрыты змеи,
Нас учат осторожно жить.

1796

Потопление

Из-за облак месяц красный
Встал и смотрится в реке,
Сквозь туман и мрак ужасный
Путник едет в челноке.

Блеск луны пред ним сверкает,
Он гребет сквозь волн и тьму;
Мысль веселье воображает,
Берег видится ему.

Но челнок вдруг погрузился,
Путник мрачну пьет волну;
Сколь ни силился, ни бился,
Камнем вниз пошел ко дну.

Се вид жизни скоротечной!
Сколь надежда нам ни льсти,
Все потонем в бездне вечной,
Дружба и любовь, прости!

1796

На рождение царицы Гремиславы

Л. А. Нарышкину

Живи и жить давай другим,
Но только не на счет другого;
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого,—
Вот правило, стезя прямая
Для счастья каждого и всех!

Нарышкин! коль и ты приветством
К веселью всем твой дом открыл,
Таким любезным, скромным средством
Богатых с бедными сравнил,—
Прехвальна жизнь твоя такая,
Блажен творец людских утех!

Пускай богач там, по расчету
Назнача день, зовет гостей,
Златой родни, клиентов роту
Прибавит к пышности своей;
Пускай они, пред ним став строем,
Кадят, вздыхают — и молчат.

Но мне приятно там откушать,
Где дружеский незваный стол;
Где можно говорить и слушать
Тара-бара про хлеб и соль;
Где гость хозяина покоем,
Хозяин гостем дорожат;

Где скука и тоска забыта,
Семья учтива, не шумна;
Важна хозяйка, домовита,
Досужа, ласкова, умна;
Где лишь приязнью, хлебосольством
И взором ищут угождать.

Что нужды мне, кто по паркету
Подчас и кубари спускал;
Смотрел в толкучем рынке свету,
Народны мысли замечал
И мог при случае посольством,
Пером и шпагою блистать!

Что нужды мне, кто всё, зефиром
С цветка лишь на цветок летя,
Доволен был собою, миром,
Шутил, резвился, как дитя,
Но если он с толь легким нравом
Всегда был добрый человек!

Всегда жил весело, приятно
И не гонялся за мечтой,
Жалел о тех, кто жил развратно,
Плясал и сам под тон чужой.
Хвалю тебя, ты в смысле здравом
Преcчастливо провел свой век.

Какой театр! как всю вселенну,
Ядущих и ядому тварь,
За твой я вижу стол вмещенну,
И ты сидишь, как сирский царь
В соборе целыя природы!
В семье твоей — как Авраам!

Оставя короли престолы
И ханы у тебя гостят:
Киргизцы, немчики, моголы
Салму и соусы едят,—
Какие разные народы,
Язык, одежда, лицы, стан!

Какой предмет! как на качелях
Пред дом твой соберется чернь
На светлых праздничных неделях!
Вертится в воздухе весь день,
Покрыта площадь пестротою,
Чепцов и шапок миллион!

Какой восторг! Как всё играет!
Всё скачет, пляшет и поет,
Всё в улице твоей гуляет,
Кричит, смеется, ест и пьет!
И ты народной сей толпою
Так весел, горд, как Соломон!

Блажен и мудр, кто в ближних ставит
Блаженство купно и свое,
Свою по ветру лодку правит,
И непорочно житие
О камень зол не разбивает,
И к пристани без бурь плывет!

Лев именем — звериный царь;
Ты родом — богатырь, сын барский;
Ты сердцем — стольник, хлебодарь;
Ты должностью — конюший царский;
Твой дом утехой расцветает,
И всяк под тень его идет.

Идут прохладой насладиться,
Музы́кой душу напитать;
То тем, то сем повеселиться,
В бостон и в шашки поиграть;
И словом: радость всю, забаву
Столицы ты к себе вместил.

Бывало, даже сами боги,
Наскуча жить в своем раю,
Оставя радужны чертоги,
Заходят в хра́мину твою:
О, если б ты и Гремиславу
К себе царицу заманил!

И ей в забаву, хоть тихонько,
Осмелился в ушко сказать:
Кто век провел столь славно, громко,
Тот может в праздник погулять
И зреть людей блаженных чувство
В ее пресветло рождество.

В цветах другой нет розы в мире:
Такой царицы мир не зрит!
Любовь и власть в ее порфире
Благоухает и страшит.
Так знает царствовать искусство
Лишь в Гремиславе — божество.

1796

Послание Мурзы Багрима к царевне Доброславе

Мурза, Багримов сын, царевне Доброславе
Желает здравия, всех благ ее державе:
Чтоб розами уста, в лилеях грудь цвела,
Чтоб райскою росой кропил тебя алла
И, вознеся престол как солнце твой высоко,
Хранил тебя на нем яко зеницу ока.

1796 (?)

Афинейскому витязю

Сидевша об руку царя
Чрез поприще на колеснице,
Державшего в своей деснице
С оливой гром, иль чрез моря
Протекшего в венце Нептуна,
Или с улыбкою Фортуна
Кому жемчужный не́ктар свой
Носила в чаше золотой —
Блажен! кто путь устлал цветами,
И окурил алоем вкруг,
И лиры громкими струнами
Утешил, бранный славя дух.

Испытывал своих я сил
И пел могущих человеков;
А чтоб в дали грядущих ве́ков
Ярчей их в мраке блеск светил
И я не осуждался б в лести,
Для прочности, к их громкой чести
Примешивал я правды глас;
Звучал моей трубой Парнас.
Но ах! познал, познал я смертных,
Что и великие из них
Не могут снесть лучей небесных:
Мрачит бог света очи их.

Так пусть Фортуны чада,
Возлегши на цветах,
Среди обилий сада,
Курений в облаках,

Наместо чиста злата
Шумихи любят блеск;
Пусть лира таровата
Их умножает плеск,—
Я руки умываю
И лести не коснусь,
Власть сильных почитаю,
Богов в них чтить боюсь.

Я славить мужа днесь избрал,
Который сшел с театра славы,
Который удержал те нравы,
Какими древний век блистал;
Не горд — и жизнь ведет простую,
Не лжив — и истину святую,
Внимая, исполняет сам;
Почтен от всех не по чинам.
Честь, в службе снисканну, свободой
Не расточил, а приобрел;
Он взглядом, мужеством, породой,
Заслугой, силою — орел.

Снискать я от него
Не льщусь ни хвал, ни уваженья;
Из одного благодаренья,
По чувству сердца моего,
Я песнь ему пою простую,
Ту вспоминая быль святую,
В его как богатырски дни,
Лет несколько назад, в тени
Премудрой той жены небесной,
Которой бодрый дух младой
Садил в Афинах сад прелестной,
И век катился золотой,

Как мысль моя, подобно
Пчеле, полна отрад,
Шумливо, но не злобно
Облетывала сад
Предметов ей любезных
И, взяв с них сок и цвет,
Искусством струн священных
Преобращала в мед:

Текли восторгов реки
Из чувств души моей,
Все были человеки
В стране счастливы сей,—

На бурном видел я коне
В ристаньи моего героя;
С ним брат его, вся Троя,
Полк витязей являлись мне!
Их брони, шлемы позлащенны,
Как лесом, перьем осененны,
Мне тмили взор.— А с копий их, с мечей
Сквозь пыль сверкал пожар лучей;
Прекрасных вслед Пентезилее
Строй дев их украшали чин;
Венцы, Ахилла мой бодрее,
Низал на дротик исполин.

Я зрел, как жилистой рукой
Он шесть коней на ипподроме
Вмиг осаждал в бегу; как в громе
Он, колесницы с гор бедрой
Своей препнув склоненье,
Минерву удержал в паденье;
Я зрел, как в дыме пред полком
Он в ранах светел, бодр лицом,
В единоборстве хитр, проворен,
На огнескачущих волнах
Был в мрачной буре тих, спокоен,
Горела молния в очах.

Его покой — движенье,
Игра — борьба и бег;
Забавы — пляска, пенье
И сельских тьма утех
Для укрепленья тела.
Его был дом — друзей.
Кто приходил для дела,
Не запирал дверей;
Души и сердца пища
Его — несчастным щит;
Не пышные жилища —
В них он был знаменит.

Я зрел в Ареопаге сонм
Богатырей, ему подобных,
Седых, правдивых, благородных,
Весы державших, пальму, гром.
Они, восседши за зерцалом,
В великом деле или малом,
Не зря на власть, богатств покров,
Произрекали суд богов;
А где рукой и руку мыли,
Желая сильному помочь,
Дьяки, взяв шапку, выходили
С поклоном от неправды прочь.

Тогда не прихоть чли — закон,
Лишь благу общему радели;
Той подлой мысли не имели,
Чтоб только свой набить мамон.
Венцы стяжали, звуки славы,
А деньги берегли и нравы,
И всякую свою ступень
Не оценяли всякий день;
Хоть был и недруг кто друг другу,
Усердие вело, не месть:
Умели чтить в врагáх заслугу
И отдавать достойным честь.

Тогда по счетам знали,
Чтó десять и чтó ноль;
Піявиц унимали,
На них посыпав соль;
В день ясный не сердились,
Зря на небе пятно,
С ладьи лишь торопились
Снять вздуто полотно;
Кубарить не любили
День сó дня на другой;
Что можно, вмиг творили,
Оставя свой покой.

Тогда кулибинский фонарь,
Что светел издали, близ темен,
Был не во всех местах потребен;
Горел кристалл,— горел от зарь;

Стоял в столпах гранит средь дома:
Опрись на них — и не солома.
В спартанской коже персов дух
Не обаял сердца и слух;
Не по опушке добродетель,
Не по ходулям великан:
Так мой герой был благодетель
Не по улыбке — по делам.

О ты, что правишь небесами
И манием колеблешь мир,
Подъемлешь скиптр на злых с громами,
А добрым припасаешь пир,
Юпитер! — О Нептун, что бурным,
Как скатертям, морям лазурным
Разлиться по земле велел,
Брега поставив им в предел! —
И ты, Вулкан, что пред горнами
В дне ада молнию куешь! —
И ты, о Феб, что нам стрелами
Златыми свет и жизнь лиешь!

Внемлите все молитву,
О боги! вы мою:
Зверей, рыб, птиц ловитву
И благодать свою
На нивы там пошлите,
Где отставной герой
Мой будет жить. — Продлите
Век, здравье и покой
Ему вы безмятежной.
И ты, о милый Вакх!
Подчас у нимфы нежной
Позволь спать на грудях.

1796

Памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Так! — весь я не умру; но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Слух прóйдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

О Муза! возгордись заслугой справедливой,
И пре́зрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой,
Чело твое зарей бессмертия венчай.

<1795>

На возвращение графа Зубова из Персии

Цель нашей жизни — цель к покою:
Проходим для того сей путь,
Чтобы от мразу иль от зною
Под кровом нощи отдохнуть.
Здесь нам встречаются стремнины,
Там терны, там ручьи в тени;
Там мягкие луга, равнины,
Там пасмурны, там ясны дни;
Сей с холма в пропасть упадает,
А тот взойти спешит на холм.

Кого же разум почитает
Из всех, идущих сим путем,
По самой истине счастливым?

Не тех ли, что, челом к звездам
Превознесяся горделивым,
Мечтают быть равны богам;
Что в пурпуре и на престоле
Превыше смертных восседят?
Иль тех, что в хижине, в юдоле,
Смиренно на соломе спят?

Ах, нет! — не те и не другие
Любимцы прямо суть небес,
Которых мучат страхи злые,
Прельщают сны приятных грез,—
Но тот блажен, кто не боится
Фортуны потерять своей,
За ней на высоту не мчится,
Идет середнею стезей,
И след во всяком состояньи
Цветами усыпает свой;

Кто при конце своих ристаний
Вдали зреть может за собой
Аллею подвигов прекрасных;
Дав совести своей отчет
В минутах светлых и ненастных,
С улыбкою часы те чтет,
Как сам благими насладился,
Как спас других от бед, от нужд,
Как быть всем добрым торопился,
Раскаянья и вздохов чужд.

О юный вождь! Сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как, с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.

Ты зрел — как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид;
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизо-янтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;
А там заря злато-багряна
Сквозь лес увеселяет взор.

Ты видел — Каспий, протягаясь,
Как в камышах, в песках лежит,
Лицом веселым осклабляясь,
Пловцов ко плаванью манит;
И вдруг как, бурей рассердяся,
Встает в упор ее крылам,
То скачет в твердь, то, в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Ты видел — как во тьме секутся
С громами громы в облаках,
Как бездны пламень извергают,
Как в тучах роет огнь бразды,
Как в воздухе пары сгорают,
Как светят свеч в лесах ряды.
Ты видел,— как в степи средь зною
Огромных змей стога кишат,
Как блещут пестрой чешуею
И льют, шипя, друг в друга яд.

Ты домы зрел царей,— вселенну,
Внизу, вверху, ты видел всё;
Упадшу спицу, вознесенну,
Вертяще мира колесо.
Ты зрел — и как в Вратах Железных
(О! вспомни ты о сем часе!)
По духу войск, тобой веденных,
По младости твоей, красе,
По быстром персов покореньи
В тебе я Александра чтил!

О! вспомни, как в том восхищеньи,
Пророча, я тебя хвалил:
«Смотри,— я рек,— триумф минуту,
А добродетель век живет».
Сбылось! — Игру днесь счастья люту
И как оно к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло,
Ты видишь,— видишь, как мечты
Сиянье вкруг тебя заснуло,
Прошло,— остался только ты.

Остался ты! — и та прекрасна
Душа почтенна будет ввек,
С которой ты внимал несчастна
И был в вельможе человек,
Который с сердцем откровенным
Своих и чуждых принимал,
Старейших вкруг себя надменным
Воззрением не огорчал.
Ты был что есть,— и не страшися
Объятия друзей своих.

Приди ты к ним! Иль уклонися
Познать премудрость царств иных.
Учиться никогда не поздно,
Исправь проступки юных лет;
То сердце прямо благородно,
Что ищет над собой побед.
Смотри, как в ясный день, как в буре
Суворов тверд, велик всегда!
Ступай за ним! — небес в лазуре
Еще горит его звезда.

Кто был на тысяще сраженьях
Не победим, а победил,
Нет нужды в блесках, в украшеньях
Тому, кто царство покорил!
Умей лишь сделаться известным
По добродетелям своим
И не тужи по снам прелестным,
Мечтавшимся очам твоим:
Они прошли — и возвратятся;
Пройти вновь могут — и прийти.

Как страннику в пути встречаться
Со многим должно, и идти,
И на горах и под горами,
Роскошничать и глад терпеть,—
Бывает так со всеми нами,
Премены рока долг наш зреть.
Но кто был мужествен душою,
Шел равнодушней сим путем,
Тот ближе был к тому покою,
К которому мы все идем.

1797

К лире

Петь Румянцова сбирался,
Петь Суворова хотел;
Гром от лиры раздавался,
И со струн огонь летел;
Но завистливой судьбою
Задунайский кончил век,
А Рымникский скрылся тьмою,
Как неславный человек.
Что ж? Приятна ли им будет,
Лира! днесь твоя хвала?
Мир без нас не позабудет
Их бессмертные дела.
Так не надо звучных строев,
Переладим струны вновь;
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.

1797

Храповицкому

Храповицкий! дружбы знаки
Вижу я к себе твои;
Ты ошибки, лесть и враки
Кажешь праведно мои,—
Но с тобой не соглашуся
Я лишь в том, что я орел.

А по-твоему коль станет,
Ты мне путы развяжи;
Где свободно гром мой грянет,
Ты мне небо покажи;
Где я в поприще пущуся
И препон бы не имел?

Где чертог найду я правды?
Где увижу солнце в тьме?
Покажи мне те ограды
Хоть близ трона в вышине,
Чтоб где правду допущали
И любили бы ее.

Страха связанным цепями
И рожденным под жезлом,
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А хотя б и возлетали,—
Чувствуем ярмо свое.

Дóлжны мы всегда стараться,
Чтобы сильным угождать,
Их любимцам поклоняться,
Словом, взглядом их ласкать.
Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить.

Извини ж, мой друг, коль лестно
Я кого где воспевал;
Днесь скрывать мне тех бесчестно,
Раз кого я похвалял.
За слова — меня пусть гложет,
За дела — сатирик чтит.

1797

К Музе

Строй, Муза, арфу золотую
И юную весну воспой:
Как нежною она рукой
На небо, море — голубую,

На долы и вершины гор
Зелену ризу надевает,
Вкруг ароматы разливает,
    Всем осклабляет взор.

Смотри: как цепью птиц станицы
Летят под небом и трубят;
Как жаворонки вверх парят;
Как гусли тихи иль цевницы,
Звенят их гласы с облаков;
Как ключ шумит, свирель взывает
И между всех их пробегает
    Свист громкий соловьев.

Смотри: в проталинах желтеют,
Как звезды, меж снегов цветы;
Как, распустившись, роз кусты
Смеются в люльках и алеют;
Сквозь мглу восходит злак челом,
Леса ветвями помавают,
По рдяну вод стеклу мелькают
    Вверх рыбы серебром.

Смотри: как солнце золотое
Днесь лучезарнее горит;
Небесное лице глядит
На всех, веселое, младое;
И будто вся играет тварь,
Природа блещет, восклицает:
Или какой себя венчает
    Короной мира царь?

1797

Пришествие Феба

Тише, тише, ветры, вейте,
Благовонием дыша;
Пурпуровым златом рдейте,
Воды, долы,— и душа,

Спящая в лесах зеленых,
Гласов, эхов сокровенных,
Пробудися светлым днем:
Встань ты выше, выше, холм!

В лучезарной колеснице
От востока Феб идет,
Вниз с рамен по багрянице
В кудрях золото течет;
А от лиры сладкострунной
Божий тихий глас перунной
Так реками в дол падет,
Как с небес лазурных свет.

Утренней зари прекрасной,
Дней веселых светлый царь!
Ты, который дланью властной
Сыплешь свет и жизнь на тварь,
Правя легкими вожжами,
Искрометными конями
Обтекаешь мир кругом,—
Стань пред нас своим лицом!

Воссияй в твоей короне,
Дав луне и лику звёзд,
На твоем отдельном троне,
Твой лучистый, милый свет!
Стань скорей пред жадны взоры,
Да поют и наши хоры
Радостных отца сынов
Славу, счастье и любовь!

1797

Возвращение Весны

Возвращается Весна,
И хариты вкруг блистают,
Взоры смертных привлекают.
Где стоит, грядет она,
Воздух дышит ароматом,
Усмехается заря,
Чешуятся реки златом;

Рощи, в зеркалы смотря,
На ветвях своих качают
Теплы, легки ветерки;
Сильфы ре́звятся, порхают,
Зелень всюду и цветки
Стелют по земле коврами;
Рыбы мечутся из вод;
Журавли, виясь кругами
Сквозь небесный синий свод,
Как валторны возглашают;
Соловей гремит в кустах,
Звери прыгают, брыкают,
Глас их вторится в лесах.
Горстью пахарь дождь на нивы
Сеет вкруг себя златой,
Белы парусы игривы
Вздулись на море горой;
Вся природа торжествует,
Празднует Весны приход,
Всё играет, всё ликует,—
Нимфы! станьте в хоровод
И, в белейши снега ткани
Облеченны, изо льну,
Простирайте нежны длани,
Принимайте вы Весну,
А в цветах ее щедроты,
А в зефирах огнь сердцам.
С нею к вам летят эроты:
Без любви нельзя жить вам.

1797

Сафо

Блажен, подобится богам
С тобой сидящий в разговорах,
Сладчайшим внемлющий устам,
Улыбке нежной в страстных взорах!

Увижу ль я сие,—и вмиг
Трепещет сердце, грудь теснится,
Немеет речь в устах моих
И молния по мне стремится.

По слуху шум, по взорам мрак,
По жилам хлад я ощущаю;
Дрожу, бледнею — и, как злак
Упадший, вяну, умираю.

1797

Купидон

Под Медведицей небесной,
Средь ночныя темноты,
Как на мир сей сон всеместной
Сыпал маковы цветы;
Как спокойно все уж спали
Отягченные трудом,
Слышу, в двери застучали
Кто-то громко вдруг кольцом.
«Кто,— спросил я,— в дверь стучится
И тревожит сладкий сон?» —
«Отвори: чего страшиться? —
Отвечал мне Купидон.—
Я ребенок, как-то сбился
В ночь безлунную с пути,
Весь дождем я замочился,
Не найду, куда идти».
Жаль его мне очень стало,
Встал и высек я огня;
Отворил лишь двери мало,—
Прыг дитя перед меня.
В туле лук на нем и стрелы;
Я к огню с ним поспешил,
Тер руками руки мерзлы,
Кудри влажные сушил.
Он успел лишь обогреться,
«Ну, посмотрим-ка,— сказал,—
Хорошо ли лук мой гнется?
Не испорчен ли чем стал?»
Молвил, и стрелу мгновенно
Острую в меня пустил,
Ранил сердце мне смертельно
И, смеяся, говорил:

«Не тужи, мой лук годится,
Тетива еще цела».
С тех пор начал я крушиться,
Как любви во мне стрела.

1797

Дар

«Вот,— сказал мне Аполлон,—
Я даю тебе ту лиру,
Коей нежный, звучный тон
Может быть приятен миру.

Пой вельможей и царей,
Коль захочешь быть им нравен;
Лирою чрез них ты сей
Можешь быть богат и славен.

Если ж пышность, сан, богатство
Не по склонностям твоим,
Пой любовь, покой, приятство:
Будешь красотой любим».

Взял я лиру и запел,—
Струны правду зазвучали:
Кто внимать мне захотел?
Лишь красавицы внимали.

Я доволен, света бог!
Даром сим твоим небесным.
Я богатым быть не мог,
Но я мил жена́м прелестным.

1797

Развалины

Вот здесь, на острове, Киприды
Великолепный храм стоял:
Столпы, подзоры, пирамиды
И купол золотом сиял.
Вот здесь, дубами осененна,
Резная дверь в него была,
Зеленым свесом покровенна,
Вовнутрь святилища вела.
Вот здесь хранилися кумиры,
Дымились жертвой алтари,
Сбирались на молитву миры
И били ей челом цари.
Вот тут была уединенной
Поутру каждый день с зарей,
Писала, как владеть вселенной
И как сердца пленить людей.
Тут поставлялася трапе́за,
Круг юных дев и сонм жрецов;
Богатство разливалось Креза,
Сребро и злато средь столов.
Тут арфы звучные гремели
И повторял их хор певцов;
Особо тут сирены пели
И гласов сладостью, стихов
Сердца и ум обворожали.
Тут не́ктар из сосудов бил,
Курильницы благоухали,
Зной летний провевал зефир;
А тут крылатые служили
Полки прекрасных метких слуг

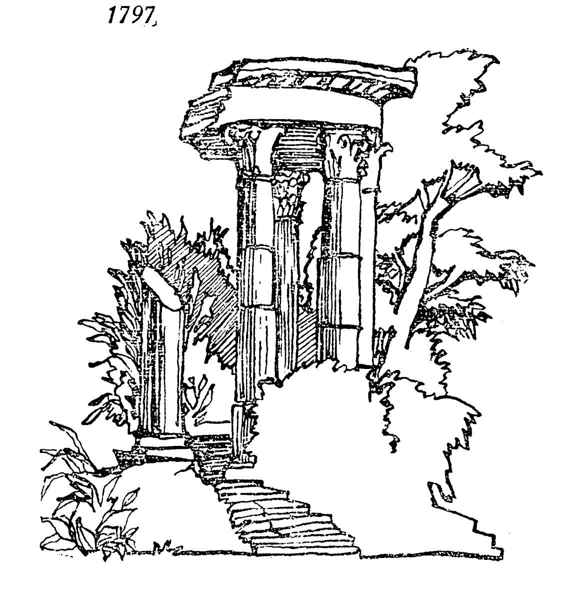
И от богининой носили
Руки амброзию вокруг.
Она, тут сидя, обращалась
И всех к себе влекла сердца;
Восставши, тихо поклонялась,
Блистая щедростью лица.
Здесь в полдень уходила в гроты,
Покоилась прохлад в тени;
А тут амуры и эроты
Уединялись с ней одни;
Тут был Эдем ее прелестный
Наполнен меж купин цветов,
Здесь тек под синий свод небесный
В купальню скрытый шум ручьев;
Здесь был театр, а тут качели,
Тут азиатских домик нег;
Тут на Парнасе музы пели,
Тут звери жили для утех.
Здесь в разны игры забавлялась,
А тут прекрасных нимф с полком
Под вечер красный собиралась
В прогулку с легким посошком;
Ходила по лугам, долинам,
По мягкой мураве близ вод,
По желтым среди роз тропинам;
А тут, затея хоровод,
Велела нимфам, купидонам
Играть, плясать между собой
По слышимым приятным тонам
Вдали музы́ки роговой.
Они, кружась, резвясь, летали,
Шумели, говорили вздор;
В зерцале вод себя казали,
Всем тешили богинин взор.
А тут, оставя хороводы,
Верхом скакали на коньках;
Иль в лодках, рассекая воды,
В жемчужных плавали струях.
Киприда тут средь мирт сидела,
Смеялась, глядя на детей,
На восклицающих смотрела
Поднявших крылья лебедей;

Иль на станицу сребробоких
Ей милых, сизых голубков;
Или на пестрых, краснооких
Ходящих рыб среди прудов;
Иль на собачек, ей любимых,
Хвосты несущих вверх кольцом,
Друг другом с лаяньем гонимых,
Мелькающих между леском.
А здесь, исполнясь важна вида,
На памятник своих побед
Она смотрела: на Алкида,
Как гидру палицей он бьет;
Как прочие ее герои,
По манию ее очес,
В ужасные вступали бои
И тьмы поделали чудес:
Присту́пом грады тверды брали,
Сжигали флоты средь морей,
Престолы, царствы покоряли
И в плен водили к ней царей.
Здесь в внутренни она чертоги
По лестнице отлогой шла,
Куда гостить ходили боги
И где она всегда стрегла
Тот пояс, в небе ей истканный,
На коем меж харит с ней жил
Тот хитрый гений, изваянный,
Который счастье ей дарил,
Во всех ее делах успехи,
Трофеи мира и войны,
Здоровье, радости и смехи
И легкие приятны сны.
В сем тереме, Олимпу равном,
Из яшм прозрачных, перлов гнезд,
Художеством различным славном,
Горели ночью тучи звезд,
Красу богини умножали;
И так средь сих блаженных мест
Ее как солнце представляли.

Но здесь ее уж ныне нет,
Померк красот волшебных свет,
Все тьмой покрылось, запустело;

Все в прах упало, помертвело;
От ужаса вся стынет кровь,—
Лишь плачет сирая любовь.

1797



Желание

К богам земным сближаться
Ничуть я не ищу,
И больше возвышаться
Никак я не хощу.

Души моей покою
Желаю только я:
Лишь будь всегда со мною
Ты, Дашенька моя!

1797

Люси

О ты, Люсинька, любезна!
Не беги меня, мой свет,

Что млада ты и прелестна,
А я дурен, стар и сед.
Взглянь на розы и лилеи,
Лель из них венки плетет:
Вкруг твоей приятен шеи
Розовый и белый цвет.

1797

Рождение Красоты

Сотворя Зевес вселенну,
Звал богов всех на обед.
Вкруг нектара чашу пенну
Разносил им Ганимед;
Мед, амброзия блистала
В их устах, по лицам огнь,
Благовоний мгла летала,
И Олимп был света полн;
Раздавались песен хоры,
И звучал весельем пир;
Но незапно как-то взоры
Опустил Зевес на мир
И, увидя царствы, грады,
Что погибли от боев,
Что богини мещут взгляды
На беднейших пастухов,
Распалился столько гневом,
Что, курчавой головой
Покачав, шатнул всем небом,
Адом, морем и землей.
Вмиг сокрылся блеск лазуря:
Тьма с бровей, огонь с очес,
Вихорь с риз его, и буря
Восшумела от небес;
Разразились всюду громы,
Мрак во пламени горел,
Яры волны — будто холмы,
Понт стремился и ревел;
В растворенны бездн утробы
Тартар искры извергал;
В тучи Феб, как в черны гробы,
Погруженный трепетал;

И средь страшной сей тревоги
Коль еще бы грянул гром,—
Мир, Олимп, богов чертоги
Повернулись бы вверх дном.
Но Зевес вдруг умилился:
Стало, знать, красавиц жаль;
А как с ними не смирился,
Новую тотчас создал:
Ввил в власы пески златые,
Пламя — в щеки и уста,
Небо — в очи голубые,
Пену — в грудь,— и Красота
Вмиг из волн морских родилась.
А взглянула лишь она,
Тотчас буря укротилась
И настала тишина.
Сизы, юные дельфины,
Облелея табуном,
На свои ее взяв спины,
Мчали по пучине волн.
Белы голуби станицей,
Где откуда ни взялись,
Под жемчужной колесницей
С ней на воздух поднялись;
И, летя под облаками,
Вознесли на звездный холм:
Зевс объял ее лучами
С улыбнувшимся лицом.
Боги молча удивлялись,
На Красу разинув рот,
И согласно в том признались:
Мир и брани — от красот.

1797

Соловей во сне

Я на хо́лме спал высоком,
Слышал глас твой, соловей,
Даже в самом сне глубоком
Внятен был душе моей:
То звучал, то отдавался,

То стенал, то усмехался
В слухе издалече он;
И в объятиях Калисты
Песни, вздохи, клики, свисты
Услаждали сладкий сон.

Если по моей кончине,
В скучном, бесконечном сне,
Ах! не будут так, как ныне,
Эти песни слышны мне,
И веселья, и забавы,
Плясок, ликов, звуков славы
Не услышу больше я,—
Стану ж жизнью наслаждаться,
Чаще с милой целоваться,
Слушать песни соловья.

1797

Венерин суд

На розе опочила
В листах пчела сидя,
Вдруг в пальчик уязвила
Венерино дитя.
Вскричал, вспорхнул крылами
И к матери бежит;
Облившися слезами,
«Пропал, умру! — кричит,—
Ужален небольшою
Крылатой я змеей,
Которая пчелою
Зовется у людей».
Богиня отвечала:
«Суди ж: коль так пчелы
Тебя терзает жало,
Что ж твой удар стрелы?»

1797

Капнисту

Спокойства просит от небес
Застиженный в Каспийском море,
Коль скоро ни луны, ни звезд
За тучами не зрит, и вскоре
Ждет корабельщик бед от бурь.
Спокойства просит перс пужливый,
Турк гордый, росс властолюбивый
И в ризе шелковой манжур.

Покою, мой Капнист! покою,
Которого нельзя купить
Казной серебряной, златою
И багряницей заменить.
Сокровищми всея вселенной
Не может от души смятенной
И самый царь отгнать забот,
Толпящихся вокруг ворот.

Счастли́в тот, у кого на стол,
Хоть не роскошный, но опрятный,
Родительские хлеб и соль
Поставлены, и сон приятный
Когда не отнят у кого
Ни страхом, ни стяжаньем подлым:
Кто малым может быть довольным,
Богаче Креза самого.

Так для чего ж в толь краткой жизни
Метаться нам туды, сюды,
В другие земли из отчизны
Скакать от скук или беды
И чуждым солнцем согреваться?
От пепелища удаляться,
От родины своей кто мнит,—
Тот самого себя бежит.

Заботы наши и беды́
Везде последуют за нами,
На кораблях чрез волны, льды
И конницы за торока́ми;

Быстрей оленей и погод,
Стадами облаки женущих,
Летят они, и всюду сущих
Терзают человеков род.

О! будь судьбе твоей послушным,
Престань о будущем вздыхать;
Веселым нравом, равнодушным
Умей и горесть услаждать.
Довольным быть, неприхотливым,
Сие то есть, что быть счастливым:
А совершенных благ в сей век
Вкушать не может человек.

Век Задунайского увял,
Достойный в памяти остаться!
Рымникского печален стал;
Сей муж, рожденный прославляться,
Проводит ныне мрачны дни:
Чего ж не приключится с нами?
Что мне предписано судьбами,
Тебе откажут в том они.

Когда в Обуховке стремятся
Твоей стада, блея, на луг,
С зеленого холма глядятся
В текущий сткляный Псёл вокруг,
Когда волы и кобылицы,
Четвероместной колесницы
Твоей краса и честь плугов,
Блестят, и сад твой — тьмой плодов;

Когда тебя в темно-зелену,
Подругу в пурпурову шаль
Твою я вижу облеченну,
И прочь бежит от вас печаль;
Как вкруг вас радости и смехи,
Невинны сельские утехи,
И хоры дев поют весну,—
То скука вас не шлет ко сну.

А мне Петрополь населять
Когда велит судьба с Миленой:

К отраде дом дала и сад,
Сей жизни скучной, развлеченной,
И некую поэта тень,—
Да правду возглашу святую:
Умей презреть и ты златую,
Злословну, площадную чернь.

1797

Урна

Сраженного косой Сатурна,
Кого средь воющих здесь рощ
Печальная сокрыла урна
Во мрачну, непробудну нощь?
Кому на ней чудес картина
Во мраморе изражена?
Крылатый жезл, котурн, личина,
Резец и с лирой кисть видна!

Над кем сей мавзолей священный
Вкруг отеняет кипарис
И лира гласы шлет плачевны?
Кто, Меценат иль Медицис,
Тут орошается слезами?
Чьи бледные лица черты
Луной блистают меж ветвями?
Кто зрится мне? — Шувалов, ты!

Ах, ты! — могу ль тебя оставить
Без благодарной песни я?
Тебя ли мне, тебя ль не славить?
Я твой питомец и — судья.
О нет! — уж муза возлетает
Моя ко облакам златым,
Вслед выспренних певцов дерзает
Воспеть тебе надгробный гимн.

Смерть мужа праведна — прекрасна
Как умолкающий орган,
Как луч последний солнца ясна
Блистает, тонет в океан,—

Подобно в неизмерны бездны,
От мира тленного спеша,
Летит сквозь мириады звездны
Блаженная твоя душа.

Или как странник, путь опасный
Прошедший меж стремнин и гор,
Змей слыша свист, львов рев ужасный
Позадь себя во тьме, и взор
От зуб их отвратя, взбегает
С весельем на высокий холм,—
От мира дух твой возлетает
Так вечности в прекрасный дом.

Коль тень и преобразованье
Небесного сей дольний мир,
С высот лазурных восклицанье
И сладкое согласье лир
Я слышу,— вижу, душ блаженных
Полки встречать тебя идут!
В эфирных ризах, позлащенных,
Торжественную песнь поют:

«Гряди к нам, новый неба житель!
И отрясая прах земной,
Войди в нетленную обитель
И с высоты ее святой
Воззри на дол твой смертный, слезный,
На жизнь твою, и наконец
За подвиги твои полезны
Прими возмездия венец!

Ты бедных был благотворитель,—
И вечных насладися благ.
Ты просвещенья был любитель,—
И божества сияй в лучах.
Ты поощрял петь славу россов,
Ты чтил Петра, Елисавет,—
Внимай, как звучно Ломоносов
Здесь славу вечную поет!»

Поэзии бессмертно пенье
На небесах и на земли;

Тот будет гроб у всех в почтенье,
Над коим лавры расцвели.
Науки сеял благотворной
Рукой и возращал любя,—
Свет от лампады благовонной
Возблещет вечно чрез тебя.

Планета ты,— что с солнца мира
Лучи бросала на других:
Ты в славе не являл кумира,
Ты видел смертных, слышал их.
Картина ты,— которой тени
Не рама в золоте — хвала;
Великолепие — для черни;
Для благородных душ — дела.

Но мрачен, темен сердца свиток,
В нем скрыты наших чувств черты:
Оселок честности — прибыток;
На нем блистал, как злато, ты.
Как полное мастик кадило,
Горя, другим ты запах дал;
Как полное лучей светило,
Ты дарованья озарял.

О! сколько юношей тобою
Познания прияли свет!
Какою пламенной струею
Сей свет в потомство протечет!
Над царедворцевой могилой,
Над во́ждем молненосных гроз,
Когда раздастся вздох унылой,
Сверкнет здесь искра нежных слез.

Стой, урна, вечно невредима,
Шувалова являя вид!
Будь лирами пиитов чтима,
В тебе предстатель их сокрыт.
Внуши, тверди его доброты
Сей надписью вельможам в слух:
«Он жил для всенародной льготы
И покровительства наук».

1797

О удовольствии

Прочь буйна чернь, непросвещенна
И презираемая мной!
Прострись вкруг тишина священна!
Пленил меня восторг святой!
Высоку песнь и дерзновенну,
Неслыханну и не внушенну,
Я слабым смертным днесь пою:
Всяк преклони главу свою.

Сидят на тронах возвышенны
Над всей вселенною цари,
Ужасной стражей окруженны,
Подъемля скиптры, судят при;
Но бог есть вышний и над ними:
Блистая молньями своими,
Он сверг гигантов с горних мест
И перстом водит хоры звезд.

Пусть занял юными древами
Тот область целую под сад;
Тот горд породою, чинами;
Пред тем полки рабов стоят;
А сей звучит трубой военной.
Но в урне рока неизмерной
Кто мал и кто велик забвен:
Своим всяк жребьем наделен.

Когда меч острый, обнаженный,
Злодея над главой висит,
Обилием отягощенный
Его стол вкусный не прельстит;
Ни нежной цитры глас звенящий,
Ни птиц весенних хор гремящий
Уж чувств его не усладят
И крепка сна не возвратят.

Сон сладостный не презирает
Ни хижин бедных поселян,
Нижé дубрав не убегает,
Ни низменных, ни тихих стран,

На коих по колосьям нивы
Под тенью облаков игривый
Перебирается зефир,
Где царствует покой и мир.

Кто хочет только, что лишь нужно,
Тот не заботится никак,
Что море взволновалось бурно;
Что, огненный вращая зрак,
Медведица нисходит в бездны;
Что Лев, на свод несяся звездный,
От гривы сыплет вкруг лучи;
Что блещет молния в ночи.

Не беспокоится, что градом
На холмах виноград побит;
Что проливных дождей упадом
Надежда цвет полей не льстит;
Что жрет и мраз и зной жестокий
Поля, леса; а там в глубоки
Моря отломки гор валят
И рыб в жилищах их теснят.

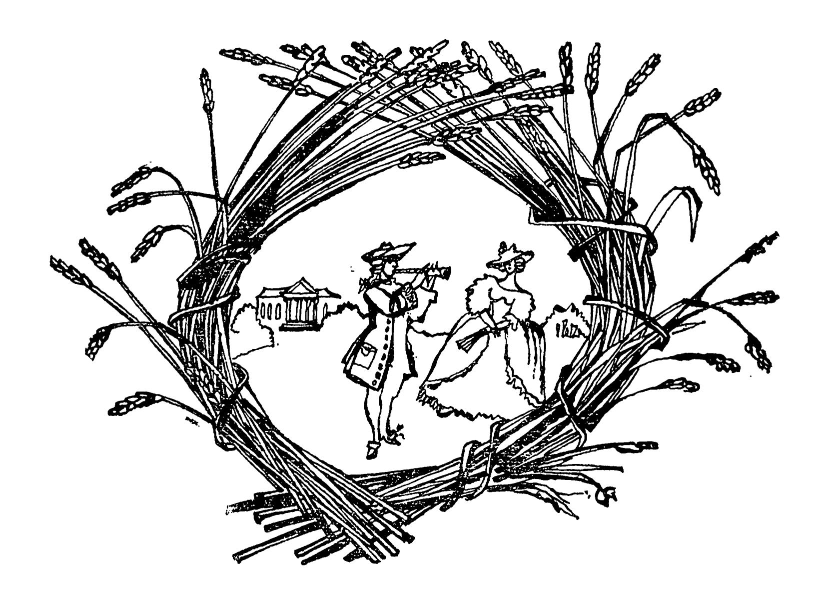
Здесь тонут зиждущих плотину
Работников и зодчих тьма,
Затем, что стали властелину
На суше скучны терема,—
Но и средь волн в чертоги входит
Страх; грусть и там вельмож находит;
Рой скук за кораблем жужжит
И вслед за всадником летит.

Когда ни мраморы прекрасны
Не утоляют скорби мне,
Ни пурпур, что, как облак ясный,
На светлой блещет вышине;
Ни грозды, соком наполненны,
Ни вина, вкусом драгоценны,
Ни благовонья аромат
Минуты жизни не продлят,—

Почто ж великолепьем пышным,
Удобным зависть возрождать,

По новым чертежам отличным
Огромны зданья созидать?
Почто спокойну жизнь, свободну,
Мне всем приятну, всем довольну,
И сельский домик мой — желать
На светлый блеск двора менять?

1798



К портрету В. В. Капниста

Надежда, ябеда — противные суть страсти:
Та жалит, эта льстит чувствительны сердца.
От зрителей сие самих зависит власти
Украсить чьим венцом сей образ, их отца.

1798 (?)

К самому себе

Что́ мне, что́ мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если мир за то бранится,
Что иду прямой стезей?

Пусть другие работáют,
Много мудрых есть господ:
И себя не забывают,
И царям сулят доход.
Но я тем коль бесполезен,
Что горяч и в правде чёрт,—
Музам, женщинам любезен
Может пылкий быть Эрот.
Стану ныне с ним водиться,
Сладко есть, и пить, и спать;
Лучше, лучше мне лениться,
Чем злодеев наживать.
Полно быть в делах горячим,
Буду лишь у правды гость;
Тонким сделаюсь подьячим,
Растворю пошире горсть.
Утром раза три в неделю
С милой музой порезвлюсь;
Там опять пойду в постелю
И с женою обоймусь.

1798

Геркулес

Геркулес пришел Данаю
Мимоходом навестить.
«Я,— сказал,— тобой пылаю»
(Он хотел с ней пошутить).
С важным взором и умильным,
Пламени в лице полна,
Вздумала с героем сильным
Также пошутить она.
Начала с ним разговоры,
Речь за речь и он повел;
Как-то встретились их взоры,
Нечувствительно он сел;
И меж тем как занялися
Так они шутя собой,
Где откуда ни взялися
Мальчиков крылатых строй;

Вкруг летали, шурмовали,
Над главами их паря,
И, подкравшись тихо, крали
Всё вокруг богатыря:
Тот унес, кряхтя, дубину,
Тот сайдак, тот страшный меч;
Стеребили кожу львину
Те с его могущих плеч.
Не могла не улыбнуться
Красота, как шлем сняла:
Не успел он оглянуться —
В шлеме страсть гнездо свила.

1798

Богатство

Когда бы было нам богатством
Возможно кратку жизнь продлить,
Не ставя ничего препятством,
Я стал бы золото копить.
Копил бы для того я злато,
Чтобы, как придет смерть сражать,
Тряхнуть карманом таровато
И жизнь у ней на откуп взять.
Но ежели нельзя казною
Купить минуты ни одной,
Почто же злата нам алчбою
Так много наш смущать покой?
Не лучше ль в пиршествах приятных
С друзьями время проводить;
На ложах мягких, ароматных
Младым красавицам служить?

1798

Арфа

Не в летний ль знойный день прохладный ветерок
В легчайшем сне на грудь мою приятно дует?
Не в злаке ли журчит хрустальный ручеек?
Иль милая в тени древес меня целует?

Нет! арфу слышу я: ее волшебный звук,
На розах дремлющий, согласьем тихострунным
Как эхо мне вдали щекочет нежно слух
Иль шумом будит вдруг вблизи меня перунным.

Так ты, подруга муз! лиешь мне твой восторг
Под быстрою рукой играющей хариты,
Когда ее чело венчает вкуса бог
И улыбаются любовию ланиты.

Как весело внимать, когда с тобой она
Поет про родину, отечество драгое,
И возвещает мне, как там цветет весна,
Как время катится в Казани золотое!

О колыбель моих первоначальных дней!
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?

Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны!
По Волге между сёл на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?

Звучи, о арфа! ты всё о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.

1798

Цепи

Не сетуй, милая, со груди что твоей
Сронила невзначай ты цепи дорогие:
Милее вольности нет в свете для людей;
Оковы тягостны, хотя они златые.

Так наслаждайся ж здесь ты вольностью святой,
Свободною живя, как ветерок в полянке;
По рощам пролетай, кропися вод струей,
И чем в Петрополе, будь счастливей на Званке.

А если и тебе под бремя чьих оков
Подвергнуться велит когда-либо природа,—
Смотри, чтоб их плела любовь лишь из цветов;
Приятней этот плен, чем самая свобода.

1798

На ворожбу

Не любопытствуй запрещенным
Халдейским мудрованьем знать:
Какая есть судьба рожденным
И сколь нам долго проживать?
Полезнее о том не ведать
И не гадать, что будет впредь;
Ни лиха, ни добра не бегать,
А принимать, что ни придет.

Пусть боги свыше посылают
Жестокий зной иль лютый мраз;
Пусть бури грозы повторяют
Иль грянет гром в последний раз,—
Что нужды? — Будь мудрей, чем прежде,
Впрок вин не запасай драгих;

Обрезывай крыле надежде
По краткости ты дней своих.

Так! — Время злое быстротечно,
Летит меж тем, как говорим;
Щипли ж веселие сердечно
С тех роз, на кои мы глядим;
Красуйся дня сего благими,
Пей чашу радости теперь;
Не льстись горами золотыми
И будущему дню не верь.

1798

Похвала сельской жизни

Блажен! кто, удалясь от дел,
Подобно смертным перворechодным,
Орет отеческий удел
Не откупным трудом, свободным,
На собственных своих волах.

Кого ужасный глас, от сна
На брань, трубы не возбуждает,
Морская не страшит волна,
В суд ябеда не призывает;
И господам не бьет челом,

Но садит он в саду своем
Кусты и овощи цветущи;
Иль диких древ, кривым ножом
Обрезав пни, и плод дающи
Черенья прививает к ним.

Иль зрит вдали ходящий скот,
Рычащий в вьющихся долинах;
Иль перечищенную льет
И прячет патоку в кувшинах,
Или стрижет своих овец.

Но осень как главу в полях,
Гордясь, с плодами возвышает,—
Как рад, что рвет их на ветвях,
Привитых им,— и посвящает
Дар богу, пурпура красней.

На бреге ли в траве густой,
Под дуб ли древний он ложится,—
В лесу гам птиц, с скалы крутой
Журча к нему ручей стремится,
И всё наводит сладкий сон.

Когда ж гремящий в тучах бог
Покроет землю всю снегами,
Зверей он ищет след и лог;
Там зайца гонит, травит псами,
Здесь ловит волка в тенета.

Иль тонкие в гумнах силки
На куропаток расставляет,
На рябчиков в кустах пружки,—
О, коль приятну получает
Награду за свои труды!

Но будет ли любовь при том
Со прелестьми ее забыта,
Когда прекрасная лицом
Хозяйка мила, домовита,
Печется о его детя́х?

Как ею, русских честных жен
По древнему обыкновенью,
Весь быт хозяйский снаряжен:
Дом тепл, чист, светл, и к возвращенью
С охоты мужа стол накрыт.

Бутылка доброго вина,
Впрок пива русского варена,
С гренками коновка полна,
Из коей клубом лезет пена,
И се уже обед готов.

Горшок горячих, добрых щей,
Копченый окорок под дымом;
Обсаженный семьей моей,
Средь коей сам я господином,
И тут-то вкусен мне обед!

А как жаркой еще баран
Младой, к Петрову дню блюденный,
Капусты сочныя кочан,
Пирог, груздями начиненный,
И несколько молочных блюд,—

Тогда-то устрицы, го-гу,
Всех мушелей заморских грузы,
Лягушки, фрикасе, рагу,
Чем окормляют нас французы,
И уж ничто не вкусно мне.

Меж тем приятно из окна
Зреть карду с тучными волами;
Кобыл, коров, овец полна,
Двор резвыми кишит рабами —
Как весел таковый обед!

Так откупщик вчерась судил,
Сбираясь быть поселянином,—
Но правежом долги лишь сбрил,
Остался паки мещанином,
А ныне деньги отдал в рост.

1798

Похвала за правосудие

Кто сей из смертных дерзновенной,
За правый суд что возжелал
Венца от истины священной
И лиры моея похвал?
Кто сей, стяжал который право
Людей сердечны сгибы знать:
Что свято в них и что лукаво
Во внутренности душ читать?

Кто думает на лицы сильных
Не зреть, и на мольбы друзей?
От красоты очес умильных
Щититься должности броней?
Кто блеском не прельстился злата,
В груди сияющей звездой?
Кому взгляд царский, их палата
Магнитной не были стрелой?
Кто забывал врагов обиды,
От мести отвращал свой взор,
Противны, благосклонны виды
Кому не вкрались в приговор?
Кто хладно зрел на пир, забаву,
Под сенью роскоши не млел,
Заслуживать мирскую славу
И презирать ее умел;
Здоровья не щадя, сквозь ночи
Просиживал за грудой книг;
Отер невинных слезны очи
И путь пресек ко злобе злых?
Кто, слабость смертных ощущая,
Соблюл законов строгий долг,
Себя во ближнем осуждая,
Был вкупе человек и бог?
Не он ли есть зерцало чести?
Не он ли образец судей?
Премудр, и глух ко гласу лести,
Не просит похвалы ничьей.—
Так, князь! держись и ты сих правил
И верь, что похвала мечта:
Счастлив, коль отличает Павел
И совесть у тебя чиста!

1798

На победы в Италии

Ударь во сребряный, священный,
Далекозвонкий, валка, щит!
Да гром твой, эхом повторенный,
В жилище бардов восшумит.

Встают.— Сто арф звучат струнами,
Пред ними сто дубов горят,
От чаши круговой зарями
Седые чела в тьме блестят.
Но кто там белых волн туманом
Покрыт по персям, по плечам,
В стальном доспехе светит рдяном,
Подобно синя моря льдам?
Кто, на копье склонясь главою,
Событье слушает времен?
Не тот ли, древле что войною
Потряс парижских твердость стен?

Так; он пленяется певцами,
Поющими его дела,
Смотря, как блещет битв лучами
Сквозь тьму времен его хвала.
Так, он! — Се Рюрик торжествует
В Валкале звук своих побед
И перстом долу показует
На росса, что по нем идет.
«Се мой,— гласит он,— воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа,
Девятый вал в морских волнах,
Звезда, прешедша мира тропы,
Которой след огня черты,
Меч Павлов, щит царей Европы,
Князь славы!» — Се, Суворов, ты!

Се ты, веков явленье чуда!
Сбылось пророчество, сбылось!
Луч, воссиявший из-под спуда,
Герой мой, вновь свой лавр вознёс!
Уже вступил он в славны следы,
Что древний витязь проложил;
Уж водит за собой победы
И лики сладкогласных лир.

1799

Жуковскому и Родзянке,

приславшим с большими похвалами автору перевод его оды «Бог» на французском языке

Не мне, друзья! идите вслед;
Ищите лучшего примеру.—
Пиндару русскому, Гомеру
Последуйте,— вот мой совет.

1799

На переход Альпийских гор

Сквозь тучи вкруг лежащи, черны,
Твой горний кроющи полет,
Носящи страх нам, скорби зельны,
Ты грянул наконец! — И свет,
От молнии твоей горящий,
Сердца Альпийских гор потрясший,
Струей вселенну пролетел;
Чрез неприступны переправы
На высоте ты новой славы
Явился, северный орел!

О радость! — Муза! дай мне лиру,
Да вновь Суворова пою!
Как слышен гром за громом миру,
Да слышит всяк так песнь мою!
Побед его плененный слухом,
Лечу моим за ним я духом
Чрез долы, холмы и леса;
Зрю, близ меня зияют ады,
Над мной шумящи водопады,
Как бы склонились небеса.

Идет в веселии геройском
И тихим манием руки,
Повелевая сильным войском,
Сзывает вкруг себя полки.
«Друзья! — он говорит,— известно,
Что россам мужество совместно;
Но нет теперь надежды вам.

Кто вере, чести друг неложно,
Умреть иль победить здесь должно»
«Умрем!» — клик вторит по горам.

Идет,— о, зрелище прекрасно,
Где прямо, верностью горя,
Готово войско в брань бесстрашно!
Встает меж их любезна пря:
Все движутся на смерть послушно,
Но не хотят великодушно
Идти за во́ждем назади;
Сверкают копьями, мечами.
Как холм, объемляся волнами,
Идет он с шумом — впереди.

Ведет в пути непроходимом
По темным дебрям, по тропам,
Под заревом, от молньи зримом,
И по бегущим облакам;
День — нощь ему среди туманов,
Нощь — день от громовых пожаров;
Несется в бездну по вервям,
По камням лезет вверх из бездны,
Мосты ему — дубы зажженны,
Плывет по скачущим волнам.

Ведет под снегом, вихрем, градом,
Под ужасом природы всей;
Встречается спреди и рядом
На каждом шаге с тьмой смертей;
Отвсюду окружен врагами:
Водой, горами, небесами
И воинством противных сил.
Вблизи падут со треском холмы,
Вдали там гулы ропчут, громы,
Скрежещет бледный голод в тыл.

Ведет — и некая громада,
Гигант пред ним восстал в пути,
Главой небес, ногами ада
Касаяся, претит идти.
Со ребр его шумят вниз реки,

Пред ним мелькают дни и веки,
Как вкруг волнующийся пар;
Ничто его не потрясает,
Он гром и бури презирает —
Нахмурясь смотрит Сен-Готар.

А там волшебница седая
Лежит на высоте холмов,
Дыханьем солнце отражая,
Блестит вдали огнями льдов,
Которыми одета зрится:
Она на всю природу злится
И в страшных инистых скалах,
Нависнутых снегов слоями,
Готова задавить горами
Иль в хладных задушить когтях.

А там, невидимой рукою
Простертое с холма на холм,
Чудовище, как мост длиною,
Рыгая дым и пламень ртом,
Бездонну челюсть разверзает,
В единый миг полки глотает;
А там — пещера черна спит
И смертным мраком взоры кроет,
Как бурею, гортанью воет:
Пред ней Отчаянье сидит.

Пришедши к чудам сим природы,
Что́ б славный учинил Язон?
Составила б Медея воды,
А он на них навел бы сон.
Но в россе нет коварств примера;
Крыле его суть должность, вера
И исполинской славы труд.
Корабль на парусах как в бурю
По черному средь волн лазурю,
Так он летит в опасный путь.

Уж тучи супостат засели
По высотам, в ущельях гор,
Уж глыбы, громы полетели
И осветили молньи взор;
Власы у храбрых встали дыбом,

И к сей отваге, страшной дивом,
Склонился в помощь свод небес.
С него зря бедствия толики,
Трепещет в скорби Петр Великий:
«Где росс мой?» — след и слух исчез.

Но что! не дух ли Оссиана,
Певца туманов и морей,
Мне кажет под луной Морана,
Как шел он на царя царей?
Нет, зрю, Массена под землею
С Рымникским в тьме сошлися к бою:
Чело с челом, глаза горят —
Не громы ль с громами дерутся? —
Мечами о мечи секутся,
Вкруг сыплют огнь,— хохочет ад.

Ведет туда, где ветр не дышит
И в высотах и в глубинах,
Где ухо льдов лишь гулы слышит,
Катящихся на крутизнах.
Ведет — и скрыт уж в мраке гроба,
Уж с хладным смехом шепчет злоба:
«Погиб средь дерзких он путей!»
Но россу где и что преграда?
С тобою бог! — И гор громада
Раздвиглась силою твоей.

Как лев могущий, отлученный
Ловцов коварством от детей,
Забрал препятством раздраженный,
Бросая пламя из очей,
Вздымая страшну гриву гневом,
Крутя хвостом, рыкая зевом
И прескача преграды, вдруг
Ломает копья, луки, стрелы,—
Чрез непроходны так пределы,
Тебя, герой! провел твой дух.

Или Везувия в утробе
Как, споря, океан с огнем
Спирают в непрерывной злобе
Горящу лаву с вечным льдом,

Клокочут глухо в мраке бездны;
Но хлад прорвет как свод железный,
На воздух льется пламень, дым,—
Таков и росс средь горных споров;
На Галла стал ногой Суворов,
И горы треснули под ним.

Дадите ль веру вы, потомки,
Толь страшных одоленью сил?
Дела героев древних громки,
До волн Средьземных доходил
Алкид и знак свой там поставил
На то, чтоб смертный труд оставил
И дале не дерзал бы взор,—
Но, сильный Геркулес российский!
Тебе столпы его, знать, низки;
Шагаешь ты чрез цепи гор.

Идет — одет седым туманом —
По безднам страшный Исполин;
За ним летит в доспехе рдяном
Вослед младый птенец орлин.
Кто витязь сей багрянородный,
Соименитый и подобный
Владыке византийских стран?
Еще росс выше вознесется,
Когда и впредь не отречется
Несть Константин воинский сан.

Уж сыплются со скал безмерных
Полки сквозь облаков, как дождь!
Уж мечутся в врагов надменных:
В душах их слава, бог и вождь;
К отечеству, к царю любовью,
Или врожденной бранной кровью,
Иль к вере верой всяк крылат.
Не могут счесть мои их взоры,
Ни всех наречь: как молньи скоры
Вокруг я блеском их объят.

Не Гозанó ль там, богом данный,
Еще с чудовищем в реке
На смертный бой, самоизбранный,
Плывет со знаменем в руке?

Копье и меч из твердой стали,
О чешую преломшись, пали:
Стал безоружен и один.
Но, не уважа лютым жалом,
Разит он зверя в грудь кинжалом —
Нет, нет, се ты, россиянин!

О, сколько храбрости российской
Примеров видел уже свет!
Европа и предел азийской
Тому свидетельствы дает.
Кто хочет, стань на холм высоко
И кинь со мной в долину око
На птиц, на сей парящих стан.
Зри: в воздухе склубясь волнистом,
Как грудью бьет соко́л их с свистом,—
Стремглав падет сраженный вран.

Так козни зла все упадают,
О Павел, под твоей рукой!
Народы длани простирают,
От бед спасенные тобой.
Но были б счастливей стократно,
Коль знали бы ценить обратно
Твою к ним милость, святость крыл;
Во храме ж славы письменами
Златыми, чтимыми веками,
Всем правда скажет: «Царь ты сил!»

Из мраков восстают стигийских
Евгений, Цесарь, Ганнибал,
Проход чрез Альпы войск российских
Их души славой обуял.
«Кто, кто,— вещают с удивленьем,—
С такою смелостью, стремленьем,
Прешел проти́в природы сил
И вражьих тьмы попрал затворов?
Кто больше нас?» — Твой блеск, Суворов!
Главы их долу преклонил.

Возьми кто летопись вселенной,
Геройские дела читай,
Ценя их истиной священной,
С Суворовым соображай;

Ты зришь тех слабость, сих пороки
Поколебали дух высокий,—
Но он из младости спешил
Ко доблести простерть лишь длани;
Куда ни послан был на брани,
Пришел, увидел, победил.

О ты, страна, где были нравы,
В руках оружье, в сердце бог!
На поприще которой славы
Могущий Леопольд не мог
Сил капли поглотить сил морем,
Где жизнь он кончил бедством, горем!
Скажи, скажи вселенной ты,
Гельвеция! быв наш свидетель:
Чья россов тверже добродетель?
Где больше духа высоты?

Промчи ж, о Русса! ты Секване,
Скорей дух русский, Павла мочь,
Цареубийц в вертепе, в стане
Ближайшу возвещая ночь.
Скажи: в руках с перуном Павел
Или хранитель мира, ангел,
Гремит, являя власть свою;
Престаньте нарушать законы
И не трясите больше троны,
Внемлите истину сию:

Днесь зверство ваше стало наго,
Вы рветесь за прибыток свой,—
Воюет росс за обще благо,
За свой, за ваш, за всех покой.
Вы жертва лжи и своевольства,
Он жертва долга и геройства;
В вас равенства мечта — в нем чин;
Суля вы вольность — взяли дани;
В защиту царств простер он длани;
Вы чада тьмы,— он света сын.

Вам видим бег светил небесных,
Не правит ли их ум един?

В словесных тварях, бессловесных
У всех есть вождь иль господин;
Стихиев разность — разнострастье,
Верховный ум — их всех согласье;
Монарша цепь есть цепь сердец.
Царь мнений связь, всех действ причина,
И кротка власть отца едина —
Живого бога образец.

Где ж скрыта к правде сей дорога,
Где в вольнодумном сердце мнят:
«Нет царской степени, нет бога»,—
Быть тщетно счастливы хотят.
Ищай себе в народе власти,
Попри свои всех прежде страсти:
А быв глава, будь всем слугой.
Но где ж, где ваши Цинциннаты?
Вы мните только быть богаты;
Корысти чужд прямой герой.

О, доблесть воинов избранных,
Собравших лавры с тьмы побед,
Бессмертной славой осиянных,
Какой не видывал сей свет!
Вам предоставлено судьбами
Решить спор ада с небесами:
Собщать ли солнцу блеск звезда́м,
Законам естества ль встать новым,
Стоять ли алтарям Христовым
И быть или не быть царям?

По доблести — царям сокровный;
По верности — престолов щит;
По вере — камень царств угольный;
Вождь — знаньем бранным знаменит,
В котором мудрость с добротою,
Терпенье, храбрость с быстротою
Вместились всех изящных душ!
Сражаясь веры со врагами
И небо поддержав плечами,
Дерзай! великий богом муж.

Дерзайте! — вижу, с вами ходит
Тот об руку во всех путях,
Что перстом круги звездны водит
И молнию на небесах.
Он рек — и тучи удалились;
Велел — и холмы уклонились;
Блеснул на ваших луч челах.
Приятна смерть Христа в любови,
И капли вашей святы крови:
Еще удар — и где наш враг?
Услышьте! — вам соплещут други,
Поет Христова церковь гимн:
За ваши для царей заслуги
Цари вам данники отнынь.
Доколь течет прозрачна Рона,
Потомство поздно без урона
Узрит в ней ваших битв зари;
Отныне горы ввек Альпийски
Пребудут россов обелиски,
Дымящи холмы — алтари.

1799

Утро

Огнистый Сириус сверкающие стрелы
Метал еще с небес в подлунные пределы,
Лежала на холмах вкруг нощь и тишина,
Вселенная была безмолвия полна;
А только ветров свист, лесов листы шептали,
Шум бьющих в камни волн, со скал потоков рев
И изредка вдали рычащий лев
Молчанье прерывали.
Клеант, проснувшийся в пещере, встал
И света дожидался.
Но говор птиц едва помалу слышен стал,
Вкруг по брегам раздался
И всклинкнул соловей;
Тумана, света сеть по небу распростерлась,
Сокрылся Сириус за ней,
И нощь бегущая чуть зрелась.
Мудрец восшел на вышний холм
И там, седым склонясь челом,
Воссел на мшистый пень под дубом многолетным
И вниз из-под ветвей пустил свой взор
На море, на леса, на сини цепи гор
И зрел с восторгом благолепным
От сна на восстающий мир.
Какое зрелище! какой прекрасный пир
Открылся всей ему природы!
Он видел землю вдруг, и небеса, и воды,
И блеск планет,
Тонущий тихо в юный, рдяный свет.
Он зрел: как солнцу путь заря уготовляла,
Лиловые ковры с улыбкой расстилала,
Врата востока отперла,
Крылатых коней запрягла
И звезд царя, сего венчанного возницу,
Румяною рукой взвела на колесницу;
Как, хором утренних часов окружена,
Подвигнулась в свой путь она,
И восшумела вслед с колес ее волна;
Багряны вожжи напряглися
По конским блещущим хребтам;

Летят, вверх пышут огнь, свет мещут по странам,
И мглы под ними улеглися;
Туманов реки разлилися,
Из коих зыблющих седин,
Челом сверкая золотым,
Восстали горы из долин,
И воскурился сверх их тонкий дым.
Он зрел: как света бог с морями лишь сравнялся,
То алый луч по них восколебался,
Посыпались со скал
Рубины, яхонты, кристалл,
И бисеры перловы
Зажглися на ветвях;
Багряны тени, бирюзовы
Слилися с златом в облаках;
И всё — сияние покрыло!
Он видел: как сие божественно светило
На высоту небес взнесло свое чело,
И пропастей лице лучами расцвело!
Открылося морей огнисто протяженье:
Там с холма вниз глядит, навесясь, темный кедр,
Там с шумом вержет кит на воздух рек стремленье,
Там челн на парусах бежит средь водных недр;
Там, выплыв из пучины,
Играют, ре́звятся дельфины,
И рыб стада сверкают чешуей,
И блещут чуды чрева белизной.
А там среди лесов гора переступает,
Подъемлет хобот слон и с древ плоды снимает.

Здесь вместе два холма срослись
И на верблюде поднялись;
Там конь, пустя по ветру гриву,
Бежит и мнет волнисту ниву.
Здесь кролик под кустом лежит,
Глазами красными блестит;
Там серны, прядая с холма на холм стрелами,
Стоят на крутизнах, висят под облаками;
Тут, взоры пламенны вверх устремляя к ним,
На лапах жилистых сидит зубастый скимн;
Здесь пестрый алчный тигр в лес кра́дется
дебристый
И ищет, где залег олень роговетвистый;

Там к плещущим ключам в зеленый мягкий лог
Стремится в жажде пить единорог;
А здесь по воздуху витает
Пернатых, насекомых рой,
Леса, поля, моря и холмы населяет
Чудесной пестротой:
Те в злате, те в сребре, те в розах, те в багрянцах,
Те в светлых заревах, те в желтых, сизых глянцах
Гуляют по цветам вдоль рек и вкруг озер;
Над ними в высоте ширяется орел!
А там с пологих гор сёл кровы, башен спицы,
Лучами отразясь, мелькают на водах.
Тут слышен рога зов, там эхо от цевницы,
Блеянье, ржанье, рев и топот на лугах;
А здесь сквозь птичий хор и шум от водопада
Несутся громы в слух с великолепна града
И изъявляют зодчих труд.
Там поселяне плуг влекут,
Здесь сети рыболов кидает,
На уде блещет серебро;
Там огнь с оружья войск сверкает.—
И всё то благо, всё добро!

Клеант, на всё сие взирая,
Был вне себя природы от чудес,
Верховный ум творца воображая,
Излил потоки сладких слез.
«Всё дело рук твоих!» — вскричал во умиленьи
И арфу в восхищеньи
Прияв, благоговенья полн,
В фригический настроя тон,
Умолк.— Но лишь с небес, сквозь дуба свод лиственный
Проникнув, на него пал свет багряный,
Брада сребристая, чело
Зардевшися, как солнце, расцвело,—
Ударил по струнам, и от холма с вершин
Как искр струи в дол быстро покатились,
Далеко звуки разгласились,
Воспел он богу гимн.

1800

Снигирь

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россиян всё побеждать?

Быть везде первым в мужестве строгом;
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и богом;
Скиптры давая, зваться рабом;
Доблестей быв страдалец единых,
Жить для царей, себя изнурять?

Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, Снигирь!
Бранна музы́ка днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что воевать?

1800

На смерть графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, князя Италийского, в С.-Петербурге <1800> года

О вечность! Прекрати твоих шум вечных споров:
Кто превосходней всех героев в свете был?
В святилище твое от нас в сей день вступил
Суворов.

1800

* * *

Вссторжествовал — и усмехнулся
Внутри души своей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дан
Непобедимому герою,
Который в тысящи боях
Боролся твердой с ним душою
И презирал угрозы страх.

Нет, не тиран, не лютый рок,
Не смерть Суворова сразила:
Венцедаятель, славы бог
Архистратига Михаила
Послал, небесных вождя сил,
Да приведет к нему вождя земного,
Принять возмездия венец,
Как луч от свода голубого...

1800

Гитара

Шестиструнная гитара
У красавицы в руках,
Громы звучного Пиндара
Заглушая на устах,
Мне за гласом звонким, нежным
Петь велит любовь.

Я пою под миртой мирной,
На красы ее смотря,
Не завидуя обширной
Власти самого царя;
Взгляд один ее мне нежный
Всех милей чинов.

Пусть вожди в боях дерутся,
В думах баре брань ведут;

Алых уст ее коснуться —
Вся моя победа тут;
Поцелуй ее мне нежный
Выше всех даров.

Пусть герой свой блеск сугубит,
Ждет бессмертия отлик;
Милая меня коль любит,
Мне блаженней века миг;
И ее объятьи нежны
Всех светлей венцов.

1800

Тишина

Не колыхнет Волхов темный,
Не шелохнет лес и холм,
Мещет на поля чуть бледный
Свет луна, и спит мой дом.

Как,— я мнил в уединеньи,—
В хижине быть славну мне?
Не живем, живя в забвеньи:
Что́ в могиле, то во сне.

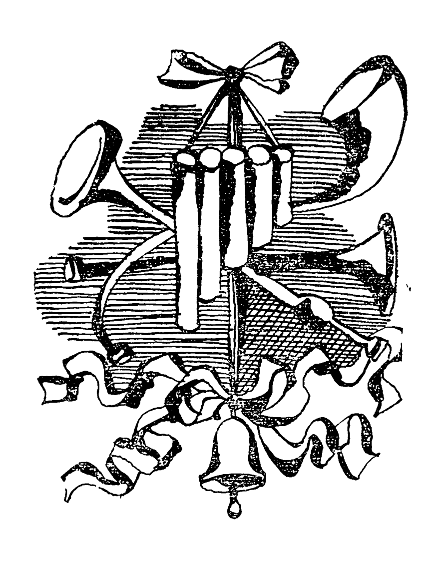
Нет! талант не увядает,
Вечного забвенья в тьме;
Из-под спуда он сияет:
Я блесну на вышине.

Так! пойду хотя в забаву
За певцом Тиисским вслед
И, снискать его чтоб славу,
Стану забавлять я свет.

Стану шуткою влюбляться,
На бумаге пить и петь,
К милым девушкам ласкаться
И в сединах молодеть.

Я пою,— Пинд стала Званка,
Совосплещут музы мне;
Возгремела балалайка,
И я славен в тишине!

1801



На разлуку

Не раздаются больше звуки
Уже в диване мне тобой;
Бегу всяк час, бегу от скуки,
А скука следует за мной.
Когда ж назад ты возвратишься,
Весельем мой наполнишь дом?
Иль с арфою навек простишься,
С Мурзой, Милордом и котом?
Пожалуй, возвратись скорее,
Приятны возврати часы,
И Дашу сделай веселее,
И почеши Мурзе усы.

1801

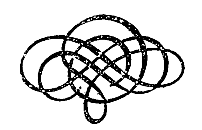
Венчание Леля

Колокол ужасным звоном
Воздух, землю колебал,
И Иван Великий громом
В полнощь, освещен, дрожал;
Я, приятным сном объятый
Макова в тени венца,
Видел: теремы, палаты,
Площадь Красного крыльца
Роем мальчиков летучим
Облелеяны кругом!
Лесом — шлемы их дремучим,
Латы — златом и сребром,
Копья — сталию блистали
И чуть виделись сквозь мглы;
Стаями сверх их летали
Молненосные орлы.
Но лишь солнце появилось
И затеплились кресты,
Море зыблюще открылось
Разных лиц и пестроты! —
Шум, с высот лиясь рекою,
Всеми чувствы овладел,
Своды храма предо мною
Я отверстыми узрел.
Там в волнах толпы стесненной
В думе весь синклит стоял,
Я в душе моей смятенной
Некий ужас ощущал.
Но на троне там обширном,
Во священной темноте,
Вдруг в сиянии порфирном
Усмотрел на высоте
Двух я гениев небесных:
Коль бесчисленны красы!
Сколько нежностей прелестных!
Златоструйчаты власы,
Блеск сафира, розы ранни
Их устен, ланит очес,
Улыбаясь, брали дани
С восхищенных тьмы сердец.

И один из них, венчаясь
Диадемою царей,
Ей чете своей касаясь,
Удвоялся блеском в ней.
Тут из окон самых верхних,
По сверкающим лучам,
Тени самодержцев древних,
Ниспустившися во храм,
Прежни лицы их прияли
И сквозь ликов торжества
В изумленьи вопрошали:
«Кто такие божества,
Что, облекшись в младость смертных,
С кротостию скиптр берут,
На обширность стран несметных
Цепь цветочную кладут
И весь Север в миг пленили
Именем одним царя?»
Громы дух мой пробудили:
Разглашалося *ура!*

Что такое сон сей значит?
Я с собою размышлял:
Дух ликует, сердце скачет,
Отчего? Я сам не знал.
Кто на царство так венчался?
Кто так души все пленил?
Кем я столько восхищался,
Сладостные слезы лил?
После музы мне сказали,
Кто так светом овладел:
«Царь сердец,— они вещали,—
Бог любви, всесильный Лель».

1801



Тончию

Бессмертный Тончи! ты мое
Лицо в том, слышу, пишешь виде,
В каком бы мастерство твое
В Омире древнем, Аристиде,
Сократе и Катоне ввек
Потомков поздных удивляло;
В сединах лысиной сияло,
И в нем бы зрелся человек.

Но лысина или парик,
Но тога иль мундир кургузый
Соделали, что ты велик?
Нет! философия и музы;
Они нас славными творят.
О! если б осенял дух правый
И освещал меня луч славы,—
Пристал бы всякий мне наряд.

Так, живописец-филосо́ф!
Пиши меня в уборах чудных,
Как знаешь ты; но лишь любовь
Увековечь ко мне премудрых.
А если слабости самим
И величайшим людям сродны,
Не позабудь во мне подобны,
Чтоб зависть улыбалась им.

Иль нет, ты лучше напиши
Меня в натуре самой грубой:
В жестокий мраз с огнем души,
В косматой шапке, скутав шубой;
Чтоб шел, природой лишь водим,
Против погод, волн, гор кремнистых,
В знак, что рожден в страна́х я льдистых,
Что был прапращур мой Багрим.

Не испугай жены, друзей,
Придай мне нежности немного:
Чтоб был я ласков для детей,
Лишь в должности б судил всех строго;

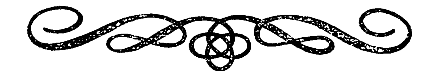
Чтоб жар кипел в моей крови,
А очи мягкостью блистали;
Красотки бы по мне вздыхали
Хоть в платонической любви.

1801

Приношение красавицам

Вам, красавицы младые,
И супруге в дар моей
Песни Леля золотые
Подношу я в книжке сей.
Нравиться уж я бессилен
И копьем и сайдаком,
Дурен, стар и не умилен:
Бью стихами вам челом.
Бью челом; и по морозам
Коль вы ездите в санях,
Летом ходите по розам,
По лугам и муравам,—
То и праха не лобзаю
Я прелестных ваших ног;
Чувствы те лишь посвящаю,
Что любви всесильный бог
С жизнью самой в кровь мне пламень,
В душу силу влил огня;
Сыплют искры снег и камень
Под стопами у меня.

1801



Пламиде

Не сожигай меня, Пламида,
Ты тихим голубым огнем
Очей твоих; от их я вида
Не защищусь теперь ничем.

Хоть был бы я царем вселенной
Иль самым строгим мудрецом,—
Приятностью, красой сраженной,
Твоим был узником, рабом.

Все: мудрость, скипетр и державу,
Я отдал бы любви в залог,
Принес тебе на жертву славу
И у твоих бы умер ног.

Но слышу, просишь ты, Пламида,
В задаток несколько рублей:
Гнушаюсь я торговли вида,
Погас огонь в душе моей.

1770; 1802

Кузнечик

Счастлив, золотой кузнечик,
Что в лесу куешь один!
На цветочный сев лужечик,
Пьешь с них мед, как господин;
Всем любуяся на воле,
Воспеваешь век ты свой;
Взглянешь лишь на что ты в поле,
Всем доволен, всё с тобой.
Земледельцев по соседству
Не обидишь ты ничем;
Ни к чьему не льнешь наследству,
Сам богат собою всем.
Песнопевец тепла лета!
Аполлона нежный сын!
Честный обитатель света,
Всеми музами любим!
Вдохновенный, гласом звонким
На земли ты знаменит,
Чтут живые и потомки:
Ты философ! ты пиит!

Чист в душе своей, не злобен,
Удивление ты нам:
О! едва ли не подобен,
Мой кузнечик, ты богам!

1802

Охотник

За охотой ты на Званку
Птиц приехал пострелять;
Но, белянку и смуглянку
Вдруг увидев, стал вздыхать.

Что такое это значит,
Миленький охотник мой?
Ты молчишь, а сердце плачет:
Птицы ль не убил какой?

Дев ли остренькие глазки
Понаделали хлопот?
С их ланит, из алой краски,
Зрел я, целился Эрот.

Как же быть? И чем лечиться?
Птичек ты багрил в крови,—
И тебе пришло томиться
От смертельныя любви.

1802

Любушке

Не хочу я быть Протеем,
Чтобы оборотнем стать;
Невидимкой или змеем
В терем к девушкам летать;
Но желал бы я тихонько,
Без огласки от людей,
Зеркалом в уборной только
Быть у Любушки моей:
Чтоб она с умильным взором
Обращалася ко мне,
Станом, поступью, убором
Любовалася во мне.
Иль бы, сделавшись водою,
Я ей тело омывал;
Вкруг монистой золотою
Руки блеском украшал;
В виде благовонной мази
Умащал бы ей власы,
На грудях в цветочной вязи
Оттенял ее красы.
Иль, обнявши белу шею,
Был жемчýг ее драгой;
Став хоть обувью твоею,
Жала б ты меня ногой.

1802

Шуточное желание

Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,—
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девóчкам
На моих сидеть ветвях.

Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезды и свистели,
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался,—
Вечно ими любовался,
Был счастливей всех сучков.

1802

Хмель

Хмель как в голову залезет,
Все бегут заботы прочь;
Крез с богатствами исчезнет,
Пью! — и всем вам добра ночь.
Плющем лежа увенчанный,
Ни во что весь ставлю свет;
В бой идет пускай муж бранный,
У меня охоты нет.
Мальчик! чашу соком алым
Поспеши мне наливать;
Мне гораздо лучше пьяным,
Чем покойником, лежать.

1802

Анакреоново удовольствие

Почто витиев правил
Мне вьючить бремена?
Премудрость я оставил:
Не надо мне она.
Вы лучше поучите,
Как сок мне Вакхов пить;
С прекрасной помогите
Венерой пошутить.
Уж нет мне больше силы
С ней одному владеть;
Подай мне, мальчик милый!
Вина, хоть поглядеть;
Авось еще немного
Мой разум усыплю:
Приходит время строго,
Покину, что люблю.

1802

Мореходец

Что ветры мне и сине море?
Что гром, и шторм, и океан?
Где ужасы и где тут горе,
Когда в руках с вином стакан?
Спасет ли нас компáс, руль, снасти?
Нет! сила в том, чтоб дух пылал.
Я пью! и не боюсь напасти,
Приди хотя девятый вал!
Приди, и волн зияй утроба!
Мне лучше пьяным утонуть,
Чем трезвым доживать до гроба
И с плачем плыть в толь дальний путь.

1802

Махиавель

Царей насмешник, иль учитель
Великих, иль постыдных дел!
Душ слабых, мелких обольститель,
Поди от нас, Махиавель!

Не надо нам твоих замашек,
Обманов тонких, хитростéй:
Довольно полных пуншем чашек
Для счастия честны́х людей,
Довольно видеть сквозь бокалы
Всю наших внутренность сердец,
На бой нас посылать, на ба́лы,
Из лавров плесть и роз венец.

1802

Деревенская жизнь

Что нужды мне до града?
В деревне я живу;
Мне лент и звезд не надо,
Вельможей не слыву;
О том лишь я стараюсь,
Чтоб счастливо прожить;
Со всеми обнимаюсь
И всех хочу любить.
Кто ведает, что будет?
Сегодня мой лишь день,
А завтра всяк забудет,
И все пройдет как тень.
Зачем же мне способну
Минуту потерять,
Печаль и скуку злобну
Пирушкой не прогнать?
Сокровищ мне не надо:
Богат, с женой коль лад;
Богат, коль Лель и Лада
Мне дружны, и Услад.
Богат, коль здрав, обилен,
Могу поесть, попить;
Подчас и не бессилен
С Миленой пошалить.

1802

К царевичу Хлору

Прекрасный Хлор! Фелицын внук,
Сын матери премилосердной,

Сестер и братьев нежный друг,
Супруг супруге милый, верный —
О ты! чей рост, и взор, и стан
Есть витязя породы царской,
Который больше друг, чем хан
Орды, страны своей татарской!
Послушай, неба серафим,
Ниспосланный счастливить смертных,
Что пишет солнцев сын, брамин,
Желая благ тебе несметных!

Достиг незапно громкий слух
До нас, живущих в Кашемире,
Что будто Зороастров дух
Воскрес в подлунном здешнем мире
И, воплотясь в тебе, о Хлор!
Воссел на некоем престоле,
Дабы расцвел доброт собор
На нем, неслыханных дотоле.

Так точно, говорят, что ты
Какой-то чудный есть владетель;
Души и тела красоты
Совокупя на добродетель,
Быть хочешь всех земных владык
Страшней не страхом,— но любовью,
Блаженством подданных велик,
Не покореньем царств и кровью.

Так шепчут: будто саму власть,
В твоих руках самодержавну,
Господства беспредельну страсть,
Ты чтишь за власть самоуправну;
Что будто мудрая та блажь
Нередко в ум тебе приходит:
Что царь законов только страж,
Что он лишь в действо их приводит
И ставит в том в пример себя;
Что ты живешь лишь для народов,
А не народы для тебя,
И что не свыше ты законов;
А тех пашей, эмиров, мурз
Не любишь и не терпишь точно,
Что, сами ползая средь уз,

Мух давят в лапах полномочно
И бить себе велят челом;
Что ты не кажешься им богом,
Не ездя на царях верхом;
Сидишь и ходишь в ряд с народом;
Что, не стирая с туфлей прах
У муфтьев, дервишей, иманов,
В седых считаешь бородах
Их глас за глас ты алкоранов;
Что, чувствуя в себе одном
Ты власть небес, а слабость смертных,
Им разбирать себя судом
Велишь чрез граждан частных, честных;
Раздоры миром прекращать,
Закону с совестью поладить
И, больше шерсть чтоб не терять,
Овцам в репейники не лазить.

Еще толкуют тож: что глас
К тебе народа тайно входит,
Что тысячью ты смотришь глаз
И в шапке-невидимке бродит
Везде твой дух,— и на коврах
Летает будто самолетах,
В чалмах, жупанах, чеботах;
А нужно где, то и в жилетах,
Чтоб как-нибудь невинность спасть,
И словом: многими путями
Ты кротку простирая власть,
Как солнце, греешь мир лучами.

И даже будто бы с собой
Даешь ты случай всем встречаться,
Писать на голубях, с тобой
Так-сяк и лично объясняться;
И злость и глупость на позор,
Печатав, выставлять листами,
Молоть язы́ком всякий вздор
И в лавках торговать умами;
И будто ты, увидя раз
Лису иль волка в агнчей коже,
Вмиг от своих сгоняешь глаз,
Хотя б их зрел в каком вельможе.

А наконец, хотя и хан,
Но так ты чудно, странно мыслишь,
Что будто на себе кафтан
Народу подлежащим числишь;
Пиров богатых не даешь,
Убранство, роскошь презираешь,
В чертогах низменных живешь,
Царицу четверней катаешь;
И хо́дя иногда пешком,
Ты по садам цветы срываешь,
Но злата не соришь мешком;
Торопишься в делах не скоро,
Так шьешь, чтоб после не пороть;
Мнишь, не доходом в доме споро,
А где умеренный расход.

И подлинно, весьма чудесный
Бывал ли где такой султан?
Да Оромаз блюдет небесный
Тебя, гарем, седой диван
И всю твою орду татарску!
Да ангел сам Инсфендармас,
Покрыв главу крылами ханску,
С своих тебя не спустит глаз
И узел укрепит священный
На поясе твоем всегда!
Да ароматом растворенный
Твой огнь не гаснет никогда.
И я дивлюсь и восхищаюсь
Лишь добродетелям твоим,
Как той звезде, что поклоняюсь
И коей подношу здесь гимн!
В хвалу тебе и в присвоенье
Ее красот и всех потреб,
Да имя Хлор твое, правленье
Напишется на дске судеб.

Когда же подлая и даже подкупная,
Прищуря мрачный взор, где зависть или злость
На нас прольет свой яд,— простим им грех,
вздыхая;
Не пре́йдут, бедные, чрез Ариманов мост.

1802

* * *

Ареопагу был он громом многократно,
По смерти же его поставили кумир.
Вельможам вместе быть с ним было неприятно:
Не терпит правды мир.

Между 1803 и 1816

Память другу

Плакущие березы воют,
На черну наклоняся тень;
Унылы ветры воздух роют;
Встает туман по всякий день —
Над кем? — Кого сия могила,
Обросши повиликой вкруг,
Под медною доской сокрыла?
Кто тут? Не муз ли, вкуса друг?

Друг мой! — Увы! озлобясь, время
Его спешило в гроб сокрыть,
Что сея он познаний семя
Мнил веки пользой пережить;
Воздвигнув из земли громады
И зодчества блестя челом,
Трудился, чтоб полнощи чады
Искусств покрылися венцом.

Встань, дух поэзьи русской древней,
С кем, вторя, он Добрыню пел,
Меж завтреней и меж обедней,
Взмахнув крыла, в свирель гремел;
И лебедь солнца как при всходе,
Под красный вечер на водах,
Раздавшись кликами в природе,
Вещай, тверди: Тут Л<ьвова> прах.

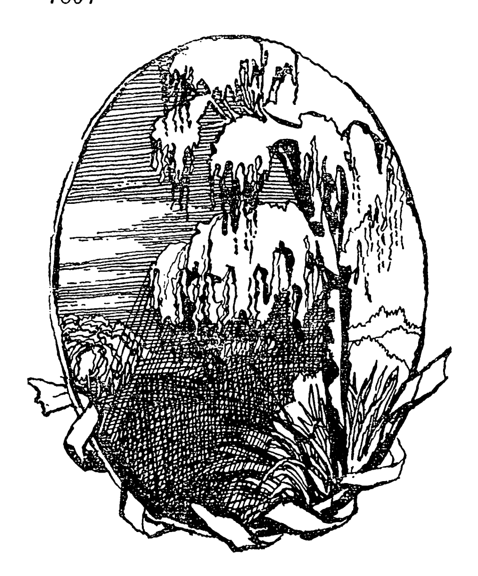
Довольны ль эхом сим, хариты,
Чтоб персть вам милую найти?
Таланты редки знамениты,
Вокруг пестреют их цветы,—

Облаговоньте ж возлияньем
Сердец вы друга своего,
Изящным, легким дарованьем
Теките, музы! в след его.

Но кто ж моей гитары струны
На нежный будет тон спущать,
Фивейски молньи и перуны
Росой тиисской упоять?
Кто памятник над мной поставит,
Под дубом тот сумрачный свод,
В котором мог меня бы славить,
Играя с громами, Эрот?

Уж нет тебя! уж нет! — Придите
Сюда вы, дружба и любовь!
Печаль и вздохи съедините,
Где скрыт под пеленою Л<ьвов>.
Ах! плачьте, чада, плачьте, други!
Целуй последний раз, краса!
Уж слезы Лизы и супруги
Как пламена горят роса.

1804



Фонарь

Гремит орган на стогне трубный,
Пронзает нощь и тишину;
Очаровательный огнь чудный
Малюет на стене луну.
В ней ходят тени разнородны:
Волшебник мудрый, чудотворный,
Жезла движеньем, уст, очес
То их творит, то истребляет;
Народ толпами поспешает
Смотреть к нему таких чудес.

Явись!
И бысть.
Пещеры обитатель дикий,
Из тьмы ужасной превеликий
Выходит лев.
Стоит,— по гриве лапой кудри
Златые чешет, вьет хвостом;
И рев
И взор его, как в мраке бури,
Как яры молнии, как гром,
Сверкая, по лесам грохочет.
Он рыщет, скачет, пищи хочет
И, меж древес
Озетя агницу смиренну,
Прыгну́в, разверз уж челюсть гневну...
Исчезнь! Исчез.

Явись!
И бысть.
Средь гладких океана стекляных,
Зарею утренней румяных,
Спокойных недр
Голубо-сизый, солнцеокой,
Усатый, тучный, рыбий князь,
Осетр,
Из влаги появясь глубокой,
Пернатой лыстью вкруг струясь,
Сквозь водну дверь глядит, гуляет,—
Но тут ужасный зверь всплывает
К нему из бездн:

Стремит в свои вод реки трубы
И как серпы занес уж зубы...
Исчезнь! Исчез.

Явись!
И бысть.
С долины мирныя, зелены
В полудни лебедь, вознесенный
Под облака,
Веселый глас свой ниспускает;
Его долина, роща, холм,
Река
Стократно эхом повторяет,—
Но тут, как быстрый с свистом гром,
На рамена его сребристы
Орел прожорливый, когтистый
Упал с небес.
Клюет, терзает, бьет крылами,
И пух летит, как снег, полями...
Исчезнь! Исчез.

Явись!
И бысть.
Спустилось солнце,— вечер темный
Открыл на небе миллионы
Горящих звезд.
Огнисты, легки метеоры
Слетают блещущим клубком
От мест
Превыспренних — и в мраке взоры,
Как искры, веселят огнем;
Одна на дом тут упадает,
Раздута ветром, зажигает,
И в пламе город весь!
Столбом дым, жупел в воздух вьется,
Пожар, как рдяны волны, льется...
Исчезнь! Исчез.

Явись!
И бысть.
Торговый гость, смотря на счеты,

От жажды к злату и заботы
Хотя дрожит
Товарищей над барышами,
В пай деля товары их;
Но бдит
И ползает над чертежами
Всечасно странствиев морских.
В очках его всезряще око
Уж судно зрит в морях далеко
Сквозь сладких слез;
На нем вздут парус, флаг, дым, пламень,
Близ пристани подводный камень...
Исчезнь! Исчез.

Явись!
И бысть.
Оратай нив трудолюбивый,
Богобоязный, терпеливый,
Пролив свой пот,
Ходя под зноем за сохою
И туком угобзя бразды,
Ждет год
От брошенных его рукою
Семян собрать себе плоды.
Златым колосья соком полны,
Уже колеблются, как волны,
И тень небес
Его труд правый осеняет,—
Но град из тучи упадает...
Исчезнь! Исчез.

Явись!
И бысть.
Чета младая новобрачных —
В златых, блистающих, безмрачных
Цепях своих —
Любви в блаженстве утопает;
Преодолев препятства все,
Жених
От радости в восторге тает
И, в плен отдавшися красе,
Забыв на ложе прежни скуки,
В уста ее целует, в руки

И средь завес
Коснулся уж забав рукою,—
Но блещет смерть над ним косою...
Исчезнь! Исчез.

Явись!
И бысть.
Отважный, дерзкий вождь, счастливый,
Чрез свой пронырливый, кичливый
И твердый дух
Противны разметав знамены,
И на чело свое собрав
Вокруг
С народов многих лавр зеленый,
И царские права поправ,
В чаду властолюбивой страсти
У всей народной силы, власти
Взял перевес;
Граждан не внемлет добрых стону,
Простер десницу на корону...
Исчезнь! Исчез.

Не обавательный ль, волшебный,
Магический сей мир фонарь?
Где видны тени переменны,
Где, веселяся ими, царь
Иль маг какой, волхв непостижный,
В своих намереньях обширный,
Планет круг тайно с высоты
Единым перстом обращает
И земнородных призывает
Мечтами быть иль зреть мечты!

Почто ж, о смертный дерзновенный,
Невежда средь своих наук!
Летая мыслями надменный
Иль ползая в пыли, как жук,
Бежишь ты счастья за мечтами,
Толь преходящими пред нами,
Быв гостем, позванным на пир?
Не лучше ль блеском их не льститься,
Но зодчему тому дивиться,
Кто создал столь прекрасный мир?

Так будем, будем равнодушно
Мы зрительми его чудес;
Что рок велит, творить послушно,
Забавой быв других очес;
Пускай тот управляет нами,
Кто движет солнцами, звездами;
Он знает их и наш конец!
Велит — я возвышаюсь.
Речет — я понижаюсь.
Сей мир — мечты; их бог творец!

1804

Мужество

Что привлекательней очам,
Как не огня во тьме блистанье?
Что восхитительнее нам,
Когда не солнечно сиянье?
Что драгоценней злата есть
Средь всех сокровищ наших тленных?
Меж добродетелей отменных
Чья мужества превыше честь?

В лучах, занятых от порфир,
Видал наперсников я счастья;
Зрел удивляющие мир
Могущество и самовластье;
Сребра зрел горы на столах,
Вельмож надменность, роскошь, пышность,
Прельщающую сердце лишность,—
Но ум прямых не зрел в них благ.

При улыбаньи красоты,
Под сладкогласием музы́ки,
Волшебных игр и див мечты
Меня пленяли, пляски, лики,—
Но посреди утех таких,
Как чувства в неге утопали,
Мои желания искали
Каких-то общих благ — моих.

Пальмиры пышной и Афин,
Где были празднествы, позоры,

Там ныне средь могил, пустынь
Следы зверей встречают взоры.
Увы! в места унынья, скук
Чтó красны зданья превратило?
Уединенье водворило
Чтó в храмах вкуса и наук?

Не злым ли зубом стер их Крон?
Не хищны ль варваров набеги?
Нет! нет! — великих душ урон.
Когда в объятья вверглись неги,
Ко злату в цепи отдались,—
Вмиг доблести презренны стали,
Под тяжестью пороков пали,
Имперьи в прахе погреблись.

О! если б храбрый Леонид
Поднесь и Зинобия жили,
Не пременился б царств их вид,
Величия б примером были,—
Но жар как духа потушен,
Как бедность пресмыкаться стала,
Увидели Сарданапала
На троне с прялицей меж жен.

Итальи честь, художеств цвет,
Остатки древностей бесценны!
Без римлян, побеждавших свет,
Где вы? Где? — Галлом похищенны!
Без бодрственной одной главы,
Чем вознеслась Собийсков слава,
Став жен Цитерою, Варшава
Уж не соперница Москвы.

Укрась чело кто звезд венцом
И обладателем будь мира,
Как радуга сияй на нем
Багряновидная порфира,—
Но если дух в нем слаб — полков,
Когорт его все громы мертвы;
Вожди без духа — страхов жертвы
И суть рабы своих рабов.

Так доблесть, сердца правота,
Огонь души небес священный,
Простейших нравов высота,
Дух крепкий, сильный, но смиренный —
Творец величеств на земли!
Тобою вои побеждают,
Судьи законы сохраняют,
Счастливо царствуют цари.

Тобой преславный род славян
Владыкой сделался полсвета,
Господь осьми морей, тьмы стран;
Душа его, тобой нагрета,
Каких вновь див не сотворит?
Там Гермоген, как Регул, страждет;
Ильин, как Деций, смерти жаждет;
Резанов Гаму заменит.

Одушевляй российску грудь
Всегда, о мужество священно!
Присутственно и впредь нам будь
Во время скромно, время гневно;
Взлетим, коль оперенны мы
Твоими страшными крылами,—
Кто встанет против нас? — Бог с нами!
Мы вспеним понт, тряхнем холмы.

1797; 1804

Волхов Кубре

Напрасно, Ку́бра дорогая,
Поешь о славе ты моей;
Прелестна девушка, младая!
Мне петь бы о красе твоей.

Хотя угрюм и важен взором
И седина на волосах,—
Но редко бурями и громом
В моих бушую я лесах.

Я мирный гражданин, торговый,
И беспрестанно в хлопота́х;
За старым караваном новый
Ношу лениво на плечах.

Наполнен барками, судами,
На парусах и бечевой,
Я русских песен голосами
Увеселяю слух лишь свой.

Меж холмиков, дубков саженых
Ведет полога мурава
Моих в сне путников наемных,
Плывущих спу́стя рукава.

Иль видят золотые нивы
То пестроту цветов в лугах;
То луч с серпов и кос игривый
В муравленых горит водах.

Шумящи перловы пороги
Им слабо преграждают путь:
Премудро, справедливо боги
Богатство за труды дают.

И бард мой с арфой ветхострунной
Хоть сидя на холму поет,
Но, представляя вечер лунной,
Он тихий голос издает.

Увы! — сколь парусом пробегших,
На лямках шедших зрел ладей!
И сколько под луной умерших
Он духом зрит своих друзей!

Уже и вождь, ногой железной
Ступавший Александра вслед,
Прекрасный человек, любезной,
Луч бедных — блещет между звезд.

И ты, в наядах быв известной,
Не завсегда волной шуми;
Но розовой рукой прелестной,
Вздохнув, Меналка обойми.

С Бионом, Геснером, Мароном,
Потомства поздного в уме
Твердясь пастушьим, сельским тоном,
С кузнечиком светись во тьме.

1804

Оленину

Обычьев русских, вида, чувства,
Моей поэзьи изограф,
Чьего и славный бритт искусства
Не снес, красе возревновав;
В чьем рашкуле, мелу, чернилах
Видна так жизнь, как в пантоминах,
Оленин милый! — вспомяни
Твое мне слово — и черкни.

Представь мне воина, идуща
С прямым бесстрашием души
На явну смерть и смерть несуща,
И словом, росса напиши:
Как ржет пред ним Везувий ярый,
Над ним дождь искр, громов удары,
За ним — скрыл мрак его стопы —
Лежат Иракловы столпы!

Тебе,— так россу только можно
Отечества представить дух;
Услуги верной ждать не должно
От иностранных слабых рук.
И впрямь: огромность исполина
Кто облечет, окроме сына
Его, и телом и душой?
Нам тесен всех других покрой.

Когда наука иль природа
Дадут и дух, и ум, и вкус,
Ни чин, ни должность, ни порода
Быть не претят друзьями муз.
И только ль в поле на сраженьи
И за зерца́лом дел в вершеньи
Сыновий нужен царству жар? —
Нет! — проклят всяк, сокрывший дар.

Три дщери своего рожденья
Судили небеса послать,
Чтоб свет, красу и утешенье
На землю мрачну проливать;
Схватясь красавицы руками,
С улыбкой тихими стопами
Проходят мир — и се в наш век
Пришли в полнощь, как Петр предрек.

Пусть дух поэта сотворяет,
Вливает живописец жизнь,
А чувства музыкант вдыхает
К образованью их отчизн;
И нас коль гении вдыхают,
От сна с зарею возбуждают,—
Не стыдно ль негу обнимать?
Пойдем Сатурна побеждать!

1804

Лебедь

Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.

В двояком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.

Да, так! Хоть родом я не славен,
Но, будучи любимец муз,
Другим вельможам я не равен,
И самой смертью предпочтусь.

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах,
Но, будто некая цевница,
С небес раздамся в голосах.

И се уж кожа, зрю, перната
Вкруг стан обтягивает мой;
Пух на груди, спина крылата,
Лебяжьей лоснюсь белизной.

Лечу, парю — и под собою
Моря, леса, мир вижу весь;
Как холм, он высится главою,
Чтобы услышать богу песнь.

С Курильских островов до Буга,
От Белых до Каспийских вод
Народы, света с полукруга,
Составившие россов род.

Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь,
И все, что бранью днесь пылают,
Покажут перстом — и рекут:

«Вот тот летит, что, строя лиру,
Язы́ком сердца говорил
И, проповедуя мир миру,
Себя всех счастьем веселил».

Прочь с пышным, славным погребеньем,
Друзья мои! Хор муз, не пой!
Супруга! облекись терпеньем!
Над мнимым мертвецом не вой.

1804

На гроб N. N.

Сребра и злата не дал в лихву
И с неповинных не брал мзды,
Коварством не вводил в ловитву
И не ковал ничьей беды;

Но верой, правдой вержа злобу,
В долгу оставил трех царей.
Приди вздохнуть, прохожий, к гробу,
Покоищу его костей.

1804

На пастуший балет

На дерну лежа зеленом,
Я в свирель мою играл;
В сердце цельном, не плененном
Я любви еще не знал.
Но, откуда ни возьмися,
Подбежал ко мне дитя:
«Дай свирелку, потрудися,
Поучи»,— сказал шутя.
Отдал я ему свирелку,
Начал он в нее играть;
Поиграв, мне кинул стрелку,
Стал я с стрелкой той плясать;
И со стрелкой таковою
Шестьдесят уж лет пляшу:
Не скучаю красотою
И любовь в душе ношу.

1804

Фалконетов Купидон

Дружеской вчерась мы свалкой
На охоту собрались,
На полу в избе повалкой
Спать на сене улеглись.

В полночь, самой той порою,
Как заснула тишина,
Сребряной на нас рукою
Сыпала свой свет луна,—
Вдруг из окон Лель блестящих
Въехал на луче верхом
И меня, нашед меж спящих,
Тихо в бок толкнул крылом.
«Ну,— сказал он,— на охоту
Если хочешь, так пойдем;
Мне оставь стрелять заботу,
Ты иди за мной с мешком».
Встал я — и, держась за стенку,
Шел на цыпках, чуть дышал,
За спиной он в туле стрелку,
Палец на устах держал.
Тихой выступкой такою
Мнил он лучше дичь найти;
Мне ж, с плешивой головою,
Как слепцу, велел идти.
Шли — и только наклонялись
На гнездо младых куниц;
Молодежь вкруг засмеялась,
Нас схватили у девиц.
Испугавшися смертельно,
Камнем стал мой Купидон;
Я проснулся,— рад безмерно,
Что то был один лишь сон.
Сна, однако, столь живого
Голова моя полна;
Вижу в марморе такого
Точно Купидона я.
«Не шути, имев грудь целу,—
Улыбаясь, он грозит,—
Вмиг из тула выну стрелу»,—
Слышу, будто говорит.

1804

Цыганская пляска

Возьми, египтянка, гитару,
Ударь по струнам, восклицай;

Исполнясь сладострастна жару,
Твоей всех пляской восхищай.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Неистово, роскошно чувство,
Нерв трепет, мление любви,
Волшебное зараз искусство
Вакханок древних оживи.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Как ночь — с ланит сверкай зарями,
Как вихорь — прах плащом сметай,
Как птица — подлетай крылами
И в длани с визгом ударяй.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Под лесом нощию сосновым,
При блеске бледныя луны,
Топоча по доскам гробовым,
Буди сон мертвой тишины.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Да вопль твой *эвоа!* ужасный,
Вдали мешаясь с воем псов,
Лиет повсюду гулы страшны,
А сластолюбию любовь.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Нет, стой, прелестница! довольно,
Муз скромных больше не страши;
Но плавно, важно, благородно,
Как русска дева, пропляши.
Жги души, огнь бросай в сердца
И в нежного певца.

1805

* * *

Кто вел его на Геликон
И управлял его шаги?
Не школ витийственных содом,—
Природа, нýжда и враги.

1805

Мщение

Бог любви и восхищенья
У пчелы похитил сот,
И пчелой за то в отмщенье
Был ужален тут Эрот.
Встрепенувшися, несчастный,
Крадены, сердясь, соты
В розовы уста прекрасны
Спрятал юной красоты.
«На,— сказал,— мои хищеньи
Ты для памяти возьми,
И отныне наслажденьи
Ты в устах своих храни».
С тех пор Хлою дорогую
Поцелую лишь когда,
Сласть и боль я в сердце злую
Ощущаю завсегда.
Хлоя жаля услаждает,
Как пчелиная стрела:
Мед и яд в меня вливает,
И, томя меня, мила.

1805

Четыре возраста

Как светятся блески
На розе росы,—
Так милы усмешки
Невинной красы.
Младенческий образ —
Вид в капле зари.

А быстро журчащий
Меж роз и лилей,
Как перлом блестящий
По лугу ручей,—
Так юности утро,
Играя, течет.

Река ж или взморье
Полдневной порой
Как в дол иль на взгорье
Несется волной,—
Так мужество бурно
Страстями блестит.

Но озеро сткляно,
Утихнув от бурь,
Как тихо и важно
Чуть кажет лазурь,—
Так старость под вечер
Стоит на клюке.

Сколь счастлив, кто в жизни
Все возрасты вёл,
Страшась укоризны
Внутрь совести, зол!
На запад свой ясный
Он весело зрит.

1805

Облако

Из тонкой влаги и паров
Исшед невидимо, сгущенно,
Помалу, тихо вознесенно
Лучом над высотой холмов,
Отливом света осветяся,
По бездне голубой носяся,
Гордится облако собой,
Блистая солнца красотой.

Или прозрачностью сквозясь
И в разны виды пременяясь,
Рубином, златом испещряясь
И багряницею стелясь,
Струясь, сбираясь в сизы тучи
И вдруг схолмяся в холм плавучий,
Застенивает солнца зрак;
Забыв свой долг и благодарность,
Его любезну светозарность
Сокрыв от всех,— наводит мрак.

Или не долго временщик
На светлой высоте бывает,
Но, вздувшись туком, исчезает
Скорей, чем сделался велик.
Под лучезнойной тяготою
Разорван молнии стрелою,
Обрушась, каплями падет,—
И уж его на небе нет!

Хотя ж он в чадах где своих,
Во мглах, в туманах возродится
И к выспренностям вновь стремится,
Но редко достигает их:
Давленьем воздуха гнетомый
И влагой вниз своей влекомый,
На блаты, тундры опустясь,
Ложится в них,— и зрится грязь.

Не видим ли вельмож, царей
Живого здесь изображенья?
Одни — из праха, из презренья
Пренизких возводя людей
На степени первейших санов,
Творят богов в них, истуканов,
Им вверя власть и скипетр свой;
Не видя, их что ослепляют,
Любезной доброты лишают,
Темня своею чернотой.

Другие — счастья быв рабы,
Его рукою вознесенны,
Сияньем ложным украшенны,

Страстей не выдержав борьбы
И доблестей путь презря, правды,
Превесясь злом, как водопады
Падут стремглав на низ во мглах:
Быв идолы — бывают прах.

Но добродетель красотой
Своею собственной сияет;
Пускай несчастье помрачает,
Светла она сама собой.
Как Антонины на престоле,
Так Эпиктиты и в неволе
Почтенны суть красой их душ.
Пускай чей злобой блеск затмится,—
Но днесь иль завтра прояснится
Бессмертной правды солнца луч.

О вы, имеющи богов
В руках всю власть и всю возможность,
В себе же смертного ничтожность,
Ввергающую бедствий в ров!
Цари! От вас ваш трон зависит
Унизить злом, добром возвысить;
Имейте вкруг себя людей,
Незлобьем, мудростью младенцев;
Но бойтесь счастья возведенцев,
Ползущих пестрых вкруг вас змей.

И вы, наперсники царей,
Друзья, цветущи их красою!
Их пишущи жизнь, смерть рукою
Поверх земель, поверх морей!
Познайте: с вашим всем собором
Вы с тем равны лишь метеором,
Который блещет от зари;
А сами по себе — пары.

И ты, кто потерял красу
Наружну мрачной клеветою!
Зри мудрой, твердою душою:
Подобен мир сей колесу.
Се спица вниз и вверх вратится,
Се капля мглой иль тучей зрится:

Так что ж снедаешься тоской?
В кругу творений обращаясь,
Той вниз, другою вверх вздымаясь,—
Умей и в прахе быть златой.

1806

Гром

В тяжелой колеснице грома
Гроза, на тьме воздушных крыл,
Как страшная гора несома,
Жмет воздух под собой,— и пыль
И понт кипят, летят волнами,
Древа вверх вержутся корнями,
Ревут брега, и воет лес.
Средь тучных туч, раздранных с треском,
В тьме молнии багряным блеском
Чертят гремящих след колес.

И се, как ночь осення, темна,
Нахмурясь надо мной челом,
Хлябь пламенем расселась черна,
Сверкнул, взревел, ударил гром;
И своды потряслися звездны:
Стократно отгласились бездны,
Гул восшумел, и дождь и град,
Простерся синий дым полетом,
Дуб вспыхнул, холм стал водометом,
И капли радугой блестят.

Утихло дуновенье бурно,
Чуть слышен шум и серный смрад;
Пространство воздуха лазурно
И чёла в злате гор горят.
Природе уж не страшны грозы,
Дыхают ароматом розы,
Пернатых раздается хор;
Зефиры легки, насекомы
Целуют злаков зыбки холмы,
И путник осклабляет взор.

Кто сей, который тучи гонит
По небу, как стада овнов,
И перстом быстры реки водит
Между гористых берегов?
Кто море очертил в пределы,
На шумны, яры волны белы
Незримы наложил бразды?
Чьим манием ветр вземлет кры́ла,
Стихиев засыпает сила,
Блеск в хаосе возник звезды?

И в миг единый миллионы
Кто дланию возжег планет?
О боже! — се твои законы,
Твой взор миры творит, блюдет.
Как сталью камень сыплет искры,
Так от твоей струятся митры
В мрак солнцы средь безмерных мест.
Ты дхнешь—как прах, вновь сферы встанут;
Ты прервешь дух — как злак, увянут;
Твои следы суть бездны звезд.

О вы, безбожники! не чтущи
Всевышней власти над собой,
В развратных мыслях тех живущи,
Что случай всё творит слепой,
Что ум лишь ваш есть царь вселенной,—
Взгляните в буйности надменной
На сей ревущий страшный мрак,
На те огнем блестящи реки,—
И верьте, дерзки человеки,
Что всё величье ваше — прах.

Но если вы и впрямь всемочны,
Почто ж вам грома трепетать?
Нет! — Гордости пути порочны
Бог правды должен наказать.
Где ваша мочь тогда, коварствы,
Вновь созданны цари и царствы,
Как рок на вас свой склонит перст?
Огонь и воды съединятся,
Земля и небо ополчатся,
И меч и лук сотрется в персть.

Но тот, кто почитает бога,
Надежду на него кладет,
Сей не боится время строга,
Как холм средь волн не упадет.
Пусть зельна буря устремится,—
Душой всех превзойти он тщится,
Бесстрашен, мужествен средь бед;
И под всесильным даже гневом,
Под зыблющим, падущим небом,
Благословя творца, уснет.

Труба величья сил верховных,
Вития бога и посол!
О гром! гроза духо́в тех гордых,
Кем колебался звезд престол!
Земли ты чрево растворяешь
И плодородьем мир венчаешь,—
Но твой же может бросить тул
И жуплов тьмы на князя ада.
Встань! грянь! — и вслед его упада
По безднам возгрохочет гул.

1806

Поминки

Победительница смертных,
Не имея сил терпеть
Красоты побед несметных,
Поразила Майну — смерть.
Возрыдали вкруг эроты,
Всплакал, возрыдал и я;
Музы, зря на мрачны ноты,
Пели гимн ей,— и моя
Горесть повторяла лира.
Убежала радость прочь,
Прелести сокрылись мира,
Тишина и черна ночь
Скутали мой дом в запоны,
От земли и от небес
Слышны эха только стоны;
Плачем мы — и плачет лес;
Воем мы — и воют горы.

Плач сей был бы без конца,
Если б алый луч Авроры,
Бог, что светит муз в сердца,
Не предстал и мне сияньем
Не влиял утехи в грудь.
«Помяни,— рек,— возлияньем
Доблесть — и покоен будь».
Взял я урну и росами
Чистыми, будто кристалл,
Полну наточил слезами,
Гроб облив, поцеловал.
И из праха возникают
Се три розы, сплетшись в куст,
Веселят, благоухают,
Разгоняют мрачну грусть.

1807

Признание

Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться
И философа брать вид;
Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
Если я блистал восторгом,
С струн моих огонь летел,—
Не собой блистал я — богом;
Вне себя я бога пел.
Если звуки посвящались
Лиры моея царям,—
Добродетельми казались
Мне они равны богам.
Если за победы громки
Я венцы сплетал вождям,—
Думал перелить в потомки
Души их и их детям.
Если где вельможам властным
Смел я правду брякнуть вслух,—

Мнил быть сердцем беспристрастным
Им, царю, отчизне друг.
Если ж я и суетою
Сам был света обольщен,—
Признаюся, красотою
Быв плененным, пел и жен.
Словом: жег любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец! на гроб мой камень,
Если ты не человек.

1807

Графу Стейнбоку

Кого на бреге моря бурна
Близ ветхих града стен, в тени,
Жизнь не богата, но не скудна
Течет, и он приятно дни
Проводит, избежав столицы,
Желаниев своих в границы
Умеренность постановив,
А малый домик окружив
Свой садом, нивами, стадами,
В семье, с супругой и друзьями,
Ничем внутрь сердца не смущен,—
Тот мудр — и истинно блажен!

Так, милый граф! волненье Бельта —
Быстротекущих образ лет;
Вид Гапсаля — вид тленна света,
Что скоро рушится, падет;
Древесны тени, птичек пенья —
Спокойной совести, смиренья
И добродетели удел.
Когда твой труд плодом поспел,
И нив колосья золотые
Возблещут в поле, и младые
Взыграют агнцы на лугу,—
Что знатных блеск сих благ в кругу?

Ничто.— И так, наскучат грады
И их когда забавы нам,

Пойдем искать утех, прохлады
Мы к злачным Волхова брегам
Или в твоем поместье новом,
Во храме восседя Петровом,
Что в честь ему ты мнишь вознесть,
Велим хор муз к себе привесть;
И Ве́рушку с Люси так сладим,
Что пламенной их пляской сгладим
С седых морщины наших лбов,
Обрезав крылья у годов.

Часы веселия суть кратки,
Минута скуки — целый век:
Ах! для чего же люди падки
К заботам? — Страждет человек
Не для того ль, что ищет части
Своей всяк в гордости и власти,
Сам мучась, мучит и других
Насчет крылатых дней своих?
Престанем же к звездам моститься;
А лучше с серном льву резвиться,
С державой яхонту блистать:
Придет к нам зависть танцевать.

1807

Персей и Андромеда

Прикованна цепьми к утесистой скале,
Огромной, каменной, досягшей тверди звездной,
Нахмуренной над бездной,
Средь яра рева волн, в нощи, во тьме, во мгле,
Напасти Андромеда жертва,
По ветру распустя власы,
Трепещуща, бледна, чуть дышаща, полмертва,
Лишенная красы,
На небо тусклый взор вперя, ломая персты,
Себе ждет скорой смерти;
Лия потоки слез, в рыданиии стенет
И таково вопиет:

«Ах! кто спасет несчастну?
Кто гибель отвратит?

Прогонит смерть ужасну,
Которая грозит?

Чье мужество, чья сила,
Чрез меч и крепкий лук,
Покой мне возвратила
И оживила б дух?

Увы! мне нет помоги,
Надежд, отрады нет;
Прогневалися боги,
Скрежеща рок идет.

Чудовище... Ах! вскоре
Сверкнет зубов коса.
О, горе мне! о, горе!
Избавьте, небеса!»

Но небеса к ее молению не склонны.
На скачущи вокруг седые, шумны волны
Змеями молнии летя из мрачных туч
Жгут воздух, пламенем горюч,
И рдяным заревом понт синий обагряют.
За громом громы ударяют,
Освечивая в тьме бездонну ада дверь,
Из коей дивий вол, иль преисподний зверь,
Стальночешуйчатый, крылатый,
Серпокогтистый, двурогатый,
С наполненным зубов-ножей разверстым ртом,
Стоящим на хребте щетинным тростником,
С горящими, как угль, кровавыми глазами,
От коих по водам огнь стелется струями,
Между раздавшихся воспененных валов,
Как остров между стен, меж синих льда бугров
Восстал, плывет, на брег заносит лапы мшисты,
Колеблет холм кремнистый
Прикосновением одним.
Прочь ропщущи бегут гнетомы волны им.

Печальная страна
Вокруг молчит,
Из облаков луна
Чуть-чуть глядит;
Чуть дышут ветерки,

Чуть слышен стон
Царевниной тоски
Сквозь смертный сон;
Никто ей не дерзает
Защитой быть:
Чудовище зияет,
Идет сглотить.

Но внемлет плач и стон Зевес
Везде без помощи несчастных.
Вскрыл вежды он очес
И всемогущий скиптр судеб всевластных
Подъял.— И се герой
С Олимпа на коне крылатом,
Как быстро облако, блестяще златом,
Летит на дол, на бой,
Избавить страждущую деву;
Уже не внемлет он его гортани реву,
Ни свисту бурных крыл, ни зареву очей,
Ни ужасу рогов, ни остроте когтей,
Ни жалу, издали смертельный яд точащу,
Всё в трепет приводящу.
Но светлы звезды как чрез сине небо рея,
Так стрелы быстрые, копье стремит на змея.

Частая сеча меча
Сильна могуща плеча,
Стали о плиты стуча,
Ночью блеща, как свеча,
Эхо за эхами мча,
Гулы сугубит, звуча.

Уж чувствует дракон, что сил его превыше
Небесна воя мочь;
Он станови́тся будто тише
И удаляется коварно прочь,—
Но, кольцами склубясь, вдруг с яростию злою,
О бездны опершись изгибистым хвостом,
До звезд восстав, как дуб, ветвистою главою,
Он сердце раздробить рогатым адским лбом
У витязя мечтает;
Бросается — и вспять от молний упадает
Священного меча,

Чуть движа по земле свой труп, в крови влача,
От воя зверя вкруг вздрогну́ли черны враны,
Шумит их в дебрях крик: сокрыло море раны,
Но черна кровь его по пенным вод буграм
Как рдяный блеск видна пожара по снегам.

Вздохи и стоны царевны
Сердца уж больше не жмут;
Трубят тритоны, сирены,
Музы и нимфы поют.
Вольность поют Андромеды,
Храбрость Персея гласят;
Плеск их и звук про победы
Холмы и долы твердят.

Победа! Победа!
Жива Андромеда!
Живи, о Персей,
Век славой твоей!

Не зрим ли образа в Европе Андромеды,
Во россе бранный дух — Персея славны следы,
В Губителе мы баснь живого Саламандра,
Ненасытима кровью?
Во плоти божества могуща Александра?
Полн милосердием, к отечеству любовью,
Он рек: «Когда еще злодею попущу,
Я царства моего пространна не сыщу,
И честолюбию вселенной недостанет.
Лети, Орел! — да гром мой грянет!»

Грянул меж Бельта заливов,
Вислы и Шпреи брегов;
Галлы средь жарких порывов
Зрели, дух русских каков!
Знайте, язы́ки, страшна колосса:
С нами бог, с нами; чтите все росса!
Весело росс проливает
Кровь за закон и царя;
Страху в бою он не знает,
К ним лишь любовью горя.
Знайте, язы́ки, страшна колосса:
С нами бог, с нами; чтите все росса!

Росс добродетель и славу
Чтит лишь наградой своей;
Труд и походы в забаву,
Ищет побед иль смертей.
Знайте, языки, страшна колосса:
С нами бог, с нами; чтите все росса!

Жизнь тех прославим полезну,
Кто суть отчизны щитом:
Слава монарху любезну!
Слава тебе, Бенингсон!
Знайте, языки, страшна колосса:
С нами бог, с нами; чтите все росса!

Повеся шлем на меч, им в землю водруженной,
Пред воинства лицем хвалу творцу вселенной,
Колено преклоня с простертьем рук, воспел
На месте брани вождь,— в России гром взгремел.

1807

Атаману и войску Донскому

Платов! Европе уж известно,
Что сил Донских ты страшный вождь.
Врасплох, как бы колдун, всеместно
Падешь как снег ты с туч иль дождь.
По черных воронов полету,
По дыму, гулу, мхам, звезда́м,
По рыску волчью, видя мету,
Подходишь к вражьим вдруг носам;
И, зря на туск, на блеск червонца,
По солнцу, иль проти́ву солнца,
Свой учреждаешь ертаул
И тайный ставишь караул.

В траве идешь — с травою равен;
В лесу — и равен лес с главой;
На конь вскокнешь — конь тих, не нравен,
Но вихрем мчится под тобой.
По камню ль черну змеем черным
Ползешь ты в ночь — и следу нет.
По влаге ль белой гусем белым
Плывешь ты в день — лишь струйка след.

Орлом ли в мгле паришь сгущенной —
Стрелу сечешь ей в след пущенной
И, брося петли округ шей,
Фазанов удишь, как ершей.

Разил ты Льва, Луне гнул ро́ги,
Ходил противу Солнца в бой;
Медведей, тигров средь берлоги
Могучей задушал рукой:
Почто ж вепря́ щетино-черна,
Залегшего в лесах средь блат,
С клыков которого кровь, пена
Течет — зловоние и яд —
От рыла взрыты вкруг могилы,
От взоров пламенны светилы
Край заревом покрыли весь,
Арканом не схватил поднесь?

Что ж стал? — Борза ль коня не стало?
Возьми ковер свой самолет.
Ружейного ль снаряду мало?
Махни ширинкой — лес падет.
Запаса ли не видишь хлебна?
Гложи железны просфиры́.
Жупан ли, епанча ль потребна?
Сам невидимкой всё бери.
Сапог нет? — сту́пни самоходны
Надень, перчатки самородны
И дуй на огнь, на мраз, на глад:
Российской силе нет преград.

Бывало, ведь и в прежни годы
Взлетала саранча на Русь,
Многообразные уроды
Грозили ей налогом уз.
Был грех, от свар своих кряхтели,
Теряли янством и главы,—
Но лишь на бога мы воззрели,
От сна вспрянули будто львы.
Был враг чипчак — и где чипчаки?
Был недруг лях — и где те ляхи?
Был сей, был тот — их нет; а Русь?..
Всяк знай, мотай себе на ус.

Да как же это так случалось?
Заботились, как днесь, цари;
Премудро всё распоряжалось,
Водили рать богатыри:
При Святославиче Добрыня
Убил дракона в облаках;
Чернец Донского — исполина
Татарского поверг во прах.
Голицын, Шереметев, Львовы
Крушили зубы в дни Петровы;
Побед Екатерины лавр —
Чесма, Кагул, Крым, Рымник, Тавр.

Неужто Альпы в мире шашка?
Там молньи Павла видел галл;
На кляче белая рубашка
Не раз его в усы щелка́л,—
Или теперь у Александра
При войске нету молодца?
С крестом на адска Саламандра
Ужель не сыщется бойца?
Внемли же моему ты гласу:
Усердно помоляся Спасу,
В четыре стороны поклон —
И из ножон булат твой вон!

И с свистом звонким, молодецким,
Разбойника сбрось *Соловья*
С дубов копьем вновь мурзавецким
И будь у нас второй Илья;
И, заперши в железной клетке,
Как желтоглазого сыча,
Уранга, сфинкса на веревке
Примчи, за плечьми вторача.
Иль двадцать молодцов отборных,
Лицом, летами, ростом сходных,
Пошли ты за себя за злым;
Двадцатый хоть — приедет с ним.

Для лучшей храбрых душ поджоги
Ты расскажи им русску быль,
Что старики, быв в службе строги,
Все невозможности чли в пыль:

Сжигали грады воробьями,
Ходили в лодках по земле,

Топили вражий стан прудами,
Имели пищу в киселе,
Спускались в мрачны подземелья,
Живот считали за безделья;
К отчизне ревностью горя,
За веру мерли и царя.

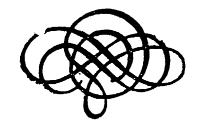
Однако ж, чтоб не быть и жертвой,
Ты меч им кла́денец отдай,
Живой водой их спрысни, мертвой
И горы злата обещай;
Черкесенок, грузинок милых,
У коих зарьные уста,
Бровь черна, жил по телу синих
Сквозь виден огнь и красота;
А на грудях, как пух зыбучих,
Лилей кусты и роз пахучих
Манят к себе и старцев длань,—
Ты, словом, всё сули им в дань.

Я дочь свою и сам крестову,
Красотку юную, во брак
Отдам тому, кто грудь орлову
На славный сей отважит шаг;
Денисовым и Краснощоким,
Орловым, Иловайским вслед,
По безднам, по горам высоким
В дом отчий лавр кто принесет;
Девицы, барыни донские,
Вздев платья русские, златые,
Введут его в крестов чертог
И воспоют: «Велик наш бог!»

Под вечер, утром, на зарянке,
Сей радостный услыша глас,
Живя уединенным в Званке,
Так-сяк взбреду я на Парнас
И песню войску там Донскому,
Тебе на гуслях пробренчу:
Да белому царю, младому,
В венце алмазы расцвечу.

Пусть звук ужасных днешних бóев
Сподвижников его героев
Мой повторяет холм и лес,
И гул шумит, как гром небес!

1807



Евгению. Жизнь Званская

Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!

Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть,
С пространства в тесноту, с свободы за затворы,
Под бремя роскоши, богатств, сирен под власть
И пред вельможей пышны взоры?

Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Званке?
Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой мне нужен — дней в останке.

Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор;
Мой утренюет дух правителю вселенной;
Благодарю, что вновь чудес, красот позор
Открыл мне в жизни толь блаженной.

Пройдя минувшую и не нашедши в ней,
Чтоб черная змия мне сердце угрызала,
О! коль доволен я, оставил что людей
И честолюбия избег от жала!

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,
Ищу красивых мест между лилей и роз,
Средь сада храм жезлом чертяще.

Иль, накормя моих пшеницей голубей,
Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги
На разноперых птиц, поющих средь сетей,
На кроющих, как снегом, луги.

Пастушьего вблизи внимаю рога зов,
Вдали тетеревей глухое токованье,
Барашков в воздухе, в кустах свист соловьев,
Рев крав, гром жолн и коней ржанье.

На кровле ж зазвенит как ласточка, и пар
Повеет с дома мне манжурской иль левантской,
Иду за круглый стол: и тут-то раздобар
О снах, молве градской, крестьянской;

О славных подвигах великих тех мужей,
Чьи в рамах по стенам златых блистают лицы.
Для вспоминанья их деяний, славных дней,
И для прикрас моей светлицы,

В которой поутру иль ввечеру порой
Дивлюся в Вестнике, в газетах иль журналах,
Россиян храбрости, как всяк из них герой,
Где есть Суворов в генералах;

В которой к госпоже, для похвалы гостей,
Приносят разные полотна, сукна, ткани,
Узорны образцы салфеток, скатертей,
Ковров, и кружев, и вязани;

Где с скотен, пчельников, и с птичен, и прудов
То в масле, то в сотах зрю злато под ветвями,
То пурпур в ягодах, то бархат-пух грибов,
Сребро, трепещуще лещами;

В которой, обозрев больных в больнице, врач
Приходит доносить о их вреде, здоровье,
Прося на пищу им: тем с по́ливкой калач,
А тем лекарствица, в подспорье;

Где также иногда по биркам, по костям,
Усастый староста, иль скопидом брюхатой,
Дает отчет казне, и хлебу, и вещам,
С улыбкой часто плутоватой.

И где, случается, художники млады
Работы кажут их на древе, на холстине
И получают в дар подачи за труды,
А в час и денег по полтине.

И где до ужина, чтобы прогнать как сон,
В задоре иногда в игры зело горячи
Играем в карты мы, в ерошки, в фараон,
По грошу в долг и без отдачи.

Оттуда прихожу в святилище я муз
И с Флакком, Пиндаром, богов воседши в пире,
К царям, к друзьям моим иль к небу возношусь
Иль славлю сельску жизнь на лире;

Иль в зеркало времен, качая головой,
На страсти, на дела зрю древних, новых веков,
Не видя ничего, кроме любви одной
К себе,— и драки человеков.

«Всё суета сует! — я, воздыхая, мню;
Но, бросив взор на блеск светила полудневна,—
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
Творцом содержится вселенна.

Да будет на земли и в небесах его
Единого во всем вседействующа воля!
Он видит глубину всю сердца моего,
И строится моя им доля».

Дворовых между тем, крестьянских рой детей
Сбирается ко мне не для какой науки,
А взять по нескольку баранок, кренделей,
Чтобы во мне не зрели буки.

Письмоводитель мой тут должен на моих
Бумагах мараных, пастух как на овечках,
Репейник вычищать,— хоть мыслей нет больших,
Блестят и жу́чки в епанечках.

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны!

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;
Но не обилием иль чуждых стран приправой:
А что опрятно всё и представляет Русь,
Припас домашний, свежий, здравой.

Когда же мы донских и крымских кубки вин,
И липца, воронка и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб хмелин,—
Беседа за сластьми шутлива.

Но молча вдруг встаем — бьет, искрами горя,
Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен:
За здравье с громом пьем любезного царя.
Цариц, царевичей, царевен.

Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток;
Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами,
Пернатый к потолку лаптой мечу леток
И тешусь разными играми.

Иль из кристальных вод, купален, между древ,
От солнца, от людей под скромным осененьем,
Там внемлю юношей, а здесь плесканье дев,
С душевным неким восхищеньем.

Иль в стекла оптики картинные места
Смотрю моих усадьб; на свитках грады, царства,
Моря, леса,— лежит вся мира красота
В глазах, искусств через коварства.

Иль в мрачном фонаре любуюсь, звезды зря
Бегущи в тишине по синю волн стремленью:
Так солнцы в воздухе, я мню, текут горя,
Премудрости ко прославленью.

Иль смотрим, как вода с плотины с ревом льет
И, движа ма́шину, древа на доски делит;

Как сквозь чугунных пар столпов на воздух бьет,
Клокоча огнь, толчет и мелет.

Иль любопытны, как бумажны руны волн
В лотки сквозь игл, колес, подобно снегу, льются
В пушистых локонах, и тьмы вдруг веретен
Марииной рукой прядутся.

Иль как на лен, на шелк цвет, пестрота и лоск,
Все прелести, красы, берутся с поль царицы;
Сталь жесткая, глядим, как мягкий, алый воск,
Куется в бердыши милицы.

И сельски ратники как, царства став щитом,
Бегут с стремленьем в строй во рыцарском убранстве
«За веру, за царя мы,— говорят,— помрем,
Чем у французов быть в подда́нстве».

Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я соседей с вереницей;
То рыбу удами, то дичь громим свинцом,
То зайцев ловим псов станицей.

Иль стоя внемлем шум зеленых, черных волн,
Как дерн бугрит соха, злак трав падет косами,
Серпами злато нив,— и ароматов полн
Порхает ветр меж нимф рядами.

Иль смотрим, как бежит под черной тучей тень
По ко́пнам, по снопам, коврам желто-зеленым
И сходит солнышко на нижнюю степень
К холмам и рощам сине-темным.

Иль, утомясь, идем скирдов, дубов под сень:
На бреге Волхова разводим огнь дымистый;
Глядим, как на воду ложится красный день,
И пьем под небом чай душистый.

Забавно! в тьме челнов с сетьми как рыбаки,
Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком;
Как парусы суда и лямкой бурлаки
Влекут одним под песнью духом.

Прекрасно! тихие, отлогие брега
И редки холмики, селений мелких полны,
Как, полосаты их клоня поля, луга,
Стоят над током струй безмолвны.

Приятно! как вдали сверкает луч с косы
И эхо за́ лесом под мглой гамит народа,
Жнецов поющих, жниц полк и́дет с полосы,
Когда мы едем из похода.

Стекл заревом горит мой храмовидный дом,
На гору желтый всход меж роз осиявая,
Где встречу водомет шумит лучей дождем,
Звучит музы́ка духовая.

Из жерл чугунных гром по праздникам ревет;
Под звездной молнией, под светлыми древами
Толпа крестьян, их жен вино и пиво пьет,
Поет и пляшет под гудками.

Но скучит как сия забава сельска нам,
Внутрь дома тешимся столиц увеселеньем;
Велим талантами родных своих детям
Блистать: музы́кой, пляской, пеньем.

Амурчиков, харит плетень иль хоровод,
Заняв у Талии игру и Терпсихоры,
Цветочные венки пастух пастушке вьет,—
А мы на них и пялим взоры.

Там с арфы звучныя порывный в души гром,
Здесь *тихогрома* с струн смягченны, плавны тоны
Бегут,— и в естестве согласия во всем
Дают нам чувствовать законы.

Но нет как праздника, и в будни я один,
На возвышении сидя столпов перильных,
При гуслях под вечер, челом моих седин
Склонясь, ношусь в мечтах умильных,—

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Мимолетящи суть все времени мечтаньи:
Проходят годы, дни, рев морь и бурей шум
И всех зефиров повеваньи.

Ах! где ж, ищу я вкруг, минувший красный день?
Победы слава где, лучи Екатерины?
Где Павловы дела? — Сокрылось солнце,— тень!..
Кто весть и впредь полет орлиный?

Вид лета красного нам Александров век;
Он сердцем нежных лир удобен двигать струны;
Блаженствовал под ним в спокойстве человек,
Но мещет днесь и он перуны.

Умолкнут ли они? — Сие лишь знает тот,
Который к одному концу все правит сферы;
Он перстом их своим как строй какой ведет,
Ко благу общему склоняя меры.

Он корни помыслов, он зрит полет всех мечт
И поглумляется безумству человеков:
Тех освещает мрак, тех помрачает свет,
И днешних, и грядущих веков.

Грудь россов утвердил, как стену, он в отпор
Темиру новому под Пултуском, Прейсш-Лау;
Младых вождей расцвел победами там взор,
И скрыл орла седого славу.

Так самых светлых звезд блеск меркнет от нощей.
Что жизнь ничтожная? Моя скудельна лира!
Увы! и даже прах спахнет моих костей
Сатурн крылами с тленна мира.

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,
Не воспомянется нигде и имя Званки;
Но сов, сычей из дупл огнезеленый взгляд
И разве дым сверкнет с землянки.

Иль нет, Евгений! ты, быв некогда моих
Свидетель песен здесь, взойдешь на холм тот
страшный,
Который тощих недр и сводов внутрь своих
Вождя, волхва, гроб кроет мрачный,

От коего как гром катается над ним
С булатных ржавых врат, и сбруи медной гулы
Так слышны под землей, как грохотом глухим
В лесах трясясь, звучат стрел тулы.

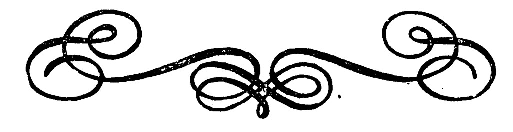
Так, разве ты, отец! святым твоим жезлóм
Ударив об доски, заросши мхом, железны,
И свитых вкруг моей могилы змей гнездом
Прогонишь — бледну зависть — в бездны;

Не зря на колесо веселых, мрачных дней,
На возвышение, на пониженье счастья,
Единой правдою меня в умах людей
Чрез Клии воскресишь согласья.

Так, в мраке вечности она своей трубой
Удобна лишь явить то место, где отзывы
От лиры моея шумящею рекой
Неслись чрез холмы, долы, нивы.

Ты слышал их,— и ты, будя твоим пером
Потомков ото сна, близ Севера столицы,
Шепнешь в слух страннику, в дали как тихий гром:
«Здесь бога жил певец, Фелицы».

1807



Милорду, моему пуделю

Тебя, Милорд! воспеть хочу;
Ты графской славной сын породы.
Встань, Диоген! зажги свечу
И просвети ты в том народы,
Что верности и дружбы нет
На свете более собачей.
Воззри, брехав на мир ходячей:

Как бочку ты, так кабинет
Стрежет мой циник без измены,
Храня в нем книги, письма, стены.

К тебе как древле, днесь к нему
Коль вшел бы мира победитель
И, принеся в конýру тьму,
Его был гордый вопроситель:
Чего себе желает в дар?
То, гриву дыбом, как щетину,
Подняв, ощеря, харю львину,
Как ты он громко б заворчал:
«Прочь! прочь! и солнечна зениту
Не тми писать стихи пииту».

Ты шерстью бел, Милорд, умом,
Подлогу нет в тебе ни духу;
Ты раб, а в смысле друг прямом
И струсишь разве от обуху;
Ласкаешься ты к тем всегда,
Меня кто непритворно любит;
А кто мне враг иль лесть мне трубит,
Ты тех кусаешь иногда.
Ты камердинер на догадки:
Мне носишь шляпу, трость, перчатки.

Осанист, взрачен, смотришь львом,
Подобно гордому вельможе;
Обмыт, расчесан, обелен,
Прекрасен и в мохнатой роже.
Велик, кудряв, удал собой:
Как иней — белыми бровями,
Как сокол — черными глазами,
Как туз таможенный какой,
В очках магистер знаменитой,
А паче где ты волокитой.

Бываешь часто сзади гол,
Обрит до тела ты нагого;
Но как ни будь кто сколько зол,
Не может на тебя другого
Пороку взвесть и трубочист,

Который всех собой марает,
Что вид твой мота лишь являет,
Который сзади уже чист
Имением своим богатым,
Но виден лишь с лица хохлатым.

О! сколь завистников в судьбе
Твоей и в жребьи столь счастливом,
Когда отвсюду нимф к тебе
Ведут,— и ты во прихотливом
Твоем желаньи, как султан,
Насытясь мяс из рук пашинских,
С млеком левантских питий, хинских,
Почить ложишься на диван:
Ты равен тут уж сибариту,
Породой, счастьем отмениту.

Он сладко ест, и пьет, и спит,
Курит и весь свой век зевает,
Тем больше в свете знаменит,
Чем больше в неге утопает.
Но нет: его ты лучше тем,
Что доброхотам благодарен,
Не зол на вышке, не коварен,
Не подл внизу ни перед кем.
И на ворон хоть лаешь черных,
Но друг своих и кошек белых.

Заносчив, правда, ты, Милорд!
Но будь блажен, о пес почтенный!
И по достоинству тем горд,
Что страж ты добр хозяйских верный.
Как редко в нынешний то век!
В плену стеснен быв жаждой, гладом,
Прервав ты цепь, бежал всем градом,
Как твердый отчич, человек,
Что на дары ничьи не падок,
И лег на одр свой без оглядок.

Весьма ты сме́тлив на порок,
И, зря просителей бумаги,
Ко мне в мой приносивших толк,

Средь дельной иль пустой отваги
Берешь листы ты с полу вдруг,
Приносишь мне ради прочтенья
И, требуя в тот миг решенья,
Мой лаем беспокоишь дух.
Ах! Если б все так были рьяны,
Когда б лезть за умом в карманы?

Отважный, дерзкий водолаз,
И рубль ты сыщешь бездн в средине.
Еще бы более проказ
Узрели мы фортуны в сыне,
Когда бы только он имел
Твое чутье и плавать лапы:
Он сорвал бы с британцев шляпы
И вмиг их златом овладел,
На брег из моря вышед с дракой,
И был всех больше б забиякой.

О славный, редкий пудель мой,
Кобель великий, хан собачий,
Что истинно ты есть герой,
Того и самый злой подьячий
Уже не в силах омрачать:
Ты добр,— смешишь детей игривых.
Ты храбр,— страшишь людей трусливых.
Учтив,— бежишь меня встречать.
Премудр,— в философы годишься,
Стрельбы и Дурака[1] тулишься.

Велик, могущ и толст Дурак,
А всем пословица известна,
Что с сильным, с богачом никак
Ни брань, ни драка не совместна,
То как избавиться хлопот?
Как сладить со слоновьей мочью?
С башкой упругой, мозгом тощью?
Бежать поджавши куда хвост?

---

[1] Дураком называется ужасной величины датский злобный кобель, от которого Милорд всегда прячется.

Так ты, чтобы не быть в накладе,
Ушел — и счастлив в Альдораде.

Блажен, тебе теперь тепло,
Живешь в спокойстве и в прохладе,
А если иногда в стекло,
Восседши под окошком в граде,
И видишь стаю ты собак,
Грызущихся между собою,
Патриотичною душою
Ворча тихонько, брешешь так:
«Пусть за казенну бы ковригу
Дрались, а не мослы, лодыгу».

Так, честный песий философ,
Ты прав с толь здравым рассужденьем,
Но много ли таких есть псов,
Что от мослов бегут с презреньем?
Голодный волк завертки рвет,
Тот ввек привык чужим тешиться,
А тот — лишь только б покормиться,
И свет уж так давно идет.
Хвали же вышнего десницу,
Ешь молча щи и пей водицу.

Сиятельный твой так отец
Пил, ел и спит в саду прекрасном,
И там, чувствительных сердец
К отраде в плаче их ужасном,
Над ним поставлен монумент;
То мне ли быть неблагодарным,
Пииту не высокопарным,
Тебе не сделать комплимент?
Нет! — гроб твой освечу лучами,
Вкруг прах омою весь слезами.

А если строгою судьбой
И непреложным, злобным роком
Век прежде прекратится мой,
То ты в отчаяньи жестоком,
Среди ночныя тишины
Наполнь весь дом мой завываньем,

Чтоб враг и друг мой, душ с терзаньем.
Простили мне мои вины:
Хоть то по смерти награжденье,
Внушишь во всех коль сожаленье.

1807

Привратнику

Один есть бог, один Державин,—
Я в глупой гордости мечтал,—
Одна мне рифма — древний Навин,
Что солнца бег остановлял.
Теперь другой Державин зрится,
И рифма та ж к нему годится.
Но тот Державин — поп, не я:
На мне парик — на нем скуфья.

И так, чтоб врат моих приста́ву
В Державиных различье знать,
Пакетов, чести по уставу,
Чужих мне в дом не принимать,
Не брать от *имреков* пасквилей,
Цидул, листков, не быть впредь филей,
Даю сей вратнику приказ,—
Не выпущать сего из глаз.

На имя кто б мое пакеты
Какие, письма ни принес,—
Вопросы должен на ответы
Тотчас он дать,— бумаг тех в вес,—
Сказать: отколь, к кому писанья,
И те все произнесть признанья
Свободным, без запинок, ртом;
Подметны сплетни жги огнем.

А чтоб Державина со мною
Другого различал ты сам,—
Вот знак: тот млад, но с бородою,
Я стар,— юн духом по грехам.
Он в рясе длинной и широкой;
Мой фрак кургуз и полубокой.
Он в волосах; я гол главой;
Я подлинник — он список мой.

Он пел молебны, панихиды
И их поныне всё поет;
Слуга был Марса я, Фемиды,
А ныне — отставной поэт.
Он пастырь чад, отец духовный.
А я правитель был народный;
Он обер-поп; я ктитор муз,
Иль днесь пресвитер их зовусь.

Кропит водой, курит кадилом,
Он тянет руку дам к устам;
За честь я чту тянуться рылом
И целовать их ручки сам.
Он молит небеса о мире;
Героев славлю я на лире.
Он тайны сердца исповесть;
Скрывать я шашни чту за честь.

Различен также и делами:
Он ест кутью,— а я салму.
Он громок многими псалмами,
Я в день шепчу по одному.
Державин род с потопа влекся;
Он в семинарьи им нарекся
Лишь сходством рифм моих и стоп.
Мой дед мурза — его дед поп.

И словом: он со мной не сходен
Ни видом, ростом, ни лицом;
Душой, быть может, благороден,
Но гербом — не Державин он!
В моем звезда рукой держима;
А им клюка иль трость носима.
Он может четки взнесть в печать;
Я лирою златой блистать.

А потому почталионов,
Его носящих письма мне,
Отправя множеством поклонов,—
Ни средь обедов, ни во сне
Не рушь ты моего покою;
Но позлащенной булавою
С двора их с честью провожай;
Державу с митрой различай.

1808

Альбаум

Когда земны оставишь царствы,
Пойдешь в Эдем, иль Элизей,
Харон вопросит иль мытарствы
Из жизни подорожной сей,—
Поэтов можешь одобренья
В альбауме твоем явить,
Духа́м отдав их для прочтенья,
Пашпо́рт твой ими заменить.
По них тебя узнают тени,
Кто ты и в свете как жила;
Твои все чувствы, помышленьи
Раскроются, как солнцем мгла.
Тогда ты можешь оправдаться,
И ах! — иль обвиненной быть,
В путь правый, левый провождаться,
Святой иль окаянной слыть:
Тогда черта, взгляд, вздох, цвет, слово
Сей книги записной в листах
Духовно примут тело ново
И обличат тебя в делах,
Во всех часах твоих, мгновеньях;

Ты станешь на суде нагой,
В поступках, мыслях и движеньях
Мрак самый будет послух твой.
Поэт, тебя превозносивший,
Прямым заговорит лицом,
Порок иль добродетель чтивший
Своим возопиет листом.
Лист желтый, например, надменность
Явит, что гордо ты жила;
На синем — скупость вскрикнет, ревность,
Что ты соперниц враг была;
На сребряном — вструбит богатство,
Что ты в свой век прельщалась им;
На темном — зашипит лукавство,
Что в грудь вилась друзьям твоим;
На алом — засмеется радость,
Что весело любила жить;
На розовом — восппляшет младость,
Что с ней хотела век свой длить;
На глянцеватом — самолюбье
Улыбкою своей даст знать,
Что было зеркало орудье
Красот твоих, дабы прельщать;
Надежда на листках зеленых
Шепнет о всех твоих мечтах;
На сереньких листках смиренных
Печаль завоет во слезах.
Но гений, благ твоих свидетель,
На белых листьях в блеске слов
Покажет веру, добродетель
И беспорочную любовь.

1808

Задумчивость

Задумчиво, один, широкими шагами
Хожу и меряю пустых пространство мест;
Очами мрачными смотрю перед ногами,
Не зрится ль на песке где человечий след.

Увы! я помощи себе между людями
Не вижу, не ищу, как лишь оставить свет;

Веселье коль прошло, грусть обладает нами,
Зол внутренних печать на взорах всякий
чтет.

И мнится, мне кричат долины, реки,
холмы,
Каким огнем мой дух и чувствия жегомы
И от дражайших глаз, что взор скрывает
мой,

Но нет пустынь таких, и дебрей
мрачных, дальных,
Куда любовь моя в мечтах моих печальных
Не приходила бы беседовать со мной.

1808

К Правде

Слуга, сударыня, покорный!
Пускай ты божеская дочь,
Я стал уж человек придворный
И различу, что день, что ночь.
Лет шестьдесят с тобой водился,

Лбом за тебя о стены бился,
Чтоб в верных слыть твоих слугах;
Но вижу, неба дщерь прекрасна,
Что верность та моя напрасна:
С тобой я в чистых дураках!..

1808

* * *

Уж я стою при мрачном гробе,
И полно умницей мне слыть;
Дай в пищу зависти и злобе
Мои все глупости открыть:
Я разум подклонял под веру,
Любовью веру возрождал,
Всему брал совесть в вес и меру
И мог кого прощать — прощал.
Вот в чем грехи мои, недуги,
Иль лучше пред людьми прослуги.

1808 (?)

Издателю моих сочинений

В угодность наконец общественному взгляду
Багрим к тебе пристал татарских мурз с гудком;
Но с вздохом признаюсь, в нем очень мало ладу;
И то уже порок: я смел блистать умом.

1808

* * *

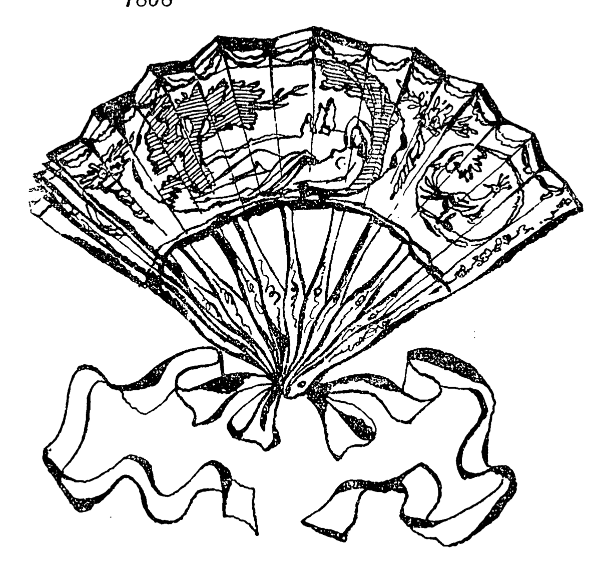
Тебе в наследие, Жуковской!
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.

1808

Водомет

Луч шумящий, водометный,
Свыше сыплюща роса!
Где в тени в день знойный, летний,
Совершенная краса,

Раскидав по дерну члены
И сквозясь меж струй, ветвей,
Сном объята, в виде пены,
Взгляд влекла души моей;
Где на зыблющу склонялись
Лилии блестящу грудь,
Зарьных розы уст касались
И желали к ним прильнуть;
Воздух свежестью своею
Ей спешил благоухать;
Травки, смятые под нею,
Не хотели восставать;
Где я очи голубые
Небесам подобны зрел,
С коих стрелы огневые
В грудь бросал мне злобный Лель.
О места, места священны!
Хоть лишен я вас судьбой,
Но прелестны вы, волшебны
И столь милы мне собой,
Что поднесь о вас вздыхаю
И забыть никак не мог,
С жалобой напоминаю:
Мой последний слышьте вздох.
1808



Аспазии

Блещет Аттика женами;
Всех Аспазия милей:
Черными очей огнями,
Грудью пенною своей
Удивляючи Афины,
Превосходит всех собой;
Взоры орли, души львины
Жжет, как солнце, красотой.

Ре́звятся вокруг утехи,
Улыбается любовь,
Неги, радости и смехи
Плетеницы из цветов
На героев налагают
И влекут сердца к ней в плен;
Мудрецы по ней вздыхают,
И Перикл в нее влюблен.

Угождают ей науки,
Дань художества дают,
Мусикийски сладки звуки
В взгляды томность ей лиют.
Она чувствует, вздыхает,
Нежная видна душа,
И сама того не знает,
Чем всех больше хороша.

Зависть с злобой содружася
Смотрят косо на нее,
С черной клеветой свияся,
Уподобяся змее,
Тонкие кидают жалы
И винят в хуле богов;
Уж Перикла силы малы
Быть щитом ей от врагов.

Уж ведется всенародно
Пред судей она на суд,
Злы молвы о ней свободно
Уж не шепчут — вопиют;

Уж собранье заседало,
Уж архонты все в очках;
Но сняла лишь покрывало —
Пал пред ней Ареопаг!

1809

Синичка

Синичка весення,
Чиликать престань,
Во время осенне
Зяблику дань
Ты платишь и таешь,
  Вздыхаешь, вздыхаешь, вздыхаешь.

Любить всем в природе
Судьбой суждено;
Но в птичьем народе,
Ах! нужно одно,
Что если пылаешь,
  Вздыхаешь, вздыхаешь, вздыхаешь.

То помни, что лето
Тотчас протечет,
Что сердце нагрето
Лишь страстью поет,
Но хлад как встречаешь,
  Вздыхаешь, вздыхаешь, вздыхаешь.

Так выбери ж птичку
Такую себе,
И в осень синичку
Чтоб жала к себе
И хладу не знала,
  Вздыхала, вздыхала, вздыхала.

1809

Незабудка

Милый незабудка цветик!
Видишь, друг мой, я стеня
Еду от тебя, мой светик,—
    Не забудь меня.

Встретишься ль где с розой нежной
Иль лилеей взор пленя,—
В самой страсти неизбежной
Не забудь меня.

Ручейком ли где журчащим
Зной омоешь летня дня,—
И в жемчу́ге вод шумящем
Не забудь меня.

Ветерок ли где порханьем
Кликнет, в тень тебя маня,—
И под уст его дыханьем
Не забудь меня.

1809

На гробы рода Державиных в Каза́нской губернии и уезде, в селе Егорьеве

О праотцев моих и родших прах священный!
Я не принес на гроб вам злата и сребра
И не размножил ваш собою род почтенный;
Винюсь: я жил, сколь мог, для общего добра.

1810

Надежда

К Федору Петровичу Львову, у коего первая супруга была Надежда

Луч, от света отделенный,
Льющего всем солнцам свет,
Прежде в дух мой впечатленный,
Чем он прахом стал одет,
Беспрестанно ввысь парящий
И с собой меня манящий
К океану своему,—

Хоть претит земли одежда,
Но несешь меня к нему
Ты желаний на крылах,
О бессмертная Надежда,
Обещательница благ!

Глупые мечтают смертны
О каких-то днях златых;
Суеты их неисcчетны,
Ищет целей всяк своих.
Я премены вижу света:
Зрю зимы, весны дни, лета
И осенних дней возврат;
Ста́реют, юнеют роды,
Зрю всему свой круг, свой ряд;
Но довольным не хощу
Быть теченьем сим природы,—
Всё чего-то вновь ищу.

Век меня Надежда льстила:
Утешала детски дни,
Храбрость мужеству дарила,
Умащала седины
И, пред близкой днесь могилой
Укрепя своею силой,
Сыплет предо мной цветы;
Вечности на праге стоя,
Жизнь люблю и суеты;
Славы мню стяжать венец,
Беспокоюсь средь покоя,—
И еще ль я не глупец?

Так кажусь пусть я безумным,
Пусть Надежда бред глупцов;
Но как морем жизни шумным
Утопаю средь валов,
Чем-то дух мой всё бодрится:
Должно, должно мне родиться
К лучшему чему ни есть.
Ах! коль чувство что внушает,
Ум дает и сердце весть,—
Истины то знак для нас;

Дух никак не облыгает.
Глас Надежды — божий глас.

Глас Надежды — сердца сладость,
Восхищение ума,
О добре грядущем радость.
Хоть невидима сама,
Но везде со мною ходит,
Время весело проводит
И в забавах и в бедах.
На нее зря, улыбаться
Буду в смертных я часах,—
И как хлад польет в крови,
Буду риз ее держаться
До объятия любви.

Так надежды пресекает
Лишь одна любовь полет,
Как во солнце утопает
Лучезарном искры свет.
С богом как соединимся,
В свете вечном погрузимся
Пламенем любви своей,
Смертная спадет одежда,
Мы в блистании лучей
Жизнью будем жить духóв.—
Верь, жива твоя Надежда,
Ты ее увидишь, Львов.

1810

Явление

Лежал я на травнóм ковре зеленом,
На берегу шумящего ручья,
Под тенносвесистым, лаплистным кленом;
От зноя не пеклася грудь моя,
И мня о сих, о тех делах отчизны,

Я в сладостном унынии дремал,
Припомня все, что претерпел в сей жизни,
Хотя и прав бывал.

И се с страны из рощи вылетает
Жена мне юна солнечной красы!
Как снег тончица бела обвевает
Ее орехокурчаты власы;
С очей ее блестяща отливалась
Эфира чистого лазурна даль,
Среди ланит лилейных расширялась
Заря, сквозясь в кристаль.

Вкруг уст ее видна была червленых
Усмешка, ласка искренней любви,
Блистали капли рос с ресниц чуть смежных;
В очах щедрота, тихий нрав в крови
Показывали мне ее в печали.—
Я зрел, иль мнил так быть в мечтаньи ей.
Но кто блаженнее, кого видали,
Как я мечтой был сей?

Восстал — и к ней объятья простираю;
Она же от меня уходит прочь!
Я бледность на лице ее встречаю,
Она померкла так, как лунна ночь,
Но с чувством на меня взглянув усердно,
Взор важный и глубокомудрый свой
С десницею взведя на небо звездно,—
Исчезла предо мной!

«Гряди в свой путь,— я рек,— небес явленье,
Гряди,— довольно я познал тебя,
И ясно все твое мне мановенье,
Я понял, как вперед вести себя:
Не стоит хвал, любви, но паче слезно
Само-блестяще на земли житье;
Но там, но там с тобой цветет любезно
Отечество мое».

1810

Римскому народу

Куда, куда еще мечи, едва вложенны
В ножны, вы обнажа стремитесь вновь ярясь?
Поля ль от вас, моря ль не много обагренны,
И мало ль ваша кровь лилась?

Нет, нет! — не Рим ему враждебный и надменный
Низверг и превратил в персть пламем Карфаген;
Ни вольный бриттов род, цепями отягченный,
Сквозь врат торжеств веденный в плен.

Так, так,— не от парфян; но собственной враждою
Своей, крамолою падет ваш славный град.
Ни волк, ни лев, как вы, с столь яростию злою
Своих собратьев не губят.

Что ж за слепая месть, и что за вышня сила,
Иль грех какой стремит вас? — Дайте мне ответ.
Но вы молчите! Что? — ваш бледность зрак
покрыла!
Иль молний ужаснул вас свет?

Се строгий Рима рок, се злоба зверовидна
Как заглушает ваш братоубийством глас!
С тех пор, как Ремова кровь пролита невинна,
Лежит проклятие на вас.

1811

Аристиппова баня

Что вы, аркадские утехи,
Темпейский дол, гесперский сад,
Цитерски резвости и смехи
И скрытых тысящи прохлад
Средь рощ и средь пещер тенистых,
Между цветов и токов чистых,—
Пред тем, где Аристипп живет?
Что вы? — Дом полн его довольством,
Свободой, тишиной, спокойством,
И всех блаженств он чашу пьет!

Жизнь мудрого — жизнь наслажденья
Всем тем, природа что дает.

Не спать в свой век и с попеченья
Не чахнуть, коль богатства нет;
Знать малым пробавляться скромно,
Жить с беззаконными законно;
Чтить доблесть, не любить порок,
Со всеми и всегда ужиться,
Но только с добрыми дружиться,—
Вот в чем был Аристиппов толк!

Взгляните ж на него.— Он в бане!
Се роскоши и вкуса храм!
Цвет роз рассыпан на диване;
Как тонка мгла иль фимиам,
Завеса вкруг его сквозится;
Взор всюду из нее стремится,
В нее ж чуть дует ветерок;
Льет чрез камин, сквозь свод, в купальню,
В книгохранилище и спальню
Огнистый с шумом ручеек.

Он нежится,— и Апеллеса
Картины вкруг его стоят:
Сверкают битвы Геркулеса;
Сократ с улыбкою пьет яд;
Звучат пиры Анакреона;
Видна и ссылка Аполлона,
Стада пасет как по земле,
Как с музами свирелку ладит,
В румянец роз пастушек рядит:
Цветет спокойство на челе.

Иль мирт под тенью, под луною,
Он зрит, на чистом ручейке
Наяды плещутся водою,
Шумят,— их хохот вдалеке
Погодкою повсюду мчится,
От тел златых кристалл златится
И прелесть светится сквозь мрак.
Всё старцу из окна то видно;
Но нимф невинности не стыдно,
Что скрытый с них не сходит зрак.

А здесь, в соседственном покое,
В очках друзей его собор

Над книгой, видной на налое,
Сидит, склоня дум полный взор,
Стихов его занявшись чтеньем;
Младая дщерь на цитре пеньем
Между фиялов вторит их.
Глас мудрости живей несется,
Как дев он с розовых уст льется,
Подобно мед с сотов златых.

«О смертные! — поет Арета,—
Коль странники страны вы сей,
Вкушать спешите блага света:
Теченье кратко ваших дней.
Блаженство нам дарует время;
Бывает и порфира бремя,
И не прекрасна красота.
Едино счастье в том неложно,
Коль услаждать дух с чувством можно,
А все другое — суета.

Не в том беда, чтоб чем прельщаться,
Беда пороку сдаться в плен.
Не должен мудрым называться,
Кто духа твердости лишен.
Но если тело услаждаем
И душу благостьми питаем,
Почто с небес перуна ждать?
Для жизни человек родится,
Его стихия — веселиться;
Лишь нужно страсти побеждать.

И в счастии не забываться,
В довольстве помнить о других;
Добро творить не собираться,
А должно делать,— делать вмиг.
Вот мудра мужа в чем отличность!
И будет ли вредна тут пышность,
Коль миро на браду занес
И час в дом царский призывает,
Но сирота пришел, рыдает,—
Он встал, отер его ток слез?

Порочно ль и столов обилье,
Блеск блюд, вин запах, сладость яств,

Коль гонят прочь они унынье,
Крепят здоровье — и приятств
Живут душой друзьям в досугах;
Коль тучный полк стоит в прислугах
И с гладу вкруг не воют псы?
Себя лишь мудрый умеряет
И смерть, как гостью, ожидает,
Крутя, задумавшись, усы».

Но вдруг вошли, пресекли пенье
От Дионисья три жены,
Мужам рожденны на прельщенье:
Как нощь — власы, лицом — луны,
Как небо — голубые взоры;
Блеск уст, ланит их — блеск Авроры,
И холмы в дар ему плодов
При персях отдают в прохладу.
«Хвала царю,— рек,— за награду;
Но выдьте вон: я филосо́ф».

Как? — Нет, мудрец! скорей винися,
Что ты лишь слабостью не слаб
Без зуб воздержностью не дмися:
Всяк смертный искушенья раб.
Блажен, и в средственной кто доле
Возмог обуздывать по воле
Своих стремленье прихоте́й!
Но быть богатым купно святу
Так трудно, как орлу крылату
Иглы сквозь пролететь ушей.

1811

На храм при Гапсале

*воздвигнутый графом Сте<й>нбоком
в память, что на месте том под деревами
отдыхал Петр Великий
по разбитии шведских галер
в 17<10> году*

На бывших шведских сей брегах построен храм,
Чтобы в прогулках был щит от дождя и зною
Друзей он и врагов, и в памятник векам:
Великого Петра тут сень была покою.

1811

Эхо

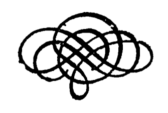
Касаюсь струн,— и гром за громом
От перстов с арфы в слух летит,
Шумит, бушует долом, бо́ром,
В мгле шепчет с тишиной и спит;
Но вдруг, отдавшися от холма
Возвратным грохотаньем грома,
Гремит и удивляет мир:
Так ввек бессмертно эхо лир.

О мой Евгений! коль Нарциссом
Тобой я чтусь,— скалой мне будь;
И как покроюсь кипарисом,
О мне твердить не позабудь.
Пусть лирой я, а ты трубою
Играя, будем жить с тобою,
На Волхове как чудный шум
Тьмой гулов удивляет ум.

Увы! лишь в свете вспоминаньем
Бессмертен смертный человек:
Нарцисс жил нимфы отвечаньем,—
Чрез муз живут пииты ввек.
Пусть в персть тела их обратятся,
Но вновь из персти возродятся,
Как ожил Пи́ндар и Омир
От Данта и Петрарка лир.

Так, знатна часть за гробом мрачным
Останется еще от нас,
А паче свитком беспристрастным
О ком воскликнет Клиин глас,—
Тогда и Фивов разоритель
Той самой Званки был бы чтитель,
Где Феб беседовал со мной.—
Потомство воззвучит — с тобой.

1811



К Меценату

Сабинского вина, простого,
Немного из больших кувшинов
Днесь выпьем у меня, Мецен!
Что сам, на греческих вин гнезда
Налив, я засмолил в тот день,

Когда, любезнейший мой рыцарь,
Народ тебя встречал в театре
Со плеском рук,— и гром от хвал
Твоих с брегов родимых Тибра
Звучал сверх Ватиканских гор.

Ты у себя вино секубско
И сладки пьешь калесски соки;
Но у меня их нет, и грозд
Ни формианский, ни фалернский
Моих не благовонит чаш.

<1811>

Полигимнии

Муза Эллады, пылкая Сафа,
Северных стран Полигимния!
Твоя ли сладкозвучная арфа?
Твои ли то струны златые,
Что, молнии в души бросая,
Что, громами тихо гремя,
Грудь раздробляют мою!

Иль, о румянощека, чернокудра,
Агатовоокая дева!
Ты мне древнего слога премудра
Витиев эольских напева
С розовых уст глас проливаешь?
Слышу журчащие токи
И во гармоньи тону!

Так ты, греко-российска Харита!
Вблизи как меня восседая,
Коснулась во мне дланью пиита,
Со мной однодушно дыхая,
Мой гимн возглашаючи богу;
Сердце во мне вспламенялось,
Слезы ручьями лились!

И если б миг еще продолжи́ла
Твое небозвучное чтенье,
Всю жизнь бы мою, как былье, спалила,
Растаял бы я в восхищенье,
Юной красой упояся,
Блаженства снести бы не мог,
Умер, любовью сгорев.

Но холодная старость, седая,
Бледным покрыв щитом костяным,
Стрелы твоих очес отражая,
Хоть упасть ко стопам мне твоим
Строго тогда воспретила,
Избег я тебя,— но твой взгляд,
Луч как в льде, блещет во мне.

Зрится в моем, горит воображенье,
Ах! как солнце твоя красота!
Слышу тобой мое выраженье,
И очаровательна мечта
Всю душу мою наполняет
Пеньем твоим песен моих.—
Буду я, буду бессмертен!

<1816>

* * *

Враги нам лучшие друзья;
Они премудрости нас учат.
Но больше тех страшуся я,
Ласкательством меня кто мучит.

Между 1801 и 1816

К портрету Ивана Ивановича Дмитриева

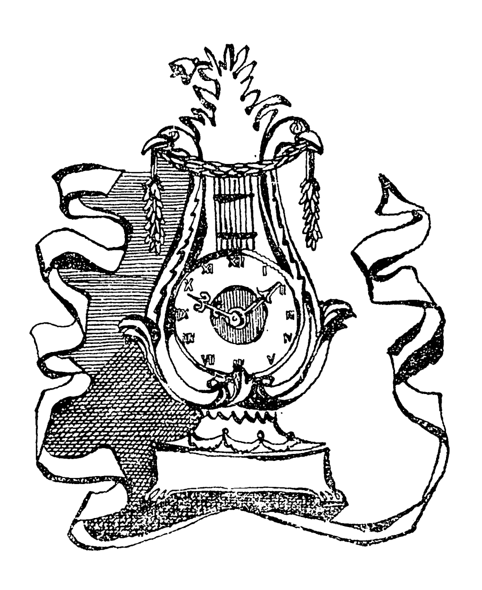
Поэзия, честь, ум
Его были душою;
Юстиция, блеск, шум
Двора — судьбы игрою.

Между 1813 и 1816

* * *

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

6 июля 1816



Объяснения на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна; также изъяснение картин, при них находящихся, и анекдоты, во время их сотворения случившиеся

Предварительное примечание вообще ко всем сочинениям

1-я часть сих сочинений поднесена была императрице Екатерине II лично автором в Петербурге ноября 6-го дня 1795 года, которая по прочтении ее государынею и оставалась у ней в кабинете по самую ее кончину, 1796 ноября 6-го дня последовавшую. Причина тому, что при жизни ее в печать оная не издана, не иная какая была, как недоброхотство сочинителю, которое внушили ей, что якобы в ней находятся на счет ее язвительные или сатириче-

ские выражения... <...> По кончине ее, при императоре Павле, когда автор определен был в верховный совет и, знав неблагорасположение сего государя к покойной его матери, то имел случай <...> обратно оную взять к себе. В 1798 году Иван Иванович Шувалов, любя его сочинения, по временам списки им собранные отослал в университет и велел там напечатать, о чем в первом издании сей 1-ой части подробно сказано; прочие же части напечатаны в 1808 году самим автором в Петербурге, из коих предисловия можно также видеть причины, по коим не объяснены были в том издании темные места сих сочинений и что он предоставлял их объяснить будущему времени, что сим и исполняется.

ОДА «БОГ»

Без лиц, в трех лицах божества.— Автор, кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел тут три лица метафизические; то есть: бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и неоканчаемое течение времени, которое бог в себе и совмещает.

Пылинки инея сверкают.— Обитателям токмо Севера сия великолепная картина ясно бывает видима по зимам в ясный день, в большие морозы, по большей части в марте месяце, когда уже снег оледенеет, и пары, в ледяные капли обратившиеся, вниз и вверх носясь, как искры сверкают пред глазами.

И благодарны слезы лить.— Автор первое вдохновение, или мысль, к написанию сей оды получил в 1780 году, быв во дворце у всенощной в Светлое вокресенье, и тогда же, приехав домой, первые строки положил на бумагу; но, будучи занят должностию и разными светскими суетами, сколько ни принимался, не мог окончить оную, написав, однако, в разные времена несколько куплетов. Потом, в 1784 году получив отставку от службы, приступал было к окончанию, но также по городской жизни не мог; беспрестанно, однако, был побуждаем внутренним чувством, и для того, чтоб удовлетворить оное, сказав первой своей жене, что он едет в польские свои деревни для осмотрения оных, поехал и, прибыв в Нарву, оставил свою повозку и людей на постоялом дворе, нанял маленький покой в городке у одной старушки-немки с тем, чтобы она и кушать ему готовила; где, запершись, сочинял оную несколько дней, но не докончив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом; видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле, воображение так было разго-

рячено, что казалось ему, вокруг стен бегает свет, и с сим вместе полились потоки слез из глаз у него; он встал и ту ж минуту, при освещающей лампаде написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слезы за тѐ понятия, которые ему вперены были. <...>

ВЛАСТИТЕЛЯМ И СУДИЯМ

...ода, которой мысль почерпнута из псалма Давидова 81... <...>

Когда автор поднес сочинения свои лично императрице, она приняла их благосклонно и занялась, сколько было известно, чтением оных; в наступившее воскресенье по обыкновению приехал он с прочими для свидетельствования ей своего почтения; но показалась она чрезвычайно холодна, и придворные все от него отвращались; не зная тому причины, должен был с неудовольствием возвратиться домой. В другое воскресенье то же с ним случилось. На третье он решился спросить гр. Безбородко <...>; граф, по обыкновению своему, в неприятных случаях старался отделаться от него невразумительным бормотаньем, с чем от него и должен был идти. Случившийся тут граф Мусин-Пушкин, который тогда был обер-прокурором Синода, позвал его к себе обедать; туда же приехал к обеду Булгаков, бывший посланником в Цареграде; он, быв автору довольно знакомым, спросил у него, для чего он нынче пишет якобинские стихи. Он не мог сего понять; Булгаков объяснил ему, что читал их в его сочинениях в парафразисе псалма 81. Автор ответствовал, что он никогда не бывал якобинских мыслей, и почему считают таковым сей псалом, который написал царь Давид? — «Однако ж, в нынешние времена это очень дурно»,— ответствовал Булгаков, замолчав (ибо приметить должно, что в сие время революция во Франции в жесточайшем была действии и опосле автор уже узнал, что якобинцы, сей псалом переложа, распространили по Франции, к упрекам правления Людвика XVI). После сего разговора автор остался в крайнем смущении и не знал, от кого спросить подробнейшее объяснение сему вопросу. По возвращении домой, приехал к нему вечером г. Дмитриев, бывший тогда гвардии Семеновского полка офицер, что ныне сенатор. Как он сам был стихотворец и хороший автору приятель, то и спросил его, что с ним делается. Он ответил, что ничего. Как? Вас велено спросить г. *Шешковскому* (тайной канцелярии секретарь), почему пишете вы такие дерзкие стихи, которые вы поднесли императрице. Он изумился и сказал: «Когда так, то я сам спрошу, почему их такими разумеют...» <...> Сие было в тот самый год, когда поднесены были сочинения императрице, то есть 1795 года в но-

ябре месяце, а псалом сей переложен в стихи в 1787 году, о чем в том анекдоте обстоятельно объяснено. Он при письмах своих послал тот анекдот к графу Безбородке, к статс-секретарю Трощинскому, у которого его сочинения, отданные графом, тогда находились и где читал их Булгаков, и третье отдал лично князю Зубову, бывшему тогда любимцем императрицы. По отсылке их в наступившее воскресенье поехал паки во дворец, дабы узнать, что с ним далее будет, увидел императрицу, весьма к нему милостивую и господ придворных, весьма ласковых.

ФЕЛИЦА

<...> *Читаешь, пишешь пред налоем.*— В то время императрица занималась сочинением законов, как то: грамотой дворянства, уставом благочиния и прочими, скоро после того вышедшими законами.

Коня парнасска не седлаешь.— Императрица, хотя занималась иногда сочинением опер и сказок <...>, но стихов писать не умела и не писала, а когда надобно было, то препоручала статс-секретарям Елагину и Храповицкому, потом и прочим.

К духáм в собранье не въезжаешь.— Императрица не жаловала масонов и в ложу к ним не ездила, так, как делали многие знатные.

Скачу к портному по кафтан.— Относится к прихотливому нраву князя Потемкина, как и все три нижеследующие куплета, который то сбирался на войну, то упражнялся в нарядах, в пирах и всякого рода роскошах.

Лечу на резвом бегуне.— Относится тоже к нему, а более — к гр. Ал. Гр. Орлову, который был охотник до скачки лошадиной.

Или кулачными бойцами.— Тоже к Орлову относится, который охотник был до всякого молодечества русского, как и до песен русских.

И забавляюсь лаем псов.— Относится к Петру Ивановичу Панину, который любил псовую охоту.

Я тешусь по ночам рогами // И греблей удалых гребцов.— Относится к Семену Кирилловичу Нарышкину, бывшему тогда егермейстером, который первый завел роговую музыку.

Иль, сидя дома, я прокажу.— Сей куплет относится вообще до старинных обычаев и забав русских.

За библией, зевая, сплю.— Относится до кн. Вяземского, любившего читать романы (которые часто автор, служа у него в команде, пред ним читывал, и случалось, что тот и другой

дремали и не понимали ничего) — Полкана и Бову и известные старинные русские повести.

Между лентяем и брюзгой.— В вышеупомянутой сказке о царевиче Хлоре, сочиненной императрицею, названы *лентяем* и *брюзгой* царевной Фелицей вельможи. Сколько известно, разумела она под первым кн. Потемкина, а под другим — кн. Вяземского, потому что первый <...> вел ленивую и роскошную жизнь, а второй часто брюзжал, когда у него, как управляющего казной, денег требовали.

И знать и мыслить позволяешь.— Императрица, подобно императору Траяну, весьма снисходительна была к злоречивым к ее слабостям людям; многие о сем анекдоты сказать можно бы, которые, может быть, кем-нибудь и написаны будут, но они здесь неуместны.

Там можно пошептать в беседах.— При императрице Анне столь было строгое правление, что если двое пошепчут между собой, то принималось за подозрение какого-либо умыслу, и нередко таковых по доносам отвозили в тайную канцелярию.

За здравие царей не пить.— В то же правление те, которые в публичных пиршествах не выпивали большого бокала какого-нибудь крепкого вина, за здравие царицы подносимого, принимались за недоброжелателей ее и отсылались в тайную.

Там с именем Фелицы можно // В строке описку поскоблить.— Тогда же за великое преступление почиталось, когда в императорском титуле было что-нибудь поскоблено или поправлено. Сие продолжалось даже до времен Екатерины II, при которой уже стали переносить императорский титул и в другую строку, когда в первой не помещался. Разумеется, что не разделяли речений, что-либо значащих, а прежде того никак того сделать не смели, и таковых писцов, кто в сем ошибался, часто наказывали плетьми.

Или портрет неосторожно // Ее на землю уронить.— Равномерно подвергались несчастию кто хотя не нарочно из рук выранивал монету с императрицыным портретом: довольно было клеветнику донесть, что бросил кто изображение лица, то отвозим был в тайную, по одному крику, что *я знаю за собою слово и дело государево;* того, на кого сие сказано, забирали под крепкую стражу, дом весь кругом запечатывали и отвозили в столицу к тайному розыску.

Там свадеб шутовских не парят, // В ледовых банях их не жарят.— Сие относится к славной шутовской свадьбе некоторого князя Голицына, бывшего при императрице Анне, которого женили на подобной ему шутихе; был нарочно состроен ледяной дом

со всеми принадлежностями и даже пушки ледяные, из коих стреляли, также баня ледяная, в которой молодых парили; при сем случае был чрезвычайно славный маскарад: собраны были из всех подвластных российскому скипетру народов по мужчине и женщине наилучших, в богатейшем их уборе, с их музыкальными инструментами, которые ехали в церемонии на разных скотах и производили в доме молодых их собственные пляски и игры.

Не щелкают в усы вельмож; // Князья наседками не клохчут и проч.— Императрица Анна любила забавляться подлыми шутами, которых в ее царство премножество было; из числа оных был упомянутый князь Голицын; над ними любимцы государыни и прочие вельможи ей в угождение шучивали разными образами, подобно как иные благородные шалуны шутят над дураками, ими к забаве их содержимыми. Сии шуты, когда императрица слушала в придворной церкви обедню, саживались в лукошки в той комнате, чрез которую ей из церкви в внутренние свои покои проходить должно было, и кудахтали как наседки; прочие же все тому, надрываяся, смеялись.

Ты пишешь в сказках поученьи.— Напротив того, императрица Екатерина в часы отдохновения ее от дел забавлялась веселостями, свойственными просвещенному ее веку; она писала, хотя не весьма удачные, но шутливые комедии, как то: «Федул с детьми», «Недоумение» и проч., также сказки, как выше сказано, «Царевича Хлора», «Февея» и другие. Для царевичей Александра и Константина сочинена азбука, в которой, между прочим, сие точно есть нравоучение, что, *не делая ничего худого, можно и самого лютого порицателя сделать презренным лжецом.*

Который брани усмирил.— Сей куплет относится на мирное тогдашнее время, по окончании первой турецкой войны в России процветавшее, когда многие человеколюбивые сделаны были императрицею учреждения, как то: воспитательный дом, больницы и прочие.

Который даровал свободу // В чужие области скакать.— Имп<ератрица> Екатерина подтвердила свободу, дворянству данную Петром III, путешествовать по чужим краям, чего прежде делать не смели.

Сребра и золота искать.— Издала указ о свободном промысле дорогих металлов владельцам в собственную пользу, которые прежде принадлежали короне.

Который воду разрешает.— Позволила свободное плавание по морям и рекам для торговли.

И лес рубить не запрещает.— Сняла запрещенную порубку лесов, бывшую сперва под присмотром вальдмейстеров.

Развязывая ум и руки, // Велит любить торги, науки и проч.— Разрешила свободное производство всех мануфактур и торга, чего прежде без сведения мануфактур и коммерц-коллегии делать не можно было.

Примечание. Оде сей, как выше сказано, поводом была сочиненная императрицею сказка Хлора, и как сия государыня любила забавные шутки, то во вкусе ее и писана на счет ее ближних, хотя без всякого злоречия, но с довольною издевкою и с шалостью. При всем том автор опасался, чтоб не оскорбить их сим сочинением; то призвав своих друзей: покойного Н. А. Львова и Капниста, прочел им оное сочинение, которые также согласились с ним, что нельзя ее выдать в свет; вследствие чего осталась она известною только между ими, заперта была и год в сокрытии находилась. Но в одно утро занадобились автору некоторые бумаги, в бюро его лежащие, где была сия ода; он, разбирая прочие, выложил ее на стол; Козодавлев, живший с ним в одном доме, взошел нечаянно, увидел ее; прочетши несколько строк, просил его неотступно поверить ему на час для прочтения тетке его г-же Пушкиной, которая страстно любила стихотворство, а паче творения автора; не мог он отговориться, под клятвою отдал ему, чтоб никому не показывать; прошло час или два, он ему возвратил. Несколько дней спустя И. И. Шувалов, покровитель автора, у которого он был под начальством во время его учения в Казанской гимназии, присылает к нему человека просить его убедительно к себе за крайнею нуждою. Автор не мог отговориться, едет к нему, находит сего почтенного человека в крайней тревоге, который его с прискорбным видом спрашивает, что ему делать: отсылать ли ему стихи его кн. Потемкину, который тогда был в чрезвычайной силе во дворе и их просит. Автор, удивяся, спрашивает: «Какие стихи?» — «Мурзы к Фелице».— «Как вы их знаете? как они у вас?» — «Г. Козодавлев по дружеству дал мне их».— «Но как кн. Потемкин их узнал?» — «Вчера у меня обедала компания господ, как то: гр. Безбородко, гр. Завадовский, гр. Шувалов, Стрекалов и прочие, любящие литературу; при разговоре, что у нас еще нет легкого и приятного стихотворства, я прочел им ваше творение, а гр. Шувалов из подслуги к кн. Потемкину рассказал ему все, что там насчет его писано. Не переписать ли и выбросить те куплеты, которые к нему относятся?» Автор, подумав, сказал, что нет: извольте отослать как они есть,— рассудя в мыслях своих, что ежели что-нибудь выкинуть, то показать тем умысл на оскорбление его чести, чего никогда не было, а писано сие творение

из шутки насчет всех слабостей человеческих. Между тем поехал домой с крайним прискорбием; призвав г. Львова, который был домашний человек у гр. Безбородко, пересказал ему все случившееся с ним и просил, чтоб он узнал графские мысли и предупредил его на случай, ежели императрица спросит о сем сочинении, что к писанию сего сочинения никакого оскорбительного умысла ни на чей счет не было, но писано оно из шутки и оставлено для друзей, но нескромностию г. Козодавлева вышло в свет. Г. Львов исполнил просьбу автора; неизвестно, посылал ли Шувалов к Потемкину, но только еще несколько времени сочинение сие было безвестно; но в 1783, в летних месяцах, сделана княгиня Дашкова директором Академии наук, а Козодавлев при ней советником; она, хотев восстановить российскую литературу, вознамерилась издавать от Академии журнал. Козодавлев тотчас принес ей, без авторского соизволения, сие стихотворение для помещения в том журнале, который назван «Собеседником». Княгиня, не сказав никому ни слова, приказала в нем оное напечатать и в первое воскресенье, в которое она обыкновенно езжала к императрице для поднесения ей об Академии своих рапортов, поднесла и тот журнал, на первой странице которого помещена сия ода. В понедельник поутру рано присылает императрица к ней и зовет ее к себе. Княгиня приходит, видит ее стоящую, расплаканную, держащую в руках тот журнал; императрица спрашивает, откуда она взяла сие сочинение и кто его писал. Княгиня сначала испугалась, не знала, что отвечать; императрица ее ободрила, сказав: «Не опасайтесь; я только вас спрашиваю о том, кто бы меня так коротко знал, который умел так приятно описать, что, ты видишь, я, как дура, плачу». Княгиня ей сказала об имени автора и все, что могла, об нем хорошего. Несколько дней спустя, когда автор обедал у начальника своего, кн. Вяземского, скоро после обеда сказывают ему, что почтальон принес ему конверт; он принимает, видит надпись: «Из Оренбурга от Киргизской царевны к Мурзе». Он догадывается, развертывает конверт и находит в нем золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, и в ней 500 червонных; он приходит к князю, спрашивает его, прикажет ли он присланный ему подарок принять; он, взглянув суровым видом, спросил: «Какой?» Автор показывает; князь приметил, что табакерка была новой французской работы, понял, от кого она прислана, сказал: «Возьми, братец, когда жалуют». Между тем княгиня Дашкова уведомила его, что то сочинение она поднесла императрице: чрез несколько дней приказано было сочинителя представить государыне, и с тех пор стал он ей как сочинитель известен, и поднялось на него гонение от вельмож или, лучше сказать, от одного Вяземского, кото-

рому чрезвычайно досадно стало, для чего он без его покровительства стал известен императрице, ибо ничем его раздражить столько было не можно, как если кто без его предводительства был замечен и познаем государыней. <...>

ВИДЕНИЕ МУРЗЫ

<...> *Из теремов своих янтарных // И сребро-розовых светлиц.*— В Царском Селе была одна комната убрана вся янтарем, а другая розовая фольговая с серебряною резьбою.

Как будто из улусов дальных.— Улусом называется селение кочующих народов или несколько кибиток в совокупности, на удобном месте поставленных.

Украдкой от придворных лиц.— Императрица притворялась, что будто не к ней относится вышеупомянутое сочинение «Фелица», и для того подарок к автору послан был без огласки.

За россказни, за растабары... // И в досканцах червонцы шлют.— Отношение к тому, что за упомянутые стихи, или вирши, прислан был вышесказанный подарок. В старинные времена в России табаку не нюхали и потому табакерок не знали, а употребляли наместо их так называемые досканцы, в которых сохраняли мушки, булавки и тому подобные к женским уборам принадлежащие мелочи.

...и жрицей очутилась // Или богиней предо мной.— Вся сия картина по самый стих: *«Держал, как будто бы уснув»* — подлинный список с портрета покойной императрицы, писанного г. Левицким,— изобретения г. Львова.

Из черно-огненна виссона // Висел на левую бедру.— Описание Владимирского ордена, который императрица, по написании ее учреждения о губерниях, яко награду за труды свои на себя наложила, объявив себя гофмейстером сего ордена.

Сафиро-светлыми очами... // Богиня на меня воззрела.— Отношение к тому, что, как выше сказано, представлен был автор императрице в воскресный день, в кавалергардской комнате, при множестве зрителей; то, подойдя к нему, в нескольких шагах остановилась и, осмотрев быстрым взором с ног до головы несколько раз автора, подала, наконец, ему руку. Сего величественного вида не мог он никогда забыть: *«Пребудет образ ввек во мне, // Она который впечатлела».*

Вострепещи, Мурза несчастный! — Выше сказано, императрица притворилась, будто не разумела, что в оде «Фелице» похвалы к ней относились, а для того и показывала вид важный, что будто она удивляется смелости, с какой сие сочинение написано, и полюбопытствовала видеть автора.

Довольно без тебя людей... // И от сатир щититься злых! — Пиит сими стихами дает императрице знать, что и без ее притворства многие на него разгневались из вельмож за сии стихи; а особливо, когда она каждому послала по экземпляру, подчеркнув те строки, что до кого относится. Многие происходили толки, и, словом, по всему государству был великий шум.

И словом: тот хотел арбуза, // А тот соленых огурцов. — Сие относится на прихотливый нрав кн. Потемкина, который тогда только и был доволен, когда чего дожидался, а как скоро получал, то опять находился в скуке: он нередко посылывал нарочных курьеров по империи, как то: в Москву и в другие города за арбузами, за солеными огурцами и проч.

И что не из чужих амбаров // Тебе наряды я крою. — Сим показывает автор, что ниоткуда он не занимал мысли свои, писавши сии стихи, как из ее добродетели.

НА ВЗЯТИЕ ИЗМАИЛА

Из трехсот жерл огнем дышали. — Тремястами пушками Измаильская крепость была обороняема.

Нет! свыше пастырь вдохновенный // Пред ними йдет со крестом. — <Пробел> полку священник <пробел> взошел первый со крестом на стену.

Всяк Курций, Деций, Буароз. — Первый — всадник римский, бросившийся в разверстую бездну, чтоб утишить в Риме моровое поветрие; второй — полководец римский, бросившийся в первые ряды, чтоб одержать победу над неприятелем; третий — капитан французский, взлез во время бури на скалу вышиною в 80 сажен по веревочной лестнице и взял крепость. Читай о нем в «Записках» герцога Сюлли во второй книге, в 6 части.

Горой он море запрудил. — Александр Великий, отправившийся для покорения Персии, когда не мог взять на пути лежащего города Тира, то чтоб ближе подвесть стенобитные машины или тараны, запрудил он Тирский залив и взял город приступом.

Я вижу страшную годину: // Его три века держит сон. — Воспоминание несчастного для России времени, когда она около трехсот лет страдала под игом татар.

Как зверь, его Батый рвет гладный. — Царь татарский, потомок Чингисхана, который покорил Россию.

Как змей, сосет лжецарь коварный. — Ложный Димитрий, или Гришка Отрепьев, который принимал на себя имя царевича Димитрия Иоанновича.

Монархий света разрушитель // Простерся под его пятой.— Разрушили римскую монархию племена татарские и прочие северные обитатели, которые покорены напоследок россиянами.

Лишь твой орел луну затмил.— Герб российский — орел, а турецкий — луна.

<...> *Вселенной на среду ступаешь.*— Под сим разумеется Византия, или Константинополь, почитавшийся древними за центр земной.

Под ним плывут дремучи рощи.— Под парусами многие суда или флоты.

Как сосна, рында обожжена.— Рында, дубина или палица, орудие древних княжеских придворных, которые и сами назывались рындами.

<...> *Пророки, камни, возглашают.*— В Византии находятся камни с надписями древних восточных народов, которые пророчествуют о взятии северными народами Константинополя; мистики находят о том пророчество и в самом священном писании.

Темиров попирать ногою.— Темир, или Темир-Аксак, железная нога, был завоеватель большой части Европы и Азии, которого племена, будучи россиянами побеждены, защищают ныне Европу от варварских набегов.

Блюсть наших от Омаров муз.— Омар, зять Магомета, завоевавши Александрию, сжег славную библиотеку.

Афинам возвратить Афину.— То есть город Афины возвратить богине его Минерве, под которою разумеется имп<ератрица> Екатерина.

Град Константинов Константину.— Константинополь подвергнут державе великого князя Константина Павловича, к чему покойная государыня все мысли свои устремляла...

И мир Афету водворить.— Афет, сын Ноев, которому на часть досталась Европа.

Великими людьми желанный.— Генрих IV и многие другие большие люди желали всеобщий в Европе мир утвердить; на сей системе и поныне у многих голова вертится.

Как Архимед, создаст машины.— Архимед, славный греческий механик, сказал, что ежели бы нашел место, где утвердить машину, то бы он, ввернув в землю кольцо, повернул бы всю вселенную. <...>

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЕЛИЦЫ

<...> *Небесно-голубые взоры.*— Сей куплет и след<ующие> два описывают точно изображение императрицы, походку ее, нрав, голос и проч.

Одень в доспехи, в брони златы // И в мужество ее красы.— Сим изображается восшествие на престол императрицы, когда она, в воинском одеянии, ехала на белом бодром коне, сама предводительствовала гвардиею, имея обнаженный меч в руке.

...и, падши на колена, // Поднес бы скиптр ей и венец.— Сей стих относится к избранию и возведению ее на престол единогласно гвардиею и всеми войсками, потом и всей империею.

Свободой бы рабов пленила // И нарекла себе детьми.— Она подтвердила манифест супруга своего Петра III о вольности дворянства, что, прослужа офицером год, <дворянин> мог оставить службу, когда хотел. <...>

Чтоб, сшед с престола, подавала // Скрыжаль заповеде́й святых.— Сим представляется даяние императрицею наказа о составлении законов, которые всеми законоведцами почитались взятыми из природы и заповедей божиих. В Сенате был на столе представлен литой серебряный храм с великолепною колоннадою, в котором представлена была императрица сшедшею с престола и дающею стоящей России на коленях наказ свой; под храмом в сделанном ящике хранился подлинный, писанный весь собственною рукою императрицы. Статуя ее была литая золотая.

Чтоб дики люди отдаленны, // Покрыты шерстью, чешуей.— Сим изображается созыв всех народов, по российской империи обитающих, для сочинения законов, от коих были присланы депутаты от каждой области по 2 человека, даже из самых отдаленнейших краев Сибири, как то: камчадалы, тунгузы, калмыки и проч.

Струили б слезы — и, блаженство // Своих проразумея дней.— Как всякому было позволено сообщать свои мысли и подавать свои голоса, то естественно, что все были рады такому законодательству, позабыв свое первобытное состояние. <...>

И будьте столь благополучны, // Колико может человек.— Императрица в наказе своем, данном комиссии о сочинении нового Уложения, сказала: она не желает дожить до того, чтобы какой народ был ее <народа> благополучнее.

Не в рабстве, а в подда́нстве числить // И в ноги челом мне не бить.— Кроме того, как выше значит, что позволяла она свободно мыслить, издала <17> 86 года указ, чтобы просьбы не писать челобитьем, а просто прошением, и не называться рабами, а подданными.

Даю вам право без препоны // Мне ваши нужды представлять.— Позволила из провинций по надобностям приезжать депутатам.

Читать и знать мои законы // И в них ошибки замечать.— При но-

вых издаваемых законах позволила губернскому правлению созывать палаты и представлять к ней, буде какие приметит недостатки или погрешности.

Даю вам право собираться // И в думах волото копать и проч.— Позволила дворянским и купеческим думам иметь у себя складочную свою собственную казну и запретила депутатам, приезжающим к ней, говорить ей похвальные речи.

В судьи друг друга выбирать, // Самим дела свои всевластно // И начинать и окончать.— Позволила гражданские дела в нижних и средних местах зачинать и окончательно решать дворянам, гражданам и крестьянам, избранными из их общества судьями, а палатам велела только ревизовать сии дела по апелляциям; следовательно, они начинались и оканчивались ими самими.

Махать с духа́ми, пить и есть.— Она смотрела на все секты сквозь пальцы, которые только не причиняли обществу вреда. *Махать* — шуточное изречение, значит волочиться. <...>

Чтобы с ристалища мне громы // И плески доходили в слух.— Изображение каруселя, бывшего в 1766 году, в котором рыцарские подвиги представлены были.

И зрел бы я ее на троне, // Седящу в утварях царей.— Изображение величества ее на престоле и самодержавного ее могущества, что всем сама она управляла. *Бармы* называется та крупная жемчужная цепь или нитка наших древних царей, полученная Владимиром Мономахом от Константинопольского императора. Под утварью разумеются все регалии царские. <...>

Почто писать уставы, // Коль их в диванах не творят.— Изречение Петра Великого, что не надо писать законов, коль их не исполнять; сие подтверждала в указах императрица несколько раз. <...>

Чтоб отворила всем дороги // Чрез почту письма к ней писать и проч.— С царствования сей государыни вошло в обычай писать к ней письма чрез обыкновенную почту, и она нередко допускала к себе для объяснения, когда ее кто-нибудь о том просил. <...>

Самодержавства скиптр железный // Моей щедротой позлащу.— Сим означается снисходительное правление и следует достопамятность. При напечатании в Москве 1-й части 1798 года в царствование Павла I цензура не пропустила сих двух стихов. Автор чрез генерал-прокурора князя Куракина просил доложить императору, объясняя, что ежели императрица, тоже самодержавная государыня, с удовольствием приняла сию мысль, то не может быть противно оное и государю, рассыпавшему в

то время великое множество своих благодеяний и щедрот. Но как автор не получил никакого отзыва на свое отношение и неизвестно, докладывал ли Куракин о том императору, то и внес он в нескольких экземплярах сии строки своею рукою.

...чтоб тут кидала взоры // С отвращением она... — Сим изображается, что императрица неохотно подписывала приговоры о казнях.

Златая бы струя бежала // За скоропишущим пером. — Сим изображается наклонность ее к добру.

Чтоб сей рекой благодеяний // Покрылась вся ее страна. — Сим изображается учреждение ею народных больниц, богаделен, сиротских воспитательных домов, которых, а особливо последних, до царствования ее совсем в России не было. <...>

Великой бы ее нарек, // Поднес бы титлы ей священны. — Под сим разумеется приношение ей депутатскою комиссиею чрез Сенат титулов Великой, Премудрой, Матери Отечества и отрицание ее от оных.

Спокойно Исполин дремал. — Под лицом Исполина разумеется пространная империя, о здравии и благоденствии которой всякими средствами она попечение прилагала.

И, здравие его спасая, // Без ужаса пила бы яд. — Под сим разумеется отважный опыт прививания оспы, который императрица сама над собою первая приказала сделать, дабы подать пример тем ее подданным, и с того точно времени вошло в обыкновение сие спасительное в России средство.

На небеса воздели б руки // Младенцев миллионы вдруг. — Сим изображается картина младенцев, которые спаслись от смерти прививанием оспы. <...>

Стоглаву гидру разъяренну... // И фуриев с земель своих... — Под стоглавой гидрой разумеются внутренние бунты и мятежи <...>; а под фуриями — мор и глад <...>, которые попечительными и премудрыми учреждениями государыни скоро прекращены.

На сребролунно государство и проч. — Под сребролунным государством разумеется Оттоманская Порта; а под железно-каменным царством — Швеция, которые вдруг восстали войною на Россию и оба побеждены. <...>

Душа ее в себе прощала // Неблагодарных и врагов. — Многие известные недоброжелатели сей государыни не были никак ею изгоняемы.

Приветливость ее равняла // С монархом подданного часть. — Известно также, что с окружающими обходилась милостиво и без чинов.

И самое Недоуменье // Ей плесков поднесло б венец. — Государыня

сия довольно покровительствовала науки и стихотворство и сама писала комедии и оперы, из коих комедия «Недоумение», когда была первый раз представлена, то чрезвычайно была хорошо принята публикою, хотя неизвестно было, что она сочинила оную. Автор, будучи в комедии и знав, что она писана государыней, послал сии два стиха на театр, написанные карандашом. <...>

Бросай, кто хочет: остры стрелы // От чистой совести скользят.— Как автор имел много недоброжелателей из знатных людей, которые его явно гнали и тайно оклеветывали, то и не хотел отомщать какой-либо сатирою, а довольствовался петь, им в досаду, государыне похвалу, не страшась за правду зла.

КЛЮЧ

<...> *Завидую пиита счастью.*— Хераскова, сочинителя эпической поэмы «Россияда».

Священный Гребеневский ключ.— Подмосковное село, бывшее Хераскова, Гребенево, в котором он сочинял сказанную поэму. <...>

НА СМЕРТЬ КНЯЗЯ МЕЩЕРСКОГО

<...> *Куда, Мещерский! ты сокрылся?* — Действительный тайный советник кн. Александр Иванович Мещерский, главный судья таможенной канцелярии.

Где стол был яств, там гроб стоит.— Был большой хлебосол и жил весьма роскошно.

Перфильев! и проч.— Генерал-майор Степан Васильевич Перфильев, бывший при воспитании императора Павла кавалер, хороший друг кн. Мещерского, с которым всякий день были вместе. <...>

ОСЕНЬ ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ ОЧАКОВА

<...> *Российский только Марс, Потемкин, // Не ужасается зимы.*— Кн. Потемкин предводительствовал армиею, осаждавшею Очаков, при наступающей зиме, который взят декабря 6 числа в самый злейший мороз.

Над древним царством Митридата.— То есть в Тавриде, в Крыму,

Летает и темнит луну.— Побеждает турков.

Хотя вы в Стикс не погружались, // Но вы бессмертны по делам.— Фетида, по баснословию мать Ахиллеса, держа его за пяту, погружала его в Стикс, чтоб был неуязвляем.

И ты спеши скорей, Голицын.— Князь Сергей Федорович, бывший тогда в очаковской армии генералом под командою кн. Потемкина.

Твоя супруга златовласа.— Варвара Васильевна, урожденная Энгельгардова.

Ее ты дяди и отца.— Кн. Потемкин, ее дядя, любивший ее, как отец.

В чертоге вкруг ее безмолвном.— Она жила тогда уединенно в селе своем Зубриловке, лежавшем недалеко от Тамбова, и дожидалась нетерпеливо известия о муже и дяде.

В восторге только музы томном.— Автор, не имея тоже известия о наших войсках, между страхом и надеждой послал ей сию оду.

НА СМЕРТЬ ГРАФИНИ РУМЯНЦОВОЙ

<...> *Не должно, <Дашкова>, всегда.*— Ибо сия ода под имяреком к ней относится, хотя ей и неизвестно было, потому что она была в крайнем огорчении о женитьбе ее сына без ее позволения, в противоположность гр. Румянцовой, которая в свой долгий век много переносила горестей равнодушно. Кн. Дашкова, привержена быв к английскому народу, имела у себя в доме английские украшения, ковры и проч.

Монархам осьмерым служила.— Графиня М. А. Румянцова была фрейлина при Петре I; то, с него начиная до Екатерины, было восемь монархов, коим она служила в придворных дамах.

Затмившего мать лунный свет.— Мать того, который победил турок.

Когда не ищешь вышней власти.— Княгиня Дашкова была честолюбивая женщина, добивалась первого места при государыне, даже желала заседать в Сенате; хотя сего достигнуть не могла, но была, однако, директором двух Академий, наук и российской...

...*и сын твой с страшна бою.*— Сын княгини Дашковой был тогда в турецкой армии.

Фессальский насаждая сад.— То есть российский Парнас, или Академию.

Седый собор Ареопага.— Под сим разумеется Сенат, который по делам делал ей некоторые неприятности... <...>

ЛЮБИТЕЛЮ ХУДОЖЕСТВ

<...> *И гул глухой в глуши гудет.*— С сего стиха: *Как бы весной // Разноперистых птичек рой* — до стиха: *И гул глухой в глуши гудет* — живая картина в полуденных провинциях весны, а особливо под вечер, когда птицы понимаются и ростятся

в болотах лягушки, которые протяжным стоном своим подобно как будто бас вдали повторяют соловьиные голоса и прочих птиц.

Здравствуй, их всех покровитель.— Любитель художеств, разумеется здесь гр. А. С. Строганов, на день которого рождения, т.е. 3 января, сия ода писана. Он имел знатное собрание картин, принимал хорошо упражняющихся в науках и после был главный директор императорской Академии художеств. <...> Сей Строганов был сперва хороший приятель автору, но после сделались врагами по той причине: как в бытность генерал-прокурором второго, граф Потоцкий о молодых дворянах подал возмутительные мнения против самодержавной власти государя, то генерал-прокурор по своей должности защищал законы; Строганов и многие сенаторы открылись на стороне противных, и, вышед из пристойности, Строганов кричал: «Наша взяла!» Генерал-прокурор ударил молотком, остановил дерзость, и сие было чрезвычайно досадно Строганову, ибо он себя любимцем государя почитал, и что молотка со времен Петра Великого никто не употреблял; а как в тот день ввечеру был у Строганова бал, где присутствовала императорская фамилия, но автор не был позван, то с тех пор он к нему перестал ездить.

МЕРКУРИЮ

<...> *Почто меня от Аполлона, // Меркурий! ты ведешь с собой?* — Автор был определен января 1 числа 1794 года в президенты коммерц-коллегии против его желания, ибо он никогда сей частью не занимался.

За золото — солому чтет.— Быв сенатором, старался он управлять, сколько мог, правосудие, и для того прихаживало к нему много просителей, но не с заднего крыльца, то есть со взятками, и почитали его дом, построенный особливой архитектурой наподобие храмика, и большая зала обита была соломенными обоями.

Тебе, мой вождь и бог златой.— Бог златой, то есть Меркурий, бог богатства, под которым разумеется императрица, чтоб не отягощала его много сей должностию и давала ему время упражняться в словесности.

Среброчешуйну океану.— Под сим изображается мореходство, приносящее богатство.

Позволь, как грянет гром, домой // Пришедшему обнять мне музу.— При императрице открывалась и закрывалась таможня по пушечному выстрелу, когда били утреннюю и вечернюю зорю:

то чтоб сие время мог бы он быть свободен в своих упражнениях. <...>

Не дам волкам овечки скушать.— Не дам утеснить невинность сильному, но ты ободри меня в том. <...>

НА УМЕРЕННОСТЬ

<...> *Чтит бога, веру и царей, // Царств метафизикой не строя.*— По сей стих все предследующие куплеты относятся к автору или к поведению, как он себя при дворе вел, а ниже <...> — до французской революции, над которой он шутит, что философы тогдашнего времени метафизической души, воображая равенство и свободу, как пузыри, возвышаются в своих мнениях, желая взлететь в горнее блаженство или иметь его на земле с грузом своим, то есть с плотью.

Пускай Язон с Колхиды древней и проч.— Под Колхидой разумеется Крым, а под Язоном — князь Потемкин, приобретший его своей министерской расторопностию.

Крез завладел чужой деревней.— Обер-прокурор Зубов, отец фаворита императрицы, в то время отнял было нагло у <Бехтеева> деревню, которую автор своей твердостию, представя сыну несправедливость отца, возвратил владельцу.

Марс откуп взял, мне все равно.— Князь Долгорукий и граф Салтыков, генерал-аншеф, бывший потом фельдмаршалом, содержали винные откупа.

И царских сумм на святотатство.— Последняя турецкая война под предводительством князя Потемкина стоила более 60 миллионов рублей, тогда как первая под ведомством гр. Румянцева — не более 7 миллионов, а в последней столько миллионов так не досчитались, что и следов не нашли; ибо кн. Потемкин, имея большую доверенность императрицы, содержал казенные деньги и свои вообще и делал из них расходы, куда ему рассудилось, без всяких узаконенных записок.

Нет дел — играю на бирюльке.— Императрица, занята будучи политическими и военными делами, неохотно занималась в последнюю турецкую войну — гражданскими; а как автор был по части оных докладчик, то и не допущен бывал по неделе и по две.

О добродетелях в карманах.— Под сим объясняет автор негибкость своего характера, что он при докладах не вертелся туда и сюда, как рулетка, но читал, что есть на бумаге, не смотря на лица, и о взяточниках так, как о честных людях.

И шел к нему опять со вздором и проч.— Императрица иногда скучала, что автор обременял ее докладами о правосудии и милости к бедным; но он, несмотря на то, все с тем же приходил (говоря придворным языком) вздором.

Не заплясал бы с восхищенья.— Случалось нередко, что императрица, признаваясь в своем несправедливом гневе, прашивала у автора прощения, ибо он не по своему выбору, а по ее собственному приказанию производил самые важные, но неприятные дела <...>, которые, иные, до его времени оставались лет по 20-ти нерешенные.

Не вдруг на похвалы пускался.— Автор несколько раз был прошен самой императрицей, чтоб он писал стихи, подобные «Фелице», но он, будучи, с одной стороны, занят важнейшими делами, а с другой видя несправедливости, неохотно к тому приступал, так что во время бытности при ней, как из примечаний видно будет, весьма немногие написал, и те с примесью нравоучения, как то и сия ода.

Смотри и всяк, хотя б чрез шашни // Фортуны стал кто впереди.— То есть: и ты, который по любовным шашням сделался большим человеком.

Не сплошь спускай златых змей с башни.— Зубов, бывший потом граф и князь, любимец императрицы, иногда после обеда занимался сей детской игрой, спуская бумажные змеи с царскосельских башен.

Хоть чья душа честна, любезна и проч.— Все сии любезные качества имел в себе неоспоримо кн. Зубов, но был неумеренно горд и так скромен, что, поручая иногда сам дела, когда их к нему приносили, то он не говорил о них ни слова по целому году, хорошо ли они сделаны, или худо.

Умей их не сронить и в бури.— То есть умей при несчастии быть твердым; но он сего качества душевного не имел, а когда взошел на престол император Павел, то он так струсил, что жалко было на него смотреть.

К ПЕРВОМУ СОСЕДУ

<...> К первому соседу.— В 1-ом издании сказано просто «К соседу» потому, чтоб отличить его от *второго соседа*, которому ода находится во 2-ой части, тогда еще в свет не бывшая издана. Сей первый сосед был купец Михайло Сергеевич Голиков, содержавший в сем <1780> году С<анкт>-Петербургские питейные сборы на откупу и сделавшийся по худому сво-

ему оным управлению и роскошной жизни несчастливым, что отдан был под суд за непозволенный провоз французской водки.

И нежной нимфой ты сидишь.— Он имел итальянку у себя на содержании, театральную певицу, с которой проводя жизнь роскошную, повергнул себя в вышесказанное бедство.

Твоя уж Пенелопа в скуке и проч.— Пенелопа, супруга Улисса, царя Итакского, которая во время десятилетней его отлучки под Трою обеспокоивана была женихами, сватавшимися к ней по удостоверению, что уже Улисса нет в живых; но она, храня к нему верность, день ото дня отлагая, обнадежила их, что тотчас, коль скоро доткет ковер, то выйдет из них за кого-либо замуж, а между тем, что в день наткала, то в ночь распускала, дабы чрез то продлить время, покуда возвратится ее супруг. К Голикову же сие сравнение относится потому, что он был сибирский житель и, поехав в Петербург для снятия откупа, оставил там жену, обнадеживая ее, что скоро возвратится.

К ЛИРЕ

...относится к гр. Зубову... <...>

Кто Аристон сей младой? — Он был чрезвычайно скромного нрава и вел себя, казалось, по-философически: то сравнен здесь потому с Аристоном или с Аристотелем, а с Орфеем — по склонности к музыке.

Истый любимец Астреи!— Астрея, по баснословию, богиня златого века или справедливости; разумеется под сим императрица Екатерина II.

ВЕЛЬМОЖА

<...> *Не перлы перские на вас // И не бразильски звезды ясны.*— Перлы персидские, всех наилучшие, украшением служили в древности царям, из коих сделаны были бармы, или ожерелье, а в новейшие времена богатые вельможи украшали ими звезды своих орденов, а бразильские звезды — бриллианты, ибо там находятся славные алмазные копи, пещеры или штольни.

Калигула! твой конь в Сенате.— Калигула, император римский, приказал любимой своей лошади присутствовать в Сенате.

Он только хлопает ушами.— Автор, присутствуя тогда в Сенате, видел многих своих товарищей без всяких способностей, которые, слушая дело, подобно ослам, хлопали только ушами.

Чтоб мужу бую умудриться.— Или глупому человеку сделаться мудрым. Сей стих относится к тому достопримечательному со-

бытию, что императрица автору, когда он был при ней статс-секретарем, приказала делать на все сенатские мемории примечания, и ежели что усмотрит несправедливое или несогласное с законами, то докладывать ей по причине, что тогда генерал-прокурор кн. Вяземский, будучи тяжко болен параличом, не мог отправлять своей должности. Но когда частые примечания ей наскучили, тогда она приказала только прочитывать их сенатским обер-прокурорам, чтоб они, ежели найдут их правильными, новые бы от сенаторов испрашивали резолюции и ошибки поправляли; но когда они не согласятся и останутся при своих мнениях, тогда бы оставлял их по их воле, но только бы у себя имел им записку. Таким образом, продолжались сии примечания почти целый год; но когда в один день автор ей читал дела, то она сказала: «Нет, надобен мне новый генерал-прокурор, старый ослабел»; поглядев на автора лицом примечательным, пресекла разговор. На другой день поутру, часу в 9-ом, любимец ее гр. Зубов прислал к автору лакея с записочкой, чтоб он поскорее ехал во дворец; но как автор тогда занемог и принимал лекарство, то и не мог сего сделать, а приехал уже на вечер. Гр. Зубов, отведши его на сторону, сказал, глядя на него пристально, что императрица намерена уволить старого генерал-прокурора от службы и сделать на место его нового; то кого бы он думал? Автор, не показав нимало своего желания к тому, хотя отправлял уж почти год должность генерал-прокурора, делав замечания на мемории Сената, которые по большой части уважались обер-прокурорами и сенаторами, ответствовал, что это состоит в ее величества воле, кого ей угодно. Граф сказал: «Хорошо, поезжайте домой и приезжайте завтра ранее». По приезде граф сказал: «Выбран, братец, генерал-прокурор».— «Кто?» — «Граф Самойлов». И тотчас после сего позван был автор к императрице; она спросила его: «Что, записывал ли ты свои примечания о сенатских ошибках, как я тебе приказывала?» — «Записывал».— «Принеси же завтра ко мне их». Записки представлены; она, их приняв, оставила несколько дней у себя; потом, призвав его, отдала оные ему обратно с апробациею, ее рукою написанною, сказав: «Отдай их новому генерал-прокурору и объяви от меня, чтоб он поступал по оным и во всех бы делах советовался с тобою». Вскоре после того позван был к ней гр. Самойлов, то есть новый генерал-прокурор; возвратясь от нее, подошел к автору и сказал, что ее величеству угодно, чтоб он по своей должности с ним обо всем советовался; то он и надеется от него дружеского пособия. Автор откланялся и

вследствие того был несколько раз приглашен на совет генерал-прокурора; но как в некоторых мнениях не соглашались, а генерал-прокурор отдался руководству подьячих, или, лучше сказать, правителю своей канцелярии, человеку не великого разума и сведений, но упрямому, то и произвел он между графом и автором ссору. По сей причине, сколько императрица ни желала, чтоб под лицом генерал-прокурора отправлял генерал-прокурорскую должность автор, но сие не имело своего действия и истина должна была открыться, показав слабость руля государственного правления, т. е. ген<ерал>-прокурора.

Всяк думает, что я Чупятов и проч.— Чупятов, гжатский купец, торговавший при С<анкт>-Петербургском порте пенькою, имел несчастие чрез пожар в кладовых на бирже амбаров понесть великий убыток, от чего объявил себя банкротом, как иные сказывали, притворно, и, избегая от своих верителей всяких неприятностей, наложил на себя дурь, сказывая, что в него влюбленная марокккская принцесса выйдет скоро за него замуж, что прислала она к нему уже премножество сокровищей, чем бы он давно заплатил свои долги, но неприятели его не допустили до рук его присланный подарок; однако же достоинства и ордена, к нему от нее присланные, он получил, которые он и носил на себе, как-то разных цветов ленты и медали: к нему от некоторых насмешников из шутки чрез почту и чрез нарочных доставленные, которыми очень гордился и утешался, показывая свои грамоты, сочиненные разными людьми ему для насмешки.

Блистал величеством в работе.— Известно, что Петр В<еликий> в матросском платье, как простой плотник учившися корабельному строению, работал на амстердамской бирже.

Токай — густое льет вино.— Токай, гора в Венгрии, на которой родится лучший виноград, из которого делается славное токайское вино.

Левант — с звездами кофе жирный.— Левант, или Анатолия, где славный с Азиею отправляется торг лучшего кофе.

С тобой лежащая Цирцеи.— Славная в древности волшебница, которая любезными своими хитростями товарищей Улиссовых на своем острове превратила в свиней.

Как лунь во бранях поседевший.— Лунь — белая цветом птица, род ястреба. Отношение к цвету оной здесь для того употреблено, что многие седые заслуженные генералы у кн. Потемкина и гр. Безбородко и у прочих вельмож сиживали часто несколько часов в передней между их людей, покуда они проснутся и выйдут в публику.

Меж челядью твоей златою.— Челядь, или челядинцы — самые последние в доме люди, но у богатых людей и те бывают одеты в золото.

А там — вдова стоит в сенях.— Вдова Костогорова, которой был муж полковник, оказывал многие услуги Потемкину и был из числа его приближенных, имел несчастие, поссорясь за него, выйти на поединок с известным Иваном Петровичем Горичем, храбрым человеком, который уже после был генерал-аншефом; сей убил его выстрелом из пистолета, как говорили тогда, умышленно тремя пулями заряженного; вдова Костогорова, после смерти мужа прося покровительства князя, часто хаживала к нему и с грудным младенцем на руках стаивала, ожидая на лестнице его выезду. <...>

Здесь дал бесстрашный Долгоруков.— Славный сенатор кн. Яков Федорович Долгоруков, который разодрал определение Сената, подписанное Петром I, и ответ его о том, известен по анекдотам сего великого государя.

Того я славного Камилла.— Камилл был консул и диктатор римский, который, когда не было в нем нужды, слагал с себя сие достоинство и жил в деревне. Сравнение сие относится к гр. Румянцеву-Задунайскому, который, будучи утесняем чрез интриги кн. Потемкина, считался хоть фельдмаршалом, но почти ничем не командовал, жил в своих деревнях. Но по смерти кн. Потемкина, получа в свое повеление армию, командовал оною и, чрез предводительство славного Суворова обезоружа Польшу, покорил оную российскому скипетру.

Тебе, герой! желаний муж.— То есть тебе, Румянцев, которому все желали, чтоб он командовал армиею по известному его искусству в предводительстве в первой турецкой войне. <...>

Румяна вечера заря.— Стих, изображающий прозвище, преклонность лет и славу Румянцева.

ВОДОПАД

<...> *С высот четыремя скалами.*— Сим описывается точное изображение водопада, Кивачем называемого, находящегося в Олонецкой губернии в нескольких верстах от Кончезерского чугунного завода; он стремится с высоты между четырех гранитных скал; под сим подразумеваются четыре отделения года, которыми протекает время.

Рекою млечною влекутся.— Когда вверх едешь по реке, его составляющей, то под сводом дерев пенная вода льется точно как молоко или сливки.

Стук слышен млатов по ветрам и проч.— Хотя Кончезерский завод лежит от сего водопада около 40 верст, но в сильную погоду по ветру слышно иногда бывает действие заводских машин, которые, смешавшись с шумом вод, дикую некую составляли гармонию, которую автор сам слышал, ибо он, будучи губернатором в сей губернии, видел сей водопад, нарочно его обозревая.

Ветрами ль сосны пораженны? // Ломаются в тебе в куски.— Он приказал на высотах водопада срубить сосну и бросить ее в стремление вод; то по несколько минут выплыли из жерла ее уже обломки или щепы.

Сковать ли воду льды дерзают? — Он никогда не мерзнет и капли водные истинно так падают, как стеклянная пыль, в которую отражась, лучи солнечные представляют весьма удивительное зрелище.

Отважно в хлябь твою стремится.— В сих трех куплетах описываются свойства трех зверей, совсем между собой различных: под волком разумеется злоба, который от ужаса стервенеет или более ярится; под ланью — кротость, которая робка при опасности, а под конем — гордость или честолюбие, которое от препятств раздражается и растет.

И шлем, обвитый повиликой.— Трава повилика — знак любви к отечеству.

Как вечер во заре румяной.— Под сим изображением подразумевается фельдмаршал Румянцев, как по своему прозвищу, так по преклонности лет своих.

Поит надменных, кротких, злых.— По вышеописанным свойствам зверей, автор и род человеческий разделяет натрое: то есть на злых, гордых и кротких.

В Сенате Цезарь средь похвал.— Вышеупоминаемый Цезарь, диктатор римский, тогда как думал провозглашен быть царем, принимая многие ласкательные себе просьбы, был поражен в Сенате несколькими кинжалами сенаторов и, закрыв плащом лицо свое, упал между ими.

Пленивший Велизар царей // В темнице пал, лишен очей.— Выше о нем сказано, что он отказался от подносимой ему короны и, ведя в триумфе своем царей, оклеветан, в темнице лишен зрения.

Как в лаврах я, в оливах тек? — Пред несколькими годами фельдмаршал гр. Румянцев, как победитель и благоразумный правитель губерний, ему вверенных, был почтен лаврами и оливами, но в последнюю турецкую войну, по проискам Потемкина, он не командовал главной армией, а оставался в резерв-

ной, весьма малочисленной, и жил недалеко от Ясс в маленькой деревне.

Ослабли силы, буря вдруг // Копье из рук моих схватила.— Буря или немилость императрицы, которая отняла у него власть и лишила побед.

Сошла октябрьска нощь на землю.— Подразумевается печальная ночь, в которую скончался кн. Потемкин.

Которого она страшилась, // Кому вселенная дивилась.— Здесь под луною разумеется Оттоманская Порта, которая страшилась Румянцева, удивляющего победами над нею вселенную.

Что огнедышущи за перстом // Ограды вслед его идут.— Огнедышущие ограды, то есть каре или четвероугольное устройство, каковые фельдмаршал Румянцев выдумал для побед над турками, не давая им многочисленностию своею окружать в сравнение их небольшую российскую армию.

Полки его из скрытых станов и проч.— Фельдмаршал Румянцев так верно назначал рандеву или сборище своих войск, что в назначенный час являлись полки издалече на том месте, где им было приказано, так что их тут совсем не ожидали.

Ночные знать его шаги.— Сим описываются ночные экспедиции или отряды, которыми он часто побеждал турок.

Как волхв невидимый, в шатре.— Планы свои располагал по ландкартам уединенно в великой тайности; представляя неприятелям в слабых местах ложные силы, а на высотах большие отряды, как обыкновенно делают искусные вожди, обманывая своих неприятелей.

Что орлю дерзость, гордость лунну, // У черных и янтарных волн.— *Орлю дерзость* у янтарных, а *гордость лунну* у черных, то есть пруссаков у Балтийского моря, а турок у Черного <моря> побеждал; первых — в семилетнюю, а последних — в первую турецкую войну.

Смирил Колхиду златорунну.— *Колхида златорунна* — разумеется Таврида, или Крым (где Ясон похитил золотое руно), который усмирен предводительством Румянцева в первой турецкой войне.

И белого царя урон // Рая вечерня пред границей // Отмстил победами сторицей.— Под белым царем разумеется царь православный русский; под границею рая вечернего — река Прут, граничащая Молдавию от северных областей, на которой был окружен турками великий Петр, не имея провианту, и должен был уступить польскую Украину и прочие места,— некоторые полякам, другие — туркам, а гр. Румянцев своими победами отмстил ту победу с большими для России выгодами.

И все везде его почли, // Триумфами превознесли.— После первой турецкой войны великие оказываны были фельдмаршалу Румянцеву почести и деланы торжества на Ходынке и в прочих местах.

Стенанье филинов и сов.— В простом народе почитаются за дурные предвестия крики филинов и сов и прочие такого роду естественные явления.

Сидит глубока дума в мгле! — Сим стихом описывается изображение лица кн. Потемкина, на которого челе, когда он был в задумчивости, видна была глубокомысленность.

Обозревает царствы вдруг.— Он имел обзорчивый и быстрый ум, стремящийся ко славе, по следам которого разливалось военное пламя.

Чей труп, как на распутье мгла, // Лежит на темном лоне нощи? — Кн. Потемкин, проезжая из Ясс в Николаев, умер на дороге и оставался целую ночь лежащим на степи, покрытым простым плащем.

Два лепта покрывают очи.— Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтобы они закрылись.

Чей одр — земля и проч.— Постеля его была тогда голая земля, балдахин — воздух, а чертоги — пустыня.

Великолепный князь Тавриды? — По присоединении Крыма к России он назван Таврическим и жил весьма великолепно.

Не ты ль, который взвесить смел // Мощь росса, дух Екатерины.— Никто, лучше как кн. Потемкин не проникнул честолюбивого духа Екатерины и сил империи ее, на которых положась, основывал он великие свои замыслы, которые выше сказаны словом Екатерины, чтоб выгнать из Европы турок, усмирить гордость китайцев и установить торг с Индиею, но смерть все намерения пресекла <...>

Не ты ль, которой орды сильны // Соседей хищных истребил и проч.— По его советам истреблена Запорожская Сеча, освобожден от татар Крым, которые, одна — разбоями, а другие — внезапными нашествиями много вреда и опустошения причиняли России: ими населены губернии екатеринославской и таврической области; он пространные тамошние степи населил нивами и покрыл городами, он на Черном море основал флот, чего и Петр В<еликий> своим усилием, заводя в Воронеже и в Таганроге флотилии, не мог прочно основать; он потрясал среду земли, то есть Константинополь— флотом, которым командовал под его ордером адмирал Ушаков.

И твердой дерзостью такой // Быть дивом храбрости самой.— По взятии Измаила солдаты российские сами удивлялись своей

невероятной храбрости, что имея короткие лествицы, а иные почти без оных, опираясь на штыки свои, взлезли на измайловский страшный вал и взяли крепость сию штурмом.

Не шел ты средь путей известных, // Но проложил их сам.— Кн. Потемкин, а паче кн. Суворов мало надеялись на регулярную тактику, или правила, предписанные для взятия городов, но полагали удачу в храбрости и пролагали пути к цели своей изобретенными средствами при встречавшихся обстоятельствах, и потому многие искусные тактики удивлялися предводительству Потемкина, что он своим манером и, кратко сказать, русскою грудию приобретал победы.

Забавы, роскошь вкруг цвели, // И счастье с славой следом шли.— В самых военных беспокойствах и дурной погоде пышность и роскошь окружали кн. Потемкина, так что землянки, обитые парчами и увешанные люстрами, превосходили великолепие дворцов, а особливо праздники, где он угащивал своих любовниц.

Воспел победу Измаила.— Автор, описывая праздник кн. Потемкина в Таврическом дворце, по случаю взятия Измаила им данный <...>, подражал в некоторых песнях Пиндару, славному греческому лирику.

Где бездны разноцветных звезд // Чертог являли райских мест.— В помянутом празднике весь дом был усыпан разноцветными шкаликами, плошками и люстрами, так что он казался весь в пламени, уподобляясь солнцу.

Наполнили рыданьем слух.— По многим выгодам, деланным кн. Потемкиным солдатам, они его любили и кончину его оплакивали общим рыданием.

Потух лавровый твой венок, // Гранена булава упала.— Венок лавровый, сделанный из богатых бриллиантов, подарен был кн. Потемкину императрицею за его победы, а булава, которая означала гетманство, также императрицей ему пожалована, которая не что иное как жезл начальничества, но только сделанный особым образом, что на трости или на палке был шар граненый или с шипами.

Меч в полножны войти чуть мог.— Сей стих пиитическим образом сказывает, что мир только был при Потемкине начат, то есть что меч еще был не совсем положен в ножны.

Екатерина возрыдала! — Хотя при последних победах кн. Потемкина остудили было его разными наветами у императрицы, а может быть, и с справедливостию описывая его роскошь и худые воинские распоряжения, ибо, конечно, не имел бы он таких в войне успехов, когда бы генералы, подчиненные ему,

а особливославный Суворов везде не вспомоществовали; но смертию его, однако, императрица чрезвычайно огорчалась.

Оливы свежи и зелены // Принес и бросил Мир из рук.— По смерти его мир заключен с таким удовольствием и радостию, как бы быть при нем то могло.

И муз ахейских жалкий звук // Вокруг Перикла раздастся.— Евгений, славный архиепископ славянский, на греческом языке написал кн. Потемкину эпитафию: то и уподобляется он в этом стихе Периклу, любившему науки и красноречие.

Марон по Меценате рвется— Марон, или Вергилий, славный писатель латинский, в эклогах своих прославлял Мецената, любимца Августа, а г. Петров, переводивший Вергилия на российский язык, писал элегию на смерть кн. Потемкина, который его покровительствовал, как Меценат Вергилия.

На сребро-розовых конях, // На златозарном фаэтоне.— У кн. Потемкина был славный цуг сребро-розовых или рыжесоловых лошадей, на которых он на раззолоченном фаэтоне езжал в армии.

И в смертный черный одр упал! — По погребении принца виртембеогского, брата государыни императрицы Марии, скончавшегося в армии, когда кн. Потемкин вышел из церкви и хотел сесть на свой фаэтон, но будучи в печальных мыслях, ошибся и сел на смертный одр, на котором привезен был в церковь принц,— опомнившись, чрезвычайно оробел, что и почли предвестием его смерти, а особливо тогда, когда случилась его кончина, ибо это пред нею незадолго последовало.

Где сорок тысяч вдруг убитых // Вкруг гроба Вейсмана лежат.— Славный генерал Вейсман, убитый в первую турецкую войну за Дунаем, погребен в Измаиле, в котором было около 40 тысяч гарнизону (в то время как брал его штурмом Суворов), который весь порублен в сей крепости.

Столпы на небесах горят // По суше, по морям Тавриды! — Пожары, бывшие при взятии крепостей и при поражении турецких флотов, показывали на небе заревы в подобие огненных столпов.

И мнит, в Очакове, что вновь // Течет его и мерзнет кровь.— Очаков штурмом был взят в Николин день, 6-го декабря, в такой жестокий мороз, что текущая из ран кровь тотчас же замерзала.

Как ходят рыбы в небесах.— В тихий ясный летний день бывают видимы в воде облака и развевающиеся флаги корабельные.

Вдали белеет на лиманах.— На заливах морских и устьях, где впадают большие реки в море, то парусы на судах издалека белеют.

Геройский образ оживляет.— Многие почитавшие кн. Потемкина женщины носили в медальонах его портреты на грудных цепочках; то вздохами движа, его, казалось, оживляли.

Алцибиадов прах! — По роскошной жизни здесь кн. Потемкин уподобляется Алцибиаду.

Нашедши в поле Фирс.— Фирс, или Тирсис, был под Троей один из военачальников, превеликий трус, который, однако, охуждал Ахиллеса; отношение к кн. Зубову, который счастием приобретши его власть, охуждал иногда дела кн. Потемкина, но при восшествии на престол императора Павла показал, что сам не имел великой души.

Чтоб счастие доставить свету.— Водопады, или сильные люди мира, тогда только заслуживают истинные похвалы, когда споспешествовали благоденствию смертных.

Живи лишь красотой твоей! — Шуми, водопад, живи лишь красотой твоей, или славься, сильный человек, когда в памяти людей останутся такие токмо дела, которые будут их увеселять.

Разжженный гром и черный дым.— Они напомянут разжженный гром и черный дым, то есть разорение, происшедшее от честолюбия водопада и людей сильных.

И ты, о водопадов мать! // Река, на Севере гремяща, // О Суна! — Суна — река, протекающая в Олонецкой губернии, составляющая вышеупомянутый водопад Кивач; она названа здесь матерью водопада; относится сие к императрице, которая делала водопады, то есть сильных людей, и блистала чрез них военными делами или победами.

Поя златые в нивах бреги.— То есть без приобретения завоеваний чуждых народов, но внутренним управлением государства или экономиею и прочими распоряжениями можно было славно царствовать и представлять великое зрелище, уподобляяся добродетелями величеству небес.

ПРОГУЛКА В САРСКОМ СЕЛЕ

<...> *И зданием Фемиды* и проч.— Фемида, богиня правосудия; подразумевается здесь императрица Екатерина, которая в память многих ее генералов, как то: Орловых, Румянцева и прочих, воздвигнула разные здания между искусственными прудами и речками.

С Пленирою младой.— Выше сказано, что под именем Плениры автор разумеет первую свою жену, с которой он прогуливался в царскосельском саду.

Пой, Карамзин! — *И в прозе.*— Н. М. Карамзин, хороший прозаический писатель и историограф российский.

<...> *Рашетт его изобразил!* — Рашетт, скульптор фарфоровой фабрики <...>. Он первый делал бюст, или полкумир автора, с непокровенной головой <...>

Искусство Праксителя в нем. — Славный ваятель греческий, который делал наиудивительнейшую статую Юпитера <...>

Батыев и Маратов слава. — Батый, царь татарский, чингисханского поколения, кровожаждущий завоеватель России; Марат, один из бунтовщиков во Франции, подписавший смертный приговор на Людовика XVI, короля французского. Автор не хотел уподобляться всем таковым злодействами прославившимся людям; имея к тому случай <...>, когда имели к нему большую доверенность, что он мог, один будучи, делать преступникам казни и набирать войско, так, что набрав 700 человек в Малыковке (что ныне город Вольск), освободил колонии от расхищений киргизцев и доказал тем возможность иметь на своей стороне многих сообщников, тем паче когда видел к себе их приверженность, что они, несмотря на строгое наказание преступивших свою присягу, в рассуждении своей верности к императрице, были к нему так привержены, что он все бы из них мог сделать, а потому и легко бы можно собрать большое количество и действовать как бы желалось, когда никто противостоять не мог, ибо турецкая армия была еще за границей, а для усмирения бунта посланы войска в таком рассеянии, что за ничто можно было их почесть при таковом бедственном положении; но он, сохраняя верность свою государыне, не хотел ниже помыслить о каком-либо подобном предприятии и ничем не воспользовался, имея власть деньги брать и грабить; но не хотел, как прочие то делают, почитая, как в следующем куплете сказано: *Злодейства малого мне мало, // Большого делать не хочу.*

До Герострата только шаг. — Герострат сжег храм Дианин в Эфесе для того, чтобы имя свое сделать бессмертным. <...>

За ним отец его и дед. — То есть добрые и мудрые государи: царь Алексей Михайлович и Михайла Федорович, которые расхищенную Россию врагами ее собрали и утвердили.

Пожарский, Минин, Филарет, // И ты, друг правды, Долгоруков! — О первом, то есть Пожарском, выше сказано; второй, то есть Кузьма Минин, его помощник, купец нижегородский, который предприняв освободить Москву от завладения поляков, вышел на площадь, возбудил в народе дух к спасению отечества, представя ему все свои богатства, чем побудил их к таковому же

пожертвованию, предложа выбрать вождем Пожарского, который лежал тогда болен в костромской своей деревне от ран, им полученных под Москвою во время защищения Шуйского от нападения Димитрия Самозванца. Третий, Филарет, или Феодор Никитич, отец царя Михайла Феодоровича, названный первым именем по пострижении в монахи; он во время содержания поляками во власти своей Москвы был с прочими боярами послан в Польшу к королю польскому с предложением, чтоб сына своего дал на царство московское. Король и отпускал, но с тем, чтоб он не переменял своей веры, на что и прочие были согласны, но Филарет того не хотел; иначе не соглашался, как чтоб принял сей избираемый ими в цари веру греческого исповедания, для чего истязан был разными мучениями и содержался 9 лет в подземельной тюрьме в Польше, но однако же не уступил в своей твердости. При сем случае упомянут примечательный разговор императрицы Екатерины с автором в 1793 году, когда последний король польский Август подписал трактат с Россиею, утвердя политическую свою зависимость от России; то получа об оном известие императрица от министра, с чрезвычайным восторгом превозносясь своею политикою, автору рассказывала, который ей на то сказал: «Счастливы вы, государыня, что король польский не имел таких вельмож, как мы Филарета; в таком бы случае трактат сей подписан не был». О четвертом, Долгорукове, выше сказано, что он, ничего не убоясь, говорил правду, так что иногда государь Петр I от него бегал.

Румянцева лица ваятель.— Ваятель, или скульптор лица Румянцева, который сделан во весь его рост по заказу гр. П. В. Завадовского и стоит у него в доме, как знак благоговения и благодарности к сему полководцу, у коего он служил в канцелярии и писал те славные реляции <...>, по коим стал известен.

Хотя б я с пленных снял железы и проч.— Автор имел сам случай; первое: освободить около 1500 человек пленных колонистов от киргизов; второе: будучи сенатором и после генерал-прокурором, защищал сколько можно закон и правду,— отирал сиротские, вдовьи слезы, что по голосам его в Сенате и по прочим делам известно, о коих бы много было здесь распространяться; оправдал генерала Якобия <...>, которого Сенат несколько лет дело слушал и всячески утеснял; наконец, при торжествовании с турками при императрице последнего мира, будучи статс-секретарем, читал на троне объявление об оном и награждения отличившимся в заслугах, а потому и был органом благ и мира.

Ты взор кропя Екатерины.— Выше помянуто, что императрица, получа от кн. Дашковой «Собеседник», плакала от удовольствия, читая оду «Фелица».

В ее прекрасной колоннаде.— В Царском Селе была колоннада, уставленная покумирами, или бюстами славных мужей, между коими был и Ломоносов; то и автор со временем думал иметь на то право.

Под сенью райских вкруг дерев.— Осеняли ту колоннаду великолепные раины, или род больших тополей.

От светлых царских лиц блистать.— На той колоннаде часто Екатерина II прогуливалась и под вечер имела прохладу, где бывали небольшие балы, составленные из приближенных особ и двора.

В пыли валялись и Омиры.— Омир, или Гомер, славный греческий поэт.

Тот будет завтра въявь врагом.— Как в то время потрясала уже французская революция троны, и наследника империи Павла примечалось неблагорасположение к императрице, матери его; то все сии обстоятельства и подали мысли автору к сему выражению, которое и исполнилось, ибо император Павел, восшедши на престол, все в колоннаде находившиеся бюсты приказал снять.

Доступим мира мы средины и проч.— Императрица один раз высказала в своем восторге, что она не умрет прежде, покуда не выгонит из Европы турков, то есть не доступит мира середины, не учредит торга с Индиею, или с Гангеса злата не соберет, и гордыню не усмирит Китая.

Смотря на образ Марафона.— Мильтиад, вождь греческий и победитель при Марафоне, и здесь по этой победе назван сим именем.

Зальется Фемистокл слезой.— Фемистокл, тоже греческий вождь и победитель при Саламине, последователь Мильтиада, когда увидел изображение марафонской баталии, в честь Мильтиада написанное, то облился слезами, ревнуя его к славе.

Отдаст Арману Петр полтрона, // Чтоб править научил другой.— Когда Петр I был в Париже и увидел бюст Армана Ришелье, то, обняв его, сказал, может быть, во угождение французам: «Великий муж! Ежели бы ты был у меня, то я отдал бы тебе половину царства, чтоб ты научил бы меня править другой». Насмешники сказали: «Тогда бы он отнял у тебя и другую».

В их урнах фениксы взродятся.— Баснословие утверждает, что птица феникс возрождается из своего пепла, то есть, что урна или гробница славного мужа может возродить подобного сокрыто-

му в прахе, как то уверяют, что Александр Великий, увидев гроб Ахиллеса, а Карл XII, прочтя жизнь Александра Великого, пожелали быть завоевателями, подобными их предшественникам.

Его в серпяный твой диван и проч.—У автора в одной комнате был диван, обитый серпянкой, где пред зеркалом стояли два бюста: его и первой его жены, деланные Рашеттом.

НА КОНЧИНУ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ

<...> *Ночь лишь седьмую.*— Семь часов минуло после полудни, как скончалась великая княжна.

Норда царицы.— Императрица сама была на погребении, одетая в белом платье, имея седые растрепанные волосы, бледна и безмолвна, что составляло страшный позор. <...>

Равенства злого.— Тогда во Франции равенство и вольность проповедовали.

Где днесь Пленира.— Пленира, первая жена авторова, недавно тогда скончавшаяся.

ФЛОТ

Соч<инено> в П<етер>б<урге> 1795 июня 12 числа на отбытие эскадры в покровительство российского флага с прочими нейтральными морскими державами во время французской революции <...>

Ширинки с шлемов распростерлись.— На касках у военных российских были лопасти, которыми они завязывались во время стужи; то и воображает поэт, что они ветром распростерлись при быстром ходе корабля.

Ступай еще, и землю слухом // Наполнь, о русский исполин и проч.— Сцилла и Харибда, пучины, известные по баснословию, в Средиземном море, которые проходил российский флот, будучи посылан против турок в Грецию в 70-х годах.

И гидр лилейных бледный сонм.— Франция имела прежде в гербе своем белые лилии; то гидр сонм в оных означает революционные клубы и собрания.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБЕДУ

<...> *Шекснинска стерлядь золотая.*— Шексна, в которой славные водятся стерляди, протекающая в Тверской губернии.

Каймак и борщ уже стоят.— Малороссийские обыкновенные кушанья.

Хозяйка статная, младая.— Автор говорит сие про вторую свою жену, которая недавно вышедши замуж, молодая была хозяйка и угощала его благодетеля.

Приди, мой благодетель давный.— Под сим стихом разумеются Иван Иванович Шувалов и граф Александр Андреевич Безбородко, которые между прочих знатных особ обедали у автора.

Из званых милых мне гостей.— Был зван между прочими любимец императрицы князь Зубов и обещал приехать, но пред обедом прислал сказать, что его государыня удержала; то сей куплет и относится к нему.

СОЛОВЕЙ

<...> *Тогда б, подобно Тимотею, // В шатре персидском я возлег.*— *Тимотей* или Тимофей, славный музыкант греческий, который играл на лире пред Александром В<еликим> и возбуждал его страсть к Таисе, его любовнице, или к войне, так что он в восторге схватывал копье.

ПАВЛИН

<...> *...царь пернатый? // Не то ли райска птица Жар.*— Царь пернатый — орел; а Жар-птица, по русскому баснословию, имеет сияющие перья.

Глас трубный, лебедино пенье.— Лебедино пенье, по греческому баснословию, почиталось наисладчайшим.

А пеликана добродетель.— Пеликан, или аист, по древнему египетскому баснословию, столь благочестивая птица, что, глотая змей, освобождает землю от их яда и столь милосердая и жалостная, что, источая из груди своей кровь, кормит ею детей своих.

Сей Феникс опустил вдруг перья.— Феникс, баснословная птица, о которой выше сказано, возрождается солнцем из ее пепла. Китайцы верят, что будто она появляется пред благополучными годами и особливо пред царствованием мудрого государя. NB. Вообще сия ода относится на вельмож безумных, кичащихся своею пышностию.

ГОРЕЛКИ

<...> Горелки, игра сельская, в которой бегают и догоняют других предследующих, ловя того или другого.

Вождями росским вождям быть.— То есть великим князьям Александру и Константину Павловичам.

NB. Сия ода сочинена по случаю случившегося происшествия, что автор, докладывая императрице по делу генерала Якобия, пробыл у ней до 6-го часа пополудни в Царском Селе и, вышед от нее, зашел к себе в комнату для написания по ее повелению некоторых указов, по отправлении которых вышел в сад, где по обыкновению в сем часу нашел императрицу прогуливающеюся. Она под тению дерев сидела, несколько задумавшись; то придворные старались ее всячески увеселить, а для того и зачали играть в вышеописанную игру. Товарищ автора г. Турчанинов, подошедши к нему, просил убедительно, чтоб по немногому числу кавалеров и он играл. Согласился, и побежали великие князья, а за ними он; на покатистом лугу поскользнувшись, со всего маху упал и выломил себе руку. Без чувства почти великие князья его подняли и отвели сами в его покои, стараясь ему дать всевозможную помощь. Сей столь непредвидимый неприятный случай и был политическим падением автора, ибо в сие время вошел было он в великую милость у императрицы, так что все знатнейшие люди стали ему завидовать; но в продолжении шести недель, на излечение его употребленных, когда он не мог выезжать ко двору, успели его остудить у императрицы, так что, появясь, почувствовал он ее равнодушие.

НА РОЖДЕНИЕ ЦАРИЦЫ ГРЕМИСЛАВЫ

<...> *Живи и жить давай другим.*— Сей стих был присловица или мудрое правило, как царствовать сей государыне; но автор, видя беспрестанные войны, прибавил, чтоб жить не на счет другого и довольствоваться только своим.

Богатых с бедными сравнил.— Хлебосольством своим Л. А. Нарышкин угощал равно и бедных и богатых.

Златой родни, клиентов роту.— То есть множество в золото одетых сродников и приверженцев, из коих последних римляне называли клиентами.

Кадят, вздыхают — и молчат.— Под каждением, или благоуханием, разумеется лесть.

Где дружеский незваный стол.— Лев Александрович чрезвычайно любил, когда незваные приезжали обедать, что и поставлял себе в большую отличность пред прочими вельможами, которые иначе не называли гостей, как на приуготовленные столы.

Важна хозяйка, домовита.— Супруга его управляла домашнею экономиею, и он получал от нее на шалости и на покупку всякого вздору не более как по рублю на день.

Что нужды мне, кто по паркету // Подчас и кубари спускал.— Паркет — клееный пол, обыкновенно при дворах и у знатных господ бываемый. Л<ев> А<лександрович>, забавляя императрицу, нередко пред ней шучивал и нечаянным образом спускал пред ней кубари.

Смотрел в толкучем рынке свету.— Он всякий почти день прохаживался пешком и по большей части в толкучем рынке, перебивая с чернию всякую всячину и покупая всякий вздор, что попадется, на рубль, который ему всякий день определен.

Пером и шпагою блистать.— Он был весьма острый и сметливый человек, и ежели бы не напустил на себя шутовства и шалости, то бы мог по своему уму быть хороший министр или генерал.

Шутил, резвился, как дитя.— Он в шутках своих так резвился, что совершенно похож был на баловня-ребенка.

Плясал и сам под тон чужой.— Он весьма умел угождать сильным людям и паче любимцам императрицы.

За твой я вижу стол вмещенну.— То есть людей всякого разбора саживал за свой стол и имел на столе несколько блюд небольших со всячиною, то есть с жареными, вареными и пряжеными животными.

И ханы у тебя гостят.— Посещавшие Екатерину II император Иосиф, короли прусский и шведский и прочих государств герцоги и принцы и в последние годы граф д'Артуа; а также азиатские ханы и султаны, приезжавшие в столицу, все у него бывали и нередко обедывали.

Салму и соусы едят.— *Салма* — татарское кушанье, а *соусы* — французское.

Пред дом твой соберется чернь.— Пред домом его на светлых праздничных неделях обыкновенно поставлялися народные качели, на которых весь день вертелся в воздухе народ, что он чрезвычайно любил и тем забавлялся; а если когда случалось, что приказано было от правительства в другом месте быть качелям, то он чрезвычайно огорчался и прашивал поставить их на прежнее место.

Так весел, горд, как Соломон.— Ничем его так похвалить и увеселить не можно было, как народным тем собранием под его окнами.

Ты должностью — конюший царский.— Он управлял должность обер-шталмейстера при дворе; и по родству своему с Петром Великим был богатырь, или человек сильный.

Заходят в храмину твою.— Часто императрица посещала его на даче и в городском доме, кроме обедов, на маскарадах и балах.

О, если б ты и Гремиславу // К себе царицу заманил.— Императрица здесь названа Гремиславой, потому что имя Фелицы, употребленное автором в шуточных сочинениях, прочие г. г. писатели превратили в имя Екатерины, которое он не хотел употреблять окроме важных сочинений; а в забавных находил пристойнее называть ее иносказательными, или аллегорическими именами, как то: Фелица, Гремислава и проч., ибо он почитал непристойностию шутить подлинным названием императрицы, для того что шутка позволительна только с равным себе. Заманить Гремиславу к себе на праздник советовал он в день ее рождения, то есть апреля 21 дня, когда сия ода писана.

Кто век провел столь славно, громко.— Сей стих впоследствии времени оказался предсказанием, что сей год был ее последний.

В цветах другой нет розы в мире.— То есть в государях нет блистательнее, как она, потому что поляки по покорении Польши выбили в сем году медаль, на которой на одной стороне изобразили портрет императрицы, а на другой — розу с иглами, вокруг с надписью «благоухает и страшит», то есть щедротою и войною.

ХРАПОВИЦКОМУ

<...> *Товарищ давний, вновь сосед, // Приятный, острый Храповицкой.*— *Храповицкий* Александр Васильевич — статс-секретарь, но после бывший сенатор, был товарищем автору в экспедиции государственных доходов, а соседом по комнате в Царском Селе, когда автор был тоже статс-секретарем у императрицы. Храповицкий был хороший стихотворец и прозаический писатель, который ввел легкий и приятный слог в канцелярские дела. Он писал к автору стихи, советуя ему писать похвалы киргизской владычице, или императрице.

И был — гудком — // Давно мурза с большим усом.— То есть лестию больше бы нравился и получал награждения перстнями и прочими драгоценными вещами.

Но я экстракты б сочинял.— Как возложены были на автора дела правосудия, то он, несмотря на совет Храповицкого и даже на неоднократные повеления или, лучше сказать, просьбы императрицы, отправлял прилежно свою должность, весьма редко занимаясь поэзиею.

Был чтец и пономарь Фемиды.— То есть докладчик и служитель богини правосудия, или императрицы.

То как Я<кобия> оставить.— То есть генерала Якобия, которого все утесняли, и автор рассматривал его дело.

Как Л<огинова> дать оправить.— То есть как Логинова дать оправить: Логинов был откупщик С<анкт>-П<етербургский>; для снятия сего откупа, не имея денег, согласил он комиссариатского казначея Руднева ссудить его казенными деньгами, четырьмястами тысячами рублей, о похищении которых продолжалось дело более 20 лет по покровительству кн. Потемкина, которому Логинов был привержен; но когда дошло до рассмотрения автора, то он, не уважив на чрезвычайное покровительство и весь Сенат, представил дело императрице в справедливом виде, и Логинов обвинен к заплате великой в казну суммы.

ПАМЯТНИК

<...> *Как из безвестности я тем известен стал* и проч.— Автор из всех российских писателей был первый, который в простом забавном легком слоге писал лирические песни и, шутя, прославлял императрицу, чем и стал известен.

УРНА

<...> *Сраженного косой Сатурна.*— *Сатурн,* отец Юпитеров, или Время, а в урнах у древних хранился прах сожженных тел.

Крылатый жезл, котурн, личина, // Резец и с лирой кисть видна! — *Крылатый жезл,* или Меркуриев кадуцей, знак наук; *котурн* — на высоких каблуках сапог, в которых греки игрывали трагедию; *личина,* или маска, в которых они играли комедию. *Резец* — орудие, которым работают статуи; *кисть,* которой пишут картины, а *лира* — музыкальное орудие поэтов — все вообще означает, что тот был покровитель наук и художеств, которого они были принадлежностями или атрибутами.

Кто, Меценат иль Медицис? — *Меценат* был вельможа римский <...>, а об *Медицисе* справиться. *Мавзолей* — гробница. И. И. Шувалов был действительный тайный советник, обер-камергер, куратор Московского университета, директор Академии художеств и любимец императрицы Елисаветы.

Я твой питомец и — судья.— *Питомец,* потому что автор под начальством Шувалова в казанской гимназии обучался, которая подчинена была Московскому университету, а судья, потому что впоследствии времени, когда уже автор был сенатором, то Иван Иванович, имея великий процесс в знатном имении с гр.

А. И. Пушкиным, положились оба на его одного посредничество, и он миролюбиво кончил сие дело, однако уже после смерти Ивана Ивановича к удовольствию обеих сторон.

Вслед выспренних певцов дерзает и проч.— То есть вслед высоко летающих лебедей, которые, по баснословию, воспевают прекрасно предсмертные себе песни.

Летит сквозь мириады звездны.— Мириад, или миллион,— арифметическое число.

Ты бедных был благотворитель.— Иван Иванович был человек весьма милостивый и благотворящий для бедных.

Ты поощрил петь славу россов и проч.— Иван Иванович всех тех покровительствовал, которые упражнялись в литературе и воспевали как Петра В<еликого>, так и дщерь его Елисавету, а именно: Ломоносова, Сумарокова, Поповского, Хераскова и многих других и также он употреблен был в посредство Вольтеру для написания оным истории Петра Великого по соизволению императрицы Елисаветы.

Лучи бросала на других.— Будучи любимцем Елисаветы, подобно планете, заимствующей лучи от солнца, щедроты ее источал на других.

Ты видел смертных, слышал их.— Он выслушивал всякого и даже самых ближайших людей, к нему приходящих, не уподобляяся истукану или некоторым вельможам, подобным ему.

На нем блистал, как злато, ты.— Как на оселке пробуется металл и познается золото, так ни на чем нельзя больше узнать человека, как на прибытке.

О! сколько юношей тобою.— Как Иван Иванович был куратор Московского университета и во время его процветало сие училище, то многие благородные люди заняли в нем свое просвещение и с отличностью служили своему отечеству, из коих между прочими кн. Потемкин и вообще лучшие канцелярские служители.

Он жил для всенародной льготы.— Во время императрицы Елисаветы был весьма сильный вельможа чрез жену свою Мавру Егоровну двоюродный брат Ивана Ивановича Петр Иванович Шувалов, который человек был весьма замысловатый, но жадный к интересу; то для прибытка своего он домогся первый до содержания разных откупов, как то: внутренних таможенных пошлин, лесного торгу, тюленьего или нерпичьего жиру, а паче вина, из коих последнее было строжайше запрещено вольною продажею, и потому за малое корчемство пытали страшными пытками и посылали на каторгу; то Иван Иванович пошел против брата своего и упросил императрицу отме-

нить сие варварское учреждение, которое много по империи пролило невинной крови; и также он удерживал, чтоб смертной казни не было, а наиболее покровительствовал науки; так как выше сказано, что он не токмо был куратором университета, но и учредил оный и первоначальную Академию художеств.

О УДОВОЛЬСТВИИ

Подражание Горацию, книге III, оде I... <...>

Медведица нисходит в бездны.— Медведь и Лев суть имена звезд, названных так, чтоб отличить их от прочих.

НА ВОРОЖБУ

Подражание Горацию, книге I, оде II... <...>

Халдейским мудрованьем знать.— Астрологией, ибо первые халдеи изобрели как астрономию, так и астрологию. <...>

ПОХВАЛА СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Подражание Горацию, эподов второй оде... <...> соображена с русскими обычаями и нравами.

Младой, к Петрову дню блюденый.— Внутри России в деревнях обыкновенно лучших барашков <приберегают> к Петрову дню, к разговению.

Тогда-то устрицы, го-гу.— Охотники до устриц и дичи любят с запахом оные кушать, что называется по-французски го-гу, или высокого вкуса. Фрикасе и рагу — тоже известные белый и красный соусы.

Зреть карду с тучными волами.— Кардой называется в понизовых провинциях зимняя загорода для скота, куда в красный день выпускают скотину.

НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРАФА ЗУБОВА ИЗ ПЕРСИИ

<...> *И след во всяком состояньи // Цветами усыпает свой.*— В высоком состоянии человек, и в самом низком, богатый и бедный, по возможности своей, всякий может добро делать.

Кто при конце своих ристаний.— При конце своей жизни, прошед в своих мыслях оную, кто увидит множество добрых дел, тот может почесться счастливым.

О юный вождь! Сверша походы, // Прошел ты с воинством Кавказ.— Выше сказано, что гр. Валериан Зубов должен был ис-

полнить обширный план императрицы в рассуждении торга с Индиею и завоевания Константинополя; но как скоро вступил на престол император Павел, то велено ему было тотчас возвратиться в Россию, отнята у него команда и велено ему под присмотром жить в деревнях. Кавказ — кряж гор за Каспийским морем к полудни, разделяющий Россию с Персиею. К сочинению сей оды повод был следующий: по восшествии на престол императора Павла, когда у гр. Зубова отобрана команда, то будучи при дворе, кн. С. Ф. Голицын упрекнул автора той одой, которая <...> на взятие Дербента Зубову сочинена, сказав: что уже теперь герой его не есть Александр и что он уже льстить теперь не найдет за выгодное себе; он ему ответствовал, что в рассуждении достоинства он никогда не переменяет мыслей и никому не льстит, а пишет истину, что его сердце чувствует. «Это неправда,— ответствовал Голицын,— нынче ему не напишешь».— «Вы увидите». Поехав домой, сочинил сию оду в то время, когда Зубов был в совершенном гонении, которая хотя и не была напечатана, но в списке у многих была, несмотря на неблагорасположение императора к Зубову.

Рожденье молний и громов.— Сайгаки или другой род диких серн или коз так высоко взбираются на скалы, что под ними облака ходят, молнии блещут и громы гремят, и видят их иногда висящих с высот над пропастями.

Ты видел — Каспий, протягаясь.— *Каспий,* или Каспийское море, которое положение свое имеет между камышей и песков.

Трезубцем бьет по кораблям.— Здесь море образовано Нептуном, который *трезубцем* или острогой своею усмиряет волны.

Огромных змей стога кишат.— Не доходя до Исфагана от Каспийского моря находится степь, на которой в летние месяцы такое великое число собирается больших змей, что никоим образом пройти невозможно, и для того путешественники проезжают только сие место осенью и зимой, когда змеи скрываются.

Внизу, вверху ты видел все.— Зубов пошел на знатную степень при дворе из весьма незнатного дворянского состояния, то ему были известны и народ и двор.

...и как в Вратах Железных.— Дербент у персиян называется *вратами железными,* под коим именем Александр Великий его завоевал.

В тебе я Александра чтил.— *Александр,* царь македонский, завоевавший Персию. С ним здесь Зубов сравнивается потому, что был так же молод, как Александр, что скоро покорил перси-

ян, что предводительствовал столь же бесстрашными и устроенными, как и у греков, войсками.

А добродетель век живет.— В вышесказанной оде на взятие Дербента напоминал автор победителю, чтоб не гордился триумфом, который скоро проходит, а остался бы добродетельным: то здесь и напоминает то, говоря, что пророчество его сбылось.

И был в вельможе человек.— Сей гр. Зубов был человек снисходительный, говорил и выслушивал всякого с откровенным сердцем, не так, как брат его, любимец императрицы, несравненно старших и почтеннейших себе людей принимал весьма гордо, не удостаивая иногда и преклонением головы.

Познать премудрость царств иных.— В то время как были у императора Павла Зубовы в изгнании, то Валериан просился в чужие края, дабы в путешествиях чему-нибудь научиться.

Исправь поступки юных лет.— Он был весьма расточительный человек и пристрастен к женщинам, коих часто переменял.

Суворов тверд, велик всегда! — Суворов тогда был от Павла в изгнании или, так сказать, в ссылке, живя в своей деревне в Боровичах; то автор советует Зубову подражать ему, быть тверду,— пророчествуя, что звезда его счастья еще не угасла, что и исполнилось, ибо после того Суворов был приглашен австрийским императором для предводительства войск противу французов, командовал двумя императорскими армиями, выиграл множество побед, пожалован князем и генералиссимусом.

КАПНИСТУ

Подражание Горацию, книге II, оде 6-й... <...>

Покою, мой Капнист! покою.— *В. В. Капнист*, статский советник, свояк автору и бывший ему хороший приятель <...>, упражнявшийся в стихотворстве.

И чуждым солнцем согреваться? — Капнист тогда сбирался в чужие края; автор ему не советовал.

Век Задунайского увял.— Фельдмаршал гр. Румянцев тогда незадолго скончался.

Рымникского печален стал.— Граф Суворов был тогда в ссылке.

...в Обуховке.— В Малороссии Капнистова деревня.

В текущий сткляный Псёл вокруг.— Псел — река, протекающая в той деревне.

Когда тебя в темно-зелену, // Подругу в пурпурову шаль.— Темнозеленые тогда нашивали мундиры, а дамы — пурпуровые шали.

Когда велит судьба с Миленой.— Под именем *Милены* должно разуметь вторую жену автора.

Злословну, площадную чернь.— Разумеются низкие и подлые люди, и богатые и бедные.

НА ПОБЕДЫ В ИТАЛИИ

<...> *Ударь во сребряный, священный, // Далекозвонкий, валка, щит!* — Древние северные народы, или варяго-россы, возвещали войну и сбирались на оную по ударению во *щит;* а *валками* назывались у них военные девы или музы.

В жилище бардов восшумит.— *Барды* северных народов — поэты, которые песнями своими возбуждали их на брань.

Пред ними сто дубов горят.— У северных народов было обыкновение торжествовать их победы под звуком арф при зажженных дубах, где и пили они круговую чашу.

...парижских твердость стен.— Варяги некогда по Сене приходили в Галлию под стены Парижа, взяв город Нант и пр.

Се Рюрик торжествует.— Предводительствовал теми варягами их великий князь *Рюрик.*

В Валкале звук своих побед.— По древнему варяго-росскому басНословию, герои их по смерти своей торжествовали свои победы в Валкале, то есть в раю.

Воспитанный в огнях, во льдах.— Суворов, чтоб лучше переносить военные трудности, приучал себя измлада к холоду и к жару, ходя в самые знойные дни с открытою головою и окачиваясь всякое утро и вечер холодною водою со льдом, а спал на сене.

Девятый вал в морских волнах.— Известно мореходцам, что девятый вал самый крепчайший, которого не могут выдержать худые корабли.

Звезда, прешедша мира тропы и проч.— Комета, прошедшая тропики, или пути солнечные, то есть Суворов с оружием многие прошел страны.

Князь славы.— До сей оды гр. Суворов еще князем не был, но после перехода Альпийских гор пожалован в сие достоинство.

Сбылось пророчество, сбылось.— В оде Зубову на прибытие из Персии предсказано было, что Суворова горит еще звезда; то сими победами и сбылось то пророчество.

Луч, воссиявший из-под спуда.— То есть бывший под угнетением или в ссылке воссиял вновь славою.

Что древний витязь проложил.— Древний герой князь Рымникский, воевавший с Франциею.

СНИГИРЬ

<...> *Флейте подобно, милый Снигирь.*— У автора в клетке был *снигирь*, выученный петь одно колено военного марша; когда автор по преставлении сего героя возвратился в дом, то услыша, что сия птичка поет военную песнь, написал сию оду в память столь славного мужа.

С кем мы пойдем войной на гиену? — *Гиена* — злейший африканский зверь, под коей здесь разумеется революционный дух Франции, против которой гр. Суворов был послан.

Кто перед ратью будет, пылая и проч.— Суворов, воюя в Италии, в жаркие дни ездил в одной рубашке пред войском на казачьей лошади или кляче, по обыкновению своему был неприхотлив в кушаньи и часто едал сухари; в стуже и в зное без всякого покрова так, как бы себя закаливал подобно стали; спал на соломе или на сене, вставал на заре, а когда надобно было еще и прежде ночные делать экспедиции на неприятеля, то сам кричал петухом, дабы показать, что скоро заря и что надобно идти в назначенный им марш; тогда он в приказах своих отдавал, чтоб по первому крику петухов выступали. Обыкновенно он предводительствовал небольшим числом войск, и горстью россиян побеждал превосходное число неприятелей.

Быть везде первым в мужестве строгом.— Никто столько не отличался истинным мужеством, как он, и побеждал шутками зависть, потому что притворялся, нарочно делая разные проказы, дабы над ним смеялись и, считая его дураком, менее бы ему завидовали. Ибо почти что при самой смерти, когда случился разговор о Наполеоне при нем, когда его называли великим полководцем, то он слабым голосом сказал: «Тот не велик еще, кого таковым почитают».— *Злобу штыком:* он более всего употреблял в военных действиях сие орудие, так жестоко поступая с неприятелями, что его почитали варваром; но он свои на то имел причины, которые, может быть, более в нем означивали человеколюбие, нежели в других пощада и мягкосердие, ибо он говорил, что надо в неприятеля вперить ужас, то он поскорее покорится и тем пресечется кровопролитие, а поступая с снисхождением, продолжишь только войну чрез многие годы, в которые более прольется крови, нежели в одном ужасном поражении.

Рок низлагать молитвой и богом.— Он весьма был благочестивый человек и совершенно во всех своих делах уповал на бога, почитая, что счастие не от кого другого происходит, как свыше.

ХРАПОВИЦКОМУ

Сочинено в П<етербурге> 1797 по случаю писанных г. Храповицким к автору тогда же шуточных стихов, в которых он, прочетши его сочинения, советовал похвалы князьям Потемкину и Зубову выкинуть по причине, что император Павел к ним не благоволил. <...>

Я лишь в том, что я орел.— Г. Храповицкий, статс-секретарь, а потом сенатор <...>, в своих стихах чрезвычайно превозносил автора, называя его Юпитеровым орлом и проч.

К ЦАРЕВИЧУ ХЛОРУ

<...> *Прекрасный Хлор! Фелицын внук.*— Ода вся сия написана иносказательно, в таком же роде, как Фелица; то под именем Хлора разумеется младой царевич, а здесь император Александр, который был Фелицы или Екатерины II внук; мать его, Мария Феодоровна, и супруга, Елисавета Алексеевна, были кроткие императрицы.

Что пишет солнцев сын, брамин.— *Брамины* — секта индийских монахов, которые почитают себя сынами солнца.

Страшней не страхом, — но любовью.— Император сей, по свойству своему, точно такого расположения, а особливо в первые годы никак не любил жестокости и кровопролития.

В твоих руках самодержавну.— Император точно таковых был мыслей, как в сем куплете изображено, чтобы самодержавную власть, сколько можно ограничить; вследствие чего и не приказал писать повелительных указов *нашему Сенату;* но просто правительствующему Сенату, давая тем знать, что Сенат управляет, а не он один лицом своим.

А тех пашей, эмиров, мурз.— Известные чиновники Оттоманской Порты и азиатской державы.

Не ездя на царях верхом.— Сезострис, египетский царь, запрягал побежденных царей в колесницу, а император Александр любил чрезвычайно просто со всеми обращаться.

У муфтьев, дервишей, иманов.— Муфти у турок — верховные духовные особы; дервиши — монахи или пустынники, а иманы — сельские попы.

Овцам в репейники не лазить.— Под четырьмя выше сего стихами и под сим самым разумеются правила третейского совестного суда, которые император приказал тогда автору написать: написаны были и им словесно апробованы, но прочим г. г. министрам как не понравились, то и не изданы, ибо при оных

нельзя уже бы было заводить ябедою в суды и давить народ неправосудием в судебных местах, из которых, как овцы из репейников, не выходят без того тяжущиеся, чтоб не потерять своей шерсти. <...>

Писать на голубях, с тобой.— В Египте было обыкновение, что писали к своим приятелям чрез голубей; то и относится сей стих к тому, что к императору доходили нередко письма, неизвестно чрез кого, так, как бы приносимы были птицами.

Печатав, выставлять листами.— В 1802 году случилось в Петербурге весьма мерзкое происшествие, что женщина хорошего состояния тирански и постыдным образом была умерщвлена неизвестными людьми; то выставлены были публикации о сыске сих мерзавцев и некоторые по подозрению только высланы из города.

Молоть языком всякий вздор // И в лавках торговать умами.— При сем государе, а особливо в первые годы царствования, свободно можно было говорить о всем, как и незатруднительно было печатание книг, которыми книгопродавцы торговали.

Народу подлежащим числишь.— Государь сей, будучи в министерском комитете, в котором и автор присутствовал, сказал при случае требования денег на некоторые не столько нужные расходы, что он должен отчетом в том народу, ибо деньги не его, но принадлежат государству.

В чертогах низменных живешь, // Царицу четверней катаешь.— Государь сей не любил великолепия, роскоши и жил летом большею частию на Каменном острове в небольшом доме; сам и императрица ездили четверней с одним лакеем, а в подражание им и вся публика, так что цугов совсем не употребляли, кроме императрицы Марии Феодоровны.

А где умеренный расход.— Император сей по умеренному расходу на свой двор накоплял суммы, на кои покупаны были от владельцев из удельного департамента крестьяне и перечислены в казну.

Да Оромаз блюдет небесный.— *Оромаз* — дух добрый, или бог секты индийских браминов.

Тебя, гарем, седой диван.— *Гарем* — дворец; *диван* — сенат азиатских государей.

Да ангел сам Инсфендармас.— В книге Зенд-Авеста, или законодательства, писанной Зороастром, индийский ангел *Инсфендармас* есть покровитель сей страны.

На поясе твоем всегда! — На поясах брамины носили несколько таинственных узлов, которые весьма соблюдали, как равно и смотрели, чтоб не угасал священный огонь. <...>

Не прейдут бедные чрез Ариманов мост.— Ариман — индийский злой дух; брамины верят, что по смерти души переходят чрез его мост, и ежели они не очищены, то свергаются в неизмеримые бездны.

Примечание. На автора и на императора была написана поносительная ода одним писателем, который имел худое зрение, который смотрел всегда чрез лорнет; то в соответствии сему пасквилю и написаны окончательные стихи сей оды. <...>

МУЖЕСТВО

<...> *Пальмиры пышной и Афин.*— Сии два столичные города славилися художествами и паче великолепными зданиями, так что и поныне развалины их удивляют. <...>

Галлом похищенны.— Когда французы покорили себе Италию, то Наполеон, тогдашний консул, а нынешний император, все редкие произведения художеств приказал вывезти в Париж, что и исполнено.

Чем вознеслась Собийсков слава.— Иоанн *Собийск*, храбрый король польский, не токмо свое королевство, но и Вену спас от осады турок.

Став жен Цитерою, Варшава.— Остров Кипр, или *Цитера*, где богиня Венера имела свой великолепный храм и совершались ее празднества, по коим сия богиня называется *Цитерою.* <...>

Когорт его все громы мертвы.— Так назывались отделения римские, содержащие в себе известное число разных войск, как то: пехоты и конницы, по подобию которых при императрице Екатерине составлены были легкие полевые команды, состоявшие из пехоты, драгунов и казаков и 4-х единорогов артиллерии, в коих было по 50 человек. Были у римлян легионы из нескольких полков, так, как наши бригады.

Там Гермоген, как Регул, страждет.— Гермоген — патриарх Московский, бывший во время мятежей российских. *Регул* — римский полководец. Они здесь сравнены, потому что добровольно за отечество свое померли: первый замучен за то, что не хотел написать запретительной грамоты Пожарскому,— дабы он не шел к избавлению Москвы,— которой домогались не токмо поляки, владеющие Москвой, но некоторые бояре русские; а второй не хотел согласиться с прочими на мир с карфагенцами, и как бывши у оных в плену, дал слово возвратиться, ежели не сделают мира, который сам же отговорил, то и замучен карфагенцами в бочке с гвоздями, в которой его катали.

Ильин, как Деций, смерти жаждет.— *Ильин* — морского флота лейтенант, а *Деций* — один из вождей римских: они здесь сравнены, потому что чрезвычайной своей храбростью дали добровольный пример в опасностях и к победам. Первый неустрашимо на брандере (морское зажигательное судно) сжег под Чесмою турецкий флот, а второй во время сражения, когда начали колебаться римляне, бросился на неприятеля, чем и одержана победа. Ильин был отставлен с награждением пенсиона только 300 руб., которое его единственное было пропитание, так что по смерти его оставшаяся сестра была без куска хлеба. Но некто, учитель кадетского корпуса Гераков, написав сей анекдот, напечатал, и когда он дошел до сведения государя императора Александра, то пенсия брата отдана сестре по смерть.

Резанов Гаму заменит.— Н. П. *Резанов* — обер-прокурор Сената и камергер. Васко-де-*Гама* — португальский мореходец, обошедший свет и открывший некоторые американские острова. Они здесь сравнены, потому что и Резанов обошел кругом почти весь свет в 1803 году, по собственной своей охоте, на кораблях американской компании в качестве посланника к двору японскому; он умер от неприятностей, учиненных ему завистью его подчиненных, а более — морским капитаном Крузенштерном.

ВОЛХОВ КУБРЕ

<...> *Напрасно, Ку́бра дорогая.*— *Кубра* — река, протекающая в деревне графа Д. И. Хвостова, который писал в похвалу автора высокопарную оду под именем волховского барда, или стихотворца; то и автор ответствовал сею одою от имени реки Волхова к реке его Кубре.

В моих бушую я лесах.— Река Волхов, текущая по иловатой почве, имеет воды мрачные, однако же, довольно тихие и инде между лесами протекающие, по течению которых все идут караваны с припасами для Петербурга.

Меж холмиков, дубков саженых.— Сия река имеет по обоим берегам небольшие холмики, а между ими луга, насаженные дубами по повелению Петра В<еликого>, ибо в сей стороне самородных дубов прежде не произрастало.

В муравленых горит водах.— *Муравленые воды* — разумеет автор те, в которых видны зеленые берега, под вечер или поутру представляющие якобы муравленою или зеленою воду.

Шумящи перловы пороги.— Волхов имеет *пороги*, чрез кои вода сыплется подобно как перлами.

И бард мой с арфой ветхострунной.— Под именем *барда* говорит автор о себе, что арфа уже по старости его тихие может издавать только тоны.

Он духом зрит своих друзей! — Автор многих своих приятелей кончиною их лишился; то и видит их в воображении подобно проходящим по Волхову судам или ладьям.

Ступавший Александра вслед.— То есть шедший по следам *Александра* Великого, царя македонского, завоевавшего Персию, граф Зубов, который имел поддельную железную ногу вместо настоящей, потерянной <...> на сражении в Польше.

...Меналка обойми.— *Меналк* — пастух, который упоминается во многих буколических или пастушеских стихотворствах. <...>

С кузнечиком светись во тьме.— Под *кузнечиком* здесь разумеются огнистые червячки или букашки. Автор чрез сие давал совет гр. Хвостову, чтоб он писал иногда и в нижайшем роде стихотворства, то есть в пастушьем, а не надувался за Пиндаром, так как он вышесказанную оду написал, ибо лучше писать маленькое какое-нибудь сочинение, но приятное, и тем прославиться, нежели высокопарное, и быть неуважаему. <...>

ОЛЕНИНУ

<...> *Моей поэзьи изограф.*— Изограф, или живописец.

Не снес, красе возревновав.— Автор, желая украсить издание сих од виньетами, нарисованными г. Олениным, не мог здесь отыскать художников, которые бы вырезали их на меди, и для того чрез приятелей посылал первую часть в Англию, в которой помещена ода «На взятие Измаила». Картина представляла огнедышащий Везувий, против которого идет бесстрашно с примкнутым штыком российский гренадер, повалив за собою столпы Геркулеса, с надписью: Nec plus ultra. Английские художники, как думают, из зависти к славе российской или чрезвычайно живо изображенному рисунку, выдрали тот лист, на котором та картина была представлена, а автор, не рассмотря, принял ту книгу обратно от своего комиссионера; но когда надобно было отдавать в печать, то, увидев, что этого рисунка нет, просил г. Оленина, чтоб вновь сделал оный; он медлил более года, и для того побудил его автор сей одою к исполнению обещанного им сего труда. <...>

И за зерцалом дел в вершеньи.— Зерцала, или в рамах клеенные указы, напоминающие строго судьям законы и правосудие, учреждены были Петром В<еликим>, которые и находились на столах во всех судебных местах, даже и в Сенате. По издании

Екатериною II учреждения о губерниях или, лучше, устава о благочинии, в котором написаны зерцалы или напоминание судьям, но только весьма короткое, более на нравоучении, нежели на самодержавной власти основанное, то с тех пор, хотя указа об отмене прежнего зерцала не было, однако оное маломалу отменилось и редко где видно в местах присутственных.

Три дщери своего рожденья.— То есть три главные художества: стихотворство, живопись и музыка.

Пришли в полнощь, как Петр предрек.— Петр В<еликий> сказал, что науки и художества странствуют по всему свету,— придет время, что посетят и наш край.

Пойдем Сатурна побеждать! — То есть побеждать время или забвение.

КО ВТОРОМУ СОСЕДУ

<...> *Не кость резная Колмогор.*— Город в Архангельской губернии, который по костяным работам славится.

Не мрамор Тифды и Рифея.— Река *Тифда* в Олонецкой губернии; *Рифей*, или Урал,— гора, разделяющая Сибирь от России,— в коих находится мраморная ломка. <...>

...не глазумея // Благоуханные пары.—Глазумей — лучший цветочный китайский чай, который получается чрез Кяхту в Россию.

Почто же, мой вторый сосед.— Первый сосед <...> — Голиков, живший против автора на Сенной, а *второй сосед* — полковник Гарновский, имевший дом, смежный с авторским, на Фонтанке.

И около, презренным взглядом.— Когда в 1790 году он, Гарновский, и автор строили свои дома, то поелику первый созидал великолепный дом, то он и презирал маленький, строенный автором, посматривая на оный с великим небрежением, ибо он был человек весьма гордый.

На низменны мои мнишь кровы.— Как великолепное здание первого примыкало к самому маленькому дому затеваемым им эрмитажем, в котором он хотел сделать висячий сад и фонтан, то автор и говорит о том.

Назначенны тобой царям.— Такой великолепный дом Гарновский созидал в надежде, что купят его в казну для водворения которого-нибудь великого князя или великой княжны.

Во стойлы конски обратят.— Поелику сей Гарновский был любимец кн. Потемкина, чрез которого во время турецкой войны переводились из Петербурга в армию великие денежные суммы и он отчетов не давал, то и было подозрение, что он упо-

треблял их незаконно; а для того, когда воцарился император Павел, сколько по нелюбви к Потемкину, столько и по вышесказанному подозрению, Гарновский был посажен в крепость, и дом за долги чрез публичную продажу пошел в казну, в котором и помещены были конногвардейские конюшни.

И чтоб твой Феб светил век свету.— Под *Фебом* разумеется здесь кн. Потемкин, который покровительствовал Гарновскому. <...>

Зри, хижина Петра доднесь.— Маленький домик Петра В<еликого> на Петербургской стороне, который и поныне с великим тщанием сохраняется.

...*Матвееву принес!* — *Матвеев* — ближний боярин царя Алексея Михайловича, который в стрелецкий бунт убит, был любим народом; то когда под строящийся им дом не могли найти камней под фундамент, то народ сбежавшийся собрал с гробов отцов своих каменья и принес ему с прошением, чтоб он принял их в знак усердия.

Иль плющем зарастет.— *Плющ* — трава, символ любви к отечеству.

ПАМЯТЬ ДРУГУ

<...> *Воздвигнув из земли громады // И зодчества блестя челом.*— Ода сия написана по случаю кончины друга автора Н. А. Львова, любителя художеств и в науках искусного. Им вводимы были, по указу государя Павла, земляные битые строения, из коих образцом служит в Гатчине построенный им Приорат о нескольких этажах; он не токмо был охотник до архитектуры, но и сам был хороший зодчий, или архитектор; его множество находится зданий, по его планам и самим им строенных, из числа коих в Могилеве прекрасная церковь, заложенная императрицей Екатериной при императоре Иосифе II. Он другие изобрел полезные экономические заведения и вводил во всех родах, рукодельях и художествах хороший вкус... <...>

С кем, вторя, он Добрыню пел и проч.— Он любил русское природное стихотворство и сам писал стихи, а особливо в простонародном вкусе был неподражаем: образцом может служить начало небольшой поэмы, называемой «Добрыня», которая в Москве в «Русском вестнике» напечатана.

Меж завтреней и меж обедней.— Автор разумеет: в такие часы, которые более нежели другие способны к объяснению мыслей, в которые более птицы, как то: лебедь и прочие поют и

также, что, по русским преданиям, древние богатыри и витязи в сии часы совершали великие дела, как то, например, Илья Муромец между заутреней и обедней приехал из Владимира в Киев.

Изящным, легким дарованьем.— Он имел весьма легкое и приятное дарование, так что когда зачинал что-нибудь, то казалось, без всякого труда и будто сами Музы то производили.

Фивейски молньи и перуны // Росой тиисской упоять? — То есть фивского певца Пиндара песни тиисским, или Анакреоном умягчать, ибо он, с автором нередко занимаясь поэзией, давал ему советы, относящиеся к приятному вкусу.

Кто памятник над мной поставит? — Он однажды писал к автору письмо, рассуждая о разности их лет, ибо он гораздо был моложе автора, обещал ему сделать монумент.

Играя с громами, Эрот.— То есть монумент такого рода, в котором бы напоминали дарования Пиндара и Анакреона.

Уж слезы Лизы и супруги.— Он оставил по себе супругу, двух сыновей и трех дочерей, из коих старшая была Елисавета.

ГРОМ

Дуб вспыхнул, холм стал водометом.— Случается, что одним ударом громовым загорается лес и из пробитой земли подымаются источники.

Так от твоей струятся митры.— *Митра* — папская корона.

О гром! гроза духо́в тех гордых.— Люцифер и все его согласники поражены были громом.

И жуплов тьмы на князя ада.— *Жупел* — серный огонь.

ГРАФУ СТЕЙНБОКУ

<...> *Так, милый граф! волненье Бельта.*— Граф Стейнбок — бригадир отставной, на берегу Балтийского моря под Гапсалем имеет дом и прекрасный сад.

Вид Гапсаля — вид тленна света.— *Гапсаль* — весьма старинная крепость шведская, совсем почти развалившаяся. <...>

Или в твоем поместье новом, // Во храме восседя Петровом.— Граф недавно купил новую деревню, Линден называемую, в которой намерен был построить небольшой храмик в память Петру В<еликому> на том месте, где сей государь отдыхал под деревьями, приставав с галерным флотом во время войны своей с шведами.

И Ве́рушку, с *Люси так сладим.*— *Вера* Николаевна Львова, племянница автора, а *Люси,* или Елизавета Федоровна Штерн-

берг, воспитанница графа, плясывали вместе цыганскую пляску весьма превосходно.

Престанем же к звездам моститься.— То есть престанем желать чинов и высших должностей.

А лучше с серпом льву резвиться, с державой яхонту блистать.— *Серп* — Штейнбок, или по-русски каменный козел, *лев* тут означает фамилию Львовых, *держава* — Державина, *яхонт* — Яхонтовых, которые по родству между собою нередко бывали друг у друга и разными увеселениями забавлялись.

ЕВГЕНИЮ. ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ

<...> *Барашков в воздухе, в кустах свист соловьев.*— То есть бекасы, кои кричат как барашки, и обыкновенные барашки гуляют между кустов.

Рев крав, гром жолн.— Или отголоски их, когда они долбят деревья и производят звук.

Повеет с дома мне манжурской иль левантской.— *Манжурской* — то есть запах чайный; *левантской* — кофейный, то есть, что первый родится в Китае и доставляется чрез торг левантской.

Ковров, и кружев, и вязани.— На Званке были небольшие суконные и коверные фабрики.

В которой, обозрев больных и проч.— Была там небольшая для крестьян больница.

...в ерошки, в фараон.— *Ерошки* — карточная шутовская игра, в которую картами в глаза фыркают, приговаривая: тумана б тебе в глаза,— чего хочешь, того просишь,— и в сие время должно назвать какую-нибудь, с которой бы стороны колоды, карту; и кто скоро не отгадает, у того за простую карту волосы ерошат, за другую — тумака дают и проч. *Фараон* — шуточное название карточной игры банку, происходящее от слова «фаро».

Иль в зеркало времен. — *Зеркало времен* здесь называется история.

Сбираются ко мне не для какой науки.— У автора приучены были маленькие ребятишки, чтобы они приходили каждое утро к нему для получения баранок.

Блестят и жу́чки в епанечках.— То есть посредственные мысли, хорошо сказанные, чистым слогом, делают красоту сочинения.

И липца, воронка и чернопенна пива.— *Липец* — мед, наподобие вина приуготовленный, желтого цвета, а *воронок* — тоже мед, но черный, с воском варенный,— напитки, которые бывают очень пьяны, особливо последний, так что у человека при всей

памяти и рассудке отнимутся руки и ноги; пиво черное кабацкое тоже весьма крепкое.

Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен.— Березовый сок, яблочный и проч. делают наподобие шампанского вина, который вырывает пробки из бутылок. Подвенечное бревно есть самое верхнее на доме под застрехой.

За здравье с громом пьем.— То есть с пушечной пальбой. <...>

Иль в стекла оптики картинные места.— Оптическая устроенная машина; подкладываются эстампы, изображающие виды разных городов, пристаней и тому подобные, которые, представляяся в большом виде, немалое делают удовольствие зрителям.

Иль в мрачном фонаре любуюсь.— В камер-обскуру, в которую супротивные натуральные предметы представляются в малом виде весьма живо, и по реке, особливо когда небольшой ветер, струйки, освещаемые солнцем, бегут наподобие звезд по синей воде.

И, движа машину, древа на доски делит.— Пильная водяная машина.

Как сквозь чугунных пар столпов.— Огненная паровая машина. <...>

Все прелести, красы, берутся с поль царицы.— То есть красильня, где красят шелк, шерсть, лен и бумагу травными красками, сбирая оные с царицы полей, то есть Флоры.

Куется в бердыши милицы.— В сие время по повелению императора Александра была набираема милиция для защищения границ империи от французов, для которой ковали бердыши и всякое белое оружие. <...>

Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком.— Рыбная ловля, называемая колотом, в которой несколько десятков лодочек, собравшись вместе, в каждой с двумя человеками, опустя в воду сетки, тихохонько или лениво ездят и стучат палками в лодки, производя страшный звук, отчего рыба мечется как бешеная в реке и попадает в сетки. <...>

И редки холмики, селений мелких полны.— По обеим сторонам Волхова находятся небольшие холмики, населенные маленькими деревеньками, которых тень, особливо при закате и восходе солнца, видна в струях водных, тихо текущих, также луга и нивы.

Стекл заревом горит мой храмовидный дом.— Когда солнце ударяет в стекла, особливо при вечере, то оные подобно зареву блистают; дом автора был с куполом и с колоннами, немного похожий на храмик.

Где встречу водомет шумит лучей дождем.— Посредине горы, по

которой был всход к дому, усыпанный желтым песком и осаженный шиповными кустами, был фонтан, от коего встречу идущим блистали лучи.

Из жерл чугунных гром.— Из чугунных пушек во время фейерверков и иллюминаций. <...>

Здесь тихогрома.— Тихогром, или фортепиано.

...*Сокрылось солнце,— тень!..*— Сокрылись славные победы и печальные происшествия и, кто знает, что вперед случится с россиянами, кои под орлами разумеются.

Но мещет днесь и он перуны.— Император Александр был кроткого духа и с мирными расположениями, но заведен был окружающими его в весьма неприятные военные дела.

Темиру новому под Пултуском, Прейсиш-Лау.— Темиру, то есть новому завоевателю, или Наполеону; под Пултуском и Прейсиш-Эйлау был он отражен славным образом.

И скрыл орла седого славу.— Г. Каменский, заслуженный генерал и старик, потерял свою славу от болезни своей или невсдомо от упадка духа, так что отдана была команда подчиненному ему генералу Беннигсену, который в означенных сражениях предводительствовал.

Иль нет, Евгений! — Евгений — архиерей викарный новгородский — приятель автора,— который его посещал на Званке и любил слушать эхо от выстрелов пушечных, которые несколько раз по лесам Волхова удивительно отдаются.

Вождя, волхва, гроб кроет мрачный.— Подле дома автора находится холмик, или курган, который обыкновенно бывает над гробницами. Волхв или вождь предполагается, что под оным погребен, ибо по истории новгородской известно, что волхв или колдун, чародей был такой, который превращался в крокодила и в другие разные чудовища и поедал по озеру Ильменю и по речке Волхову, из него текущей, плавающих на ней людей, отчего последняя и прозвалась Волховом.

ЛЕБЕДЬ

Подражание Горацию, оде 20 книги II... <...>

Не задержусь в вратах мытарств.— Как у католиков признается чистилище,— в греко-российской церкви мытарства или заставы, из духов состоящие, где умершие души должны дать отчет в злых и добрых своих делах добрым и злым духам по имеющимся у них записным тетрадям. *В двояком образе нетленный*, то есть по бессмертной душе и по сочинениям.

Средь звезд не превращусь я в прах.— Средь звезд, или орденов совсем не сгнию так, как другие.

Чтобы услышать богу песнь.— Здесь автор разумеет оду «Бог», им написанную. <...>

И, проповедуя мир миру, // Себя всех счастьем веселил.— Сими двумя стихами означает автор, что он сочинил миролюбивые правила третейского совестного суда, которые хотя императором Александром были благосклонно приняты во время его отправления должности министра юстиции, но чрез пронырство его завистников в свет не вышли.

ПРИЗЫВАНИЕ И ЯВЛЕНИЕ ПЛЕНИРЫ

Соч<инено> в П<етер>б<урге> в 1797 в июле месяце по случаю, что на другой день смерти первой жены его, лежа на диване, проснувшись поутру, видел, что из дверей буфета течет к нему белый туман и ложится на него, потом как будто чувствовал ласкание около его сердца неизвестного какого-то духа.

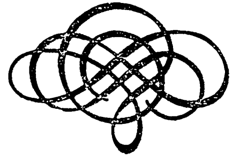
ТОНЧИЮ

<...> Программа для портрета автора, данная сему живописцу 1801 ноября дня.— По случаю спора, что иные советовали ему написать в мундире и во всех орденах, а другие — по примеру антиков — без всяких украшений, каков он в самом деле, живописец о сем просил разрешения автора, который, чтоб удовлетворить и ту и другую стороны спорильщиков, велел представить себя так, как в сей оде он описан. <...>

Чтоб шел, природой лишь водим и проч.— Сими стихами автор хотел изобразить, первое: что он без всяких почти наук, одной природою стал поэтом; второе: что в службе своей многие имел препятствия, но характером своим без всякого покровительства их преодолевал.

я ласков для детей, // Лишь в должности судил я строго.— Автор любил детей и по должности был взыскателен.

Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина



Отделение I

С рождения его и воспитания по вступление в службу.

Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа. Отец его служил в армии и, получив от конского удара чахотку, переведен в орен-

бургские полки премьер-майором; потом отставлен в 1754 году полковником. Мать его была из рода Козловых. Отец его имел за собою, по разделу с пятерыми братьями, крестьян только 10 душ, а мать 50. При всем сем недостатке были благонравные и добродетельные люди. Помянутый сын их был первым от их брака; в младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному, должно было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности. <...> Примечания достойно, что когда <17>44 году явилась большая, весьма известная ученому свету комета, то при первом на нее воззрении младенец, указывая на нее перстом, первое слово выговорил: «Бог!» Родители со взаимною нежностию старались его воспитывать; однако же, когда в последующем году родился у него брат, то мать любила более меньшего, а отец старшего, который на четвертом году уже умел читать. За неимением в тогдашнее время в том краю учителей, научен от церковников читать и писать. Мать, однако, имея более времени быть дома, когда отец отлучался по должностям своим на службу, старалась пристрастить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждением игрушек и конфектов. Старший был острее и расторопнее, а меньшой — глубокомысленнее и медлительнее. В младенческие годы прожили они под непрестанным присмотром родителей несколько в сказанном городе Яранске, потом в Ставрополе, что близ Волги, а наконец в Оренбурге, где старший, при вступлении в отроческие лета, то есть по седьмому году, по тогдашним законам, явлен был на первый смотр губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву и отдан для научения немецкого языка, за неимением там других учителей, сосланному за какую-то вину в каторжную работу, некоторому *Иосифу Розе,* у которого дети лучших благородных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, мужеска и женска полу, учились. Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей твержением наизусть вокабул и разговоров и спи-

сыванием оных, его, Розы, рукою прекрасно однако писанных. Чрез несколько лет посредством такового учения разумел уже здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и говорить, и как имел чрезвычайную к наукам склонность, занимаясь между уроков денно и нощно рисованием, но как не имел не токмо учителей, но и хороших рисунков, то довольствовался изображением богатырей, каковые деревянной печати в Москве на Спасском мосту продаются, раскрашивая их чернилами, простою и жженою охрою, так что все стены его комнаты были оными убиты и уклеены. В течение сего времени отец имел комиссии быть при межевании некоторых владельческих земель, то от геодезиста, при нем находящегося, сын получил охоту к инженерству. Наконец, когда отец его в <1>754 году получил отставку, для которой ездил в Москву, в бытность в оной государыни императрицы Елисавет Петровны, то и сей любимый сын его был с ним, с намерением, чтоб записать его в кадетский корпус или в артиллерию; но как для того надобно было ехать в Петербург, а дела отца его, которые он должен был кончить в Москве, паче же недостаток, что издержался деньгами, ехать ему в сию новую столицу не дозволили, то возратился он в деревню с намерением в будущем году непременно записать сына в помянутые места. Хотя ему и вызывались некоторые особы в Москве принять его в гвардию, но он по недостатку своему на то не мог согласиться; однако же, по приезде в деревню, в том же году в ноябре месяце скончался, и тем самым пресеклись желания отца и сына, чтоб быть последнему в таких командах, где бы чему-нибудь ему научиться можно было. И таким образом мать осталась с двумя сыновьями и с дочерью одного году в крайнем сиротстве и бедности; ибо, по бытности в службе, самомалейшие деревни, и те в разных губерниях по клочкам разбросанные, будучи неустроенными, никакого доходу не приносили, что даже 15 руб. долгу, после отца оставшегося, заплатить нечем было; притом соседи иные прикосновенные к ним земли отняли, а другие, построив мельницы, остальные луга потопили. Должно было с ними входить в тяжбу; но как не было у сирот ни достатку, ни защитника, то обыкновенно в приказах всегда сильная рука перемогала; а для того мать, чтоб какое где-нибудь отыскать

правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по нескольку часов, дожидаясь их выходу; но когда выходили, то не хотел никто выслушать ее порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали... <...>Таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот. При таковых, однако, напастях мать никогда не забывала о воспитании детей своих, но прилагала всевозможное попечение, какое только возможно было им доставить; а для того отдала их в научение, за неимением лучших учителей арифметики и геометрии, сперва гарнизонному школьнику Лебедеву, а потом артиллерии штык-юнкеру Полетаеву; но как они и сами в сих науках были малосведущи, ибо, как Роза немецкому языку учил без грамматики, так и они арифметике и геометрии без доказательств и правил, то и довольствовались в арифметике одними первыми пятью частями, а в геометрии черчением фигур, не имея понятия, что и для чего надлежит. Когда же большему сыну настал 12-й год, то мать, дабы исполнить закон и явить герольдии в положенный срок детей своих, в <1>757 году ездила в Москву, желая также, по явке в оной и по получении доказательств на дворянство, записать их в помянутые места, куда отец хотел; но как, против всякого чаяния, в герольдии не могла она объяснить хорошенько роду Державиных, по которым городам и в которых годах предки их служили, то и произошло затруднение; а для того, чтобы отвратить оное, должно было обратиться к некоему подполковнику Дятлову, живущему в Можайском уезде, происшедшему от сестры мужа ее, который, приехав в Москву, доказал истинное дворянское происхождение явленных недорослей от рода Багримы мурзы, выехавшего из Золотой Орды при царе Иване Васильевиче Темном, что явствует в Бархатной книге вообще с родами: Нарбековыми, Акинфиевыми, Кеглевыми и прочими; но как на таковое изыскание древности употреблено много времени, то зимнею порою и не можно уже было доехать до Петербурга, а как летний путь по недостатку не был

под силу, то и возвратились в Казань с тем, чтобы в будущем году совершить свое предположение.

Поелику же в 1758 году открылась в Казани гимназия, состоящая под главным ведомством Московского университета, то и отложена поездка, а записаны дети в сие училище, в котором преподавалось учение языкам: латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию, под дирекциею бывшего тогда асессором Михайла Ивановича Веревкина; однако же, по недостатку хороших учителей, едва ли с лучшими правилами как и прежде. Более же всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике, и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов; что сделало питомцев хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в обращении. Старший из Державиных оказал более способности к наукам до воображения касающимся, а меньшой — к математическим; однако же, во всех классах старший своей расторопностию блистал поверхностью и брал пред меньшим преимущество, который казался туп и застенчив. Вследствие чего старший отличался в рисовании, а потому, когда директор в <1>759 году сбирался главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову дать отчет в успехах вверенного ему училища, то и приказал отличившимся ученикам начертить геометрию и скопировать карты Казанской губернии, украсив оные разными фигурами и ландшафтами, дабы тем дать блеск своему старанию о научении вверенного ему благородного юношества. В числе сих отличных был и старший Державин. Когда ж директор в 1760 году из Петербурга возвратился, то в вознаграждение учеников, трудившихся над геометриею, объявил каждого по желанию записанными в службу в полки лейб-гвардии солдатами, а Державина в инженерный корпус кондуктором... <...>

В 1761 году получил г. Веревкин от главного куратора Ивана Ивановича Шувалова повеление, чтоб описать развалины древнего татарского, или Золотой Орды города, называемого Болгары, лежащего между рек

Камы и Волги, от последней в 5-ти, а от первой в 50-ти или 60-ти верстах, и сыскать там каких только можно древностей, то есть монет, посуды и прочих вещей. Не имея способнейших к тому людей, выбрал он из учеников гимназии паки Державина и, присовокупя к нему несколько из его товарищей, отправился с ними в июне или июле месяце в путь. Пробыв там несколько дней, наскучил, оставил Державина и, подчинив ему прочих, приказал доставить к себе в Казань план, с описанием города и буде что найдется из древностей. Державин пробыл там до глубокой осени и что мог, не имея самонужнейших способов, исполнил. Описание, план и виды развалин некоторых строений, то есть ханского дворца, бани и каланчи, с подземельными ходами, укрепленной железными обручами по повелению Петра Великого, когда он шествовал в Персию, и списки с надписей гробниц, также монету медную, несколько серебряной и золотой, кольца ушные и наручные, вымытые из земли дождями, урны глиняные или кувшины, вырытые из земли с углями, собрал и по возвращении в Казань отдал г. Веревкину. Он монеты и вещи принял, а описание, план, виды и надписи приказал переписать и перерисовать начисто и принесть к нему тогда, как он в начале наступающего года по обыкновению будет собираться в Петербург для отдания отчетов главному куратору об успехах в науках в гимназии; но как в начале 1762 года получено горестное известие о кончине государыни императрицы Елисаветы Петровны, то он наскоро отправился в столицу, приказав Державину сделанное им доставить к нему после.

Скоро потом Державин получил из канцелярии лейб-гвардии Преображенского полка паспорт 1760 года за подписанием лейб-гвардии майора князя Менщикова, в котором значилось, что он отпущен для окончания наук до 1762 года. А как сей срок прошел, ибо тогда был того года уже февраль месяц, то и должен он был немедленно отправиться к полку, тем паче, что не имел уже никакой себе подпоры в Веревкине, на которого место в директоры Казанской гимназии прислан был некто профессор Савич.

Отделение II

Воинская Державина служба до открывшегося в империи возмущения.

В помянутом 1762 году в марте месяце прибыл он в Петербург. Представил свой паспорт майору Текутьеву, бывшему тогда при полку дежурным. Сей чиновник был человек добрый, но великий крикун, строгий и взыскательный по службе. Он лишь взглянул на паспорт и увидел, что просрочен, захохотал и закричал: «О, брат! просрочил»,— и приказал отвести вестовому на полковой двор. Привели в полковую канцелярию и сделали формальный допрос. Державин, хотя был тогда не более как 18-ти лет, однако нашелся и отвечал, что он не знает, почему присвоил его к себе Преображенский полк, ибо никогда желания его не было служить, по недостатку его, в гвардии, а было объявлено от него желание, чрез г. Веревкина, вступить в артиллерийский или инженерный корпус, из которых о принятии в последний кондуктором и был от него, Веревкина, удостоверен и носил инженерный мундир. По справке в канцелярии известно стало, что по списку с прочими, присланному при сообщении от Ивана Ивановича Шувалова, записан он в Преображенский полк за прилежность и способность к наукам и отпущен для окончания оных на два года. Но паспорт лежал в канцелярии до вступления на престол императора Петра Третьего, по повелению которого велено всем отпускным явиться к их полкам. И как посему он, Державин, в просрочке оказался невинным, то и приказано его причислить в третью роту в рядовые, куды причислен; и как не было у него во всем городе ни одного человека знакомых, то поставлен в казарму с даточными солдатами вместе с тремя женатыми и двумя холостыми... <...>

В рассуждении чего и должен был, хотя и не хотел, выкинуть из головы науки. Однако, как сильную имел к ним склонность, то, не могши упражняться по тесноте комнаты ни в рисовании, ни в музыке, чтоб другим своим компаньонам не наскучить, по ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и марал стихи без всяких правил, которые никому не показывал, что однако, сколько ни

скрывал, но не мог утаить от компаньонов, а паче от их жен; почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревни. Державин, писав просто на крестьянский вкус, чрезвычайно им тем угодил, и как имел притом небольшие деньги, получив от матери в подарок при отъезде своем сто рублей, то и ссужал при их нуждах по рублю и по два; а чрез то пришел во всей роте в такую любовь, что когда Петр Третий объявил гвардии поход в Данию, то и выбрали они его себе артельщиком, препоручив ему все свои артельные деньги и заказку нужных вещей и припасов для похода. Таким образом проводил он свою жизнь между грубых своих сотоварищей... <...>

...поутру, часу пополуночи в 8-м, увидели скачущего из конной гвардии рейтара, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец... <...> Рота тотчас выбежала на плац. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе все суматошилось. Едва успели офицеры запыхаючись прибежать к роте, из которых однако были некоторые равнодушные, будто знали о причине тревоги. Однако все молчали; то рота вся, без всякого от них приказания, с великим устремлением, заряжая ружья, помчалась к полковому двору. На дороге, в переулке, идущем близ полкового двора, встретился штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева, в великой задумчивости ходящего взад и вперед, не говорящего ни слова. Его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал, и рота на несколько минут приостановилась. Но, усмотря, что по Литейной идущая гренадерская, невзирая на воспрещение майора Воейкова, который, будучи верхом и вынув шпагу, бранил и рубил гренадер по ружьям и шапкам, вдруг рыкнув бросилась на него с устремленными штыками, то и нашелся он принужденным скакать от них во всю мочь; а боясь, чтоб не захватили его на Семеновском мосту, повернул вправо и въехал в Фонтанку по груди лошади. Тут гренадеры от него отстали. Таким образом третья рота, как и прочие Преображенского полка, по другим мостам бежали, одна за одной, к Зимнему дворцу. Там нашли Семеновский и Измайловский уже пришедшими, которые окружили дворец и выходы все заставили своими

караулами. Преображенский полк, по подозрению ли, что его любил более других государь, часто обучал сам военной екзерции, а особливо гренадерские роты, которых было две, жалуя их нередко по чарке вина, или по старшинству его учреждения, пред прочею гвардией, поставлен был внутри дворца. Все сие Державина, как молодого человека, весьма удивляло, и он потихоньку шел по следам полка, а пришед во дворец, сыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное ему место. Тут тотчас увидел митрополита новгородского и первенствующего члена св. Синода <*Гавриила*> с святым крестом в руках, который он всякому рядовому подносил для целования, и сие была присяга в верности службы императрице, которая уже во дворец приехала, будучи препровождена Измайловским полком; ибо из Петергофа привезена в оный была на одноколке графом Алексеем Григорьевичем Орловым, как опосле ему о том сказывали. День был самый ясный, и, побыв в сем дворце часу до третьего или четвертого по полудни, приведены пред вышесказанный деревянный дворец и поставлены от моста вдоль по Мойке. В сие время приходили пред сей дворец многие и армейские полки, примыкали по приведении полковников к присяге, по порядку, к полкам гвардии, занимая места по улицам Морским и прочим, даже до Коломны. А простояв тут часу до восьмого, девятого или десятого, тронулись в поход, обыкновенным церемониальным маршем, повзводно, при барабанном бое, по петергофской дороге в Петергоф. Императрица сама предводительствовала в гвардейском Преображенском мундире на белом коне, держа в правой руке обнаженную шпагу. Княгиня Дашкова также была в гвардейском мундире. Таким образом маршировали всю ночь. На некотором урочище, не доходя до Стрельной, в полночь имели отдых. Потом двигнулись паки в поход. Поутру очень рано стали подходить к Петергофу, где чрез весь зверинец, по косогору, увидели по разным местам расставленные заряженные пушки с зажженными фитилями, которые, как сказывали после, прикрыты были некоторыми армейскими полками и голстинскими баталионами; то все отдались государыне в плен, не сделав нигде ни единого выстрела. В Петергофе расположены были полки по саду, даны быки и хлеб, где, сварив кашу, и обедали. После

обеда часу в 5-м увидели большую четырехместную карету, запряженную больше нежели в шесть лошадей, с завешенными гардинами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры же во всем вооружении; а за ними несколько конного конвоя, которые, как после всем известно стало, отвезли отрекшегося императора от правления в Ропшу, местечко, лежащее от Петербурга в 30 верстах к Выборгской стороне. Часу по полудни в седьмом полки из Петергофа тронулись в обратный путь в Петербург; шли всю ночь и часу по полуночи в 12-м прибыли благополучно вслед императрице в Летний деревянный дворец, который был на самом том месте, где ныне Михайловский. Простояв тут часа с два, приведены в полк и распущены по квартирам.

День был самый красный, жаркий; то с непривычки молодой мушкетер еле жив дотащил ноги. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова... <...>

Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру издан был манифест, в котором хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но, с другой, напоминалася воинская дисциплина и чтоб не верили они рассеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае, впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем мостам, площадям и перекресткам расставлены были. В таковом военном

положении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с 8-мь, то есть по самую кончину императора.

По водворении таким образом совершенной тишины объявлен поход гвардии в Москву для коронации ее величества, и в августе месяце Державин по паспорту отпущен был с тем, чтоб явиться к полку в первых числах сентября, когда императрица к Москве приближаться будет. Снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь, потащился потихоньку. <...>

... приехал в Москву и, будучи в мундире Преображенском, на голстинский манер кургузом, с золотыми петлицами, с желтым камзолом и таковыми же штанами сделанном, с прусскою претолстою косою, дугою выгнутою, и пуклями, как грибы подле ушей торчащими, из густой сальной помады слепленными, щеголял пред московскими жителями, которым такой необыкновенный или, лучше, странный наряд казался весьма чудесным... <...>

Из села Петровского (ибо тогда еще подъезжачего подмосковного Петровского дворца построено не было) ездила государыня несколько раз инкогнито в Кремль. Потом всенародно имела свой торжественный въезд сквозь построенные парадом полки гвардейские и армейские, под пушечными с Кремля выстрелами и восклицаниями народа. 22 числа сентября в Успенском соборе, по обрядам благочестивых предков своих, царей и императоров российских, короновалась. Тогда отправлен был обыкновенный народный пир. Выставлены были на Ивановской Красной площади жаренные с начинкою и с живностью быки и пущены из рейнского вина фонтаны. Ввечеру город был иллюминован. Государыня тогда часто присутствовала в Сенате, который был помещен в Кремлевском дворце; проходя в оный, всегда жаловала чиновных к руке, которого счастья, будучи рядовым, и Державин иногда удостоивался, нимало не помышляя, что будет со временем ее статс-секретарь и сенатор. На зиму государыня изволила переехать в Головинский дворец, что был в Немецкой слободе. Тут однажды, стоя в будке позадь дворца в поле на часах, ночью, в случившуюся жестокую стужу и метель, чуть было не замерз; но пришедшая смена от того избавила. На масленице той зимы был тот славный на-

родный маскарад, в котором на устроенном подвижном театре, ездящем по всем улицам, представляемы были разные того времени страсти, или осмехалися в стихах и песнях пьяницы, карточные игроки, подьячие и судьи-взяточники и тому подобные порочные люди,— сочинение знаменитого по уму своему актера Федора Григорьевича Волкова и прочих забавных стихотворцев, как то гг. Сумарокова и Майкова.

Стоял он, Державин, тогда также сперва с даточными солдатами на квартире во флигеле, в доме гг. Киселевых, который был, помнится, на Никитской или Тверской улице. Таковая неприятная жизнь ему наскучила, тем более, что не мог он удовлетворить склонности своей к наукам; а как слышно было тогда, что Иван Иванович Шувалов, бывший главный Московского университета в Казанской гимназии куратор, которому он известен был <...>, то и решился идти к нему и просить, чтоб он его взял с собою в чужие края, дабы чему-нибудь там научиться. Вследствие чего, написав к нему письмо, действительно пошел и подал ему оное лично в прихожей комнате, где многие его бедные люди и челобитчики ожидали, когда он проходил их, дабы ехать во дворец. Он остановился, письмо прочел и сказал, чтоб он побывал к нему в другое время. Но как дошло сие до тетки его по матери двоюродной, Феклы Саввишны Блудовой, жившей тогда в Москве, в своем доме, бывшем на Арбатской улице, женщины по природе умной и благочестивой, но по тогдашнему веку непросвещенной, считающей появившихся тогда в Москве масонов отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, о которых разглашали невероятные басни, что они заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют и тому подобные бредни, а Шувалова признавали за их главного начальника, то она ему, как племяннику своему, порученному от матери, и дала страшную нагонку, запретя накрепко ходить к Шувалову, под угрозою написать к матери, буде ее не послушает. А как воспитан он был в страхе божием и родительском, то и было сие для него жестоким поражением, и он уже более не являлся к своему покровителю; но отправлял, как выше явствует, наряду с прочими солдатами, все возложенные низкие должности, а между прочим разносил нередко по офицерам от-

данные в полк с вечера приказы. <...> В одном из таковых путешествий случился примечательный и в нынешнем времени довольно смешной анекдот. Князь Козловский, живший тогда на Тверской улице, прапорщик третьей роты, известный того времени приятный стихотворец, у посещавшего его, или нарочно приехавшего славного стихотворца Василия Ивановича Майкова, читал сочиненную им какую-то трагедию, и как приходом вестового Державина чтение перервалось, который, отдав приказ, несколько у дверей остановился, желая послушать, то Козловский, приметя, что он не идет вон, сказал ему: «Поди, братец служивый, с богом; что тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь»,— и он принужден был выдти.

Наступила весна и лето, и хотя многие, как выше явствует, младшие произведены были, не токмо в капралы, но и в унтер-офицеры по протекциям, а Державин без протектора всегда оставался рядовым; но как стало приближаться восшествие императрицы на престол, 1763 году июня 28-го дня, а в такие торжественные праздники обыкновенно производство по полку нижних чинов бывало, то и решился он прибегнуть под покровительство майора своего, графа Алексея Григорьевича Орлова. Вследствие чего, сочинив к нему письмо, с прописанием наук и службы своей, наименовав при том и обошедших его сверстников, пошел к нему и подал ему письмо, которое прочетши, он сказал: «Хорошо, я рассмотрю». В самом деле и пожалован он в наступивший праздник в капралы.

Тогда отпросился в годовой отпуск к матери в Казань, дабы показаться ей в новом чине. На дороге случилось приключение, ничего, впрочем, не значащее, но, однако, могущее в крайнее ввергнуть его злополучие. Прекрасная, молодая благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим его гимназии директором, господином Веревкиным, который тогда возвращен был паки на прежнее свое место, быв за чем-то в Москве, отправлялась в Казань к своему семейству, сговорилась с ним и еще с одним гвардии же Преображенского полка капралом Аристовым вместе для компании ехать. В дороге, будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь ни завидовал и из

ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени. Натурально, в таковых случаях более оказывается в любовниках храбрости и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на Клязьме, владения г. Всеволожского, перевозчики подали паром; извозчики взвезли повозки и выпрягли лошадей; но первые не захотели перевозить без ряды; а как они запросили неумеренную цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку была, то и не хотел он им требуемого количества денег дать, а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых полчаса, и никто из перевозчиков не являлся. Натурально, красавице скучилось; она стала роптать и плакать. Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился в кусты искать перевозчиков и, нашед их, то угрозами, то обещанием заплатить все, что они потребуют, вызвал их кое-как на паром. Но как пришли на оный, то и требовали наперед денег в превосходном числе, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылкого нрава, не вытерпел обиду, вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой багор и закричал прочим своим товарищам: «Ребята, не выдавай»,— с словом с сим все перевозчики, сколько их ни было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарствующего капрала, который, как ни отмахивался тесаком, но принужден был, бросившись в повозку, схватить свое заряженное ружье, приложился и хотел выстрелить; но к счастию, что ружье было новое, пред выездом из Москвы купленное и неодержанное, курок крепок, то и не мог скоро спуститься. Мужики, увидя его ярость и убоявшись смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький при береге стоявший челнок, сел в него и переправился чрез Клязьму в помянутое село Буньково. Там, ходя по улице и по дворам, никого не находил; наконец вышел из приказной избы мужик довольно взрачный, осанистый, с большою бородою и, подпираясь посохом, с видом удивления, спросил: «Что ты, барин, так воюешь, разве к басурманам ты заехал? Чего тебе надобно?» Проезжий пересказал ему случившееся, жалуясь на притеснение перевозчиков. «Ну что же за беда? разве не можно было другим манером сы-

скать на них управы? Стыдно-ста, молодой господин, озорничать, бегать с голым палашом по улице и пужать мир крещеный. Меня не испужаешь, велю схватить да связать и отвезу в город, так и будешь утирать кулаком слезы, но не поворотишь. Барин наш нас не выдаст» (который был тогда обер-прокурором в Сенате и в случае при дворе). Таковым справедливым укором устыдил храбреца мужик. Это был бурмистр того селения. Насилу, кое-как будучи убежден, приказал перевозить за сходную цену все повозки.

Приехав в Казань, желал с красавицей своей чаще видеться; но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой <...> ...сии кратковременные любовные шашни тем и кончились: ибо более никогда уже не видал сего своего предмета.

Приехав из Шацка в оренбургскую деревню, куда приехала и мать его, прожил с нею там оставшееся летнее время; а в исходе сентября отправила она его в Оренбург по некоторым случившимся деревенским делам. <...>

По наступлении срока отправился в Петербург к полку. Таким же образом вел свою жизнь как прежде, упражняяся тихонько от товарищей в чтении книг и кропании стихов, стараясь научиться стихотворству из книги о поэзии, сочиненной г. Тредиаковским и из прочих авторов, как: гг. Ломоносова и Сумарокова. Но более ему других нравился, по легкости слога, помянутый г. Козловский... <...>

В сем промежутке времени едва не случилась с ним незапная страшная смерть. Ходил он по обыкновению в своем звании во все караулы, то в одном из оных в Зимнем каменном дворце, когда он еще внутри не весь был выстроен, и в той половине, где после был придворный театр, а ныне апартаменты вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, наверху в одном из самых вышних ярусов были две двери: одна в покой, в котором был пол, а другая — в другой, в котором был пролом до самых нижних погребов, наполненных каменными обломками; и как по лености не токмо офицеров, но и унтер-офицеров, приказано было ему ночью обойти все притины дозором, то он пошел, взяв фонарщика, или солдата, который нес фонарь, казанского дворянина знакомого себе, по фамилии Потапова. Бегая

по многим лестницам, не дожидаясь освещения проходов, пришел, наконец, к вышеописанному месту и хотел стремление свое продолжать далее, но вдруг услышал голос Потапова, далеко на низу лестницы от него отставшего, который кричал: «Постойте, куда вы так бежите?» Он остановился и лишь только осветил фонарь, то и увидел себя на пороге, или на краю самой той пропасти, о которой выше сказано. Один миг — и едва одни кости его остались бы на сем свете. Он перекрестился, воздал благодарение богу за спасение жизни и пошел куда было должно.

В сих годах, то есть в 1765-м и в 1766-м году, были два славные в Петербурге позорища, учрежденные императрицею, сколько для увеселения, столько и для славы народа. Первое, великолепный карусель, разделенный на четыре кадрили: на ассирийскую, турецкую, славянскую и римскую, где дамы на колесницах, а кавалеры на прекрасных конях, в блистательных уборах, показывали свое проворство метанием дротиков и стрельбою в цель из пистолетов. Подвигоположником был украшенный сединами фельдмаршал Миних, возвращенный тогда из ссылки. Другое, преузорочный под Красным Селом лагерь, в котором, как сказывали, около 50 тысяч конных и пеших собрано было войск для маневров пред государынею. Тогда в придворный театр впускаемы были без всякой платы одни классные обоего пола чины и гвардии унтер-офицеры; а низкие люди имели свой народный театр на Коммиссариатской площади, а потом из карусельного здания, на месте, где ныне Большой театр, на котором играли всякие фарсы и переведенные из Мольера комедии. <...>

Зимою объявлен поход ее величества в Москву. Державин <...> пожалован в фурьеры и командирован, под начальством подпоручика Алексея Ивановича Лутовинова, на ямскую подставу для надзирания за исправностию наряженных с ямов лошадей, изготовленных для шествия императрицы и всего ее двора. <...> Тут первые написал правильные ямбические экзаметры на проезд государыни чрез реку того селения Мохост... <...>

В сие время досталось Державину при производстве в полку чрез чин подпрапорщика в каптенармусы, а января первого числа 1767 года — в сержанты... <...> Гвардия возвратилась в Петербург, а Державин на

некоторое время отпросился для свидания с матерью и меньшим его братом, учившимся в гимназии при директорстве г. Каница, в Казань, где, и потом в оренбургской деревне, оставшуюся часть лета и осени в семействе своем прожил. Возвращаясь из отпуска, взял с собою и меньшего его брата из гимназии, которая была тогда под ведомством директора г. Каница.

Но, приехав в Москву и имев от матери поручение купить у господ Таптыковых на Вятке небольшую деревнишку душ 30, остановился... <...> И как стоял он тогда у двоюродного своего брата, господина Блудова, который и его двоюродный брат господин подпоручик Максимов, живши в одном с ним доме, завели его сперва в маленькую, а потом и в большую карточную игру, так что он проиграл данные ему от матери на покупку деревни деньги. Тогда он забыл о сроке, хотел проигранные деньги возвратить; но как не мог, то, заняв у него, Блудова, купил деревню на свое имя и ему оную, с присовокуплением материнского имения, хотя не имел на то права, заложил. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния, день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам. Но, благодарение богу, что совесть или, лучше сказать, молитвы матери никогда его до того не допускали, чтоб предался он в наглое воровство или в коварное предательство коголибо из своих приятелей, как другие делывали. Но когда и случалось быть в сообществе с обманщиками и самому обыгрывать на хитрости, как и его подобным образом обыгрывали, но никогда таковой, да и никакой выигрыш не служил ему впрок; следственно, он и не мог сердечно прилепиться к игре, а играл по нужде. Когда же не имел денег, то никогда в долг не играл, не занимал оных и не старался какими-либо переворотами отыгрываться или обманами, лжами и пустыми о заплате уверениями доставать деньги; но всегда содержал слово свое свято, соблюдал при всяком случае верность, справедливость и приязнь. Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, запершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи при

слабом иногда свете полушечной сальной свечки или при сиянии солнечном сквозь щелки затворенных ставней. Так тогда, да и всегда проводил он несчастливые дни. А как он уже в такой распутной жизни просрочил более полугода, то <...> его благодетель Неклюдов <...> видя, что он за сроком столь долго проживает в Москве и слыша, что замотался, то, опасаясь чтоб не погиб, ибо разжалован бы был по суду в армейские солдаты, сжалился над ним и без всякой его просьбы в ордере между прочими полковыми делами к капитану-поручику московской команды Шишкову приписал, что когда сержант Державин явится, то причислить его к московской команде... <...> Он, став сим средством обеспечным от несчастия, пробыл несколько еще месяцев в Москве, вел жизнь не лучше как и прежде; а поелику жил он в помянутом доме Блудова с сказанным же его родственником Максимовым, то и случилось с ним несколько замечательных происшествий.

Первое. Хаживала к ним в дом в соседстве живущего приходского дьякона дочь, и в один вечер, когда она вышла из своего дома, отец или матерь, подозревая ее быть в гостях у соседей, упросили бутошников, чтоб ее подстерегли, когда от них выйдет. Люди их и Блудова увидели, что бутошники позаугольно кого-то дожидаются, спросили их; они отвечали грубо, то вышла брань, а потом драка; а как с двора сбежалось людей более, нежели подзорщиков было, то первые последних и поколотили. С досады за таковую неудачу и чтоб отмстить, залегли они в крапиве на ограде церковной, чрез которую должна была проходить несчастная грация. Ее подхватили отец и мать, мучили плетью и, по научению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина. Довольно сего было для крючков, чтобы прицепиться. На другой день, когда он часу по полудни в первом ехал из вотчинной коллегии, где был по своим делам, в карете четвернею, и лишь приближился только к своим воротам, то вдруг ударили в трещотки, окружили карету бутошники, схватив лошадей под уздцы, и, не объявя ничего, повезли чрез всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении провел он сутки. На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазор-

ном с девкою обхождении и на ней женился; но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив однако с неделю, должны были с стыдом выпустить, сообща однако за известие в полковую канцелярию, где таковому безумству и наглости алгвазилов дивились и смеялись. Вот каковы в то время были полиция и судьи!

Второе. Познакомился с ним в трактирах по игре некто, хотя по роду благородный, знатной фамилии, но по поступкам самый подлый человек, который содержался в юстиции за подделку векселей и закладных на весьма большую сумму и подставление по себе в поручительство подложной матери, который имел за собою в замужестве прекрасную иностранку, которая торговала своими прелестями. В нее влюбился некто приезжий пензенский молодой дворянин, слабый по уму, но довольно достаточный по имуществу. Она с ведома, как после открылось, мужа с ним коротко обращалась и его без милости обирала, так что он заложил свое и материнское имение и лишился самых необходимо нужных ему вещей. А как сей дворянин был с Державиным хороший приятель, то и сжалился он на его несчастие. Вследствие чего, будучи в один день в компании с мужем, слегка дал ему почувствовать поведение жены. Муж старался прикрыть ее и оправдать себя своим неведением; и хотя тогда прекратил разговор шутками, но запечатлел на сердце своем на него злобу за такое чистосердечное остережение. Он, спустя некоторое время, позвал его в гости к себе на квартиру жены и под вечер намерен был поколотить, а может быть, и убить; ибо когда Державин вошел в покои, то увидел за ширмами двух сидящих незнакомых, а третьего лежащего на постели офицера, которого раз видел в трактире игравшего несчастно на бильярде; ибо его на поддельные шары обыгрывали, что он шуткой и заметил офицеру. Хозяин, приняв гостя сначала ласково, зачал его помалу в разговорах горячить противоречиями и потом привязываться к словам, напоминая прежде слышанные им, относя их к обиде его и жены; но как гость опровергал сильными возражениями свое невинное чистосердечие, то умышленник и начал кивать головой сидящим за ширмами и лежащему на постели,

давая им знать, чтоб они начинали свое дело. Против всякого чаяния, лежащий сказал: «Нет, брат, он прав, а ты виноват, и ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги»; ибо был он молодец, приземистый борец, всех проворнее и сильнее и имел подле себя орясину, то хозяин и все прочие соумышленники удивились и опешили. Это был господин землемер, недавно приехавший из Саратова, поручик Петр Алексеевич Гасвицкий, который о того времени сделался Державину другом. <...>

Наконец, кратко сказать, он, проживая в Москве в знакомстве с таковою разбора людьми, чрезвычайно наскучил или, лучше сказать, возгнушавшись сам собою, взял у приятеля матери своей 50 руб., который прошен был от нее ссудить в крайней его нужде, бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург. Сие было в марте месяце 1770 года, когда уже начало открываться в Москве моровое поветрие. В Твери удержал было его некто из прежних его приятелей, человек распутной жизни, но кое-как от него отделался, издержав все свои деньжонки. На дороге занял у едущего из Астрахани садового ученика с виноградными к двору лозами 50 руб. и те в новгородском трактире проиграл. Остался у него только рубль один, крестовик, полученный им от матери, который он во все течение своей жизни сберег. Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем; то старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было; но как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием; он, чтобы избавиться от оного, сжег при караульных со всем тем, что в нем ни было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону все, что он во всю молодость свою чрез 20 почти лет намарал, как то: переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. <...>

Приехав, как выше сказано, в Петербург с одним рублем, благословением матери, занял на прожиток

80 рублей у Григорья Никифоровича Киселева, давнишнего своего приятеля, казанского помещика, с которым учились вместе в гимназии, служили в полку и гуляли на подставах. <...>

...на занятые у Киселева деньги выиграл сотни две рублей у <...> господина Протасова, заплатил долг и пробавлялся кое-как, имея наиболее обхождение с ним, с Петром Васильевичем Неклюдовым и с капитаном Александром Васильевичем Толстым, у которого тогда и в 10-й роте находился. Сии трое честные и почтенные люди его крайне полюбили за некоторые его способности, что он изрядно рисовал или, лучше сказать, копировал пером с гравированных славнейших мастеров эстампов так искусно, что с печатными не можно было узнать рисованных им картин. Более же всего нравился он им за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. <...>

В 1771 году переведен в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебельскую должность в самой ее точности и исправности... <...>

...в начале 1772 года, января 1-го дня, произведен гвардии прапорщиком в ту же 16-ю роту, в которой служил фельдфебелем. В самом деле, бедность его великим была препятствием носить звание гвардии офицера с пристойностию; а особливо тогда — более даже, нежели ныне,— предпочитались блеск, и богатства, и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе. Но как бы то ни было, ссудою из полку сукна, позументу и прочих вещей на счет жалованья (ибо тогда из полковой экономической суммы всегда комиссаром запасалось оных довольное количество) обмундировался он; продав сержантский мундир, купил аглинские сапоги и, небольшую заняв сумму, и ветхую каретишку в долг у господ Окуневых, исправился всем нужным. Жил он тогда в маленьких деревянных покойчиках, на Литейной, в доме господина Удолова, хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества; ибо имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою, и как был очень к ней привязан, а она не отпускала его от себя

уклониться в дурное знакомство, то и исправил он помалу свое поведение, обращаяся между тем, где случай дозволял, с честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопристойно. <...>

Отделение III

С помянутого возмущения по вступление Державина в статскую службу.

<...> Начну тем, что во время брачного торжества великого князя Павла Петровича с великою княжною Натальею Алексеевною, в 1773 году, в сентябре, стали разноситься по народу слухи о появившемся в Оренбургской губернии разбойнике, для поимки коего того краю посланы гарнизонные и прочие команды; а как несколько молва замолкла, то и думали, что неспокойство утушено. Но вдруг во дворце, на бале, в Андреев день, то есть 30 ноября, государыня, подошед к генерал-аншефу, Измайловского полку майору, Александру Ильичу Бибикову (которому пред тем наскоро было велено отправиться в главную армию под начальство графа Петра Александровича Румянцева, с которым тогда был он не весьма в приязни), объявила о возмущении, приказав ему ехать для восстановления спокойствия в помянутой губернии. Бибиков был смел, остр и забавен, пропел ей русскую песню: «Наш сарафан везде пригожается». Это значило то, что он туда и сюда был беспрестанно в важные дела употребляем без отличных каких-либо выгод; а напротив того, от Румянцева и графа Чернышева, управляющего военною коллегией, иногда был и притесняем. Вследствие чего на другой день были к нему наряжены в ассистенты или помощники многие гвардии офицеры по его выбору, ему знакомые... <...>

Державин узнал сие, и как имел всегда желание употреблен быть в войне или в каком-либо отличном поручении, даже повергался иногда в меланхолию, что не имел к тому средства и удобства... <...> итак вздумал открывшимся случаем воспользоваться. Вследствие чего, хотя ему генерал Бибиков нимало не был знаком но он решился ехать к нему и без рекомендации, слы

ша, что он человек разумный и могущий скоро проникать людей. Приехав, открыл ему свое желание, сказав, что слышал по народному слуху о поездке его в какую-то Секретную Комиссию в Казань; а как он в сем городе родился и ту сторону довольно знает, то не может ли он быть с пользою в сем деле употребленным? Бибиков ответствовал, что он уже взял гвардии офицеров, ему людей известных, и для того сожалеет он, что не может исполнить его просьбы. Но как Державин остался у него еще на несколько <времени> и не поехал скоро, то он, вступя с ним в разговор, был им доволен, однако же никакого не сделал обещания. Простясь, с огорчением от него поехал; но в приказе полковом ввечеру с удивлением увидел, что по высочайшему повелению велено ему явиться к генералу Бибикову. Он сие исполнил и получил приказание чрез три дня быть к отъезду готовым. <...>

Хотя Державин весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубля, отправился в Москву, но генерал Бибиков перегнал его: пробыв несколько дней в Москве, приехал в Казань декабря 25 числа, то есть в самый день рождества Христова. Прочие офицеры, наперед уже приехавшие и открывшие по повелению генерала заседания Секретной Коммиссии, по случаю тогда праздника, как люди достаточные, имевшие знакомых множество, а иные и сродников, занялись разными увеселениями; но Державин, пробыв с матерью уединенно в доме, старался от крестьян, приезжих из деревнишек своих, которые лежали по тракту к Оренбургу, узнать... о колебании народном: ибо известно было, что до приезда Бибикова многие дворяне и граждане разъехались было из города, но с прибытием его паки возвратились. Собрав таковые, сколь можно пообстоятельнее, известия, 28 числа на вечер приехал к генералу, когда у него никого не было. Он по обыкновению спрашивал о новостях. <...>

По отслужении молебна об успехе оружия, приглашены были в квартиру главнокомандующего преосвященный Вениамин и все благородное собрание. Тут Бибиков, подойдя к Державину, тихо сказал: «Вы отправляетесь в Самару; возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступайте». Выговоря сие, смотрел пристально в глаза: может быть, хотел проникнуть, таков ли он

рьян на деле, как на словах. Державин, сие приметя, <...> нашелся и отвечал: «Готов». Взял ту ж минуту из канцелярии запечатанные пакеты, которые надписаны *по секрету*, и велено было их открыть по удалении от Казани 30 верст. Простился с матерью, не сказав, куда едет; поскакал. <...>

Здесь влагается подлинный журнал с дополнением подробных примечаний на некоторые сокращенные обстоятельства.

<...> «Всемилостивейшая государыня! Ежели и самая жертва жизни ничто иное есть, как только долг государю и Отечеству, то никогда и не помышлял я, чтоб малейшие мои труды в прошедшее мятежное беспокойство заслуживали какое-либо себе уважение. Но когда, всемилостивейшая государыня, великой прозорливости вашего императорского величества праведно показалось воззреть на трудившихся в то время, и по особливой матерней щедроте и получили товарищи мои, бывшие со мною в одной комиссии: Лунин, Маврин, Собакин и Горчаков, по желанию их, награждения. Остался я один не награжденным. Чувствуя всю тягость несчастия быть лишенным милости славящейся государыни щедротами в свете и сравнив себя, может быть по легкомыслию, с ними, нахожу, что я странствовал год целый <...>, был в опасностях, <...> и во все сие время не имел у себя ниже в письме помощника, а исполнял то же, что они; сверх того, когда еще войска не пошли и к Оренбургу, я был от покойного генерала Бибикова послан с секретным наставлением о наблюдении за самыми войсками, идущими для очищения Самарской линии; был в сражениях и, возвратясь, заслужил похвалу. Потом, находясь при нем с месяц, имел важную поверенность сочинять журнал всем к нему присланным повелениям, рапортам и от него данным диспозициям. А когда войска пошли к Оренбургу, то я же опять должен был, запечатав начатый мною журнал, ехать в новую посылку на реку Иргиз. <...> Имев кредитивы от покойного генерала Бибикова, не употребил их во зло и не более издержал денег в продолжение всей моей комиссии 600 рублей; доставил нужных людей Секретной Комиссии, и уповаю, во всей тамош-

ней области никаких не сыщется на меня жалоб. Между тем во все то время, отдавая спасенные мною имения их владельцам, как и немалое количество казенных, дворцовых и экономических денег и скота, принадлежащего колониям, на что имею квитанции, лишился я всего собственного моего имущества в Оренбургском уезде и в Казани, даже мать моя претерпела... плен. Поправить же себя щедротою вашего императорского величества, чтоб взять из учрежденных в губерниях банков денег, не мог, ибо имение мое заложено в С.-Петербургском банке.

Все сии происшествия сравнив с деяньями товарищей моих, вижу, всемилостивейшая государыня, что я несчастлив. Прошлого года в Москве принимал я смелость просить его светлость князя Григория Александровича Потемкина, яко главного моего начальника, заступить меня ходатайством своим пред вашим императорским величеством и получил отзыв, что вы, всемилостивейшая государыня, не оставите воззреть на мое посильное усердие, изъявив монаршее благоволение наградить меня, почему и приказал мне его светлость ожидать оного. Теперь наступает тому другой год; надежда моя исчезла, и я забыт. Представляется мне, что не нахожусь ли за что под гневом человеколюбивой и справедливой монархини. Мысль сия меня умерщвляет, государыня! Ежели я преступник, да не допустит вины моей или заслуги более долготерпение твое без воздаяния».

Письмо сие подано в июле месяце в Петергофе, в присутствии там императрицы, ее статс-секретарю и полковнику, что был после графом и князем, Александру Андреевичу Безбородке, с приложением всех документов, на которые в нем была ссылка. По возвращении двора в Петербург, господин Безбородко объявил просителю, что воспоследовало на оное ее величества благоволение, и сказал бы он, какого награждения желает. Сей отвечал, что не может назначить и определить меры щедрот всемилостивейшей государыни; но когда удостоена ее благоволения его служба, то после того уже ничего не желает и будет всем доволен, что ни будет ему пожаловано; ибо по жребию, чрез игру вышесказанной фортуны, не имел уже он такой нужды как прежде, заплатя долг в банк за Маслова до 20 000 руб-

лей и исправясь с избытком не только всем нужным, но и прихоть его удовлетворяющими вещами, так что между своими собратьями и одет был лучше других, и жизнь вел приятную, не уступая самым богачам. В сие время коротко спознакомился с Алексеем Петровичем Мельгуновым, Степаном Васильевичем Перфильевым, с князем Александром Ивановичем Мещерским, с Сергеем Васильевичем Беклемишевым и прочими довольно знатными господами, ведущими жизнь веселую и даже роскошную. Сие продолжалось до ноября месяца того 1776 года; а как возвратился тогда из Новгорода посредством письма своего к императрице, поданного князем Вяземским, князь Потемкин, то в один день, в декабре уже месяце, когда наряжен был он, Державин, во дворец на караул и с ротою стоял во фронте по Миллионной улице, то чрез ординарца позван был к князю. Допущен будучи в кабинет, нашел его сидящего в креслах и кусающего по привычке ногти. Коль скоро князь его увидел, то по некотором молчании спросил: «Чего вы хотите?» Державин, не могши скоро догадаться, доложил, что он не понимает, о чем его светлость спрашивает. «Государыня приказала спросить,— сказал он,— чего вы по прошению вашему за службу свою желаете?» — «Я уже имел счастие чрез господина Безбородку отозваться, что я ничего не желаю, коль служба моя богоугодною ее величеству показалась».— «Вы должны непременно сказать»,— возразил вельможа. «Когда так,— с глубоким благоговением отозвался проситель,— за производство дел по Секретной Комиссии желаю быть награжденным деревнями равно со сверстниками моими, гвардии офицерами; а за спасение колоний по собственному моему подвигу, как за военное действие, чином полковника».— «Хорошо,— князь отозвался,— вы получите». С сим словом лишь только вышел из дверей, встретил его неблагоприятствующий ему майор Толстой, и с удивлением спросил: «Что вы здесь делаете?» — «Был позван князем».— «Зачем?» — «Объявить мое желание по повелению государыни», и словом, пересказал ему все без утайки. Он, выслушав, тотчас пошел к князю. Вышедши чрез четверть часа от него, сказал: «Вдруг быть полковником всем покажется много. Подождите до нового года: вам по старшинству достанется в капитаны-поручики; тогда

и можете уже быть выпущены полковником». Нечего было другого делать, как ждать. Вот наступил и новый 1777 год, и конфирмован поднесенный от полку доклад, в котором пожалован я в бомбардирские поручики, что то же как и капитан-поручик. Потом и январь прошел, а об обещанной награде и слуху не было. Принужден был еще толкаться у князя в передней. Наконец в феврале, проходя толпу просителей в его приемной зале едучи прогуливаться и увидев Державина, сказал правителю его канцелярии, бывшему тогда подполковнику Ковалинскому, сквозь зубов: «Напиши о нем докладную записку». Ковалинский, не знав содержания дела, не знал что писать, просил самого просителя, чтоб он написал. Сей изготовил по самой справедливости, ознаменовав при том желание произвесть полковником в армию. Чрез несколько дней увидев, сказал, что князь не апробовал записки потому только, что «майор Толстой внушил ему, что вы к военной службе не способны, то и велел заготовить записку другую о выпуске вас в статскую службу». Державин представлял ему, что он за военные подвиги представляется к награждению и не хочет быть статским чиновником, просил еще доложить князю и объяснить желание его в военную службу; но как некому было подкрепить сего его искания, ибо никого не имел себе близких к сему полномочному военному начальнику приятелей, то князь и по второму докладу, как Ковалинский сказывал, на выпуск его в армию не согласился; а для того и принужден он был, хотя с огорчением, вступить на совсем для него новое поприще.

Отделение IV

С окончания военной прехождение статской службы в средних чинах по отставку

15 числа сего февраля <1777> даны правительствующему Сенату два указа, из коих одним пожалован он в коллежские советники и велено дать ему место по его способности, другим пожаловано ему 300 душ в Бело-

русской губернии, на которые приказано заготовить грамоту и поднесть к высочайшему подписанию. Очутясь в статской службе, должно было искать знакомства между знатными людьми, могущими доставить место в оной. Скоро чрез семейство господ Окуневых, из коих старший брат тогда выдал дочь свою за князя Урусова, двоюродного брата генерал-прокурорши княгини Елены Никитичны Вяземской, познакомился в доме сего сильного вельможи, могущего раздавать статские места, будучи позван к нему на свадебный бал. С сих пор часто у него бывал и проводил с ним дни, забывая время в карточной, тогда бывшей в моде, игре в вист, хотя никогда в нее ни счастливо, ни несчастно играть не умел, но платил всегда проигранные деньги и исправно и с веселым духом; потому наиболее, что князь вел игру с малочиновными и небогатыми людьми весьма умеренную. Таковым поступком, всегда благородным и смелым, понравился ему, приобрел его благоволение; при всем том с февраля по август не мог быть никуды помещенным. А как очистилось тогда Сената в первом департаменте экзекуторское место, которое пред тем занимал отец новобрачной, господин Окунев, получа выгоднейшее, с чином статского советника, при строении церкви Невского монастыря, Державин, приехав в один день поутру рано на дачу генерал-прокурора, лежащую на взморье близ Екатерингофа, нашел его чешущим волосы, и бедную старуху, стоящую у дверей. Подшедши просил его о помещении на порозжую вакансию. Он, не отвечав ни слова, приказал ему принять от той престарелой женщины бумагу, ею держимую, и прочетши про себя, сказать ему ее содержание. Он прочел, пересказал, и князь, взяв у него, ее собственным обозрением поверил, положил пред собой на столик и, на него взглянув, сказал: «Вы получите желаемое вами место»,— и тот же день, поехав в Сенат, дал о том предложение. Должность сия, по отступлении от инструкции Петра Великого, хотя была тогда уже не весьма важная, однако довольно видная. Отправляя ее, скоро приобрел он знакомство всех господ сенаторов и значущих людей в сем карьере, а особливо бывая всякий день в доме генерал-прокурора. Княгиня собственно своею персоною была благосклонна, и мысли ее были выдать за него в замужество сестру свою двоюродную, княжну Кате-

рину Сергеевну Урусову, славную стихотворицу того времени, так что об этом ему некоторые ближние к ней люди и говорили; но он, имея прежние связи, отшутился от сего предложения, сказав, что она пишет стихи, да и я мараю, то мы все забудем, что и щей сварить некому будет. Словом, он был некоторого рода любимцем сего всеми тогда уважаемого дома. С князем по вечерам для забавы иногда играл в карты; а иногда читал ему книги, большею частию романы, за которыми нередко и чтец и слушатель дремали. Для княгини писал стихи похвальные в честь ее супруга, хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу.

В сем году, около масленицы, случилось с ним несколько сначала забавное приключение, но после важное, которое переменило его жизнь. Меньший из братьев Окуневых поссорился, быв на конском бегу, с <...> Александром Васильевичем Храповицким, бывшим тогда при генерал-прокуроре сенатским обер-прокурором в великой силе. Они ударили друг друга хлыстиками и, наговорив множество грубых слов, решились ссору свою удовлетворить поединком. Окунев, прискакав к Державину, просил его быть с его стороны секундантом, говоря, что от Храповицкого будет служивший тогда в Сенате секретарем, что ныне директор дворянского банка действительный статский советник Александр Семенович Хвостов. Что делать? С одной стороны, короткая приязнь препятствовала от сего посредничества отказаться, с другой, соперничество против любимца главного своего начальника, к которому едва только стал входить в милость, ввергало его в сильное недоумение. Дал слово Окуневу с тем, что ежели обер-прокурор первого департамента Резанов, у которого он в непосредственной состоял команде, который также был любимец генерал-прокурора и с ним, как Державин, по некоторым связям в короткой приязни, не попротиворечить сему посредничеству; а ежели сей того не одобрит, то он уговорит друга своего, вышеупомянутого Гасвицкого, который был тогда уже майором. С таковым предприятием поехал он тотчас к господину Резанову, его не нашел дома: сказали, что он обедает у господина Тредиаковского, бывшего тогда старшего члена при герольдии,

который по сей части был весьма значащий человек. Хотя сей жил на Васильевском острове, но он и туда поехал. Уже был вечер. При самом входе в покой встречается с ним бывшая кормилица великого князя Павла Петровича, который был после императором, г-жа Бастидонова с дочерью своею, девицею лет 17-ти, поразительной для него красоты; а как он ее видел в первый раз в доме господина Козодавлева <...> и тогда она уже ему понравилась, но только примечал некоторую бледность в лице, а потом в другой раз в театре неожиданно она его изумила; то тут в третий раз, когда она остановилась в передней с матерью, ожидая, когда подадут карету, не вытерпел уже он и сказал разговаривавшему с ним Резанову о том, зачем приехал, что он на сей девушке, когда она пойдет за него, женится. Сей засмеялся, сочтя таковую скорую решительность за шутку. Разговор кончился; мать с дочерью уехали, но последняя осталась неисходною в сердце, хотя дуэль, по несысканию Гасвицкого, осталась на его ответе. Должно было выехать в Екатерингоф на другой день в назначенном часу. Когда шли в лес с секундантами соперники, то последние, не будучи отважными забияками, скоро примирены были первыми без кровопролития; и когда враги между собою целовались, то Хвостов сказал, что должно было хотя немножко поцарапаться, дабы не было стыдно. Державин отвечал, что никакого в том <нет> стыда, когда без бою помирились. Хвостов спорил, и слово за слово дошло было у посредников до драки: обнажили шпаги и стали в позитуру, будучи по пояс в снегу, но тут приехал опрометью вышедший только из бани разгневший, как пламенный, Гасвицкий с разного рода орудиями, с палашами, саблями, тесаками и проч., и, бросившись между рыцарей, отважно пресек битву, едва ли быть могущую тоже смертоносною. Тут зашли в трактир, выпили по чашке чаю, а охотники — пуншу, кончили страшную войну с обоюдным триумфом. И как среди бурного сего происшествия не вышла красавица из памяти у Державина, то, поехав с Гасвицким домой, открылся ему дорогою о любви своей и просил его быть между собою уже и победительницею его посредником; то есть на другой день в объявленный при дворе маскарад, закрывшись масками, вместе с ним поискать девицу, кото-

рая ему нравится, и беспристрастными дружескими глазами ее посмотреть. Так и сделали. Любовник тотчас увидел и с восторгом громко воскликнул: «Вот она!» — так что мать и дочь на них пристально посмотрели. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, примечали поведение особливо молодой красавицы, и с кем она и как обращается. Увидели знакомство степенное и поступь девушки, во всяком случае, скромную и благородную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовою стыдливостию. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора; а его товарищ, человек простой, впрочем, умный и прямодушный, их одобрил. За чем дело стало? Державин уже имел некоторое состояние... <...>, то и взял он намерение порядочным жить домом, а потому и решился твердо в мыслях своих жениться. Вследствие чего и рассказал, будто шуткою, своим приятелям, что он влюблен, называя избранную им невесту ее именем. В первый день после маскарада, то есть в понедельник на первой неделе великого поста, обедая у генерал-прокурора, зашла речь за столом о волокитствах, бываемых во время карнавала, а особливо в маскарадах; Александр Семеныч Хвостов вынес на него прошедшего дня шашни. Князь спросил, правда ли то, что про него говорят. Он сказал: правда. «Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила?» Он назвал фамилию.

Петр Иванович Кириллов, действительный статский советник, правящий тогда ассигнационным банком, обедая вместе, слышал сей шутливый разговор, и когда встали из-за стола, то отведши на сторону любовника: «Слушай, братец, не хорошо шутить на счет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком; покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг; он был любимый камердинер императора Петра III, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называется молочною сестрою, да и мать ее тоже мне приятельница; то шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю».— «Да я не шучу,— ответствовал Державин,— я поистине смертельно влюблен».— «Когда так,— сказал Кириллов,— что ты хочешь делать?» — «Искать знакомства и свататься».— «Я тебе могу сим служить». А потому и положили на

другой же день ввечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновой, что и исполнено. Кириллов, приехав, рекомендовал приятеля, сказав, что, проезжая мимо, захотелось ему напиться чаю; то он и упросил, показывая на приехавшего, войти к ним с собою. По обыкновенных учтивостях сели и, дожидаясь чаю, вступили в общий общежительный разговор, в который иногда с великою скромностью вмешивалась и красавица, вязав чулок. Любовник жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие, и осматривал комнату, приборы, одежду и весь быт хозяев, между тем как девка, встретившая их в сенях с сальною свечою в медном подсвечнике, с босыми ногами, тут уже подносила им чай; делал примечания свои на образ мыслей матери и дочери, на опрятность и чистоту в платье, особливо последней, и заключил, что хотя они люди простые и небогатые, но честные, благочестивые и хороших нравов и поведения; а притом дочь не без ума и не без ловкости, приятная в обращении, а потому она и не по одному прелестному виду, но и по здравому рассуждению ему понравилась, а более еще тем, что сидела за работою и не была ни минуты празднаю, как другие ее сестры непрестанно говорят, хохочут, кого-либо пересуживают, желая показать остроту свою и умение жить в большом свете. Словом, он думал, что ежели на ней женится, то будет счастливым. Посидев таким образом часа два, поехали домой, прося позволения и впредь к ним быть въезжу новому знакомому. Дорогою спросил Кириллов Державина о расположении его сердца. Он подтвердил страсть свою и просил убедительно сделать настоятельное предложение матери и дочери. Он на другой же день исполнил. Мать с первого разу не могла решиться, а просила несколько дней сроку, по обыкновению расспросить о женихе у своих приятелей. Экзекутор второго департамента Сената Иван Васильевич Яворский был также короткий приятель дому Бастидоновых. Жених, увидясь с ним в сем правительстве, просил и его подкрепить свое предложение, от которого и получил обещание; а между тем как мать расспрашивала, Яворский сбирался с своей стороны ехать к матери и дочери, дабы уговорить их на согласие. Жених, проезжая мимо их дому, увидел под окошком сидящую невесту и, имея позволение навещать их, решился заехать. Вошедши

в комнату, нашел ее одну, хотел узнать собственно ее мысли в рассуждении его, почитая для себя недостаточным пользоваться одним согласием матери. А для того, подошедши, поцеловал по обыкновению руку и сел подле нее. Потом, не упуская времени, спросил, известна ли она чрез Кириллова о искании его? — «Матушка мне сказывала»,— она отвечала. «Что она думает?» — «От нее зависит».— «Но если бы от вас, могу ли я надеяться?» — «Вы мне не противны»,— сказала красавица вполголоса, закрасневшись. Тогда жених, бросясь на колени, целовал ее руку. Между тем Яворский входит в двери, удивляется и говорит: «Ба, ба! и без меня дело обошлось! Где матушка?» — «Она,— отвечала невеста,— поехала разведать о Гавриле Романовиче».— «О чем разведывать? я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу; то, кажется, дело и сделано». Приехала мать, и сделали помолвку, но на сговор настоящий еще она не осмелилась решиться без соизволения его высочества наследника великого князя, которого почитала дочери отцом и своим сыном. Чрез несколько дней дала знать, что государь великий князь жениха велел к себе представить. Ласково наедине принял в кабинете мать и зятя, обещав хорошее приданое, как скоро в силах будет. Скоро, по прошествии великого поста, то есть 18-го апреля 1778 года, совершен брак.

Того же года в августе выпросился в отпуск на 4 месяца, дабы показать новобрачную матери своей, жившей тогда в Казани. <...>

По возвращении из отпуска вступил он в прежнюю свою экзекуторскую должность и был в оной по декабрь 1780 года. В течение сих годов случилось два замечательные происшествия:

1) В 1779 году перестроен был под смотрением его Сенат, а особливо зала общего собрания, украшенная червленым бархатным занавесом с золотыми франжами и кистями и лепными барельефами... <...> между прочими фигурами была изображена скульптором Рашеттом Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом; то когда изготовлена была та зала и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную Истину, сказал экзекутору: «Вели ее, брат, несколько прикрыть». И под-

линно, с тех почти пор стали отчасу более прикрывать правду в правительстве... <...>

II) В 1780 году, будучи в Петербурге, австрийский император Иосиф под чужим именем посещал Сенат и, вступя в залу общего собрания, расспрося о производимых в ней государственных делах, сказал сопровождающему его экзекутору: «Подлинно, в пространной столь империи может совет сей служить великим пособием императрице».

В исходе того 1780 года учреждена экспедиция о государственных доходах, под ведомством того же генерал-прокурора, яко государственного казначея. Она разделялась на 4 части: на I, приходную, на II, расходную, на III, счетную, и IV, недоимочную; в каждой было по 3 советника и по одному председателю. Во вторую — из экзекуторов, тем же коллежским советником, переведен Державин. <...> Но как он был предприимчив, смел и расторопен и в экзекуторах уже поручал ему генерал-прокурор следствие над сенатскими секретарями, что они ленились ходить на дежурство свое и медлили производством дел по их частям, то и почитался уже некоторым образом дельцом, более своих товарищей. Вследствие чего, когда нужно было написать должность экспедиции о государственных доходах, то князь, рассуждая о том, обращал свои взоры на господ Васильева и Храповицкого, кои после были, первый сам государственным казначеем, а второй статс-секретарем и наконец сенатором; но они, может быть, чтоб привести в замешательство нового дельца или по какой другой причине, указав на него, отозвались от сего труда, сказав, что они и без того обременены делами, а он свободнее их и написать может. Хотя сие князю было неприятно, ибо он не надеялся, чтоб несведущий законов мог написать правила казенного управления, требующие великого предусмотрения, осторожности и точности, но однако приказал. Что делать? должно исполнить волю начальника; а как не хотел пред ними уклониться и испрашивать у них мыслей и наставления, то, собрав все указы, на коих основаны были камер- и ревизион-коллегии, статс-контора и самые вновь учрежденные экспедиции, приступил к работе; а чтоб не разбивали его плана и мыслей, заперся и не велел себя сказывать никому дома. Поелику была ему дика и непонятна почти мате-

рия, то марал, переменял и, наконец, чрез две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помощи. Представил начальнику, а сей, собрав все экспедиции, велел пред ними прочесть; но как никто не говорил ни хорошего, ни худого, то князь, желая слышать справедливое суждение, морщился, сердился, привязывался и наконец принялся поправлять сам единственно вступление или изложение причин названного им начертания должности экспедиции о государственных доходах, полагая, что без оного никоим образом не можно будет управлять казною государства, давая разуметь, что наказ или полную инструкцию сама императрица издать изволит. Товарищи думали, что без них не обойдется, что не удостоится конфирмации сие начертание и что их будут упрашивать переделать оное; однако, к великому их удивлению, чрез графа Безбородку получил князь высочайшую конфирмацию, что по оному велено было поступать. Хотя должно было по листам скрепить и справить или констрасигнировать сию книгу Державину, яко писавшему оную, но присвоил сию честь Храповицкий, в каком виде должна она и поныне существовать в экспедиции о государственных доходах и есть оной правилом, ибо не слышно, чтобы дана была ей какая новая инструкция. <...>

...1782 года 28-го числа июня, то есть в день восшествия императрицы на престол, получил Державин чрез 6 лет чин статского советника. <...>

Надобно знать, что около сего времени, то есть в 1782 и 1783 году, не был уже к нему так благорасположен генерал-прокурор, как прежде <...>, по огласившейся уже тогда его оде «Фелице», которую двор отличным образом принял... <...> В один день, когда автор обедал у сего своего начальника, принесен ему почтальоном бумажный свиток с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину». Он удивился и, распечатав, нашел в нем прекрасную, золотую, осыпанную бриллиантами табакерку и в ней 500 червонных. Не мог и не должен он был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрение ео взятках; а для того, подошед к нему, показал. Он, взглянув сперва гневно, проворчал: «Что за подарки от киргизцев?» Потом, усмотрев модную французскую работу, с язвительною усмешкою сказал: «Хорошо, бра-

тец, вижу и поздравляю»; но с того времени закралась в его сердце ненависть и злоба, так что равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу. Все сие сносимо было с терпением, сколько можно, близ двух годов. <...>

Державин, увидев худую награду за его труды, решился оставить службу. Вследствие чего тот же час, вышедши в экспедиционную комнату, где случился служивший тогда там же советником князь Куракин, что при императоре Павле был генерал-прокурором, сказал ему, что он более служить с ними не намерен, и потом, сев за стол, тут же написал к князю письмо, просясь у него, для поправления расстроенного хозяйства своего, на два года, а ежели сего сделать не можно, то и совсем в отставку. Письмо сие отдав, для поднесения князю,— секретарю,— уехал домой. Сказавшись больным, не выходил из комнаты, и чрез несколько дней явился к нему господин Васильев, который <...> сказал между прочим, что письмо его лежит пред князем на столе и что он не хочет по нем докладывать государыне, а велел формальную подать просьбу чрез герольдию в Сенат. Это означало немилость... <...> Державин, предусматривая, что нельзя там ему ужиться, где не любят правды, не согласился на примирение... <...>, а для того он и сказал наотрез г. Васильеву, что он служить у его сиятельства под начальством не может,— исполнит его повеление и подаст просьбу об отставке в герольдию, что немедленно и учинил. Сенат, согласно законам, поднес доклад императрице, в коем присудил, по выслуге его в чине статского советника года, наградить его чином действительного статского советника. А как императрица знала его сколько по сочинениям, столько и по ревностной службе его в минувшем мятеже и в экспедиции, что он обнаружил прямо государственный доход, то высочайше и конфирмовала доклад Сената 15-го февраля 1784 года, отозвавшись по выслушании оного графу Безбородке: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет; а как надобно будет, то я его позову».

Отправив весь свой домашний быт зимним путем до Твери, а оттуда на судах по Волге в Казань к ма-

тери, прожил он в Петербурге еще несколько, искав занять валовую сумму до 18 тысяч рублей на расплату мелочных долгов, кои его обременяли и без удовлетворения которых не мог он выехать из столицы. В течение февраля и марта вздумал он съездить в белорусские деревни, дабы, не видав их никогда, осмотреть, сделать как бы распоряжения или, прямо сказать, как они были оброчные, хозяйства никакого в них не было, то, уединясь от городского рассеяния, докончить в них в уединении начатую им еще в 1780 году, в бытность во дворце у всенощной в день Светлого воскресенья, оду «Бог». А потому, согласив жену несколько с ним расстаться, отправился в путь. Но доехав до Нарвы, приметя, что дорога начинала портиться и что в деревне в крестьянских избах неловко будет ему заняться сочинением, то, оставя повозку и с людьми на ямском постоялом дворе, нанял в городе у одной престарелой немки небольшой покойчик, с тем чтоб она ему и кушанье приготовляла, докончил ту оду и еще также прежде начатую под названием «Видение Мурзы». Прожив в сем городке с небольшим неделю, возвратился в Петербург. Отдал в месячное издание под названием «Собеседник» напечатать помянутую оду «Бог», как и прочие его сочинения напечатаны были в том журнале, который начало свое возымел, как и самая Российская Академия, от вышесказанной оды «Фелицы», о коей в особых примечаниях на все его сочинения подробно изъяснено будет. Сыскав же нужные деньги у госпож Еропкиных, готов был совсем отправиться; но вдруг получил из Царского Села чрез графа Безбородку известие, что государыня назначает его губернатором в Олонецк, которую губернию в том году должно было вновь открыть, то и потребовалось его согласие. Будучи у императрицы в хорошем мнении, неблагоразумно бы было не согласиться на ее волю. Но как он отправил уже весь свой экипаж в Казань и престарелая мать давно ожидала его к ней прибытия, то и просил он на некоторое время отпуска. Дан оный ему до декабря, то есть до того времени, когда назначено открыть губернию. А потому и последовал об определении его в губернаторы в Олонецк указ 20-го мая 1784 года. Генерал-прокурор, получив его, сказал любимцам своим, око-

ло его стоящим, завидующим счастью их сотоварища, что разве по его носу полезут черви, нежели Державин просидит долго губернатором.

Отделение V

С определения его в губернаторы до удаления его от оного звания и возведения в вышние государственные чины и должности

Определенный в Олонецк губернатором, поехал он в Казань, но матери уже не застал в живых. За три дня до приезда его она скончалась. Оплакав ее смерть, поехал он в оренбургскую свою деревню, дабы показать ее жене своей, как по дороге лежащие рязанскую и казанскую он ей показывал; пожив в ней не более трех дней, предпринял возвращение в Петербург. На дороге случилось несчастие, что кучер, въехав нечаянно на косогор, опрокинул коляску: жена жестоко разбила висок о хрустальный стакан, в сумке коляски находившийся; с тех пор она до безумия стала бояться скорой езды в каретах, когда, напротив того, прежде любила скакать во всю пору. Приехав в Петербург, надобно было на заведение дома губернаторского и на заплату Еропкиным <иметь деньги>: хотя для первого пожаловано было государынею две тысячи, но для второго просил в банке. <...>

Но как настало время непременно ехать в Олонецк, и новый губернатор, быв представлен на аудиенцию императрице, откланялся уже ей в кабинете, то, заняв деньги у банкиров по 14-ти процентов, закупил, что ему было нужно для заведения своего, и поехал. По прибытии в Петрозаводск, губернский город Олонецкой губернии, нашел уже там генерал-губернатора, господина генерал-поручика и кавалера Тимофея Ивановича Тутолмина. Поелику же вещи, нужные Державину, как то и домашние мебели, отправленные с осени водою, уже привезены были, и снабдил он ими губернаторский дом и даже присутственные места, ибо там ничего не было, как равно привез с собою и канцелярских служителей, а между прочими и секретаря Грибовского (который

после замечательную роль играть будет), то при обыкновенных духовных церемониях и торжестве в доме генерал-губернатора и открыта была губерния в исходе декабря <1784> и присутственные места начали свое действие. С первых дней наместник и губернатор дружны были, всякий день друг друга посещали, а особливо последний первого; хотя он во всех случаях оказывал почти несносную гордость и превозношение, но как это было не в должности, то и подлаживал его правитель губернии, сколько возмог и сколько личное уважение требовало. Но когда он прислал в губернское правление при своем предложении целую книгу законов, им написанных и императорскою властью не утвержденных <...>, усомнился Державин принять те законы к исполнению, а для того пошел к нему в дом, взяв с собою печатный указ, состоявшийся в 1780 году, в котором воспрещалось наместникам ни на одну черту не прибавлять своих законов и исполнять в точности императорскою только властью изданные; ежели ж в новых каковых установлениях необходимая нужда окажется, то представлять Сенату, а он уже исходатайствует ее священную волю. Прочетши сей закон, наместник затрясся и, побледнев, сказал (надеясь на благорасположение к себе и на ненависть ко мне князя Вяземского): «Я пошлю к генерал-прокурору курьера, и что он мне скажет, так и сделаем». Чрез несколько дней показал он Державину письмо князя Вяземского, который ему отвечал: «Чего, любезный друг, в законах нет, того исполнять неможно». После того получил от него письмо, вследствие которого сказал Державину, чтоб он пересмотрел те присланные им законы, и которые не противны учреждению и регламентам, те бы принял к исполнению, а которые противны, те оставил без исполнения. Это Державин исполнил: пересмотрел обязанность губернского правления и несходственное с учреждением и другими законами отверг, а о прочих сказал в определении, учиненном в правлении, чтоб присутственные места, подчиненные губернскому правлению, и палаты, каждое по своей должности, поступали бы по законам, и в случае невозможности, чрез стряпчих и прокуроров учиня замечания, представили бы куда следует. Так и сделано. Таким образом и пошло кое-как течение дел. Наместник казался довольно дружен: всякий вечер и с жена-

ми бывали вместе на вечеринках друг у друга. Но спустя несколько времени объявил он, что хочет осматривать присутственные места в рассуждении канцелярского порядка и течения самых дел. На другой день и действительно приступил к свидетельству. Начал с губернского правления. По глупому честолюбию его и чрезвычайному тщеславию, желалось ему, чтоб была встреча ему сделана, так сказать, императорская, то есть чтоб он встречен был губернатором и всеми присутствующими чинами на крыльце; но Державин принял его точно по регламенту, то есть встал и с советниками с места, показал ему президентские кресла, сам сел по правую сторону на стул. Наместник делал разные вопросы и привязывался к учрежденному порядку, то есть к заведенным записным книгам и прочему... <...> Словом, наместник не мог ни к чему дельной учинить привязки, выехал из правления для освидетельствования палат и других мест. Державин не почел за нужное провожать его туда, тем более представлять ему те места; ибо они учреждены были под собственным распоряжением самого генерал-губернатора, то губернатор и не вправе почел себя представлять то, что не он учреждал, тем паче таковые наместниковы постановления, которые противны были законам. Сие было ему также неприятно. Вследствие чего, когда он приехал к нему на обыкновенную ввечеру беседу, то он между разговорами, при многих прочих чиновниках, выхвалял палаты, а особливо казенную и уголовную, которые, хотя по собственным его прежним отзывам и по бумагам, были крайне неисправны, особливо же относил неудовольствие свое на нижние присутственные места, подчиненные губернскому правлению, говоря, что как они зависят от губернатора, то и должен довести недеятельность их до высочайшего сведения императрицы (губернатор его также в общем разговоре спросил: чем же он недоволен теми местами? — «Неисполнением его учреждений»,— он ответствовал. Губернатор сказал, что он наместник был сам в губернском городе, следовательно, и зависела от него, яко от президента губернского правления, всякая поправка подчиненных ему мест); и что он непременно будет жаловаться ее величеству на губернатора, не токмо не помогавшего ему в ведении его благоучреждений, но расположенного против оных. Державин сказал, что

готов ответствовать на все то, что ему доносить угодно будет; но как это было между дружеских разговоров, то и не думал, чтоб имело какое впредь последствие. Накануне дал знать об отъезде своем в столицу губернскому правлению, а как губернатор приехал к нему с прочими чиновниками проститься и принять приказание, то он, важным и надменным образом пред всеми сделав ему выговор за его якобы неисправность, сказал, что он донесет о том ее величеству. Державин учтиво отвечал то же, что прежде,— что он будет ответствовать.

Вследствие чего, когда выехал наместник из границ губернии, то он дал губернскому правлению предложение, в котором сказал, что он по учреждению о губерниях в небытность генерал-губернатора, по губернскому наказу 1764 года, намерен лично освидетельствовать все присутственные места и палаты относительно их обрядов и течения дел, дабы быть в состоянии ответствовать, когда по жалобе наместника на него последует от вышней власти неудовольствие или какое взыскание. <...> Само по себе открылось великое неустройство и несогласица с существовавшими законами и регламентами, по коим места должны были отправлять их должности, ибо они поступали не по законам, а по новым постановлениям наместника. Словом, обнаружилось не токмо наглое своевольство и отступление наместника от законов, но сумасбродство и нелепица, чего исполнить было неможно, или по крайности бесполезно. <...> Таковые сумасбродства, записанные в журналах каждого правительства и суда, Державин приказал в засвидетельствованных копиях внесть тогда же в губернское правление, а подлинные, впредь для справок, оставить у себя, что всеми присутственными местами и исполнено. Тогда Державин, прописав выговор, сделанный ему за неисправность наместником, и, сославшись на сии канцелярские акты, послал донесение к императрице. <...> Формального ответа не было; но известно после стало, что наместник был лично призван пред императрицею, где ему прочтено было донесение губернаторское, и он должен был на коленях просить милости. С марта месяца <1785>, когда наместник отправился в столицу, лето целое прошло в безызвестии, чем решится или решилось происшествие между губернатором и наместником.

Между тем зачали оказываться неудовольствия наместника и разные притеснения и подыски на губернатора. <...> Между прочими, коих всех описывать было б пространно и не нужно, подан был протест от прокурора в медленном якобы течении дел. Сие было одно пресмешное о медведе. Надобно его описать основательнее, дабы представить живее всю глупость и мерзость пристрастия. По отъезде наместника скоро и брат его двоюродный, полковник Николай Тутолмин, бывший председателем в верхнем земском суде, отпущен был в отпуск на 4 месяца. На Фоминой неделе того суда заседатель Молчин шел в свое место мимо губернаторского дома поутру; к нему пристал, или он из шутки заманил с собою жившего в доме губернатора асессора Аверина медвежонка, который был весьма ручен и за всяким ходил, кто только его приласкивал. Приведши его в суд, отворил двери и сказал прочим своим сочленам шутя: «Вот вам, братцы, новый заседатель, Михайла Иванович Медведев». Посмеялись и тотчас же выгнали вон без всякого последствия. Молчин, вышедши из присутствия в обыкновенный час, зашел к губернатору обедать, пересказал ему за смешную новость сие глупое происшествие. Губернатор, посмеявшись, сказал, что дурно так шутить в присутственных местах и что ежели <дойдет> до него как формою, то ему сильный сделает напрягай. Прошел месяц или более, ничего слышно не было. Напоследок дошли до него слухи из Петербурга, что некто Шишков, заседатель того же суда, в угождение наместнику, довел ему историю сию с разными нелепыми прикрасами; а именно, будто медвежонок, по приказанию губернатора, в насмешку председателя Тутолмина, худо грамоте знающего, приведен был нарочно Молчиным в суд, где и посажен на председательские кресла, а секретарь подносил ему для скрепы лист белой бумаги, к которому, намарав чернилами, лапу медвежонка прикладывали, и будто как прочие члены стали на сие негодовать, приказывая сторожу медвежонка выгнать, то Молчин кричал: «Не трогайте, медвежонок губернаторский». Хотя очевидна была таковая или тому подобная нелепица всякому, но как генерал-прокурору и генерал-губернатору она была благоугодна, то рассказывали ее по домам за удивительную новость и толковали весьма для Державина невыгодно, и видно,

сделан был план в Петербурге, каким образом клевету сию произвести самым делом. В июле месяце, когда председатель Тутолмин возвратился из Петербурга к своему месту, то, не явившись к губернатору, в первое свое присутствие в суде сделал журнал о сем происшествии по объявлению ему якобы от присутствующих. Услышав о сем, губернатор посылал к нему, чтоб он прежде с ним объяснился, нежели начинал дело на бумаге, более смеха, нежели уважения достойное. Он сие пренебрег и вошел рапортом в губернское правление: выводя обиду ему и непочтение присутственному месту, просил, во удовлетворение его, с кем следует поступить по законам. Губернатор, получа такой странный рапорт и приметя в нем, что будто о каком государственном деле донесено во известие и наместнику, то чтоб не столкнуться с ним в резолюциях, медлил несколько своим положением, дабы увидев, что прикажет наместник, то и исполнить. Но как от него также никакого решения не выходило, то прокурор и вошел с протестом, что дела медлятся, указывая на помянутый рапорт верхнего земского суда.

Губернатор, видя, что к нему привязываются всякими вздорами, дал резолюцию, чтоб, призвав наместника Тутолмина в губернское правление, поручить ему сделать выговор заседателю Молчину за таковой его неуважительный поступок месту и рекомендовать впредь членам суда быть осторожнее, чтоб они при таковых случаях, где окажется какой беспорядок, шум или неуважение месту, поступали по генеральному регламенту, взыскивая тотчас штраф с виновного, не выходя из присутствия. Наместник, получа таковую резолюцию и как она ему не понравилась, то будто не видал ее, а по рапорту суда предложил губернскому правлению отдать Молчина под уголовный суд. Державин, получа оное, сказал, что он по силе учреждения переменить определения губернского правления не может, а предоставляет наместнику по его должности рапортовать на него Сенату. Губернский прокурор и наместник — один с протестом, а другой — с формальною жалобою отнеслись <к> сему правительству. Генерал-прокурор рад был таковым бумагам; подходя к сенаторам, говорил всякому его тоном: «Вот, милостивцы, смотрите, что наш умница стихотворец делает: медведей — председателя-

ми». Как известно, что Сенат был тогда в крайнем порабощении генерал-прокурора и что много тогда также и наместники уважались, то и натурально, что строгий последовал указ к Державину, которым требовалось от него ответа, как бы по какому государственному делу. Ежели бы не было опасности от тех, кто судит, то никакой не было трудности ответствовать на вздор, который сам по себе был ничтожен и доказывал только пристрастие и недоброхотство генерал-прокурора и наместника; но как столь сильных врагов нельзя было не остерегаться, то Державин заградил им уста, сказав между прочим в своем ответе, что в просвещенный век Екатерины не мог он подумать, чтоб почлось ему в обвинение, когда он не почел страшного сего случая за важное дело и не велел произвесть по оному следствия, как по уголовному преступлению, а только словесный сделал виноватому выговор, ибо даже думал непристойным под именем Екатерины посылать в суд указ о присутствии в суде медведя, чего не было и быть не могло. Как бы то ни было, только Сенат, потолковав ответ, положил его, как называется, в долгий ящик под красное сукно.— Множество было подобных придирок, но все пред невинностью и правотою, под щитом Екатерины, невзирая на недоброхотство Вяземского и Тутолмина, исчезли. Державин был переведен в лучшую, Тамбовскую губернию.

В исходе, однако, летних месяцев, чтоб как-нибудь очернить Державина и доказать неуважение его к начальству и непослушность, Тутолмин делает ему такие поручения, которые, с одной стороны, были не нужны, а с другой, в исполнении почти невозможны. В исходе августа прислал он повеление осмотреть губернию и открыть город Кемь, лежащий при заливе Белого моря, недалеко от Соловецкого монастыря. Это почти было невозможное дело, потому что в Олонецкой губернии, по чрезвычайно обширным болотам и тундрам, летним временем проезду нет, а ездят зимою, и то только гусем; в Кемь же только можно попасть из города Сум на судах, когда молебщики в мае и июне месяцах ездят для моленья в Соловецкий монастырь, а в августе и прочие осенние месяцы, когда начинаются сильные противные погоды, никто добровольно, кроме рыбаков в рыбачьих лодках, не ездит. Но Державин, невзирая на сии препятствия, дабы показать всегдашнюю

его готовность к службе, предпринял исполнить повеление наместника, и действительно исполнил, хотя с невероятною почти трудностью, объездя более 1500 верст то верхом на крестьянских лошадях по горам и топям, то в челночках по озерам и рекам, где не токмо суда, но и порядочные лодки проезжать не могут. Приехав в Кемь, не нашел тут не токмо присутственных мест, ни штатной команды, но ниже одного подьячего, хотя наместник его уверил, что он все нужное найдет там готовым. Из сего понятен был, можно сказать, злодейский умысел наместника, потому что ежели б Державин не поехал, то бы он сказал, что он непослушен начальству или по трусости неспособен к службе: в противном случае, он почти уверен был, что благополучно не может совершить сего опасного путешествия, что и сделалось было самым делом, как ниже увидим. Но божий промысл против злых намерений человеков делает, что ему угодно. Державин, приехав в Кемь, увидел, что нельзя открывать города, когда никого нет. Однако, чтоб исполнить повеление начальника, он велел сыскать священника, которого чрез два дня насилу нашли на островах на сенокосе, велел ему отслужить обедню и потом молебен с освящением воды, обойти с крестами селение и, окропя святою водою, назвать по высочайшей воле городом Кемью, о чем оставил священнику письменное объявление, приказав о том по его команде отрапортовать Синоду, а сам таковой же рапорт послал в Сенат.

Возвращаясь, хотел было заехать в Соловецкий монастырь, который лежит от Кеми верстах в 60; но с одной стороны, как монастырь Соловецкий Архангельской губернии, то не хотел он без позволения выехать из своей, а с другой, как поднялся противный ветер, и был он в шестивесельной рыбацкой <лодке>, в которой против погоды плыть по морю никоим образом было неможно, то и приказал направлять свою лодку по погоде, и как уже день склонялся на вечер, надобно было доехать засветло до синеющих впереди каменных пустых островов или морских курганов. Но восстала страшная буря, молния и гром, так что нельзя было без освещения молнии и различать совсем предметов; то и проехали было совсем назначенные к отдохновению своему острова; но лоцман по домёкам узнал, что те острова вправо и что почти их проезжаем. Ежели к островам, то

ветер будет боковой или, как мореходцы называют, бедевен, а ежели прямо по ветру, то может легко замчать в средину Белого моря или в самый океан. Державин приказал держать к островам вправо. Лишь руль повернули, паруса упали, лодка искосилась набок, то и захлебнулась было волнами, и неминуемо бы потонули; но бог чудным <образом> спас погибающих. Державин хотя никогда не бывал на море, но не оробел и не потерял духу, когда бывшие с ним экзекутор, вышеупомянутый Емин и секретарь Грибовской, который после был статс-секретарем при императрице, замертво почти без чувств лежали, да и самые гребцы, как были лапландцы, неискусные мореходцы, оцепенели, так сказать, и были недвижимы, то одна секунда и вал надобны были к погребению всех в морской бездне. В самое сие мгновение Державин вскочил, закричал на гребцов, чтоб не робели, подняли веслы, на которые лодка несколько оперлась и вдруг очутилась за камнем, который волнами воспрепятствовал ее залить. Таковым, можно сказать, чудом спаслись от потопления, и Державин тогда в уме своем подумал, что, знать, он еще промыслом оставлен для чего-нибудь на сем свете. В память сего после написал он оду под названием «Буря», которая напечатана в первой части его сочинений. Переночевав на сих островах, или, лучше сказать, пустых камнях, поутру, хотя также не без опасности, но приехали благополучно в город Онегу Архангельской губернии; оттуда же сухим путем в город Каргополь, который есть наилучший в Олонецкой губернии как хлебопашеством, так и торговлею.

Возвратился из сего путешествия в исходе сентября и скоро после того получил указ о перемещении в Тамбовскую губернию <...> и отправился в Петербург, оставя благополучно навсегда Олонецкую губернию, не сделав никого несчастливым и не заведя никакого дела.

<...> Пробыв в оном до марта, поехал в нововверенную ему Тамбовскую губернию, прекратя некоторые дурные на него внушения императрице от известных его недоброжелателей и их приятелей...

По приезде в Тамбов, в исходе марта или в начале апреля <1786>, нашел сию губернию по бывшем губернаторе Макарове, всем известном человеке слабом, в крайнем расстройстве. Сначала с генерал-губернатором

графом Гудовичем весьма было согласно, и он губернатором весьма был доволен, как по отправлению его настоящей должности, так и по приласканию общества и его самого: когда он летом посетил Тамбов, в честь его был устроен праздник... <...> Таковые были в продолжение лета, осени и зимы и даже в наступающем году; но они не токмо служили к одному увеселению, но и к образованию общества, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так было грубо и необходительно, что ни одеться, ни войти, ни обращаться, как должно благородному человеку, не умели, или редкие из них, которые жили только в столицах. Для того у губернатора в доме были всякое воскресенье собрания, небольшие балы, а по четвергам концерты, в торжественные же, а особливо в государственные праздники — театральные представления, из охотников, благородных молодых людей обоего пола составленные. Но не токмо одни увеселения, но и самые классы для молодого юношества были учреждены поденно в доме губернатора таким образом, чтоб преподавание учения дешевле стоило и способнее и заманчивее было для молодых людей; например, для танцевального класса назначено было два дня в неделю после обеда, в которые съезжались молодые люди, желающие танцевать учиться. Они платили танцмейстеру и его дочери, которые нарочно для того выписаны были из столицы и жили в доме губернатора, по полтине только с человека за два часа, вместо того, что танцмейстер не брал менее двух рублей, когда бы он ездил к каждому в дом. Такое же было установление и для классов грамматики, арифметики и геометрии, для которых приглашены были за умеренные цены учители из народных училищ, у которых считалось за непристойное брать уроки девицам в публичной школе. Дети и учители были обласканы, довольствованы всякий раз чаем и всем нужным, что их чрезвычайно и утешало и ободряло соревнованием друг против друга. Тут рисовали и шили, которые повзрослее девицы, для себя театральное и нарядное платье по разным модам и костюмам, также учились представлять разные роли. Сие все было дело губернаторши, которая была как в обращении, так и во всем в том великая искусница и сама их обучала. Сие делало всякий день людство в доме губернатора и так привязало к губернаторше все общество, а особливо де-

тей, что они почитали за чрезвычайное себе наказание, ежели когда кого из них не возьмут родители к губернатору. Несмотря на то, чрезвычайная сохранялась всегда пристойность, порядок и уважение к старшим и почтенным людям. О сем долгое время сохранялась, да и поныне сохраняется память в тамошнем краю.

<...>Но губернатор в сии увеселения почти не мешался, и они ему нимало не препятствовали в отправлении его должности, о которой он беспрестанно пекся, а о увеселениях, так же, как и посторонние, тогда только узнавал, когда ему в кабинет приносили билет и клали пред него на стол. Сие его неусыпное занятие должностию обнаруживалось скорым и правосудным течением дел и полицейскою бдительностью по всем частям управы благочиния, что также всем не токмо тогда было известно, но и доныне многим памятно. Сверх того, сколько мог, он вспомоществовал и просвещению заведением типографии, где довольное число печаталось книг, переведенных тамошним дворянством, а особливо Елисаветою Корниловною Ниловою. Печатались также и для поспешности дел публикации и указы, которые нужны были к скорейшему по губернии сведению; были также учреждены и губернские газеты для известия о проезжих чрез губернию именитых людях и командах, и о ценах товаров... <...> Словом: в 1786 и 1787 году все шло в крайнем порядке, тишине и согласии между начальниками. <...>

...успехи, тотчас показавшиеся от учения, как-то между прочим, например, что чрез несколько месяцев появилось во всем Тамбове в церквях итальянское пение. Это было сделано так, что один придворный искусный певец, спадший с голоса, служил секретарем в нижней расправе и в состоянии был учить класс вокальной музыке. А как известно, что купечество в России везде охотники до духовного пения, то губернатор, прибавя сказанному секретарю несколько жалованья из приказа общественного призрения к получаемому им из расправы, велел учредить певческий класс по воскресеньям для охотников: то тотчас и загремела по городу вокальная музыка. Забавно и приятно видеть, когда слышишь вдруг человек 490 детей, смотрящих на одну черную доску и тянущих одну ноту. А как и другие науки (как то арифметика), чтение и писание прекрасное показались

по городу, и сенаторы граф Воронцов и Нарышкин, в начале 1787 года осматривавшие губернию, подтвердили народную похвалу императрице относительно правосудия, успешного течения дел, безопасности, продовольствия народного и торговли, также приятных собраний и увеселений, так что начало знатное дворянство не токмо в губернский город часто съезжаться, но и строить порядочные домы для их всегдашнего житья, переезжая даже из Москвы; то все сие и возродило в наместнике некоторую зависть. Сие прежде всего приметно стало из того, что он зачинал к себе требовать и брать артистов, против воли губернатора и их самих, в Рязань для устройства там театра и прочих увеселений,— как то машиниста, живописца и балетмейстера, которых губернатор старанием своим выписал и содержал разными вымышленными им без ущерба казны и чьей-либо тягости способами, как то выше явствует.

Но в течение сего же года открылось уже явное наместника неудовольствие против губернатора. <...> Надобно знать, что наместник сей, или генерал-губернатор, был, как выше сказано, господин Гудович, человек весьма слабый, или, попросту сказать, дурак, набитый барскою пышностию... <...>

В сентябре <1788 года> получен указ из Сената, последовавший по жалобе наместника, в коем многие глупые небылицы и скаредные клеветы на Державина написаны были: между прочим, что будто он его за ворот тащил в правление, что будто в присутствии его в правлении сделанные им распоряжения не исполнял, что накопил недоимки, и другие всякие нелепицы, но ни одного истинного и уважения достойного проступка <или> дела не сказал. Губернатору не трудно было на такой сумбур ответствовать и опровергнуть лжи прямым делом. Но как знал он канцелярский обряд, что не на справках основанные ответы подлежат сомнению и что начальничьи донесения более возымеют весу, нежели его ответы, то, отлучив его от должности, предадут дело в Сенат <к> законному суждению, а Сенат несколько лет будет собирать справки, которые в угодность генерал-губернатору будут такие, какие ему только будут угодны; словом, ежели не обвинят, то вечно просудят, чего им только и хотелось, дабы не допустить Державина в столицу, или лучше до лицезрения импе-

ратрицы; ибо таков есть закон: кто под судом, тот не допускается ко двору. Державин, все сие предвидев, взял меры, дабы отвратить от себя столь злобно ухищренную напасть. Он, не объявя указа в правлении, призвал к себе секретарей и приказал им, якобы по другой какой надобности, справиться о всем, о чем требует с него Сенат ответа, каждому по своей экспедиции и за подписанием их и советников по их частям, взнесть к нему в канцелярию. Они сие исполнили, и советники, не знав, что по поводу сенатского указа те справки требованы, подписали, а губернский прокурор пропустил, не сделав никакого возражения. Тогда губернатор объявил правлению сенатский указ и тот же час, основав на тех справках свой ответ, отправил в Сенат. Прокурор и советники, бывши преданы из трусости наместнику, увидели, что сплошали, не затруднив справок. Первый из них, послав нарочного к генерал-губернатору с известием, что губернатор требует справок против сенатского указа, получил с тем же посланным предписание, чтоб никак не давать справок; но было уже поздно. Гудович, будучи о сем извещен, послал в Сенат жалобу на Державина, говоря, что он под видом справок отдал якобы его под суд губернскому правлению. Ему больно было, что справками обнаружились его лжи и черной души клевета. <...>

Сенат, получив вторую жалобу, хотя не мог почесть ее за основательную, но <...> определил, не дождавшись на указ от Державина ответа, поднесть ее величеству доклад, в котором почел ему то в вину, что он долго якобы ответа не присылал, несмотря на то, что в законах определенного на ответы срока еще не прошло и что не токмо третичного, но и вторичного побудительного указа к нему послано не было. <...> Императрица, получив таковой явно пристрастный доклад, без ответа обвиняющий Державина, проникла на него гонение и для того, положив его пред собою, оставила без конфирмации. Между тем Державин в узаконенный срок прислал ответ; но его Сенату не докладывали, а читали тайно по кабинетам и, увидев гонимого во всем невинность, положили безгласным под красное сукно, вымышляя между тем способы и разные козни, чем бы обвинить Державина и подвигнуть на него гнев императрицы.

Прошло месяца с два, что дело оставалось без всякого движения, и все думали, что императрица взяла сторону Державина, и ему ничего не будет. Но в ноябре месяце настал срок к новому выбору судей. Наместник приехал, и дворяне съехались. Губернатор, получая о том ежедневно рапорты, пришел к нему в день баллотирования и с должною учтивостию спрашивал его, что он ему по сему случаю прикажет. Он с презрением ему отвечал: «Ничего».—В обряде выборов и на него возложена должность.— «Мне вы ни на что не надобны». Губернатор, поклонясь, вышел вон и тот же час прислал к нему рапорт с прописанием, что он <был> у него и просил его повеления, но он его без всякой причины удалил от выборов: то ежели что случится в продолжение оных несогласное с законами, то чтобы уже он сам за то изволил ответствовать. Сия наместника, так сказать, письменная явка наиболее раздражила. Он послал к графу Безбородке убедительное партикулярное письмо, написав в нем личные оскорбления и всякие нестерпимые нелепости на губернатора, прося, чтобы он удален был из губернии, описывая, что он и при настоящем выборе дворян делает затруднение и замешательство. Граф Безбородко по тому письму докладывал, и тогда-то уже вышла конфирмация императрицы на вышеупомянутый сенатский доклад, в которой сказано, чтоб, удаля Державина из Тамбовской губернии, взять с него ответы, которые рассмотреть в Москве в 6-м Сената департаменте. Возрадовались все его гонители, и вместо того, чтоб справедливый Сенат и истинный защитник невинности должен был сказать и войти с докладом, что ответы уже Державиным присланы, и как в них не находится никакой вины его, то предать ее величества благосоизволению; напротив, тотчас препроводили в Москву, опасаясь допустить оклеветанного в Петербург, чтоб как-либо присутствием своим в сем городе не открыл своей невинности, ибо письменных жалоб его не боялись, потому что они, преходя чрез руки статс-секретарей и почт-директора, приятелей и приверженцев их, не могли никак проникнуть до императрицы. Словом, Державин был в крайнем со всех сторон утеснении, ибо Вяземского и Безбородкина партия, то есть Сенат, генерал-прокурор, генерал-губернатор и статс-секретари,— все были против него. <...>

Таким образом должен он был, против желания всех благомыслящих, в исходе 1788 года оставить Тамбовскую губернию, в которой он много полезного сделал, как то:

1. Написал топографию губернии.

2. Учредил в губернском правлении порядок для сокращения производства, которого прежде не было...<...>

3. Подобно сему, сокращены и исполнены были самым делом, а не на одной только бумаге, губернские публикации, которых, как известно, во всяком правлении от почты до почты вступает великое множество.<...>

4. Ведомости, получаемые из казенной палаты о получении доходов и о недоимках, а равно и из судебных мест о решенных и нерешенных делах, согласно законам и учреждению, приказал присылать только в два срока, а не несколько раз, как и когда кому вздумалось, и делал по ним градской и сельской полиции только два раза в год предписание, штрафуя неисправных без лицеприятия, чем и труд облегчался, и исполнение чинилось действительнее, как по запутанности дел частые, но слабые предписания.

5. По казенной части в сборе податей и свидетельств казны на основании законов такое сделал по зависящим от губернского правления местам распоряжение, что и поныне государственное казначейство при ревизовании счетов руководствуется оным.

6. Разобрал по точной силе законов вины преступников, содержащихся без всякого прежде различия в тюрьмах, сделав распоряжение, кого отпустить на расписки и поручительство, кого содержать строже, кого слабее, рассадя их всех по особым номерам, по мере их вин и преступлений, и перестроя из старых строений, с пособием сумм приказа общественного призрения, благоучрежденный тюремный дом с кухнею, лазаретом, приказал в нем содержать возможную чистоту и порядок, чего прежде не было, а содержали в одной, так сказать, яме, огороженной палисадником, по нескольку сот колодников, которые с голоду, с стужи и духоты помирали, без всякого о них попечения.

7. Учредил типографию, в которой печатались не токмо указы сенатские, но и прочие скорого исполнения требующие предписания губернского правления, а также и губернские ведомости о ценах хлеба, чем обуздывалось

своевольство и злоупотребление провиантских коммиссионеров, и о прочем, к сведению обывателей нужном.

8. Исследованы препятствия и затруднения судовому ходу по реке Цне, по коему суда назад от Рыбной не возвращались, и к облегчению плавания придуманы средства... <...>

9. Купил по препоручению императрицы для запасного петербургского хлебного магазина муки около 100 000 кулей, который <хлеб> обошелся с поставкою дешевле провиантского ведомства 115 копейками, из чего видно, что он бы мог положить себе в карман без всякой опасности до 100 000 рублей.

10. Открыл убийство в Темникове княгини Девлеткильдеевой племянником ее Богдановым, которое совершилось, так сказать, с сведения городничего и прочих земских чиновников. Исправил дороги, приумножил доходы приказа общественного призрения в год до 40 тысяч рублей.

Но несмотря на все сии попечения и заботы о благосостоянии вверенной губернии, Державин, по злобе сильных его недоброжелателей, отлучен из Тамбова и явился в Москве к суду 6-го Сената департамента, по вышесказанному доносу наместника, отправя жену свою к матери ее в Петербург.

Отделение VI

По отлучении от губернаторства до определения в статс-секретари, а потом в сенаторы и в разные министерские должности.

Приехав в Москву, помнится, в рождественский пост <1788>, явился в Сенат; нашел дело еще не докладованным. <...> Протекло уже 6 месяцев, Державин шатался по Москве праздно и видел, что такая проволочка единственно происходит из угождения князю Вяземскому, потому что, не находя его ни в чем винным, отдаляли оправдание, дабы не подпасть самим под гнев императрицы. Наконец, он нерешимостью наскучил и как въезж был в дом князя Волхонского и довольно ему знаком, водя с ним в бытность его в Петербурге

хлеб и соль, то, приехав в один день к нему, просил с ним переговору в его кабинете. Князь не мог от сего отговориться. Державин начал ему говорить: «Вы, слава богу, князь, сколько я вижу, здоровы, но в Сенат въезжать не изволите, хотя там мое дело уже с полгода единственно за неприсутствием вашим не докладывается. Я уверен в вашем добром сердце и в благорасположении ко мне; но вы делаете сие мне притеснение из угождения только князю Александру Алексеичу, то я уверяю ваше сиятельство, что ежели будете длить и не решите мое дело так или сяк (я не требую моего оправдания, ибо уверен в моей невинности), то принужденным найдусь принесть жалобу императрице, в которой изображу все причины притеснения моего генерал-прокурором, как равно и состояние управляемого им государственного казначейства самовластно и в противность законов, как он раздает жалованье и пенсионы кому хочет, без указов ее величества, как утаивает доходы, дабы в случае требования на нужные издержки показать выслугу пред государынею, нашедши якобы своим усердием и особым распоряжением деньги, которых в виду не было, или совсем оные небрежением других чиновников пропадали, и тому подобное; словом, все опишу подробности, ибо, быв советником государственных доходов, все крючки и норы знаю, где скрываются, и по переводам сумм в чужие края умышленно государственные ресурсы к пользе частных людей, прислуживающих его сиятельству. Коротко, хотя буду десять лет под следствием и в бедствии, но представлю не лживую картину худого его казною управления и злоупотребления сделанной ему высочайшей доверенностью. То не введите меня в грех и не заставьте быть доносчиком противу моей воли: решите мое дело, как хотите, а там бог с вами, будьте благополучны».

Князь Волхонский почувствовал мои справедливые жалобы, обещал выехать в Сенат, что и действительно в первый понедельник исполнил, и дело мое, яко на справках основанное и ясно доказанное, в одно присутствие кончено. Хотя казенная палата и сам генерал-губернатор изобличены в небрежении их должности, а губернатор напротив того найден ни в чем не виноватым, но о них ничего не сказано, а о нем, что как де он за справки, требованные им из губернского правления

против генерал-губернатора, удален от должности, то и быть тому так. Сведав таковое кривое и темное решение, Державин, не имев его в руках формально, не мог против оного никакого делать возражения; ибо тогда не было еще того узаконения, чтоб по следственным делам объявлять подсудимым открыто решительные определения и давать им две недели сроку на написание возражения, буде дело решено несправедливо и незаконно. Державин не знал, что в сем утеснительном положении делать и как отвратить пред императрицею сие маловажное само по себе, беззаконное определение Сената. И так принужден был дать чрез одного стряпчего обер-секретарю 2000 рублей за то, чтоб только позволил копию списать с того решительного определения, дабы, прибегнув к императрице с просьбою, в чем против оного не ошибиться; и также обер-прокурора князя Гаврилу Петровича Гагарина упросил, чтоб ему объявлено было в Сенате, что дело его решено и до него более никакого дела нет, дабы он мог уже свободно ехать в Петербург. При сем случае, к чести должно сказать графа Петра Ивановича Панина, который<...> по пугачевскому саратовскому происшествию был к нему недоброжелателен и его гнал, но когда приехал в Москву и был у него, то он его принял благосклонно и оказал ему вспомоществование по сему делу, заступая у князя Гагарина, как и в сем случае, дабы объявлением в Сенате неимения до него никакого касательства учинить его отъезд в Петербург свободным. <...>

Приехав в Петербург <...>, послал он чрез почту к императрице письмо, в котором объяснил, что по жалобам на него генерал-губернатора, чрез Сенат присланным, он принес свои оправдания и надеется, что не найдется виноватым; но по неизвестным ему оклеветаниям, в которых от него никакого ответа требовано не было, он сомневается в заключении Сената: может быть, не поставлено ли ему в вину, что он брал против доносов на него генерал-гебурнатора из губернского правления справки, то он ссылается на законы, которые запрещают без справок дела производить, а потому и требовал оных, дабы бессомнительно объяснить истину. Почему и просил, чтоб приказала государыня, при докладе Сената, прочесть и сие его объяснение. Письмо дошло до императрицы. Скоро после того узнал он, что граф Без-

бородко объявил Сенату словесное ее величества повеление, чтоб считать дело решенным; а найден ли он винным или нет, того не сказано, и приказано ему тогда же явиться ко двору. Статс-секретарь Александр Васильевич Храповицкий объявил ему высочайшее благоволение, что она автора «Фелицы» обвинить не может, а гоф-маршалу, чтоб представлен он был ее величеству. Удостоясь соблаговолением лобызать руку монархини и отобедав с нею за одним столом в Царском Селе, возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе? А потому и решился еще писать к императрице и действительно то исполнил, изобразя в письме своем объявление Храповицким о невинности его и благодарение за правосудие, прося (не из корыстолюбия, но чтоб в правительстве известно было его оправдание), по указу 1726 года, оставленного у него заслуженного жалованья и чтоб впредь до определения к должности производить; а также и просил у ее величества аудиенции для личного с нею объяснения по делам губернии.

Дня чрез два или три получил чрез г. Храповицкого повеление в наступающую среду быть в 9 часов в Царское Село для представления ее величеству. И действительно, в назначенный день и час явился. Храповицкий сказал мне, чтоб я шел в покои и приказал камердинеру доложить о себе государыне. Тотчас позван был в кабинет. Пришед в перламутровую залу, рассудил за благо тут на столе оставить имеющуюся со мною большую переплетенную книгу, в которой находились подлинником все письма и предложения г. Гудовича <...>, представя себе, что весьма странно покажется императрице увидеть меня к себе вошедшего с такою большою книгою. Коль скоро я в кабинет вошел, то, пожаловав поцеловать руку, спросила, какую я имею до нее нужду. Державин ответствовал: благодарить за правосудие и объясниться по делам губернии. Она отозвалась: «За первое благодарить не за что, я исполнила мой долг; а о втором, для чего вы в ответах ваших не говорили?» Державин донес, что противно было бы то законам, которые повелевают ответствовать только на то, о чем спрашивают, а о посторонних вещах изъяснять или доносить особо.— «Для чего же вы не объяс-

няли?» — «Я просился для объяснения чрез генерал-прокурора, но получил от него отзыв, чтоб просился по команде, то есть чрез генерал-губернатора; но как я имею объяснить его непорядки и несоответственные поступки законам, в ущерб интересов вашего величества, то и не мог у него проситься».— «Хорошо,— изволила возразить императрица,— но не имеете ли вы чего в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь?»—«Я не знаю, государыня,— сказал смело Державин,— имею ли какую строптивость в нраве моем, но только то могу сказать, что, знать, я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дворянин и без всякого покровительства, дослужился до такого чина, что мне вверялися в управление губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было».— «Но для чего,— подхватила императрица,— не поладили вы с Тутолминым?» — «Для того, что он принуждал управлять губерниею по написанному им самопроизвольно начертанию, противному законам; а как я присягал исполнять только законы самодержавной власти, а не чьи другие, то я не мог никого признать над собою императором, кроме вашего величества».— «Для чего же не ужился с Вяземским?» Державин не хотел рассказывать всего вышеписанного относительно несохранения и беспорядков в управлении казенном, дабы не показаться доносителем, но отвечал кратко: «Государыня! Вам известно, что я написал оду «Фелице». Его сиятельству она не понравилась. Он зачал насмехаться надо мною явно, ругать и гнать, придираяся ко всякой безделице; то я ничего другого не сделал, как просил о увольнении из службы и, по милости вашей, отставлен».— «Что ж за причина несогласия с Гудовичем?» — «Интерес вашего величества, о чем я беру дерзновение объяснить вашему величеству, и, ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там».— «Нет,— она сказала,— после». Тут подал ей Державин краткую записку всем тем интересным делам, о коих месяцев 6 он представление сделал Сенату... <...> Императрица, приняв ту записку, сказала, что она прикажет в Сенате привесть те дела в движение. Между тем, пожаловав руку, дополнила, что она прикажет удовлетворить его жалованьем и даст место. На другой день в самом деле вышел указ, которым велено Державину выдать заслуженное жалованье и

впредь производить до определения к месту. Сие Вяземского как гром поразило, и он занемог параличом. Державин, однако, по старому знакомству, как бы ничего не примечая, ездил изредка в дом его и был довольно принят ласково. Сие продолжалось несколько месяцев и, хотя по воскресеньям приезжал он ко двору, но как не было у него никакого предстателя, который бы напомянул императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным.

В таком случае не оставалось ему ничего другого делать, как искать входу к любимцу государыни и чрез него искать себе покровительства. В то время, по отставке Мамонова, вступил на его место молодой конной гвардии офицер Платон Александрович Зубов, который никак с ним не был знаком; ибо когда он служил в гвардии, тогда еще сей дитя фортуны был малолетен и бегал с своим семейством туда и сюда, от Пугачева укрываясь.— Но что делать? надобно было сыскивать случаю с ним познакомиться. Как трудно доступить до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что или почивает, или ушел прогуливаться, или у императрицы. Таким образом, ходя несколько <раз>, не мог удостоиться ни одного раза застать его у себя. Не осталось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Вследствие чего написал он оду «Изображение Фелицы» и к 22-му числу сентября, то есть ко дню коронования императрицы, передал чрез Эмина, который в Олонецкой губернии был при нем экзекутором и был как-то Зубову знаком. Государыня, прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу. Это было в 1788 году. С тех пор он сему царедворцу стал знаком, но, кроме ласкового обращения, никакой от него помощи себе не видал. Однако и один вход к фавориту делал уже в публике ему много уважения; а сверх того и императрица приказала приглашать его в эрмитаж и прочие домашние игры, как то на святки, когда они наступали, и прочие собрания. В доме Вяземского был также принят хорошо; но как брат фаворитов, то есть Дмитрий Александрович Зубов, сговорил на меньшой дочери Вяземского, и Державин приехал его поздравить, то княгиня, приняв хо-

лодно, показала ему спину. Сие значило то, что как они сделались чрез сговор дочери с любимцем императрицы в свойстве, то и не опасались уже, чтоб Державин у него мог чем их повредить. Чрез сей низкий поступок княгини так ему дом их омерзел, что он в сердце своем положил никогда к ним не ездить, что и в самом деле исполнил по самую князя кончину.<...>

Княгиня Дашкова по старому знакомству чрез первую оду «Фелице», напечатанную в «Собеседнике», так же автора, как и прежде, благосклонно принимала и говорила императрице много о нем хорошего, твердя беспрестанно с похвалою о вновь сочиненной им оде «Изображение Фелицы», чем вперила ей мысли взять его к себе в статс-секретари или, лучше, для описания ее славного царствования. Сия княгиня Державину и многим своим знакомым, по склонности ее к велеречию и тщеславию, что она много может у императрицы, сама рассказывала. Таковое хвастовство не могло не дойти до двора и было, может, причиною, что Державин более двух годов еще после того не был принят в службу, а особливо на рекомендованный пост княгинею Дашковою...<...>

В ноябре или декабре месяце сего года взят Измаил. С известием сим фельдмаршал князь Потемкин прислал ко двору, чтоб более угодить императрице, брата любимцева, Валериана Александровича Зубова, что после был графом и генерал-аншефом. В самое то время случился в комнатах фаворита и Державин. Он, в первом восторге о сей победе, дал слово радостному вестнику написать оду, которую и написал под названием «На взятие Измаила». Она напечатана в 1-й части его сочинений. Ода сия не токмо императрице, ее любимцу, но и всем понравилась; следствием сего было то, что он получил в подарок от государыни богатую осыпанную бриллиантами табакерку и был принимаем при дворе еще милостивее. Государыня, увидев его при дворе в первый раз по напечатании сего сочинения, подошла к нему и с усмешкою сказала: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна». Князь Потемкин, приехав из армии, стал к автору необыкновенно ласкаться...<...>

В течение сего времени случилась между князем Потемкиным и любимцем графом Зубовым неприятная

для Державина история, в которую он нечаянным образом стал замешан. В одно время, при множестве предстоящих пред князем поклонников, бежал как бешеный, некто отставной провиантского стата майор Бехтеев и закричал громко: «Помилуйте, ваша светлость, оборонитe от Александра Николаевича Зубова, который, надеясь на своего сына, ограбил меня». Князь, увидев столь азартного человека, произносящего дерзкую жалобу на человека, приближенного ко двору, и из осторожности, может быть, чтоб не произнес еще каких язвительных слов на столь знаменитого обидчика, или чтоб не подать поводу мыслить о не весьма хорошем его расположении к фавориту (ибо между ими не хорошо было), встал стремительно с места и, взяв Бехтеева за руку, увел к себе в кабинет. Там, с добрые полчаса быв наедине, что они говорили, неизвестно. Но только когда вышли, то, спустя несколько, стали предстоящие пошептывать, что старик Зубов отнял у Бехтеева наглым образом деревню; что несмотря на случай <сына>, отдадут грабителя под суд. В продолжение дня говорили о сем во всех знатных домах, как то у графов Безбородки, Воронцова, кн. Вяземского и прочих для того, что отец фаворитов своим надменным и мздоимочным поведением уже всем становился несносен. На другой же день поутру явился Бехтеев к Державину и стал усердно просить, чтоб он был с его стороны в совестном суде посредником, в который он подал на старика Зубова прошение. Державин, сколько мог, отговаривался от сей чести, извиняяся, что он не может идти против отца того, который оказывает ему свое благорасположение. Но Бехтеев настоял в своем искании, ссылаясь на учреждение о губерниях, в котором именно воспрещено отказываться от посредничества в совестном суде. Державин не знал, что делать, выпросил сроку до завтра, поехал к молодому Зубову; рассказав ему все происшествие, бывшее у князя Потемкина, слухи городские и просьбу Бехтеева, желал от него узнать, что ему делать и как поступить в сем щекотливом обстоятельстве; ибо, с одной стороны, не позволяет ему закон отказываться от посредничества, а с другой, неприятно ему против родителя его противоборствовать, который никоим образом не может быть правым. Изъяснил ему существо дела. Оно состояло в следующем: «Бехтеев в

Володимерском уезде, в соседстве с вашими деревнями, заложив в воспитательном доме 600 душ за 40 000 рублей, просрочил. Батюшка ваш, без всякого права и против законов воспитательного дома, по единственному своему могуществу, взнес без доверенности Бехтеева деньги и, выкупя чужое имение, предъявил закладную в гражданскую палату, которая, тож без всякого разбирательства и права, укрепя имение за взносчиком денег, сообщила наместническому правлению, а сие ввело его в действительное владение и Бехтеева с семейством выгнало из дому, отняв все его в нем и движимое имение в пользу батюшки вашего». Молодой вельможа, выслушав все с смущением, несколько минут молчал, а потом сквозь зубов сказал: «Не можно ли без дальней огласки миролюбием кончить сию тяжбу?»

Державин Бехтееву предложил, и он согласился, только чтоб возвращена была ему деревня; но старый Зубов иначе на мир не шел, как чтоб ему же Бехтеев заплатил якобы убытков шестнадцать тысяч рублей; а как сие совсем было несправедливо и стыдно было требовать их с Бехтеева, то молодой обещал отдать свои, только чтоб отцу не сказывать. Но с сим вместе об этом замолчал; ибо, как слышно было, что старик его переуверил было в своей правости. Бехтеев наступил на Державина, как на посредника, чтоб кончить скорее дело, грозя императрице подать письмо, чего недоброжелатели Зубова только и ждали, чтоб подвергнуть его ответу. Державин стал убедительно говорить любимцу императрицы против отца его, что, может быть, было и не весьма приятно; однако же убедил молодой Зубов старого, и дело чрез записи кончено миролюбием. Сего никогда не мог простить жадный корыстолюбец Державину; но ничего не мог ему сделать, хотя бы и желал, как по покровительству сына, так и Потемкина, который в сие время весьма был хорош к автору торжественных хоров для праздника на взятие Измаила, отправленного им в Таврическом его доме, который, по его кончине, переименован дворцом. Словом, Потемкин в сие время за Державиным, так сказать, волочился: желая от него похвальных себе стихов, спрашивал чрез г. Попова, чего он желает. Но, с другой стороны, молодой Зубов, фаворит императрицы, призвав его в один день к себе в кабинет, сказал ему от имени госу-

дарыни, чтоб он писал для князя, что он прикажет; но отнюдь бы от него ничего не принимал и не просил, что он и без него все иметь будет, прибавя, что императрица назначила его быть при себе статс-секретарем по военной части. Надобно знать, что в сие время крылося какое-то тайное в сердце императрицы подозрение против сего фельдмаршала, по истинным <ли> политическим каким, замеченным от двора причинам, или по недоброжелательству Зубова, как носился слух тогда, что князь, поехав из армии, сказал своим приближенным, что он нездоров и едет в Петербург зубы дергать. Сие дошло до молодого вельможи и подкреплено было, сколько известно, разными внушениями истинного сокрушителя Измаила, приехавшего тогда из армии. Великий Суворов,— но, как человек со слабостями, из честолюбия ли, или зависти, или из истинной ревности к благу отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала, которому, со всем своим искусством, должен был единственно по воле самодержавной власти повиноваться. Державин в таковых мудреных обстоятельствах не знал, что делать и на которую сторону искренно предаться, ибо от обеих был ласкаем.

В светлый праздник Христова воскресенья, как обыкновенно и ныне бывает, <был> съезд к вечерне, после которой императрица жаловала дам к руке в присутствии всего двора и имеющих к оному въезд кавалеров, в числе которых был и Державин. Вышед из церкви, повела она всех с собою в эрмитаж. Лишь только вошли в залу и сделали по обыкновению круг, то императрица с свойственным ей величественным видом прямо подошла к Державину и велела ему за собою идти. Он и все удивилися, недоумевая, что сие значит. Пришед в отдаленные эрмитажа комнаты, остановилась в той, где стоят ныне бюсты Румянцева, Суворова, Чичагова и прочих; начала приказывать тихо, как бы какую тайну, чтоб он сочинил Чичагову надпись на случай мужественного его отражения в прошедшем году в Ревеле сильнейшего в три раза против российского флота шведского, которая была б сколько возможно кратка, и непременно помещены бы были в ней слова сего мореходца. Когда она ему сказала, что идет сильный флот шведский против нашего ревельского, посылая

его оным командовать, то он ей отвечал равнодушно: *бог милостив, не проглотят*. Это ей понравилось. Приказав сделать его бюст, желала, чтоб на оном надпись именно из тех слов состояла. Державин, приняв повеление, не мог, однако, отгадать, к чему было такое ничего не значащее поручение и что при столь великом собрании отведен был таинственно с важностию в столь отдаленные чертоги, тем паче что на другой день, истоща все силы свои и в поэзии искусство, принес он сорок надписей и представил чрез любимца государыне, но ни одна из них ею не апробована; а написала она сама прозою, которую и ныне можно видеть на бюсте Чичагова. Опосле сие объяснилось и было не что иное, как поддражнивание или толчок Потемкину, что императрица, против его воли, хотела сделать своим докладчиком по военным делам Державина и для того его столь отличительно показала публике. Князь, узнав сие, не вышел в собрание и, по обыкновению его, сказавшись больным, перевязал себе голову платком и лег в постелю.

Однако же, в исходе Фоминой недели, то есть 28-го апреля, дал известный великолепный праздник в Таврическом своем доме, где императрица с всею высочайшею фамилиею при великолепнейшем собрании присутствовала. Там были петы вышеупомянутые сочиненные Державиным хоры, которыми быв хозяин доволен, благодарил автора и пригласил его к себе обедать, который обещал сочинить ему описание того праздника. Без сомнения, князь ожидал себе в том описании великих похвал, или́, лучше сказать, обыкновенной от стихотворцев сильным людям лести. Вследствие чего в мае или в начале июня, как жил князь в Летнем дворце, когда Державин поутру принес ему то описание, просил Василия Степановича доложить ему об оном, князь приказал его просить к себе в кабинет. Стихотворец вошел, подал тетрадь, а князь, весьма учтиво поблагодаря его, просил остаться у себя обедать, приказав тогда же нарочно готовить стол. Державин пошел в канцелярию к Попову,— дожидался, не прикажет ли чего князь; где свободный имел случай и довольно время объяснить, что мало в том описании на лицо князя похвал; но скрыл прямую тому причину, боясь неудовольствия от двора, а сказал, что как от князя никаких еще благодея-

ний личных не имел, а коротко великих его качеств не знает, то и опасался быть причтен в число подлых и низких ласкателей, каковым никто не дает истинного вероятия; а потому и рассудил отнесть все похвалы только к императрице и всему русскому народу, яко при его общественном торжестве, так, как и в оде на взятие Измаила; но ежели князь примет сие благосклонно и позволит впредь короче узнать его превосходные качества, то он обещал превознести его, сколько его дарования достанет. Но таковое извинение мало в пользу автора послужило: ибо князь когда прочел описание и увидел, что в нем отдана равная с ним честь Румянцеву и Орлову, его соперникам, то с фуриею выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал бог знает куда. Все пришли в смятение, столы разобрали — и обед исчез. Державин сказал о сем Зубову и не оставил, однако, в первое воскресенье, при переезде князя в Таврический его дом, засвидетельствовать ему своего почтения. Он принял его холодно, однако не сердито. Князю при дворе тогда очень было плохо. Злоязычники говорили, что будто он часто пьян напивается, а иногда как бы сходит с ума; заезжая к женщинам, почти с ним не знакомым, говорит несвязно всякую нелепицу. Но Державин, несмотря на то, и к Зубову и к нему ездил. В сие время без его согласия князем Репниным с турками мир заключен. Это его больше убило. Перед отъездом в армию, когда он был уже на пути в Царском Селе, по приезде с ним откланялся. Спрашивал еще Попов Державина, чтоб он открылся, не желает ли он чего — князь все сделает; но он, хотя имел великую во всем тогда нужду, по обстоятельствам, которые ниже объяснятся, однако, слышав запрещение, чрез Зубова, императрицы ни о чем его не просить, сказал, что ему ничего не надобно. Князь, получив такой отзыв, позвал его к себе в спальню, посадил наедине с собою на софу и, уверив в своем к нему благорасположении, с ним простился.

Должно справедливость отдать князю Потемкину, что он имел весьма сердце доброе и был человек отлично великодушный. Шутки в оде «Фелице» на счет вельмож, а более на его вмещенные, которые императрица, заметя карандашом, разослала в печатных экземп-

лярах по приличию к каждому, его нимало не тронули или, по крайней мере, не обнаружили его гневных душевных расположений, не так, как прочих господ, которые за то сочинителя возненавидели и злобно гнали; но напротив того, он оказал ему доброхотство и желал, как кажется, всем сердцем благотворить, ежели б вышеописанные дворские обстоятельства не воспрепятствовали. Вопреки тому, по отъезде князя в армию, любимец императрицы граф Зубов, хотя беспрестанно ласкал автора и со дня на день манил и питал в нем надежду получить какое-либо место, но чрез все лето ничего не вышло, хотя нередко открывал он ему тесные свои обстоятельства, что почти жить было нечем... <...> Как бы то ни было, но только нося благоволение любимца императрицы, Державин шатался по площади, проживая в Петербурге без всякого дела.

Но вдруг неожиданно получает рескрипт императрицы, которым повелевалось ему приложенное на высочайшее имя прошение венецианского посланника графа Моцениго на государственного банкира Сутерланда рассмотреть и, собрав по оному нужные справки, доложить ее величеству. Претензия его в том состояла, что Сутерланд имел с ним торговые сношения и, получив от него товары из Италии, употреблял их не так, как должно, и причинил ему чрез то убытку до 120 000 рублей; о чем хотя и относился он в коммерц- и иностранную коллегии, но оные ему, как и все министерство, никакого удовлетворения не сделали: то и просил он, чтоб ее величество, из особливого благоволения за его верную службу российскому двору, приказала сие дело рассмотреть действительному статскому советнику Державину и ее величеству доложить. Сколько опосле известно стало, то на сие настроила его, графа Моцениго, княгиня Дашкова из каких-то собственных своих корыстных расчетов, без которых она ничего и ни для кого не делала. В собрании справок из многих мест по сему делу и в рассмотрении оных прошло несколько месяцев или, лучше, целое лето. В течение сего времени, то есть в октябре месяце, получено известие из армии, что князь Потемкин, оканчивавший поставленный на море князем Репниным с турками мир, скончался. Сие как громом всех поразило, а особливо императрицу, которая чрезвычайно о сем присноименном талантами и слабо-

стями вельможе соболезновала, и не нашли способнее человека послать на конгресс в Яссы для заключения мира, как графа, а потом князем бывшего Александра Андреевича Безбородку, которому приказала кабинетские свои дела сдать молодому своему любимцу графу Зубову. Державин посещал всякий день его; в надежде быть употреблену в дела, наверное, ласкался иметь какое-нибудь из оных и по статской части, которых превеликое множество недокладованных перешло от Безбородки к Зубову. Но ожидание было тщетно; дела валялись без рассмотрения, и ему фаворит не говорил ни слова, как будто никакого обещания ему от государыни объявлено не было.

Но в один день, как он к нему по обыкновению пришел, спрашивал как бы из любопытства молодой государственный человек: можно ли нерешенные дела из одной губернии по подозрениям переносить в другие? Державин, не знав причины вопроса, отвечал: «Нет, потому что в учреждении именно запрещено из одного губернского правления, или палаты, или какого-либо суда дела нерешенные переносить в другие губернии, да и нужды в том, по состоянию 1762 года апелляционного указа, никакой быть не может: ибо всякий недовольный имеет право переносить свое дело по апелляции из нижних судов в верхние, доводя их <т. е. его> до самого Сената; а потому всякое подозрение и незаконность решений уничтожатся сами по себе, если не в средних местах, то в сказанном верховном правительстве. Когда же еще апелляционного указа не было, то тяжущиеся по необходимой нужде от утеснения ли губернатора или судей, или по ябеде, дабы более запутать, переводили дела из воеводских, провинциальных и губернских канцелярий в подобные им места других губерний». Спрашивающий, получив полный ответ, замолчал и завел другую речь. В первое после того воскресенье слышно стало по городу, что когда обер-прокурор Федор Михайлович Колокольцев, за болезнию Вяземского правя по старшинству генерал-прокурорскую должность, был по обыкновению в уборной для поднесения ее величеству прошедшей недели сенатских мемории, то она, вышед из спальни, прямо с гневом устремилась на него и, схватя его за Владимирский крест, спрашивала, как он смел ковер-

кать ее учреждение. Он от ужаса помертвел и не знал, что ответствовать; наконец, сколько-нибудь собравшись с духом, промолвил: «Что такое, государыня! я не знаю».— «Как не знаешь? Я усмотрела из мемории, что переводятся у вас в Сенате во 2-м департаменте, где ты обер-прокурор, нерешенные дела из одной губернии в другую; а именно следственное дело помещика Ярославова переведено из Ярославской губернии в Нижегородскую; а в учреждении моем запрещено; то для чего это?» — «Таких, государыня, и много дел».— «Как, много? Вот вы как мои законы исполняете! Подай мне сейчас рапорт, какие именно дела переведены?» С трепетом бедный обер-прокурор, едва жив, из покоя вышел. Вследствие сего окрика того же дня ввечеру наперсник государыни, призвав Державина к себе, объявил ему, что императрица определяет его к себе для принятия прошений и, делая своим статс-секретарем, поручает ему наблюдение за сенатскими мемориями, чтоб он по них докладывал ей, когда усмотрит какое незаконное Сената решение. На другой день, то есть 12-го декабря 1791 года, и действительно состоялся указ. Но пред тем еще задолго имел он позволение доложить государыне по вышеупомянутому делу графа Моцениго, и действительно несколько раз докладывал; но как со стороны Сутерланда было все министерство, потому что все были ему должны деньгами <...>, то императрица и отсылала раз шесть с нерешимостью докладчика, говоря, что он еще в делах нов. Вместо того, хотя видела правоту Моцениго, но не хотела огорчить всех ближних ее вельмож. <...>

По разнесшемуся слуху об определении Державина в сию должность, как сбежалось к нему множество канцелярских служителей, просящихся в его канцелярию, то он, дабы испытать их способности, принесенные к нему дела сенатскими секретарями раздал появившимся к нему кандидатам, каждому по одному делу, с таковым приказанием, чтоб они сделали соображение, подчеркнув строки несправедливых решений, а на поле показали те законы, против которых учинена где погрешность, и доставили бы ему непременно завтра поутру. Желание определиться и ревность показать свою, способность и знание столько в них подействовали, что они до свету на другой день к нему явились, всякий с своим сообра-

жением. Державин до 9-и часов успел их пересмотреть, сверить с документами, а они всякий свое набело переписали: то в положенный час и явился он ко двору. Государыня, выслушав, приказала написать указ в Сенат с выговором о несоблюдении законов, кои в соображениях были примечены. Но Державин, опасаясь, чтоб, критикуя Сенат, не попасть при первом случае самому в дураки, просил государыню, чтоб она, по новости и по неискусству его в законах, уволила его от столь скорого исполнения ее воли; а ежели угодно ей будет, то приказала бы прежде Совету рассмотреть его соображения, правильно ли он и по точной ли силе законов сделал свои заключения. Императрица изволила одобрить сие мнение и велела все бумаги и соображения отнести в Совет. Совет, по рассмотрении тех соображений, обратил к ее величеству оные с таковым своим мнением, что они с законами согласны; тогда она приказала заготовить проект вышеозначенного указа и поднесть ей на апробацию. Державин не замедлил исполнить высочайшую волю. Сие было уже в начале 1792 года.

В проекте указа написан был строгий Сенату выговор за неисполнение законов, с изображением точных слов, на таковые случаи находящихся в указах Петра Великого... <...> Императрица, выслушав проект, была им довольна; но, подумав, сказала: «Ежели вмешали уже Совет в сие дело, то отнеси в оный и сию бумагу. Посмотрим, что он скажет?» Повеление исполнено. Совет заключил, что милосердые ее величества законы никого не дозволяют обвинять без ответов: не угодно ли будет приказать с производителей дел взять оные? — Монархиня на сие положение Совета согласилась. Державин должен был написать другой указ, которым требовалось против соображения ответов с генерал-прокурора князя Вяземского, с обер-прокурора Колокольцева, обер-секретарей Цызырева и Ананьевского. Ответы поданы: генерал-прокурор извинялся болезнью; обер-прокурор признавал свою вину, плакал и ублажал самым низким и трогательным образом милосердую монархиню и матерь отечества, прося о прощении; обер-секретари: Цызырев так и сяк канцелярскими оборотами оправдывался, а Ананьевский, поелику у него было дело тяжебное и никакой важности в себе не заключав-

шее, говорил довольно свободно. Императрица, выслушав сии ответы, а особливо Колокольцева, сказала, что он «как баба плачет, мне его слезы не нужны». Подумав, домолвила: «Что мне с ними делать?» А наконец, взглянув на докладчика, спросила: «Что ты молчишь?» Он отвечал: «Государыня! Законы ваши говорят за себя сами, а милосердию вашему предела я предположить не могу».— «Хорошо ж, отнеси еще в Совет и сии ответы; пусть он мне скажет на них свое мнение». Совет отозвался, что благости и милосердия ее он устранять не может: что угодно ей, с виновными, то пусть прикажет сделать. Тогда она приказала начисто переписать указ и принесть ей для подписания. Приняв же оный, положила пред собою в кабинете на столе, который и поныне остался в молчании... <...>

Подобно тому и внимание государыни на примечания, деланные Державиным по мемориям Сената, по которым он каждую неделю ей докладывал, час от часу ослабевало. Приказала не утруждать ее, а говорить прежде с обер-прокурорами; вследствие чего всякую субботу после обеда должны были они являться к Державину, как бы на лекцию, и выслушивать его на резолюции Сената замечания. Не исключался из сего и самый фаворитов отец, первого департамента обер-прокурор Зубов. Но и сие продолжалось несколько только месяцев; стали сенаторы и обер-прокуроры роптать, что они под мундштуком Державина. Государыня сама почувствовала, что она связала руки у вышнего своего правительства, ибо резолюции Сената, в мемории вносимые, не есть еще действительные его решения или приговоры, ибо их несколько раз законы переменять дозволяли; а потому и сие императрица отменила, а приказала только про себя Державину замечать ошибки Сената, на случай, ежели к ней поднесется от него какой решительный доклад с важными погрешностями, или она особо прикажет подать ей замечания: тогда ей по ним докладывать. Таким образом сила Державина по сенатским делам, которой, может быть, ни один из статс-секретарей по сей установленной форме от императрицы ни прежде ни после не имел (ибо в ней соединялась власть генерал-прокурора и докладчика), тотчас умалилась... <...>

Сначала императрица часто допускала Державина к себе с докладом и разговаривала о политических происшествиях, каковым хотел было он вести подневную записку; но поелику дела у него были все роду неприятного, то есть прошения на неправосудие, награды за заслуги и милости по бедности; а блистательные политические, то есть о военных приобретениях, о постройке новых городов, о выгодах торговли и прочем, что ее увеселяли более дела́ у других статс-секретарей, то и стала его редко призывать, так что иногда он недели пред ней не был и потому журнал свой писать оставил; словом, приметно было, что душа ее более занята была военною славою и замыслами политическими, так что иногда не понимала она, что читано было ей в записках дел гражданских; но как имела необыкновенную остроту разума и великий навык, то тотчас спохватывалась и давала резолюции (по крайней мере иногда) не столь основательные, однако же сносные, как то: с кем-либо снестись, переписаться и тому подобные. Вырывались также иногда у нее внезапно речи, глубину души ее обнаруживавшие. Например: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена б была Российскому скипетру». Или: «Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая и с Индией не осную торговлю». Или: «Кто дал, как не я, почувствовать французам право человека? Я теперь вяжу узелки, пусть их развяжут». Случалось, что заводила речь и о стихах докладчика, и неоднократно, так сказать, прашивала его, чтоб он писал вроде оды «Фелице». Он ей обещал и несколько раз принимался, запираясь по неделе дома; но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом... <...>

Тогда же поручено Державину в рассмотрение славное дело генерал-поручика и сибирского генерал-губернатора Якобия в намерении его возмутить Китай против России. <...> Сей занимался оным целый год... <...> Доложил государыне, что дело готово. Она приказала доложить и весьма удивилась, когда целая шеренга гайдуков и лакеев внесли ей в кабинет превеликие кипы бумаг. «Что такое? — спросила она,— зачем сюда такую бездну?» — «По крайней мере, для народа, государыня»,— отвечал Державин. «Ну, положите, коли

так»,— отозвалась с некоторым родом неудовольствия. Заняли несколько столов. «Читай».— «Что прикажете: экстракт сенатский, или мой, или которую из докладных записок?» — «Читай самую кратчайшую». Тогда прочтена ей которая на двух листах. Выслушав и увидя, что Якобий оправдывается, проговорила, как бы изъявляя сомнение на неверность записки: «Я не такие пространные дела подлинником читала и выслушивала; то прочитай мне весь экстракт сенатский. Начинай завтра. Я назначаю тебе всякий день для того после обеда два часа, 5-й и 6-й». <...>

...продолжим течение происшествий по порядку касательно только до Державина. Он во время доклада сего дела сблизился было весьма с императрицею по случаю иногда рассуждений о разных вещах; например, когда получен трактат 1793 года с Польшею, то она с восторгом сказала: «Поздравь меня с столь выгодным для России постановлением». Державин, поклонившись, сказал: «Счастливы вы, государыня, что не было в Польше таких твердых вельмож, каков был Филарет; они бы умерли, а такого постыдного мира не подписали». Ей это понравилось. Она улыбнулась и с тех пор приметным образом стала отличать его, так что в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая будто говорит о каких важных делах. <...>

Он таким императрицы уважением, которое обращало на него глаза завистливых придворных, пользовался недолго. 15-го июля, читав дело Якобия, по наступлению 7-го часа, в который обыкновенно государыня хаживала с придворными в Царском Селе в саду прогуливаться, вышел из кабинета в свою комнату, дабы отправить некоторые ее повеления по прочим делам, по коим он докладывал, и, окончив оные, пошел в сад, дабы иметь участие в прогулке. Статс-секретарь Петр Иванович Турчанинов, встретя его, говорил: «Государыня нечто скучна, и придворные как-то никаких не заводят игр; пожалуй, братец, пойдем и заведем хотя горелки». Державин послушался. Довелось ему с своею парою ловить двух великих князей, Александра и Константина Павловичей; он погнался за Александром и, догоняя его на скользком лугу, покатом к пруду, упал и так силь-

но ударился о землю, что сделался бледен как мертвец. Он вывихнул в плече из сустава левую руку. Великие князья и прочие придворные подбежали к нему и, подняв едва живого, отвели его в его комнату. Хотя вправили руку, но он не мог одеться и должен был оставаться дома обыкновенных 6 недель, пока несколько рука в суставе своем не затвердела. В сие-то время недоброжелатели умели так расположить против его императрицу, что он по выздоровлении, когда явился к ней, то нашел ее уже совсем переменившеюся. При продолжении Якобиева дела вспыхивала, возражала на его примечания и в один раз с гневом спросила, кто ему приказал и как он смел с соображением прочих подобных решенных дел Сенатом выводить невинность Якобия. Он твердо ей ответствовал: «Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешили чем в правосудии». Она закраснелась и выслала его вон, как и нередко то в продолжении сего дела случалось. В один день, когда она приказала ему после обеда быть к себе (это было в октябре месяце), случился чрезвычайный холод, буря, снег и дождь, и когда он, приехав в назначенный час, велел ей доложить, она чрез камердинера Тюльпина сказала: «Удивляюсь, как такая стужа вам гортани не захватит»,— и приказала ехать домой. <...>

По окончании Якобиева дела, которым государыня сначала была недовольна и, как выше видно, всячески от решения его уклонялась, дабы стыдно ей не было, что она столь неосторожно строгое завела исследование по пустякам, как сама о том в указе своем сказала; но когда чрез обер-полицмейстера Глазова услышала молву народную, что ее до небес превозносили за оказанное ею правосудие и милосердие при решении сего дела, то была очень довольна и, призвав Державина к себе, который уже был сенатором, изъявила ему за труд его свое удовольствие. Он при сем случае спросил, прикажет ли она ему оканчивать помянутое Сутерландово дело, которое уже давно <производится>, а также и прочие, или сдать их, не докладывая, преемнику его Трощинскому. Она спросила: «Да где Сутерландово дело?» — «Здесь».— «Взнеси его сюда и положи вот тут на столик, а после обеда, в известный час, приезжай и доложи». Она была тогда в своем кабинете, где, по обыкновению, сидя за большим письменным своим

столом, занималась сочинением российской истории. Державин, взяв из секретарской в салфетке завязанное Сутерландово дело, взнес в кабинет и положил пред ее лицом на тот самый столик, на который она его положить приказала, откланялся и спокойно приехал домой. После он узнал, как ему сказывал Храповицкий, что час спустя по выходе его, кончив свою работу, подошла она к сему столику и, развязав салфетку, увидела в ней кипу бумаг: вспыхнула, велела кликнуть Храповицкого и с чрезвычайным гневом спрашивала Храповицкого, что это за бумаги? Он не знает, а видел, что их Державин принес. «Державин! — вскрикнула она грозно,— так он меня еще хочет столько же мучить, как и Якобиевым делом. Нет! Я покажу ему, что он меня за нос не поведет. Пусть его придет сюда». Словом, много говорила гневного, а по какой причине, никому неизвестно; догадывались, однако, тонкие царедворцы: помечталось ей, что будто Державин, несмотря на то, что пожалован в сенаторы, хотел, под видом окончания всех бывших у него нерешенных дел, при ней против воли ее удерживаться, отправляя вместе сенаторскую и статс-секретарскую должность, что было против ее правил. Итак, Державин, не зная ничего о всем вышепроисходящем, в назначенный час приходит в секретарскую, находит тут камердинеров, странными лицами на него смотрящих, приказывает доложить; велят ждать. Наконец выходит от государыни граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, который тогда был в Синоде обер-прокурором, который обошелся с ним также весьма сухо. Призывают к государыне из другой комнаты Василия Степановича Попова, который там ожидал ее повеления. Лишь только он входит, велят ему садиться по-старому на стул и зовут в ту же минуту Державина; чего никогда ни с кем не бывало, чтоб при свидетельстве третьего, не участвующего в том деле, кто-либо докладывал. Державин входит, видит государыню в чрезвычайном гневе, так что лицо пылает огнем, скулы трясутся. Тихим, но грозным голосом говорит: «Докладывай». Державин спрашивает — по краткой или пространной записке докладывать? «По краткой»,— отвечала. Он зачал читать, а она, почти не внимая, беспрестанно поглядывала на Попова. Державин, не зная ничему этому никакой причины, равнодушно кончил и, встав со стула, вопросил,

что приказать изволит? Она снисходительнее прежнего сказала: «Я ничего не поняла; приходи завтра и прочти мне пространную записку». Таким образом сие странное присутствие кончилось. После господин Попов сказывал, что она, призвав его скоро после обеда, жаловалась ему, что будто Державин не токмо грубит ей, но и бранится при докладах, то призвала его быть свидетелем. Но как никогда этого не было и быть не могло, то — клевета ли какая взведенная, или что другое, чем приведена она была на него в раздражение,— кончилось ничем.

На другой день, вследствие приказания ее, с тем же делом в обыкновенный час приехал, принят был милостиво и даже извинилась, что вчера горячо поступила, примолвя, что «ты и сам горяч, все споришь со мною».— «О чем мне, государыня, спорить? я только читаю, что в деле есть, и я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать».— «Ну, полно, не сердись, прости меня. Читай, что ты принес». Тогда зачал читать пространную записку и реестр, кем сколько казенных денег из кассы у Сутерланда забрано. Первый явился князь Потемкин, который взял 800 000 рублей. Извинив, что он многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои деньги, приказала принять на счет свой государственному казначейству. Иные приказала взыскать, другие небольшие простить долги; но когда дошло до великого князя Павла Петровича, то, переменив тон, зачала жаловаться, что он мотает, строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет: «Не знаю, что с ним делать»,— и такие продолжая с неудовольствием (подобные) речи, ждала как бы на них согласия; но Державин, не умея играть роли хитрого царедворца, потупя глаза, не говорил ни слова. Она, видя то, спросила: «Что ты молчишь?» Тогда он ей тихо проговорил, что наследника с императрицею судить не может, и закрыл бумагу. С сим словом она вспыхнула, закраснелась и закричала: «Поди вон!» Он вышел в крайнем смущении, не зная, что делать. <...> Надобно приметить, что подобные неприятные дела может быть и с умыслу, как старший между статс-секретарями, граф Безбородко всегда сообщал Державину под видом, что он прочих справедливее, дельнее и прилежнее, а самой вещью, как он им всем ревностию и правдою своею был

неприятен или, лучше сказать, опасен, то, чтоб он наскучил императрице и остудился в ее мыслях; что совершенно и сделалось, а особливо, когда граф Николай Иванович Салтыков, с своей стороны, хитрыми своими ужимками и внушениями, как граф Дмитрий Александрович по дружбе сказывал Державину, сделал о нем какие-то неприятные впечатления императрице, также, с другой стороны, и прежде бывшая его большая приятельница княгиня Дашкова. Первый — за то, что по вступившему на имя императрицы одного донского чиновника доносу приказал он взять из военной коллегии справки, в которой был Салтыков президентом, о чрезвычайных злоупотреблениях той коллегии, что за деньги производились неслужащие малолетки и разночинцы в обер-офицеры и тем отнимали линию у достойных заслуженных унтер-офицеров и казаков. Вторая — что по просьбе на высочайшее имя бывшего при Академии Наук известного механика Кулибина, докладывал он государыне, не спросяся с нею, поелику она была той Академии директором и того Кулибина за какую-то неисполненную ей услугу не жаловала и даже гнала, и выпросил ему к получаемому им жалованью 300 рублей, в сравнение с профессорами, еще 1500 рублей и казенную квартиру, а также по ходатайству ее за некоторых людей, не испросил им за какие-то поднесенные ими художественные безделки подарков и награждений: хотя это и не относилось прямо до его обязанности, но должно было испрашивать чрез любимца; она так рассердилась, что приехавшему ему в праздничный день с визитом вместе с женою наговорила, по вспыльчивому ее или, лучше, сумасшедшему нраву, премножество грубостей, даже на счет императрицы, что она подписывает такие указы, которых сама не знает, и тому подобное, так что он не вытерпел, уехал и с тех пор был с нею незнаком; а она, как боялась, чтоб он не довел до сведения государыни говоренного ею на ее счет, то забежав, сколько известно было, чрез Марью Саввишну Перекусихину, приближеннейшую к государыне даму, и брата фаворитова графа Валериана Александровича, наболтала какие-то вздоры, которым хотя в полной мере и не поверили, но поселила в сердце остуду, которая примечена была Державиным по самую ее кончину. Может быть и за то, что он по желанию ее, видя дворские хит-

рости и беспрестанные себе толчки, не собрался с духом и не мог таких ей тонких писать похвал, каковы в оде «Фелице» и тому подобных сочинениях, которые им писаны не в бытность его еще при дворе: ибо издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему, при приближении к двору, весьма человеческими и даже низкими и недостойными великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим чистым сердцем в похвалу ее. Например, я скажу, что она управляла государством и самым правосудием более по политике или своим видам, нежели по святой правде. <...>

Вот, как выше сказано, она царствовала политически, наблюдая свои выгоды или поблажая своим вельможам, дабы по маловажным проступкам или пристрастиям не раздражить их и против себя не поставить. Напротив того, кажется, была она милосерда и снисходительна к слабостям людским, избавляя их от пороков и угнетения сильных не всегда строгостью законов, но особым материнским о них попечением, а особливо умела выигрывать сердца и ими управлять, как хотела. Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить, но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит: зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в исступлении сказал: «Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы против воли моей делаете из меня, что хотите». Она засмеялась и сказала: «Неужто это правда?» Умела также притворяться и обладать собою в совершенстве, а равно и снисходить слабостям людским и защищать бессильных от сильных людей. <...>

Подобными делами хотя угождал Державин императрице, но правдою своею часто наскучивал, и как она говаривала пословицу: живи и жить давай другим, и

так поступала, что он на рождение царицы Гремиславы Л. А. Нарышкину в оде сказал:

Но только не на счет другого;
Всегда доволен будь своим,
Не трогай ничего чужого.

А когда происходил Польши раздел и выбита такая была медаль, на которой на одной стороне представлена колючая с шипами роза, а на другой портрет ее, то потому ли, или по недоброжелательным наговорам беспрестанным и что правда наскучила, 8-го сентября, в день торжества мира с турками, хотя Державин провозглашал с трона публично награждения отличившимся в сию войну чиновникам несколькими тысячами душами; но ему за все труды при разобрании помянутых важных и интересных дел ниже одной души и ни полушки денег в награждение не дано, а пожалован он в сенаторы в межевой департамент, и между прочими, тучею так сказать брошенный на достойных и недостойных, надет и на него крест св. Владимира 2-й степени.

В 1794 году января 1-го дня к сенаторскому достоинству дано ему место президентское коммерц-коллегии, пост для многих завидный и, кто хотел, нажиточный; но он по ревности своей или, в другом смысле сказать, по глупому честолюбию, думая, что императрица возвела его для его верности и некорыстолюбия, хотел отправлять свое служение по видам польз государственных и законов; но, как ниже усмотрится, вышло совсем тому противное. <...> Само по себе видно, что нечего ему было тут ждать: но он должен был исполнить волю императрицы, которая, сколько догадываться позволено, думала, поверя ему сей наживной пост, наградить его за труды и службу, по должности статс-секретаря понесенные; но Державину сего и в голову не входило, ибо он, напротив того, предполагал сию новую доверенность наилучшим образом заслужить возможною верностию, бескорыстием и честностию, как выше о том сказано.

Словом, вступив в президенты коммерц-коллегии, начал он сбирать сведения и законы, к исправному отправлению должности его относящиеся. Вследствие чего хотел осмотреть складочные на бирже анбары льняные,

пеньковые и прочие, а по осмотре вещей, петербургский и кронштадтский порты; но ему то воспрещено было, и таможенные директоры и прочие чиновники явное стали делать неуважение и непослушание; а когда прибыл в С.-Петербург из Неаполя корабль, на коем от вышеупомянутого графа Моцениго прислан был в гостинцы кусок атласу жене Державина, то директор Даев, донеся ему о том, спрашивал, показывать ли тот атлас в коносаментах и как с ним поступить; ибо таковые ценовные товары ввозом в то время запрещены были, хотя корабль отплыл из Италии прежде того запрещения и об оном знать не мог. Но со всем тем Державин не велел тот атлас от сведения таможни утаивать, а приказал с ним поступить по тому указу, коим запрещение сделано, то есть отослать его обратно к Моцениго. Директор, видя, что президент не поддался на соблазн, чем бы заслепил он себе глаза и дал таможенным служителям волю плутовать, как и при прежних начальниках, то и вымыслили Алексеев с тем директором клевету на Державина, которой бы замарать его в глазах императрицы, дабы он доверенности никакой у ней не имел. Донесли государыне, что будто он после запретительного указа выписал тот атлас сам и приказал его ввезти тайно; а как таковые тайно привезенные товары велено тем было указом жечь, и с тех, кто их выписал, брать штраф, то и получили согласную с тем от государыни резолюцию. Державин не знал ничего, как вдруг сказывают ему, что публично с барабанным боем пред коммерц-коллегиею на площади под именем его сожжены тайно выписанные им товары, и тогда получает директор, так сказать, ордер от Алексеева, в коем требует он, чтоб Державин взнес в таможню положенный законом штраф. Такая дерзость бездельническая его как громом поразила; он написал на явных справках и доказательствах основанную записку, в которой изобличалась явно гнусная ложь Алексеева и Даева, и как не допущен был к императрице, то чрез Зубова подал ту записку и просил по ней его ей доложить; но сколько ни хлопотал, не мог получить не токмо никакой дельной ее величества резолюции, но и никакого даже от самого Зубова отзыву.

Потом, вскоре после того, призван он был именем государыни в дом генерал-прокурора (Самойлова), ко-

торый объявил ему, что ее величеству угодно, дабы он не занимался и не отправлял должности коммерц-коллегии президента, а считался бы оным так, ни во что не мешаясь. Державин требовал письменного о том указа; но ему в том отказано. Видя таковое угнетение от той самой власти, которая бы в правоте его сама поддерживать долженствовала, не знал, что делать; а наконец, посоветав с женою и с другими, решился подать императрице письмо о увольнении его от службы. Приехав в Царское Село, где в то время императрица проживала, адресовался с тем письмом к Зубову; он велел подать чрез статс-секретарей. Просил Безбородку, Турчанинова, Попова, Храповицкого и Трощинского; но никто оного не принял, говоря, что не смеют. Итак, убедил просьбою камердинера Ивана Михайлова Тюльпина, который был самый честнейший человек и ему благоприятен. Он принял и отнес императрице. Чрез час время, в который Державин, походя по саду, пошел в комнату Зубова наведаться, какой успех письмо его имело, находит его бледного, смущенного, и сколько он его ни вопрошал, ничего не говорящего; наконец за тайну Тюльпин открыл ему, что императрица по прочтении письма чрезвычайно разгневалась, так что вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные. Державин, услыша сие, не остался долее в Царском Селе, но, не дождавшись резолюции, уехал потихоньку в Петербург и ждал спокойно своей судьбы; но ничего не вышло, так что он принужден был опять в недоумении своего президентства по-прежнему шататься. <...>

Июля 15-го числа 1794 года скончалась у него первая жена. Не могши быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он января 31-го дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой. Он избрал ее так же, как и первую, не по богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению ее разума и добродетелей, которые узнал гораздо прежде, чем на ней женился, от обращения с сестрою ее Марьею Алексеевною и всем семейством отца ее, бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова, и зятьев ее, Николая Александровича Львова, графа

Якова Федоровича Стейнбока и Василья Васильевича Капниста, как выше видно, приятелей его. Причиною наиболее было сего союза следующее домашнее приключение. В одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились между собою о счастливом супружестве. Державина сказала: ежели б она, г-жа Дьякова, вышла за г. Дмитриева, который всякий день почти в доме Державина и коротко был знаком, то бы она не была бессчастна. «Нет,— отвечала девица,— найдите мне такого жениха, каков ваш Гаврил Романович, то я пойду за него, и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись, и начали другой разговор. Державин, ходя близ их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся, что, когда он овдовел и примыслил искать себе другую супругу, она всегда воображению его встречалась. Когда же прошло почти 6 месяцев после покойной и девица Дьякова с сестрою своею графинею Стейнбоковою из Ревеля приехала в Петербург, то он, по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение. Они его весьма ласково приняли; он их звал, когда им вздумается, к себе отобедать. Но поселившаяся в сердце искра любви стала разгораться, и он не мог далее отлагать, чтоб не начать самым делом предпринятого им намерения, хотя многие богатые и знатные невесты — вдовы и девицы — оказывали желание с ним сблизиться; но он позабыл всех, и вследствие того на другой день как у них был, послал записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Сим он думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостий, разумеется, девицу, к которой записка была надписана. Она с улыбкою ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воле. Итак, они у него обедали; но о любви или, простее сказать, о сватовстве никакой речи не было.— На другой или на третий день поутру, зайдя посетить их и нашед случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении, и как не было между ними никакой пылкой страсти, ибо жениху было более 50-ти, а невесте около 30-ти лет, то и соединение их долженствовало основываться более на дружестве и благопристойной жизни,

нежели на нежном страстном сопряжении. Вследствие чего отвечала она, что она принимает за честь себе его намерение, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка; а он объявил ей свое состояние, обещав прислать приходные и расходные свои книги, из коих бы усмотрела, может ли она содержать дом сообразно с чином и летами. Книги у ней пробыли недели две, и она ничего не говорила. Наконец сказала, что она согласна вступить с ним в супружество. Таким образом совокупил свою судьбу с сей добродетельной и умной девицею, хотя не пламенною романическою любовью, но благоразумием, уважением друг друга и крепким союзом дружбы. Она своим хозяйством и прилежным смотрением за домом не токмо доходы нашла достаточными для их прожитка, но, поправив расстроенное состояние, присовокупила в течение 17 лет недвижимого имения, считая с великолепными пристройками домов, едва ли не половину, так что в 1812 году, когда сии «Записки» писаны, было за ними вообще в разных губерниях уже около 2000 душ и два в Петербурге каменные знатные дома.

В течение 1795 года он пытался еще лично проситься у государыни, хотя не в отставку, но в отпуск на год, для поправления своей экономии. Государыня ответствовала, что она прикажет записать о том указ в Сенате генерал-прокурору... <...>

В продолжение 1795 и 1796 года случились с Державиным еще примечательные события.<...>

По желанию императрицы, как выше сказано, чтоб Державин продолжал писать в честь ее более в роде «Фелицы», хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оного сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали: не мог он воспламенить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз он ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен: все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства.— Итак, не знал, что делать; но как покойная жена его любила его сочинения, с жаром и мастерски нередко читы-

вала их при своих приятелях, то из разных лоскутков собрала она их в одну тетрадь (которая хранится ныне в библиотеке графа Алексея Ивановича <Мусина-> Пушкина в Москве) и, переписав начисто своею рукою, хранила у себя. Когда же муж беспокоился, что не может ничего по обещанию своему сделать для императрицы, то она советовала поднести ей то, что уже написано, в числе коих были и такие пиесы, кои еще до сведения ее не доходили; сказав сие, подала к удивлению его переписанную ею тетрадь. Не имея другого средства исполнить волю государыни, обрадовался он сему собранию чрезвычайно. Просил приятеля своего Алексея Николаевича Оленина нарисовать ко всякой поэмке приличные картинки (виньеты) и, переплетя в одну книгу, с посвятительным письмом, поднес лично в ноябре 1795 года. Государыня, приняв оную, как казалось с благоволением, занималась чтением оной сама, как камердинер ее г. Тюльпин сказывал, двои сутки; но по прочтении отдала г. Безбородке, а сей г. Трощинскому,— с каковым намерением, неизвестно. Недели с две прошло, что никто ни слова не говорил; но только, когда по воскресеньям приезживал автор ко двору, то приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним даже и встретиться, не токмо говорить. Не мог он придумать, что тому была за причина. Наконец, в третье воскресенье решился он спросить Безбородку, говоря: «Слышно, что государыня сочинения его отдала его сиятельству, то с чем, и будут ли они отпечатаны?» Он, услышав от него вопрос сей, побежал прочь, бормоча что-то, чего не можно было выразуметь. Не зная, что это значит, и будучи зван тогда обедать к графу Алексею Ивановичу Пушкину, поехал к нему. Там встретился с ним хороший его приятель Яков Иванович Булгаков, что был при Екатерине посланником при Оттоманской Порте, а при Павле генерал-губернатором в Польских губерниях. Он спросил его: «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» — «Какие?» — «Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен».— «Царь Давид,— сказал Державин,— не был якобинец, следовательно, песни его не могут быть никому противными».— «Однако,— заключил он,— по нынешним обстоятельствам дурно такие стихи писать». Но гораздо после того Державин

узнал от француженки Леблер, бывшей у племянниц его Львовых учительницей, что во время французской революции в Париже сей самый псалом был якобинцами перефразирован и пет по улицам для подкрепления народного возмущения против Людовика XVI. Как Державин тогда совсем того не знал, то и был спокоен; но, приехав от графа Пушкина с обеда, ввечеру услышал он от посетившего его г. Дмитриева <...>, что будто велено его секретно (разумеется, чрез Шешковского) спросить, для чего он и с каким намерением пишет такие стихи? Державин почувствовал подыск вельмож, ему недоброжелательных, что неприятно им видеть в оде «Вельможа» и прочих его стихотворениях развратные их лицеизображения: тотчас, не дождавшись ни от кого вопросов, сел за бюро и написал анекдот <...>, в коем ясно доказал, что тот 81-й псалом перефразирован им без всякого дурного намерения и напечатан в месячных изданиях под именем «Зеркало света» в 1786 году, присовокупя к тому свои рассуждения, что если он тогда не произвел никакого зла, как и подобные ему иные стихи, то и ныне не произведет. Запечатав в три пакета, при кратких своих письмах послал он тот анекдот к трем ближайшим в то время к императрице особам, а именно: к князю Зубову (фавориту), к графу Безбородке и к Трощинскому, у которого на рассмотрении сочинения его находились. В следующее воскресенье по обыкновению поехал он во дворец. Увидел против прежнего благоприятную перемену: государыня милостиво пожаловала ему поцеловать руку; вельможи приятельски с ним разговаривали и, словом, как рукой сняло: все обошлись с ним так, как ничего не бывало. Г. Грибовский, бывший у него в Олонце секретарем, а тогда при императрице статс-секретарь, всем ему обязанный (а тогда его первый неприятель, который, как слышно было, читал пред императрицей тот анекдот), смотря на него с родом удивления, только улыбался, не говоря ни слова. Но при всем том сочинения его, Державина, в свет не вышли, а отданы были еще на просмотрение любимцу императрицы, князю Зубову, которые у него хотя нередко в кабинете на столике видал, но не слыхал от него о них ни одного слова, где они и пролежали целый почти 1796 год, то есть по самую императрицы кончину. <...>

...но всех каверз и криводушничества, разными министрами чинимого против Державина в продолжение царствования императрицы Екатерины, описывать было бы весьма пространно; довольно сказать того, что окончила дни свои — не по чувствованию собственного своего сердца, ибо Державин ничем пред ней по справедливости не провинился, но по внушениям его недоброжелателей — нарочито в неблагоприятном расположении.

Конец же ее случился в 1796 году, ноября в 6-й день, в 9-м часу утра. Она, по обыкновению, встала поутру в 7-м часу здорова, занималась писанием продолжения «Записок касательно российской истории», напилась кофею, обмакнула перо в чернильницу и, не дописав начатого речения, встала, пошла по позыву естественной нужды в отдаленную камеру и там от эпилептического удара скончалась. Приписывают причину столь скоропостижной смерти воспалению ее крови от досады, причиненной упрямством шведского королевича, что он отрекся от браку с великою княжною Александрою Павловною; но как сия материя не входит своим событием в приключения жизни Державина, то здесь и не помещается. Но что касается до него, то, начав ей служить, как выше видно, от солдатства, с лишком чрез 35 лет дошел до знаменитых чинов, отправляя беспорочно и бескорыстно все возложенные на него должности, удостоился быть при ней лично, принимать и исполнять ее повеления с довольною доверенностию; но никогда не носил отличной милости и не получал за верную свою службу какого-либо особливого награждения (как прочие его собратья, Трощинский, Попов, Грибовский и иные многие: он даже просил, по крайнему своему недостатку, обратить жалованье его в пансион, но и того не сделано до выпуску его из статс-секретарей) деревнями, богатыми вещами и деньгами, знатными суммами, кроме, как выше сказано, пожаловано ему 300 душ в Белоруссии, за спасение колоний, с которых он во всем получал доходу серебром не более трех рублей с души, то есть 100 рублей, а ассигнациями в последнее время до 2000 рублей, да в разные времена за стихотворения свои подарков, то есть: за оду «Фелице» — золотую табакерку с бриллиантами и 500 червонцев, <за оду> «На взятие Измаила» — золотую же таба-

керку, да за тариф — с бриллиантами же табакерку, по назначению, на билете ее рукою подписанному: «Державину»; получил после уже ее кончины от императора Павла. Но должно по всей справедливости признать за бесценнейшее всех награждений, что она, при всех гонениях сильных и многих неприятелей, не лишала его своего покровительства и не давала, так сказать, задушить его; однако же и не давала торжествовать явно над ним огласкою его справедливости и верной службы или особливою какою-либо доверенностию, которую она к прочим оказывала. Коротко сказать, сия мудрая и сильная государыня, ежели в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своим окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их; и потому добродетель не могла, так сказать, сквозь сей чесночняк пробиться и вознестись до надлежащего величия. Но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали. Когда же привыкла к изгибам по своим прихотям с любимцами, а особливо в последние годы князем Потемкиным упоена была славою своих побед, то уже ни о чем другом и не думала, как только о покорении скиптру своему новых царств. Поелику же дух Державина склонен был всегда к морали, то если он и писал в похвалу торжеств ее стихи, всегда, однако, обращался аллегориею, или каким другим тонким образом к истине, а потому и не мог быть в сердце ее вовсе приятным. Но как бы то ни было, да благословенна будет память такой государыни, при которой Россия благоденствовала и которую долго не забудет.

Отделение VII

Царствование императора Павла.

Ноября 6-го дня 1796 года, поутру часу в 11-м, получил Державин сведение от служившего при Кабинете надворного советника, бывшего прежде при нем сек-

ретарем, Маклакова, что государыня занемогла (хотя тогда уже она, как выше сказано, от удара скончалась), и как это иногда случалось, то и уважения большого сия неприятная ведомость не имела; но после обеда, часу в 6-м, уведомился от товарища своего, сенатора Семена Александровича Неплюева, что она отыде сего света; то поехали они во дворец и нашли ее уже среди спальни лежащую, покрытую белою простынею. Державин, имев вход в внутренние чертоги, вошел туда и, облобызав по обычаю тело, простился с нею с пролитием источников слез. Вскоре приехал сын ее, наследник, или новый император, Павел. Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом. Но описывать в подробности всех происшествий, тогда случившихся, было бы здесь излишне, ибо они принадлежат до государственной истории, а не до частной жизни Державина. Он на другой день вообще с прочими государственными чинами в сенатской церкви принес присягу. Потом отправил все погребальные церемонии, быв не один раз дежурным, как во дворце при теле новопреставившейся императрицы, так и в Невском монастыре при гробе покойного императора Петра III (ибо Павел восхотел соединить тела их в одной могиле в крепости св. апостола Павла, в соборной церкви), и наконец, и при самом погребении, оставаясь все сенатором и коммерц-коллегии президентом. Но скоро вышел от императора указ о восстановлении на прежних Петра Великого правах всех государственных коллегий, в том числе и коммерц, и в то же время, поутру в один день рано, придворный ездовой лакей привез от императора повеление, чтоб он тотчас ехал во дворец и велел доложить о себе чрез камердинера его величеству. Державин сие исполнил. Приехал во дворец, еще было темно, дал знать о себе камердинеру Кутайсову, и коль скоро рассвело, отворили ему в кабинет двери. Государь, дав ему поцеловать руку, принял его чрезвычайно милостиво и, наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безынтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем своего верховного совета, дозволив ему вход к себе во всякое время, и если что теперь имеет, то чтобы сказал ему,

ничего не опасаясь. Державин, поблагодаря его, отозвался, что он рад ему служить со всею ревностию, ежели его величеству угодно будет любить правду, как любил ее Петр Великий. По сих словах взглянул он на него пламенным взором; однако весьма милостиво раскланялся. Это было в понедельник. Во вторник действительно вышел указ об определении его, но не в правители Совета, как ему император сказал, а в правители канцелярии Совета, в чем великая есть разница; ибо правитель Совета мог быть как генерал-прокурор в Сенате, то есть пропустить или не пропустить определение, а правитель канцелярии только управлять оною. Сие его повергло в недоумение, и для <того> во вторник и в середу, делая визиты членам Совета, искренно некоторым из них открыл, что он, будучи сенатором, не знает, как поступить, и для того решился попросить у государя инструкции. <...>

Настал четверг, то есть день советский. Державин, приехав в оный, не знал, как ему себя вести, и для того, не садясь ни за стол членов, ни за стол правителя канцелярии, слушал дела стоя или ходя вокруг присутствующих. По окончании заседания князь Александр Борисович Куракин, встав, приказывал, что когда напишется протокол о делах, о коих рассуждали, то чтоб оный привез он к нему для поднесения императору. Сие его пуще смутило, ибо изустно слышал от государя, что он ему во всякое время с делами дозволил к себе доступ; а как он во все сии дни имел счастие с прочими членами Совета приглашаем быть к обеду и ужину его величества, то имел случай говорить и с самим Куракиным о своем намерении просить инструкции, дав ему почувствовать, что ему самому вход император к себе дозволил. Хотя сей вельможа на то был согласен, однако (как) Державин после узнал, что он был им всем неприятен, ибо по собственному своему выбору, а не по их представлению государь посадил его в Совет. Вследствие чего и нашли они минуты сделать на него разные неблагоприятные внушения, как между прочим, что Державин низким почитает для себя быть из сенаторов правителем канцелярии Совета; что Вейдемейер, бывший тогда оным, считает тем себя обиженным. Но как бы то ни было, Державин, следуя твердо своему намерению, приехал во дворец рано поутру в пятницу про-

сить инструкции. Его не допустили... <...> По сей причине принужден был в пятницу ехать ни с чем домой; а в субботу, долго ожидав, был принят, казалось, довольно ласково. Он спросил: «Что вы, Гавриил Романович?» Сей ответствовал: «По воле вашей, государь, был в Совете; но не знаю, что мне делать».— «Как, не знаете? делайте, что Самойлов делал». (Самойлов был при государыне правителем канцелярии Совета, счисляясь при дворе камергером.) «Я не знаю, делал ли что он: в Совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы Совета, потому осмеливаюсь просить инструкции».— «Хорошо, предоставьте мне». Сим бы кончить должно было; но Державин по той свободе, которую имел при докладах у покойной императрицы, продолжив речь, сказал: не знает он, что — сидеть ли ему в Совете, или стоять, то есть быть ли присутствующим, или начальником канцелярии. С сим словом вспыхнул император; глаза его как молнии засверкали, и он, отворя двери, во весь голос закричал стоящим пред кабинетом Архарову, Трощинскому и прочим, из коих первый тогда был в великом фаворе: *«Слушайте: он почитает быть в Совете себя лишним»*,— а оборотясь к нему: *«Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу»*. Державин как громом был поражен таковым царским гневом и в беспамятьи довольно громко сказал в зале стоящим: «Ждите, будет от этого... толк». После сего выехал из дворца с великим огорчением, размышляя в себе: ежели за то, что просил инструкции, дабы вернее отправлять свою должность, заслужил гнев государя, то что бы было, когда <б>, не имея оной, сделал какую погрешность, а особливо в столь критическое время, когда все прежние учреждения Петра Великого и Екатерины зачали сумасбродно без всякой нужды коверкать. В таковых мыслях приехав домой, не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся. Скоро после того услышал, что в Сенат прислан именной указ, в коем сказано, что он отсылается назад в сие правительство за дерзость, оказанную государю; а кавалергардам дано повеление, чтоб его не впускать во время собрания в кавалерскую залу.

Таковое посрамление узнав, родственники собрались к нему и, с женою вместе осыпав его со всех сто-

рон журьбою, что он бранится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха. Не знал он, что делать и кого просить. Многие вельможи, окружавшие государя, хотя были ему знакомы и оказывали прежде благоприятность, но не имели духа и чувства сострадания, а жили только для себя; то он их и не хотел беспокоить, а по прославляемым столь много добродетелям и христианскому житию, казалось ему лучше всех прибегнуть к князю Николаю Васильевичу Репнину, которого государь тогда уважал, и что, как все говорили, он склонен был к благотворению: то он и поехал к нему поутру рано, когда у него еще никого не было и он был в кабинете, или в спальной своей еще только одевался. Приказал о себе доложить, дожидаясь в другой комнате, и как они разделены были одной стеной, или дверью, завешенною сукном, то и слышен был голос докладчика, который к нему вошел. Он ему сказал: «Пришел сенатор и хочет вас видеть».— «Кто такой?» — «Державин».— «Зачем?» — «Не знаю».— «Пусть подождет». Наконец, после хорошего часа, вышел, и с надменным весьма видом спросил: «Что вы?» Он ему пересказал случившееся с ним происшествие. Он, показав презрение и отвернувшись, сказал: «Это не мое дело мирить вас с государем». С сим словом Державин, поклонясь, вышел, почувствовав в душе своей во всей силе омерзение к человеку, который носит на себе личину благочестия и любви к ближнему, а в сердце адскую гордость и лицемерие. Скоро после того низость души сего князя узнали и многие, и император его от себя отдалил. Таковы-то почти все святоши; но как бы то ни было, Державин, по ропоту домашних, был в крайнем огорчении и, наконец, вздумал он без всякой посторонней помощи возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта. Он написал оду на восшествие его на престол, напечатанную во второй части его сочинений под надписью «Ода на Новый 1797 год» и послал ее к императору чрез Сергея Ивановича Плещеева. Она полюбилась и имела свой успех. Император позволил ему чрез адъютанта своего князя Шаховского приехать во дворец и представиться, и тогда же дан приказ кавалергардскому начальнику впускать его в кавалерскую залу по-прежнему.

Между тем в те дни, как он почитался в Совете, неприятели его смастерили выжить из коммерц-коллегии, которая восстановлена в превосходнейшее достоинство, чем учреждена была с самого начала Петром Великим, ибо и комиссия о коммерции, и таможенная канцелярия,— все заключалось в ней. Президентом пожалован тайный советник Петр Александрович Соймонов, и Державин, по исключении его из Совета, остался только в Сенате, в межевом департаменте, и там, когда случались спорные и шумливые дела, то он, шутя, повторял императорские слова: «Мне велено сидеть смирно, то делайте вы как хотите; а я сказал уже мою резолюцию». Однако же в сие время многие прибегали к нему утесненные, прося быть третейским судьею в их запутанных и долго продолжающихся тяжбах, и также отдавали себя и их имения по расстроенным от долгов их обстоятельствам. <...>

В наступившем 1798 году Державин получил, по избранию самого императора, кроме вверенных опек графини Брюс, князя Голицына и госпожи Колтовской, новые комиссии, а именно, в мае месяце велено было ему ехать в Вятскую губернию для следования посланных туда сенаторов Ивана Володимировича Лопухина и Матвея Григорьевича Спиридова, которые в рапорте своем императору донесли о некоторых сделанных ими положениях против законов и несоответственно данной им власти. Но Державин искусно умел от сей хлопотливой посылки отделаться, сказав, что он сейчас готов ехать, но думает, что не будет никакой в том пользы, но, напротив, может выйти из сего новое следствие, для того, что один сенатор против двух сенаторов вероятия правительства не заслужит, ежели он и действительно найдет какие их беспорядки, а лучше пусть правительствующий Сенат, сообразив сделанное ими с законами и найдя их самые погрешности, их прикажет исправить; тогда они не столько могут обидеться, как тем, что бы один равный им собрат сделал. Уважено было сие рассуждение, и посылка без всякого гнева императорского отменена. Но только лишь сия история прошла <...>, как получил еще именной указ ехать тотчас в Белоруссию и, по оказавшемуся там великому в хлебе недостатку, сделать такие распоряжения, чтоб не умирали обыватели с голоду. Ни денег на покупку хлеба, ни

других каких пособий не дано, а велено казенные старостра, пожалованные владельцам на урочные годы, поверить с их контрактами, и ежели где оные во всей силе не соблюдены, то отобрать те имения по-прежнему в казенное ведомство. Но и собственные владельческие крестьяне, ежели где усмотрены будут не снабженными от владельцев хлебом и претерпевающими голод, то отобрав от них, отдать под опеку. Равно исследовать поведение евреев, не изнуряют ли они поселян в пропитании их обманами, и искать средств, чтоб они, без отягощения последних, сами трудом своим пропитывать себя могли.

Державин, приехав в Белоруссию, самолично дознал великий недостаток у поселян в хлебе или, лучше, самый сильный голод, что питались почти все пареною травою, с пересыпкою самым малым количеством муки или круп. В отвращение чего, разведав у кого у богатых владельцев в запасных магазейнах есть хлеб, на основании <указа> Петра Великого 1722 года, <велел> взять заимообразно и раздать бедным, с тем, чтоб при приближающейся жатве, немедленно такое же количество возвратить тем, у кого что взято. А между <тем>, проезжая деревни г. Огинского, под Витебском находящиеся, зашел в избы крестьянские, и увидев, что они едят пареную траву и так тощи и бледны, как мертвые, призвал приказчика и спросил, для чего крестьяне доведены до такого жалостного состояния, что им не ссужают хлеба. Он, вместо ответа, показал мне повеление господина, в котором повелевалось непременно с них собрать, вместо подвод в Ригу, всякий год посылаемых, по два рубли серебром. «Вот,— сказал при том,— ежели бы и нашлись у кого какие денжонки на покупку пропитания, то исполнить должны сию господскую повинность». Усмотря таковое немилосердое сдирство, послал тотчас в губернское правление предложение, приказал сию деревню графа Огинского взять в опеку по силе данного ему именного повеления. Услыша таковую строгость, дворянство возбудилось от дремучки или, лучше сказать, от жестокого равнодушия к человечеству: употребило все способы к прокормлению крестьян, достав хлеба от соседственных губерний. <...>

Исполнением сих комиссий Державин пришел было у императора Павла в великое уважение и доверенность.

Не успел он по повелению его возвратиться в Петербург, как и сделан паки президентом коммерц-коллегии в августе еще месяце. <...>

Государю он лично представлен не был, неизвестно для каких причин, а как сказывал господин Обольянинов, то для того будто, что государь отозвался: «Он горяч, да и я, то мы опять поссоримся; а пусть чрез тебя доклады его ко мне идут». <...>

...остался Державин от великих обещаний, по своей богобоязненности ни с чем, как токмо с добрым именем и доверенностью государя, в доказательство которой ноября 23 дня пожалован в финанс-министры.

Весьма удивился, что, быв коммерц-президентом в действительном служении не более двух месяцев и не успев еще войти в познание сей части, уже получает новую, весьма обширную и важнейшую первой. Но весьма странно казалось ему также и то, что граф Васильев оставался в прежней должности государственного казначея: то не понимал, как ему быть финанс-министром при оном, и которое звание пред которым преимущественнее, и кто из них начальствовать должен был; а как Васильев его и по чину и по службе считался старее, то и не мог он быть под командою у младшего: финанс-министра звание было важнее государственного казначея. Словом, в такой путанице поехал объясниться к генерал-прокурору, по которого докладу писались и выходили государевы указы. Он ему доказал, что финанс-министров с самого начала политического образования России никогда не бывало, а в других государствах, сколько ему известно, в сей пост облеченный чиновник есть весьма великая особа: он изобретатель и распорядитель всех государственных доходов и расходов, а государственный казначей не что иное, как счетчик оных и то же самое, что была ревизион-коллегия, учрежденная Петром Великим и до установления в 1779 году экспедиции о государственных доходах существовавшая; финанс-министр должен иметь особливую инструкцию, в которую, как в узел, должны входить все источники сил государственных. Императрица Екатерина отлагала от времени до времени оную, или наказ издать казенного управления, но не успела и так скончалась; а для того-то экспедиция о государственных доходах и управлялась временным начертанием ее должности, подне-

сенным князем Вяземским для сведения только императрицы, которое писал наскоро Державин.

Г. Обольянинов, вняв сему объяснению, доложил императору, который, отменя прежний свой указ, коим пожалован был Державин в финанс-министры, наименовал его государственным казначеем, отставя г. Васильева вовсе от службы. Таковая на него опала произошла от каких-то сплетней, что не удовлетворил он выдачею какой-то суммы по желанию и просьбе Кутайсова, который за то и наговорил императору, что будто он утаивает всегда прямое количество в казначействе денег, заставляя терпеть недостаток даже военные департаменты. Сего было уже очень много возбудить гнев вспыльчивого и самовластного владетеля. Велено было тотчас сочиненную и поднесенную г. Васильевым тогда табель расписания доходов и расходов на наступивший год рассмотреть Державину. Поелику же она составляется вкратце из многих перечней, взятых из ведомостей и счетов всего государства, то надобно было все просмотреть оные, чтоб удостовериться о точности расписания; но как в скорости сего никоим образом не можно было сделать, а император требовал, то Державин и не знал, что делать. <...>

В начале царствования императора Павла генерал-прокурор князь Куракин выпросил себе и многим своим приятелям великое количество на выбор лучших казенных земель, которые у казенных поселян, лишние сверх 8-ми десятин, отбирали даже под огородами, не токмо под пашнями, а те, кому они были отданы, продавали тем же самым поселянам рублей по 300 и по 500 десятину и таким образом удовлетворяли ненасытную свою алчность. В то самое время, когда Державин чрез Лопухина просил на обмен себе земли 200 только четвертей на Званке из ямской противулежащей за Волховом дачи, у которых были излишние сверх 15-ти десятин, то и в том отказано. Когда князь Куракин и другие хищнически набили свои карманы, то будто из жалости и из состраданья, что у казенных крестьян мало земли, исходатайствовали указ, чтоб всех казенных крестьян наделить по 15-ти десятин на душу. И тогда пошло притеснение владельцев при решении дел, что начали отнимать не только примерные земли, но и писцовые, чтоб набрать недостаток в 15 десятин; а где в смежности нет,

тем додавать и в дальнем расстоянии. Видя все сие, Державин, присутствуя в межевом департаменте, нередко шумливал против генерал-прокуроров, князя Куракина и потом князя Лопухина, также и государственного казначея Васильева, что они так из пристрастия и корыстолюбия во зло употребляли щедроту государя; а как они сие ни во что ставили, то сочинил он известную в 3-ей части его сочинений песню:

Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если свет за то бранится,
Что иду прямой стезей?
Пусть другие работают,
Много умных есть господ:
И себя не забывают,
И царям сулят доход.

Распустил по городу, желая, чтоб она дошла до государя и чтоб его спросили, на чей счет оная писана: тогда бы и сказал он всю правду; но как они боялись до сего довести государя, чем бы открыться могли все их пакости, то и терпели, тайно злобясь, делая между тем на его счет неприятные императору внушения. Вследствие чего в одно воскресенье, проходя он в церковь, между собравшимися в прохожей зале увидев Державина, с яростным взором, по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то приметили и думали, что верно отошлет Державина в ссылку или, по крайней мере, вышлет из города в деревню; но Державин, надеясь на свою невинность, пошел, будто ничего не приметя, в церковь, помолился богу и дал себе обещание в хвалу божию выпросить к своему гербу надпись: *«Силою вышнею держусь»*, что на другой день и исполнил, подав в герольдию прошение, в котором просил себе написания грамоты с прибавлением вышесказанного девиза, потому что в гербе его изображена рука, держащая звезду, а как звезды держатся вышнею силою, то и смысл такового девиза был ему очень приличен, что он никакой другой подпоры не имел, кроме одного бога; императору же могло быть сие не противно, потому что силу вышнего, по самолюбию своему, почитал он в себе. Герольдия поднесла доклад и с сим девизом герб Державина конфирмован. <...>

Скоро после того, и помнится, в первый день 1798-го или 1799-го года, генерал-прокурор Лопухин многим сенаторам, унижавшимся пред ним или ласкательствующим ему, выпросил лент; Державин же, хотя он был старее других и более прочих трудился, однако обойден. Лишь только разнесся о сем слух в собрании при дворе, то услышался всеобщий ропот на неправосудие. Кутайсов, или кто другой, пересказал о том императору. Державин между тем, привыкнувший почасту сносить таковые обиды, поехал из дворца равнодушно обедать к графу Строганову, где и занялся бостоном до самого вечера, не хотя ехать во дворец на бал, куда хозяин сбирался. Приехавши домой, услышал, что приезжал придворный ездовой и именем императора звал его во дворец. Не зная тому причины, весьма удивился и тотчас поехал. Лишь только входит в Егорьевскую залу, где уже начался бал, то многие, встречая, сказывают: «Тебя государь спрашивал». Наконец, увидя его, генерал-прокурор князь Лопухин сказал: «Вам император намерен надеть Аннинскую ленту; но теперь уже поздно, то пожалуйте ко мне завтра поутру поранее, я вас ему в кабинете представлю». Так и сделалось. Я к нему приехал, и вместе, в его седши карету, отправились во дворец. Он зачал, будто по доверенности, говорить, что государь давеча было хотел надеть на вас ленту с прочими, но поусомнился, что вы все колкие какие-то пишете стихи; но я уже его упросил: итак, он приказал вас представить к себе сегодня. Державин поблагодарил, зная, что он его не рекомендовал, а может быть, и отговаривал; но когда голос публики отозвался в пользу Державина и дошел до государя, то он сам захотел, как из нижеследующего увидим, ознаменовать к нему свою милость. Приехав во дворец, несколько подождал в кабинетской канцелярии и скоро позван был в кабинет: государь вошел из противных дверей и набросил на него ленту; Державин успел только сказать, что ежели он чем виноват... но император, не дав договорить начатых слов, зарыдал и от него скороподвижно ушел. Из сего не иное заключить можно, что государь к нему был хорошо расположен; но злобным наушничеством и клеветою был отвращаем. <...>

Когда родился великий князь Михаил Павлович, то во время собрания при дворе знатных особ для позд-

равления, граф Завадовский и господин Козодавлев, который тогда был обер-прокурор в Сенате, между радостными разговорами, при таковых случаях бываемыми, говорил Державину, чтоб он написал на день рождения царевича стихи. Он им обещал, и в первое собрание привез с собой оду, которой тому и другому отдал по письменному экземпляру; а как сия пиеса имела некоторые в себе резкие выражения, как то между прочим:

Престола хищнику, тирану
Прилично устрашать врагов,
Но богом на престол венчанну
Любить их должно, как сынов;

то натурально и стала публика поговаривать, опасаясь, чтоб сочинителя в столь смутное время, каково было Павлово, не сослали в ссылку, или бы какого другого ему огорчения не сделали. Державин, в полном удостоверении о своей невинности и будучи готов ответствовать, что он о *хищнике* престола говорил, а император воцарился по наследству законно, то, не опасаясь ничего, не робел и, невзирая на разные неблагоприятные для него слухи, всюду выезжал. В наступившее воскресенье, приехав в придворный театр, встретился в дверях с Козодавлевым: то сей, увидев его, побледнел и бросился от него, как от язвы, опрометью прочь; в театре же, увидя его пред собою на передней лавке сидящего, тотчас вскочил и ушел в столь отдаленное место, что его видеть не мог. Державин не знал, к чему приписать такое от себя приятеля удаление, которому он некогда и чин статского советника выпросил у императрицы Екатерины и всегда считал его себе привязанным человеком. Но после узнал, что страшные разнесшиеся слухи, что будто император гневен за оду, были причиною трусости г. Козодавлева, чтоб не почли его сообщником в сочинении оной. Итак, презрев такую низость души, был спокоен. Но на первой неделе великого поста, когда говел Державин с своим семейством, в середу, видел неприятный сон, и хотя не верил никаким привидениям, однако подумал, чтоб не случилось с ним чего, говорил жене, чтоб она не пужалась от разносящихся слухов, а уповала на бога. Но когда они были в церкви, то посреди самой обедни входит в церковь фельдъегерь

от императора и подает ему толстый сверток бумаг; жена, увидев, помертвела. Между тем, открыв сверток, находит в нем табакерку, осыпанную бриллиантами, в подарок от императора присланную за ту оду, при письме г. статс-секретаря Нелединского, в коем объявлено ему от его величества высочайшее благоволение. На другой день, поехав в Сенат, находит в общем собрании г. Козодавлева, показывает ему табакерку, который с радостным восторгом бросается ему на шею и поздравляет с государскою милостию. Державин, отступя от него, сказал: «Поди прочь от меня, трус. Зачем ты намедни от меня бегал, а теперь целуешь?»

<...> В 1798 году, когда напечатаны были в Москве в первый раз сочинения Державина, цензура тамошняя по строгому тогдашнему времени усомнилась напечатать и не напечатала в оде «Изображение Фелицы» двух строк, а именно: «*Самодержавства скиптр железный // Моей щедротой позлащу*», мог только упросить, чтоб для сих стихов оставили праздное место, и писал генерал-прокурору князю Куракину, говоря, что ежели Екатерина, будучи также самодержавная государыня, не токмо не воспретила, но с благоволением приняла сей стих, то для чего императору Павлу может быть неприятен, когда он не менее ее позлащает щедротами свой скипетр? Куракин докладывал по сему письму, и как <Державин> никакого не получил ответа, то во всех отпечатанных экземплярах и написал в пробеле сии два стиха своею рукою, не опасаясь толкования трусов. <...>

В навечерье <...> страшного переворота Державин был у генерал-прокурора до 12-го часа ночи и, как государственный казначей, трактовал с ним и с купцом Рюминым о подряде соли во все российские города, по отдаче оной на откуп еврею Перцу в полуденных губерниях из крымских соляных озер, и положив на мере сию операцию, поехал домой. Но часу поутру в осьмом на другой день вбегает к нему свояченица его, <жена> г. Нилова, который после был губернатором в Тамбове, жившая с мужем у него в доме, и сказывает, запыхавшись, что император скончался. Происшествие сие не оставят описать историки; но Державин, по ревности своей и любви к отечеству желая охранить славу наследника и брата его Константина, которых порицали в

смерти их отца, и тем укоризну и опасность отвратить империи, написал бумагу, в которой советовал хотя видом одним произвесть следствие, которым бы обвинение сгладить с сих принцев.., с которой бумагой и ездил раза три во дворец; но был приближенными, которые его держали, так сказать, в осаде, не допущен. <...>

Отделение VIII

Царствование императора Александра I.

Как выше явствует, на 12-е марта 1801 года император Александр вступил на престол Всероссийской империи. Первый манифест его был о вступлении на престол, в котором торжественно обещано, что царствовать будет по закону и по сердцу Екатерины. В то же самое время состоялся указ, чтоб по-прежнему государственным казначеем быть графу Васильеву, а Державину только присутствовать в Сенате. По нескольких днях, по дружбе с Трощинским, Васильев получил всемилостивейший рескрипт, в котором, несмотря на то, что не мог дать верного отчета казне, расхвалялся он чрезвычайно за исправное управление государственными доходами. Васильев, внеся сей рескрипт в первый Сената департамент, хотел потщеславиться оным в укоризну Державину, сказав: «Вот многие говорят, что у меня плохо казна управлялась; вместо того сей рескрипт противное доказывает». Державин ответствовал: «На что вам, граф, грешить на других? а я вам говорю в глаза, что вы в таком болоте безотчетностию вашею, из коего вам вовек не выдраться». Он закраснелся и замолчал. Последствие доказывало и поныне доказывает Державина правду, что часть сия в таком беспорядке, которого в благоустроенном государстве предполагать никак бы не долженствовало.

В дни царствования своего император Александр восстановил Дворянскую грамоту, нарушенную отцом его; совершенно уничтожил тайную канцелярию, даже велел не упоминать ее названия, а производить секретные дела в обыкновенных публичных присутственных местах и присылать на обревизование в первый Сената департамент. И как в то время случилось, что одного

в Тамбовской губернии раскольника духоборской секты судили в неповиновении верховной власти, который не признавал совсем государя, то уголовная палата и присудила его к смертной казни и наместо оной к жестокому наказанию кнутом и к ссылке в Сибирь на вечную каторжную работу. Но как в угождение милосердию государя Сенат не хотел его осуждать так строго, то и не знали, что с ним делать, дабы, с одной стороны, не потакнуть ненаказанностью неуважению вышней власти, а с другой, не наказать и не обременить выше меры преступления точным исполнением закона. Державин сказал: «Поелику императрица Екатерина в наказе своем советовала наказание извлекать из естества преступления, и как сущность вины его состоит в том, что не признает он над собою никого, то и отправить его одного на пустой остров, чтоб жил там без правительства и без законов, подобно зверю». Все на мнение сие согласились: так и сделано. <...>

Государь приказал Державину чрез князя Зубова написать организацию, или устройство, Сената. Оно и написано в духе Екатерины, то есть сообразно ее учреждению о управлении губерний; ибо регламенты Петра Великого смешивали в себе все вышеупомянутые власти, то они и не могли делать гармонического состава в управлении империи. Хотя не удостоилась сия организация письменной конфирмации государя и не обнародована, но Державин получил в Москве при коронации за нее орден св. Александра Невского.

Едва же приехал из Москвы, а именно в ноябре месяце 23-го числа ввечеру, Державин был позван чрез ездового к государю. Он предложил ему множество изветов, от разных людей к нему дошедших о беспорядках, происходящих в Калужской губернии, чинимых калужским губернатором Лопухиным, приказывая, чтоб ехал в Калугу и открыл злоупотребления сии формально обозрением своим как сенатор, сказывая, что по тем изветам нарочно посланными от него под рукою уже ощупаны, так сказать, все следы, и остается только открыть их официально. Державин,— прочетши сии бумаги и увидев в них наисильнейших вельмож замешанных, на которых губернатор надеясь чинил разные злоупотребления власти своей, а они его покровительствовали,— просил у императора, чтоб он избавил его

от сей комиссии, объясняя, что из следствия его ничего не выйдет, что труды его напрасны будут и он только вновь прибавит врагов и возбудит на себя ненависть людей сильных, от которых клевет и так он страждет. Император с неудовольствием возразил: «Как, разве ты мне повиноваться не хочешь?» — «Нет, ваше величество, я готов исполнить волю вашу, хотя бы мне жизни стоило, и правда пред вами на столе сем будет. Только благоволите уметь ее защищать; ибо все дела делаются чрез бояр. Екатерина и родитель ваш бывали ими беспрестанно обмануты, так что я по многим поручениям от них <...> хотя все, что честь и верность требовали, делал, но правда всегда оставалась в затмении, и я презираем».— «Нет! — с уверительным видом возразил император,— я тебе клянусь, поступлю как должно». Тогда отдал он ему изветы и все бумаги от посланных от него потаенно, для разведывания и поверки изветов к нему доставленные, примолвив: «Еще получишь в Москве от коллежского советника Каразина. А между тем заготовь и принеси ко мне завтра указ к себе и к кому должно об открытии кратким обозрением злоупотреблений в Калужской губернии». Державин без огласки сие на другой день исполнил: принес к нему для подписания к себе указ, в котором было приказано отправиться ему секретно под предлогом отпуска в Калугу и там сперва поверить изветы с гласом народа, и когда они явятся сходны, тогда открыть формальное свидетельство губернии.

Вследствие чего на другой день, то есть января 5-го дня 1802 года, отправился он без огласки в Калугу... <...>

...быстрое следствие не могло не обнаружить истины. Открылись злоупотребления губернатора: в покровительстве смертоубийства, за взятки, <...> в требовании взяток себе <...> и в прочих неистовых, мерзких и мучительских поступках, в соучастии с архиереем, о чем подробно описывать было бы здесь пространно; каковых, как то важных уголовных и притеснительных дел открыто следующих до решения Сената и высочайшей власти 34, не говоря о беспутных, изъявляющих развращенные нравы, буйство и неблагопристойные поступки губернатора, как то: что напивался пьян и выбивал по улицам окны, ездил в губернском правлении на

раздьяконе верхом, приводил в публичное Дворянское собрание в торжественный день зазорного поведения девку, и тому подобное, каковых распутных дел открылось 12-ть, да беспорядков по течению дел около ста. Но как злоупотребитель власти губернатор был сам в губернии и управлял оною, то и не смели сельской и градской полиции чиновники доводить в точности на своего начальника; что они повеления его исполняли, то сами по себе затмевались некоторые истины; а потому Державин, послав нарочного курьера в Петербург, испросил у императора позволения удалить губернатора от должности и препоручить оную до указа вице-губернатору. <...>

С сим запасом прибыл в Петербург в первых числах апреля. Приехав во дворец, приказал доложить, но не был принят, а приказано приезжать на другой день. Будучи допущен, увидел суровую встречу государя, который сердито сказал ему: «На вас есть жалобы».— «Я знаю, государь,— сказал Державин,— вы мне изволили прислать их подлинником».— «Для чего же это?» — «Я вас теперь,— ответствовал Державин,— пространным объяснением не обеспокою, которое изволите прочесть со временем, не торопясь, а теперь смею только представить подлинный к вашему величеству рапорт губернатора от 31-го января, в котором он вам доносит, что жестокими моими поступками в заведенной мною тайной канцелярии губерния вся встревожена и что он ожидает дурных последствий от народа».— «Так,— государь сказал,— я этот рапорт видел и послал его к вам. Что вы мне на него скажете?» — «Я ничего не скажу,— сказал Державин,— а вот другой рапорт того же губернатора ко мне от того же самого месяца и числа, в котором он меня уведомляет, как и повседневно то делал, что в губернии все обстоит благополучно».— «Как! — вскрикнул государь, взглянув на тот и на другой рапорты,— так он бездельник! Напиши указ, чтоб судить его».— «Нет, государь! — возразил смело Державин,— позвольте мне теперь не повиноваться».— «Как?» — «Так: когда вы изволили во мне усомниться, то не угодно ли будет вам лучше удостовериться во мне и приказать пересмотреть мое следствие, нет ли в нем каких натяжек к обвинению невинности».— «Хорошо»,— и в ту же минуту приказал составить комитет,

назнача в него членами: графа Александра Романовича Воронцова, графа Валериана Александровича Зубова, графа Николая Петровича Румянцева и его, Державина, для объяснений в случае каких неясностей, сказав, чтоб рассмотрели в подробности все бумаги и вошли бы к нему с докладом за общим всех подписанием, заготовя при том и проекты указов, кому и куда какие следуют.

Таковым рассмотрением комитет занимался с лишком 4 месяца; каждого дела порознь следствие и каждую бумагу наиприлежнее прочитывал и поверял с подлинными показаниями подсудимых... <...> Словом, по рассмотрении всего следствия, не найдено не токмо притеснений или домогательств подсудимым, тем паче каких истязаний, но даже везде и во всем великое снисхождение, так что некоторые, и не из доброжелательных к нему членов, пришли в удивление. <...>

В сем же в 1802 году октября 8-го дня состоялся высочайший манифест о министерстве, в котором, в числе прочих 8-ми, сделан Державин юстиц-министром, с названием купно генерал-прокурора. В сей день ввечеру, когда случились у Державина гости, приехал к нему господин Новосильцев и привез тот манифест, который, отозвав его в другую комнату, прочел ему по повелению, как он сказал, государя императора, с тем чтоб он ему <дал> свое мнение, примолвя, что он назначаем был в финанс-министры, а г. Васильев в генерал-прокуроры; но как сей последний не хотел принять на себя, неведомо почему, сего названия, а убедительно просил сделать его финанс-министром, то Державину и судила судьба быть юстиц-министром, а Васильеву — финансов. Поелику Державин уже видел указ о министерстве подписанным, к сочинению которого он приглашен не был, а сочиняли его, сколько опосле известным учинилось, граф Воронцов и г. Новосильцев или, лучше сказать, тогда составляющие партикулярный или дружеский совет государя императора, с помянутыми двумя, князь Чарторижский и г. Кочубей, люди, ни государства, ни дел гражданских основательно не знающие, то хотя бы можно было в нем важные недостатки заметить, о которых ниже, при удобности, помянется; но как уже было дело сделано, то Державин и отозвался, что он ничего против подписанной его величества воли сказать не может. Министрами были сделаны: иностранных дел —

граф Воронцов, помощником его — князь Чарторижский; финанс-министром — граф Васильев, помощником — г. Гурьев; коммерц-коллегии — граф Румянцев; внутренних дел — г. Кочубей; военных сухопутных сил — г. Вязмитинов; морских сил — г. Мордвинов, помощник у него — г. Чичагов; просвещения — граф Завадовский, помощник его — г. Новосильцев, который отправлял должность и правителя канцелярии сего комитета; юстиц-министром — Державин. На другой день было собрание сего министерского комитета у графа Воронцова, яко старшего члена. Оно было, так сказать, для пробы, каким образом заниматься ему производством дел в личном присутствии государя императора. Державин тут же открыл свое мнение, что без основательных инструкций или наставлений для каждого министра по его должности, не будет от сего комитета в государственных делах никакой пользы, ни успеха, а напротив, будут впадать в обязанности один другого, перессорятся, и все падет в беспорядок, что к несчастию и случилось <...>, но господа сочлены все восстали, а особливо граф Воронцов, против сего мнения, сказав, что в инструкциях на первый случай нет нужды, а что со временем оные можно дать. <...>

В мае месяце докладывал Державин государю правила третейского совестного суда, им сочиненные, над которыми трудился несколько лет по многим опытам третейского судопроизводства и посылал по многим своим приятелям, знающим законы, для примечания. Государь, выслушавши оные правила, вскочил с восторгом со стула и сказал: «Гавриил Романович! Я очень доволен, это весьма важное дело». Однако же те правила и по сие время не выданы к исполнению. Слышно было, что г. Новосильцев их не одобрил, по недоброхотному отзыву окружающих его подьячих, Дружинина и прочих, для того что они пресекали взятки и всякое лихоимство, что было им не по мыслям; ибо тогда бы царство подьяческое прошло. Однако же, при прощании с Державиным, как ниже о том увидим, государь побожился, что он те правила введет в употребление. В мае месяце в том году, то есть 1803-м, путешествовал государь в Лифляндскую губернию, а с ним г. Новосильцев и граф Чарторижский, и как они были враги Державина, то, будучи с государем не малое время, так

сказать в уединении, и довершили они Державину свое недоброжелательство разными клеветами, какими именно — неизвестно; но только из того оное разуметь можно было, что Державин, будучи во время отсутствия императора отпущен в новгородскую свою деревню Званку на месяц, не мог за болезнию к приезду государя возвратиться, то писал к князю Голицыну, прося доложить, что замедление его происходит от болезни, но что он, однако, скоро будет. На что по приезде получил отзыв, что ему нет в нем нужды, хотя бы он и вовсе не приезжал. Державин хотя почувствовал сим отзывом неблаговоление себе государя, но терпеливо снес оное, стараясь, сколько сил его было, исполнять наилучшим образом свою должность. <...>

Выше уже видно, что государь около сего времени час от часу холоднее становился к Державину; но начало внутреннее его к нему неблагорасположение сперва обнаруживаться тем <...>: в одно время, при докладе по какому-то частному письму, увидев число на нем прошедшего месяца, сказал, что «у вас медленно дела идут». Державин ответствовал: он смеет удостоверить, что в Сенате ни при одном генерал-прокуроре так скоро и осмотрительно дела не шли, как ныне, что их в общем собрании в одно присутствие иногда решится по 4, и жалоб на оные нет.— «Но вот это письмо доказывает, что так замедлилось»,— возразил государь с неудовольствием. «Что касается до частных писем,— сказал Державин,— то это не его дело».— «Как не твое дело?» — с негодованием спросил император. «Так, государь! это дело статс-секретарей: они, по частным письмам собрав справки или сделав с кем надлежит сношение, должны докладывать вашему величеству и писать по ним ваши указы, а генерал-прокурорская обязанность состоит прилежно смотреть за Сенатом и за подчиненными ему местами, чтоб они решили дела и поступали по законам: так при покойной вашей бабке было. Я был сам статс-секретарем и очень это знаю, что не затрудняли такими мелочами генерал-прокурора».— «Но при родителе моем так учреждено было».— «Я знаю; но родитель ваш поступал самовластно, с одним генерал-прокурором без всяких справок и соображения с законами делал, что ему было только угодно; но вы, государь, в манифесте вашем при вступлении на пре-

стол объявили, что вы царствовать будете по законам и по сердцу Екатерины: то мне не можно иначе ни о чем докладывать вам, как по собрании справок и по соображении с законами, а потому и не могу я и сенатские и частные дела вдруг и поспешно, как бы желалось, обрабатывать и вам докладывать. Не угодно ли будет приказать частные письма раздать по статс-секретарям?» — «Ты меня всегда хочешь учить,— государь с гневом сказал,— я самодержавный государь, и так хочу». <...>

В один день говорит: «Как это у вас дела исполняются, а канцелярия ваша об них не знает?» — «Не понимаю и не знаю, государь,— сказал Державин,— позвольте о том мне справиться, какие бы то ни были дела, которые исполнены, прежде нежели канцелярия о них знала». Державин справился и нашел, что в самой вещи несколько было таких дел, которые уже по исполнении их отданы были к записке в регистратуру канцелярии, например, доносы о похищении казначеями казны, о заговорах и умыслах на особу государя и о прочем, по которым, с докладу его величества, писано было секретно к кому надлежало собственною рукою Державина, чтоб взяты были подлежащие меры, к захвачению похищения казны и заговорщиков, прежде нежели узнала о том канцелярия, для того что имели они и здесь, в городе, и по губерниям приятельские связи, чрез которые происходила преждевременная разгласка, и виновные могли укрываться. Державин объяснил сии обстоятельства государю, и он оправдал его поступки. <...>

В начале октября месяца 1803 году, в одно воскресенье, против обыкновения, государь его не принял с докладами, приказав сказать, что ему недосуг, хотя и был у развода. В понедельник прислал к нему письмо или рескрипт, в котором, хотя оказывает удовольствие ему за отправление его должности, но тут же говорит, чтоб отнять неудовольствие, доходящее к нему на неисправность его канцелярии, просит очистить пост министра юстиции, а остаться только в Сенате и Совете присутствующим. Державин не знал, что подумать и чем по должности мог он прослужиться, отправляя оную со всем своим усердием, честностию, всевозможным прилежанием и бескорыстием; но рассудя, что у

монархов таковыми качествами или добродетелями найти совершенного благоволения не можно, написал ему письмо, в котором напомянул с лишком 40-летнюю ревностную службу и то, что он при бабке его и при родителе всегда был недоброхотами за правду и истинную к ним приверженность притесняем и даже подвергаем под суд, но, по непорочности, оправдыван и получал большее возвышение и доверенность, так что удостоен был и приближением к их престолу; что и ему служа, шел по той же стезе правды и законов, несмотря ни на какие сильные лица и противные против его партии; <...> заключил, что ежели такой юстиц-министр, который следует законам и справедливости, не угоден, то чтоб отпустил его с честью; <...> ибо он не признает себя виновным или прослужившимся. <...> Он отвечал ему также запиской, что он может к нему приехать на другой день, то есть в четверг, в обыкновенное докладное время, то есть в 10-м часу поутру, что и было исполнено. Тут было пространное и довольно горячее объяснение со стороны Державина, в котором он спрашивал его, в чем он пред ним прослужился. Он ничего не мог сказать к обвинению его, как только: «*Ты очень ревностно служишь*».— «А как так, государь,— отвечал Державин,— то я иначе служить не могу. Простите».— «Оставайся в Совете и Сенате».— «Мне нечего там делать».— «Но подайте же просьбу,— подтвердил государь,— о увольнении вас от должности юстиц-министра».— «Исполню повеление». Тут выпросил он многим подкомандующим своим чины и другие милости, расстался, а между тем, поколь он не подавал просьбы, то доводили до него чрез его ближних внушения, что ежели он пришлет уничижительное прошение о увольнении его от должности юстиц-министра, по ее трудности, и останется в Сенате и Совете, то оставлено будет ему все министерское жалованье, 16000 рублей, и в вознагражденье за труды дастся Андреевская лента. Но как он ценил истинные достоинства не по деньгам, не по лентам, а по доверенности государской и совестному разбирательству своих поступков, то когда лишился он первой, по самонравию счастья или, лучше сказать, государя, которому служил он всей душою и сердцем, не щадя ни здоровья своего, ни трудов, и не может также упрекать себя в нарушении второй, то и не хотел при-

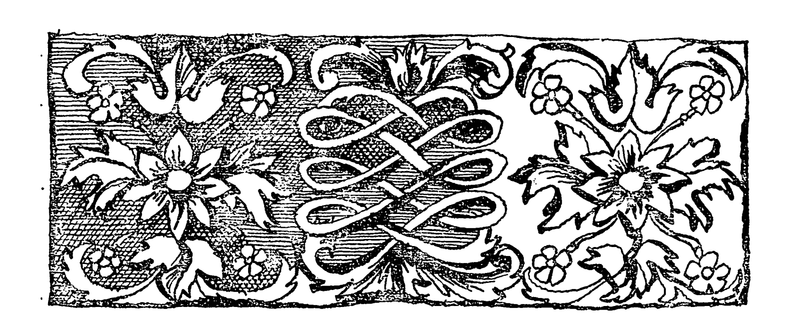
нять предлагаемых выгод и награждений, а написал просто по форме просьбу, в которой весьма кратко сказал, чтоб государь его от службы *своей уволил*. Вследствие чего, на другой или третий день состоялся 8-го октября 1803 году в Сенат указ, коим он от службы вовсе уволен с пожалованьем ему 10000 рублей каждогодного пансиона, который он и теперь получает. <...>

Итак, заботливая его и истинно-попечительная, как верного сына отечества, служба потоптана, так сказать, в грязи, а потому он, как выше явствует, и оставил оную в 1803 году октября 8-го числа, быв генерал-прокурором один только год и один месяц.

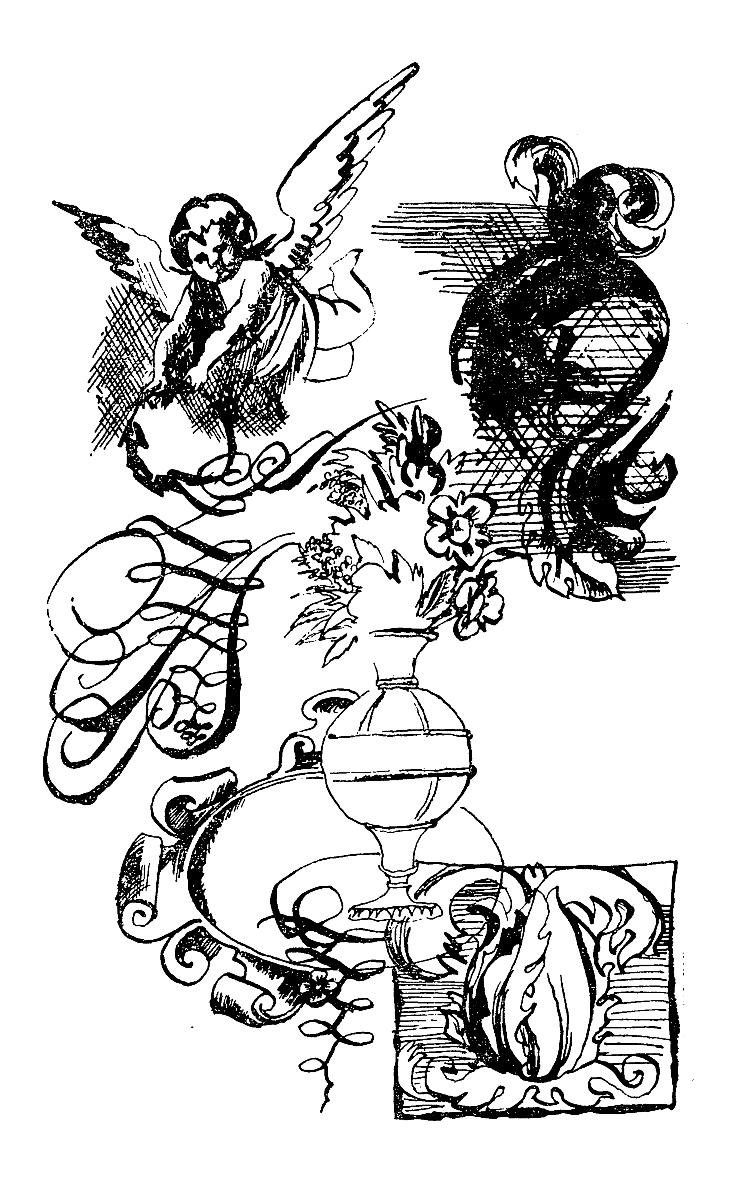
Упражнения его после отставки от службы.

Привыкши к беспрестанным трудам, не мог он быть без упражнения, и для того занимался литературою, писал несколько лирических сочинений, которых вышло 4 части, и еще наберется, может быть, одна; сочинял трагедии, как то: 1) «Ирода и Мариамну», 2) «Евпраксию», 3) «Темного»; да перевел «Федру», «Зельмиру». Комических написал опер бездельных две: «Дурочка умнее умных» и «Женская дружба»; несколько прозаических сочинений, надписей, эпиграмм и рассуждение о лирической поэзии. Но в 1806-м и в начале 1807 года, в то время как вошли французы в Пруссию, не утерпел, писал государю две записки о мерах, каким образом укротить наглость французов и оборонить Россию от нападения Бонапарта, которые явно предвидел, о чем с ним и словесно объяснялся, прося позволения сочинить проект, к которому у него собраны мысли и начертан план: только требовалось некоторых справок от военной коллегии и прочих мест, относительно наряда войск, крепостей, оружия и тому подобное. Государь принял сие предложение с благосклонностию, хотел призвать его к себе; но, поехав в марте месяце к армии под Фридланд и возвратясь оттуда, переменил с ним прежнее милостивое обхождение, не кланялся уже и не говорил с ним; а напротив того, чрез князя А. Н. Голицына, за псалом 101, переложенный им в стихи, в котором изображалось Давида сетование о бедствии отечества, сделал выговор, отнеся смысл оного на Россию и говоря: «Россия не бедствует»; о чем яснее можно

видеть из анекдота, написанного о сем случае. Нужно припомнить, что когда Державин вышел в отставку и увидел, что указ о вольных хлебопашцах не исполняется и исполниться не может, и будучи тогда очень нездоровым, написал завещание о своем имении, в котором сделал распоряжение относительно свободы его крестьян, в котором ограничил, с одной стороны, самовластие владельцев, его наследников, над людьми и крестьянами, а с другой, не дал им никакого поводу к своеволию и перехождению на места, в 1808 или 1809 году просил чрез господина Молчанова о подтверждении государем того его завещательного распоряжения; но не удостоился его благоволения, а сказано было, чтоб просил о том в судебных местах по законам, чего без воли монаршей никому не можно было сделать. С тех пор оставил Державин всячески двор и не беспокоил его никакими на пользу отечества усердными представлениями, кроме что в 1812 году, во время вторжения французов внутрь империи, при случае воззвания манифестом всеобщего ополчения, писал из Новгорода июля 14-го дня о некоторых к обороне служащих мерах, но что по ним сделано, ни от императора и ни от кого не имел никакого известия, и дошла ли та бумага до рук его величества, не получил ни от кого никакого сведения... <...> Сие оканчивается 1812 годом.



Державин в воспоминаниях современников

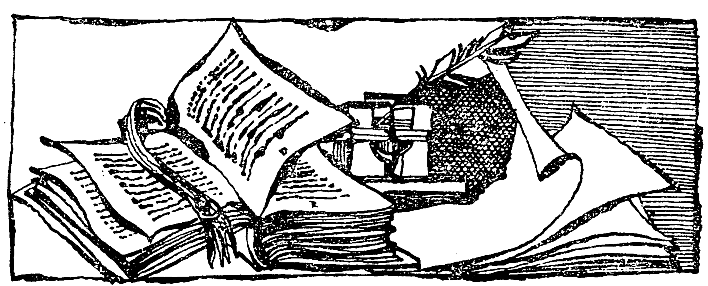


А. С. Пушкин

ДЕРЖАВИН

Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы: портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...

Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...



С. П. Жихарев

ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКА

...Между прочим, к слову о Державине. Наблюдательный Иван Иванович рассказывал, что Гаврила Романович по кончине первой жены своей (Катерины Яковлевны, женщины необыкновенной по уму, тонкому вкусу, чувствам приличия и вместе по своей миловидности) приметно изменился в характере и стал еще более задумчив и, хотя в скором времени опять женился, но воспоминание о первой подруге, внушавшей ему все лучшие его стихотворения, никогда его не оставляет. Часто за приятельскими обедами, которые Гаврила Романович очень любит, при самых иногда интересных разговорах или спорах, он вдруг задумается и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, драгоценные ему буквы К. Д. Это занятие вошло у него в привычку. Настоящая супруга его, заметив это ежедневное, несвоевременное рисованье, всегда выводит его из мечтания строгим вопросом: «Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?» — «Так, ничего, матушка»,— обыкновенно с торопливостью отвечает он, вздохнув глубоко и потирая себе глаза и лоб как будто спросонья. <...>

...За обедом у Ростислава Евграфовича Татищева видел я Дмитрия Ардальоновича Лопухина, бывшего калужского губернатора, непримиримого врага Державину за то, что этот, в качестве ревизующего сенатора, сменил его за разные злоупотребления. Лопухин не может слышать о Державине равнодушно, а бывший секретарь его, великий говорун Николай Иванович Кондратьев, разделивший участь своего начальника и до сих пор верный его наперсник, приходит даже в бешенство, когда заговорят о Державине и особенно если его хвалят. Этот Кондратьев пописывает стишки, разумеется, для своего круга, и, по выходе Державина в отставку, *спустил,* по выражению, кажется, Сумарокова, *свою своевольную музу, аки цепную собаку,* на отставного министра и выразил удовольствие свое следующим стихотворным бредом:

Ну-ка, брат, певец Фелицы,
На свободе от трудов
И в отставке от юстицы

Наполняй бюро стихов.
Для поэзьи ты свободен,
Мастер в ней играть пером,
Но за что стал неугоден
Министерским ты умом?
Иль в приказном деле хватки
Стихотворцам есть урок?
Чьи, скажи, были нападки?
Или изгнан за порок?
Не жена ль еще причиной,
Что свободен стал от дел?..

Далее, слава богу, не припомню. Кроме неудовольствия слышать эти гадкие, кабачные стихи, грустно видеть в них усилие мелочной души уколоть гениального человека, который, вероятно, никогда и не узнает об этих виршах. Просто: кукиш из кармана. <...>

...На днях думаю представиться Державину с моим «Артабаном». Великий поэт в эпоху губернаторства своего в Тамбове был дружен с дедом моим, который, после увольнения от должности вятского губернатора, жил в тамбовской деревне и, любя чтение, был одним из усердных поклонников певца Фелицы. <...>

...Был у Державина — и до сих пор не могу прийти в себя от сердечного восхищения. С именем Державина соединено было все в моем понятии, все, что составляет достоинство человека: вера в бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность к государю и отечеству, высокий талант и труд бескорыстный... и вот я увидел этого мужа,

кто, строя лиру,
Языком сердца говорил!

Сильно билось у меня сердце, когда въехал я на двор невысокого дома на Фонтанке, находящегося невдалеке от прежней моей квартиры в доме умалишенных. Вхожу в сени с «Артабаном» под мышкою и спрашиваю дремавшего на стуле лакея: «Дома ли его высокопревосходительство и принимает ли сегодня?» — «Пожалуйте-с»,— отвечал мне лакей, указывая рукою на деревянную лестницу, ведущую в верхние комнаты.— «Но, голубчик, нельзя ли доложить прежде, что вот приехал Степан Петрович Жихарев, а то, может быть, его высокопревосходительство занят».— «Ничего-с, по-

жалуйте; енарал в кабинете один».— «Так проводи же, голубчик».— «Ничего-с, извольте идти сами-с, прямо по лестнице, а там и дверь в кабинет, первая налево». Я пошел или, скорее, поплелся; ноги подгибались подо мною, руки тряслись, и я весь был сам не свой, меня била лихорадка. Взойдя наверх и остановившись перед стеклянною дверью, первою налево, завешенною зеленою тафтою, я не знал, что мне делать — отворять ли дверь или дожидаться, покамест кто-нибудь случайно отворит ее. Я так был смешан и так смешон! К счастью, явилась мне неожиданная помощь в образе прелестной девушки, лет 18, которая, пробежав мимо меня и, вероятно, заметив мое смущение, тотчас остановилась и добродушно спросив: «Вы, верно, к дядюшке?»,— без церемонии отворила дверь, примолвив: «Войдите». Я вошел. Старец лет 65, бледный и угрюмый, в белом колпаке, в беличьем тулупе, покрытом синею шелковою материею, сидел в креслах за письменным столом, стоявшим посредине кабинета, углубясь в чтение какой-то книги. Из-за пазухи у него торчала головка белой собачки, до такой степени погруженной в дремоту, что она и не заметила моего прихода. Я кашлянул. Державин — потому что это был он — взглянул на меня, поправил на голове колпак и, как будто спросонья зевнув, сказал мне: «Извините, я так зачитался, что и не заметил вас. Что вам угодно?» Я отвечал, что по приезде в Петербург я первою обязанностью поставил себе быть у него с данью того искреннего уважения к его имени, в котором был воспитан; что он, будучи так коротко знаком с дедом, конечно, не откажет и внуку в своей благосклонности. Тут я назвал себя. «Так вы внук Степана Данилыча? Как я рад! А зачем сюда приехали? Не определяться ли в службу? — и, не дав мне времени отвечать, продолжал,— если так, то я могу попросить князя Петра Васильевича (Лопухина) и даже графа Николая Петровича (Румянцева)». Я объяснил ему, что я уже в службу определен и что ни в ком и ни в чем покамест надобности не имею, кроме его благосклонности. Он стал расспрашивать меня, где я учился, чем занимался, какое наше состояние и проч., и, когда я удовлетворил всем его вопросам, он, как будто спохватившись, сказал: «Да что ж вы стоите? садитесь». Я взял стул и подсел к нему. «Ну а это что у

вас за книга?» Я отвечал, что это трагедия моего сочинения «Артабан», которую я желал бы посвятить ему, если только она того стоит. «Вот как! так вы пишете стихи — хорошо! Прочитайте-ка что-нибудь». Я развернул моего «Артабана» и прочитал ему сцену из 3-го действия, в которой впавший в опалу и скитающийся в пустыне царедворец Артабан поверяет стихиям свою скорбь и негодование, пылая мщением. Державин слушал очень внимательно, и, когда я перестал читать, он, ласково и с улыбкою посмотрев на меня, сказал: «Прекрасно. Оставьте, пожалуйста, трагедию вашу у меня: я с удовольствием ее прочитаю и скажу вам свое мнение». Я был в восторге, у меня развязался язык, и откуда взялось красноречие! Я стал говорить о его сочинениях, многие цитировал целиком; рассказал о знакомстве моем с И. И. Дмитриевым, о его к нему послании, начинающемся так: «Бард безымянный, тебя ль не узнаю», которое прочитал от начала до конца; распространился о некоторых московских литераторах, особенно о Мерзлякове и Жуковском, которые были ему вовсе неизвестны; словом, сделался чрезвычайно смел. Державин все время слушал меня с видимым удовольствием и потом, несколько призадумавшись, сказал, что он желал бы, чтоб я остался у него обедать. Я объяснил ему, что с величайшим удовольствием исполнил бы его волю, если б не дал уже слова обедать у прежнего своего хозяина, доктора Эллизена. «Ну, так милости просим послезавтра, потому что завтра хотя и праздник, но у нас день невеселый: память по Николае Александровиче Львове». Я поклонился в знак согласия. «Да прошу вперед без церемонии ко мне жаловать всякий день, если можно. Ведь у вас здесь знакомых, должно быть, немного».

И вот я послезавтра буду обедать у Державина! Напишу о том к своим. Боюсь, что не поверят моему благополучию. <...>

...К Гавриилу Романовичу приехал я, по назначению, в 3 часа. Домашние его находились уж в большой гостиной, находящейся в нижнем этаже, и сидели у камина, а сам он, в том же синем шелковом тулупе, но в парике, задумчиво расхаживал по комнатам и по временам гладил головку собачки, которая, так же как и вчера, высовывалась у него из-за пазухи. Лишь только

я успел войти, как он тотчас же представил меня своей супруге Дарье Алексеевне: «Вот, матушка, Степан Петрович Жихарев, о котором я тебе говорил. Прошу полюбить его: он внук старинного тамбовского моего приятеля». Потом, обратившись к племянницам, продолжал: «Вам рекомендовать его нечего: сами познакомитесь». И тут же совершенно переменив вчерашний учтивый со мною тон, с большею живостью начал говорить об «Артабане». «Читал я, братец, твою трагедию и, признаюсь, оторваться от нее не мог: ну, право, прекрасно! Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко; стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова». Я остолбенел: мне пришло на мысль, что он вздумал морочить меня. Однако ж, думаю: нет, из-за чего бы ему, Державину, говорить мне комплименты, если б в самом деле в трагедии моей не было никаких достоинств? Я отвечал, что с малолетства напитан был чтением священного писания, книг пророческих и его сочинений, что едва только выучился лепетать, как знал уже наизусть некоторые его оды, как то: «Бога», «Вельможу», «Мой истукан», «На смерть князя Мещерского» и «К Фелице», что эти стихотворения служили для меня лучшим руководством в нравственности, нежели все школьные наставления. Кажется, он остался очень доволен моим объяснением.

За обедом посадили меня возле хозяйки, которая была ко мне чрезвычайно ласкова и внимательна. «Пожалуйста, бывайте у нас чаще; мы всякий день обедаем дома и по вечерам никуда почти не выезжаем. Будьте у нас, как у родных». Державин за столом был неразговорчив; напротив, прелестные племянницы его говорили беспрестанно, мило и умно. Племянников не было, а мне очень хотелось познакомиться с ними. Старший Леонид служит в Иностранной коллегии и недавно приехал из Мадрида, где он был при посольстве. Но время не ушло.

После обеда Гаврила Романович сел в кресло за дверью гостиной и тотчас же задремал. Вера Николаевна сказала мне, что это всегдашняя его привычка. «А что это за собачка,— спросил я,— которая торчит у дядюшки из-за пазухи, только жмурит глаза да глотает хлебные катышки из руки дядюшкиной?» — «Это вос-

поминание доброго дела,— отвечала мне В. Н.— К дядюшке ходила по временам за пособием одна бедная старушка, с этой собачкой на руках. Однажды зимою бедняжка притащилась, окоченевшая от холода, и, получив обыкновенное пособие, ушла, но вскоре возвратилась и со слезами умоляла дядюшку взять себе эту собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала его благодеяние. Дядюшка согласился, но с тем, чтоб старушка получала у него по смерть свою пансион, который она и получает, только она, по дряхлости своей, не ходит за ним, а дядюшка заносит его к ней сам, во время своих прогулок. С тех пор собачка не оставляет дядюшку ни на минуту, и если она у него не за пазухой или не вместе с ним на диване, то лает, визжит и мечется по целому дому». При этом рассказе у меня навернулись на глазах слезы — и я не стыдился их, потому что, по словам его же, неистощимого и неисчерпаемого Державина,

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал!

Покамест наш бард дремал в своем кресле, я рассматривал известный портрет его, писанный Тончи. Какая идея, как написан и какое до сих пор еще сходство! Мне хотелось видеть его бюст, изваянный Рашеттом и так им прославленный в стихотворении «Мой истукан», но он, по желанию поэта, находился наверху, в диванной его супруги:

А ты, любезная супруга,
Меж тем возьми сей истукан,
Спрячь для себя, родни, для друга
Его в серпяный свой диван.

Проснувшись, Гаврила Романович опять, между прочим, повторил предложение дать мне на всякий случай рекомендательные письма к князю Лопухину и к графу Румянцеву и даже настоял на том, чтоб я к ним представился. «Князь Лопухин,— сказал мне Гаврила Романович,— человек старинного покроя и не тяготится принять и приласкать молодого человека, у которого

нет связей; да и Румянцев человек обходительный и покровительствует людям талантливым и ученым. Правду молвить, и все-то *они* (разумея министров) большею частью люди добрые; вот хоть бы и граф Петр Васильич, хотя и не может до сих пор забыть моего Беатуса. Да как быть!»

Я откланялся, обещая бывать у Гаврилы Романовича так часто, как только могу, и, конечно, сдержу свое слово, лишь бы не надоесть. <...>

...Обедал у Гаврила Романовича. Это не человек, а воплощенная доброта; ходит себе в своем тулупе с Бибишкой за пазухою, насупившись и отвесив губы, думая и мечтая и, по-видимому, не занимаясь ничем, что вокруг его происходит. Но чуть только коснется до его слуха какая несправедливость и оказанное кому притеснение, или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело — тотчас колпак набекрень, оживится, глаза засверкают, и поэт превращается в оратора, поборника правды, хотя, надо сказать, ораторство его не очень красноречиво, потому что он недостаточно владеет собою: слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый, но со всем тем в эти минуты он очень увлекателен и живописен. Кажется, что мое чтение ему понравилось, потому что он заставлял меня читать некоторые прежние свои стихотворения и слушал их с таким вниманием, как будто бы они были для него новостью и не его сочинения. Меня поразило в нем то, что он не чувствовал настоящих превосходных красот в своих стихотворениях, и ему нравились в них именно те места, которые менее того заслуживали.

Гаврила Романович настоял, чтоб я непременно представился с рекомендательными его письмами князю Лопухину и графу Румянцеву; эти письма дал он мне за открытыми печатями, которые очень ловко смастерил кривой его секретарь. <...>

...Гаврила Романович хотел на этих днях представить меня А. Н. Оленину и О. П. Козодавлеву. «Тот и другой,— сказал он,— очень добрые люди. Первый имеет много должностей, очень занят и обязан беспрестанно выезжать, но зато жена домоседка и очень любезная женщина, радушно принимает своих знакомых ежедневно по вечерам. У них очень нескучно».

Гаврила Романович сказывал, что приятель и родственник его, В. В. Капнист, написав комедию «Ябеда», неоднократно читал ее при многих посетителях у него, у Н. А. Львова и у А. Н. Оленина, и когда в городе заговорили о неслыханной дерзости, с какою выведена в комедии безнравственность губернских чиновников и обнаружены их злоупотребления, Капнист, испугавшись, чтоб благонамеренность его не была перетолкована в худую сторону и он не был очернен во мнении императора, просил совета, что ему делать. «То же, что сделал Мольер со своим «Тартюфом»,— сказал ему Н. А. Львов,— испроси позволения посвятить твою комедию самому государю». Капнист последовал совету — и все толки умолкли. Те же самые люди, которые сначала так сильно вооружились против Капниста, вдруг переменили свое мнение и стали находить комедию превосходною. «Ябеда» была представлена на театре в бенефис актера Крутицкого, который отлично выполнил роль председателя. Г. Р. прибавил, что, конечно, комедия Капниста очень живо представляет взяточников, эту язву современного общества, но в последствиях совершенно бесполезна и, к сожалению, не обратит их на путь истинный. <...>

...Гаврила Романович представил меня А. С. Шишкову, сочинителю «Рассуждения о старом и новом слоге», задушевному другу президента Российской Академии Нартова. С большим любопытством рассматривал я почтенную фигуру этого человека, которого детские стихи получили такую народность, что, кажется, нет ни в одном русском грамотном семействе ребенка, которого не учили бы лепетать:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже, и проч.

Не могу поверить, чтоб этот человек был таким недоброжелателем нашего Карамзина, за какого хотят его выдать. Мне кажется, что находящиеся в «Рассуждении о старом и новом слоге» колкие замечания на некоторые фразы Карамзина доказывают не личное нерасполо-

ложение к нему Александра Семеновича, а только одно несходство в мнениях и образе воззрения на свойства русского языка. Из всего, что ни говорил Шишков — а говорил он много,— я не имел случая заметить в нем ни малейшего недоброжелательства или зависти к кому-нибудь из наших писателей; напротив, во всех его суждениях, подкрепляемых всегда примерами, заключалось много добродушия и благонамеренности. Он очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглашались молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гаврилу Романовичу назначить вместе с ним попеременно, хотя по одному разу в неделю, литературные вечера, обещая склонить к тому же Александра Семеновича Хвостова и сенатора Ивана Семеновича Захарова, которых домы и образ жизни представляли наиболее к тому удобств. Бог весть, как обрадовался этой идее добрый Гаврила Романович и просил Шишкова устроить как можно скорее это дело. <...>

...У Гаврила Романовича обедали О. Козодавлев и Дмитревский. Осип Петрович, кажется, добрый и приветливый человек, любит литературу и говорит обо всем очень рассудительно; он также старый знакомец И. И. Дмитриева, расспрашивал меня о его житье-бытье и, между прочим, чрезвычайно интересовался университетом; хвалил покойного Харитона Андреевича, называя его настоящим *русским ученым*, и радовался, что Страхов занял его место, присовокупив, что лучшего преемника Чеботареву найти невозможно и что Михайло Никитич весьма его уважает. Говорили о «Дмитрии Донском», и на вопрос Гаврилы Романовича Дмитревскому, как он находит эту трагедию в отношении к содержанию и верности исторической, Иван Афанасьевич отвечал, что, конечно, верности исторической нет, но что она написана прекрасно и произвела удивительный эффект. «Не о том спрашиваю,— сказал Державин,— мне хочется знать, на чем основался Озеров, выведя Дмитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинехонька прибыла в стан и, вопреки всех обычаев тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Дмитрию».— «Ну, конечно,— отвечал Дмитревский,— иное и невер-

но, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектны». Державин замолчал, а Дмитревский, как бы опомнившись, что не прямо отвечал на вопрос, продолжал: «Вот изволите видеть, ваше высокопревосходительство, можно бы сказать и много кой-чего насчет содержания трагедии и характеров действующих лиц, да обстоятельства не те, чтоб критиковать такую патриотическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех. Впрочем, надобно благодарить бога, что есть у нас авторы, посвящающие свои дарования театру безвозмездно, и таких людей, особенно с талантом Владислава Александровича, приохочивать и превозносить надобно; а то, неравно, бог с ним, обидится и перестанет писать. Нет, уж лучше предоставим всякую критику времени: оно возьмет свое, а теперь не станем огорчать такого достойного человека безвременными замечаниями». <...>

...Литературные вечера назначены по субботам поочередно у Гаврилы Романовича, А. С. Шишкова, И. С. Захарова и А. С. Хвостова; они начнутся с субботы 2 февраля у Шишкова, которому принадлежит честь первой о них мысли; вероятно, после кто-нибудь из известных особ захочет также войти в очередь с нашими меценатами, но покамест их только четверо. Все литераторы без изъятия, представленные хозяину дома кем-либо из его знакомых, имеют право на них присутствовать и читать свои сочинения, но молодые люди, более или менее оказавшие успехи в словесности или подающие о себе надежды, будут даже приглашаемы, потому что учреждение этих вечеров имеет главным предметом приведение в известность их произведений. <...>

...Поздно вечером возвратился я от А. С. Шишкова, веселый и довольный. Общество собралось не так многочисленное, как я предполагал: человек около двадцати — не больше. Гаврила Романович, И. С. Захаров, А. С. Хвостов, П. М. Карабанов, князь Шихматов, И. А. Крылов, князь Д. П. Горчаков, флигель-адъютант Кикин, которого я видел в Москве у К. А. Муромцевой, полковник Писарев, А. Ф. Лабзин, В. Ф. Тимковский, П. Ю. Львов, М. С. Щулепников, молодой Корсаков, Н. И. Язвицкий, сочинитель *букваря*, Я. И. Галинковский, автор какой-то книги *для*

прекрасного пола под заглавием «Утренник», в которой, по отзыву Шулепникова, лучшими статьями можно почесть: «Любопытные познания для счисления времен» и «Белые листы для записок на 12 месяцев», и, наконец, я, не сочинивший ни букваря, ни белых листков для записок на 12 месяцев, но приехавший в одной карете с Державиным, что стоит букваря и белых листов для записок. Долго рассуждали старики о кровопролитии при Эйлау и о последствиях, какие от нашей победы произойти могут. Одни говорили, что Бонапарте нужно некоторое время, чтоб оправиться от полученного им первого в его жизни толчка; другие утверждали, что если расстройство во французской армии велико, то и мы потерпели немало, что наша победа стоит поражения и обошлась нам дорого, потому что из 65 000 человек, бывших под ружьем, выбыла из строя почти половина. Слово за слово завязался спор: Кикин и Писарев, как военные люди, с жаром доказывали, что надобно продолжать войну и что мы кончим непременно совершенным истреблением французской армии и самого Бонапарте; а Лабзин с Хвостовым возражали, что теперь-то именно и должно хлопотать о заключении мира, потому что, имея в двух сражениях поверхность над французами, мы должны воспользоваться благоприятным случаем выйти с честью из опасной борьбы с сильным неприятелем. Хозяин решил спор тем, что как продолжение войны, так и трактация о мире зависят от благоприятного оборота обстоятельств, а своим произволом ничего не сделаешь, и что бывают случаи, по-видимому очень маловажные, которые имеют необыкновенно важное влияние на происшествия, уничтожая наилучше составленные планы или способствуя им. «Возьмем, например,— сказал серьезный старик,— хотя бы и последнее сражение: отчего погиб корпус Ожеро? Оттого, что внезапно поднялась страшная метель и снежная вьюга прямо французам в глаза: они сбились с настоящей дороги и неожиданно наткнулись на главные наши батареи. Конечно, расчет расчетом и храбрость храбростью, но положение дел таково, что надобно действовать осторожно и не спеша решаться как на продолжение войны, так и на заключение мира; а впрочем, государь знает, что должно делать».

Время проходило, а о чтении не было покамест и ре-

чи. Наконец, по слову Гаврилы Романовича, ходившего задумчиво взад и вперед по гостиной, что пора бы приступить к делу, все уселись по местам. «Начнем с молодежи,— сказал А. С. Хвостов,— у кого что есть, господа?» Мы, сидевшие позади, около стен, переглянулись друг с другом и почти все в один голос объявили, что ничего не взяли с собой. «Так не знаете ли чего наизусть? — смеясь, продолжал Хвостов,— как же это вы идете на сражение без всякого оружия?» Шулепников отвечал, что может прочитать стихи свои к «Трубочке».— «Ну хоть к «Трубочке»! — подхватил И. С. Захаров, меценат Шулепникова,— стишки очень хорошие». Шулепников подвинулся к столу и прочитал десятка три куплетов к своей «Трубочке», но не произвел никакого впечатления на слушателей. «Пахнет табачным дымком»,— шепнул толстый Карабанов Язвицкому.— «Как быть! — отвечал последний,— первую песенку зардевшись спеть». Гаврила Романович, видя, что на молодежь покамест надеяться нечего, вынул из кармана свои стихи «Гимн кротости» и заставил читать меня. Я прочитал этот гимн к полному удовольствию автора и, кажется, заслужил репутацию хорошего чтеца. Разумеется, все присутствующие были или казались в восторге, и похвалам Державину не было конца. За этим все пристали к Крылову, чтоб он прочитал что-нибудь. Долго отнекивался остроумный комик, но наконец разрешился баснею из Лафонтена «Смерть и дровосек», в которой, сколько припомнить могу, есть прекрасные стихи:

...Притом жена и дети,
А там боярщина, подушные, оброк,
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?

а заключительный смысл рассказа выражен с такою простотою и верностью:

Что как на свете жить ни тошно,
Но умирать еще тошней.

<...> Казалось, что после Крылова никому не следовало бы отваживаться на чтение стихов своих, каковы бы они ни были, однако ж князь Горчаков, по приглашении приятелей своих Кикина и Карабанова, решился на этот подвиг и, вынув из-за пазухи довольно толстую

тетрадь, обратился ко мне с просьбою прочитать его послание к какому-то Честану о клевете. Как ни лестно было для меня это приглашение, однако ж я долго отговаривался, извиняясь тем, что, не зная стихов, невозможно хорошо читать их, потому что легко дать им противоположную интонацию, но Гаврила Романович с нетерпением сказал: «Э, да ну, братец, читай! что ты за педант такой?» И вот я, покраснев от стыда и досады, взял у Горчакова тетрадь и давай отбояривать... <...>

Все слушали с большим вниманием, и по окончании чтения А. С. Хвостов сказал, кивая на князя Горчакова, с которым, как видно, он исстари дружен: «Это наш Ювенал». <...>

...А. С. Шишков приглашал князя Шихматова прочитать сочиненную им недавно поэму в трех песнях «Пожарский, Минин и Гермоген»; но он не имел ее с собою, а наизусть не помнил, и потому положили читать ее в будущую субботу у Гаврилы Романовича. Моряк Шихматов необыкновенно благообразный молодой человек, ростом мал и вовсе не красавец, но имеет такую кроткую и светлую физиономию, что, кажется, ни одно нечистое помышление никогда не забиралось к нему в голову. Признаюсь в грехе, я ему позавидовал: в эти годы снискать такое уважение и быть на пороге в Академию... За ужином, обильным и вкусным, А. С. Хвостов с Кикиным начали шутя нападать на Шихматова за отвращение его от мифологии, доказывая, что это непобедимое в нем отвращение происходит от одного только упрямства, а что, верно, он сам чувствует и понимает, каким огромным пособием могла бы служить ему мифология в его сочинениях.— «Избави меня боже!» — с жаром возразил Шихматов,— почитать пособием вашу мифологию и пачкать вдохновение этой бесовщиной, в которой, кроме постыдного заблуждения ума человеческого, я ничего не вижу. Пошлые и бесстыдные бабьи сказки — вот и вся мифология. Да и самая-то древняя история, до времен христианских — египетская, греческая и римская — сущие бредни, и я почитаю, что поэту-христианину неприлично заимствовать из нее уподобления не только лиц, но и самых происшествий, когда у нее есть история библейская, неоспоримо верная и сообразная с здравым рассудком.

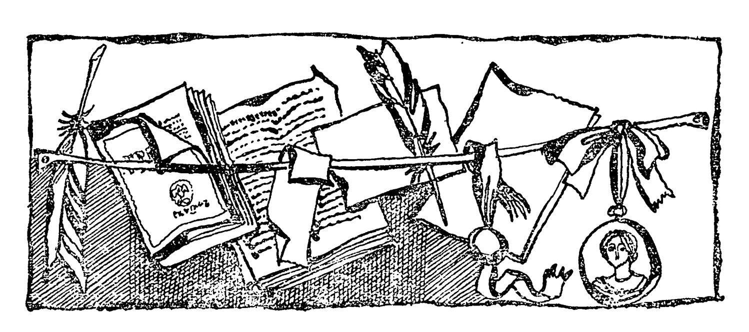
Славные понятия имели эти греки и римляне о божестве и человечестве, чтоб перенимать нелепые их карикатуры на то и другое и усваивать их нашей словесности!»

Образ мыслей молодого поэта, может быть, и слишком односторонен, однако ж в словах его есть много и правды.

После ужина Гаврила Романович пожелал, чтоб я продекламировал что-нибудь из «Артабана», которого он, как я подозреваю, успел, по расположению ко мне, расхвалить Шишкову и Захарову, потому что они настоятельнее всех стали о том просить меня. Я отказался решительно от декламации, извинившись тем, что ничего припомнить не могу, но предложил, если будет им угодно, прочитать свое послание к «Счастливцу», написанное гекзаметрами; тотчас же около меня составился кружок, и я, не робея, пропел им:

Юноша! тщетно себе ты присвоил названье счастливца:
Ты, не окончивший поприща, смеешь хвалиться победой!

Старики слушали меня со вниманием и благосклонностью, особенно Гаврила Романович, которого всегда поражает какая-нибудь новизна, очень хвалил и мысли и выражения, но позади меня кто-то очень внятно прошептал: «В тредьяковщину заехал!» И этот *кто-то* чуть ли не был Писарев. Бог с ним! Гаврила Романович сетовал, зачем я не прочитал ему прежде этих стихов, и прибавил, что если у меня в *чемодане* есть еще что-нибудь, то принес бы к нему на показ. Доро́гой отозвался он о князе Шихматове, что «он точно имеет большое дарование, да уж не по летам больно умничает».



И. И. Дмитриев

ВЗГЛЯД НА МОЮ ЖИЗНЬ

Поэзия Державина известна мне стала еще с 1776 года. Около того времени первые произведения его вышли в свет без имени автора из типографии Академии наук под названием «Оды, сочиненные и переведенные при горе Читалагае». <...>

В этой книжке помещено было несколько од разного содержания, более философических, и послание Фридриха Второго к астроному Мопертию, переведенное в прозе. Я упоминаю с такою подробностию об этой книжке потому только, что ныне она редка и немногим известна даже из литераторов. В стихах, помещенных в ней, при некоторых недостатках, уже показывались замашки или вспышки врожденного таланта и его главные свойства: благородная смелость, строгие правила и резкость в выражениях. После того в разные времена вышли также без его имени: «Послание к И. И. Шувалову, по случаю возвращения его из чужих краев», писанное в Казани; оды: «На смерть князя Мещерского»; «К соседу»; «К Киргиз-Кайсацкой царевне Фелице»; стансы: «Успокоенное неверие», дифирамб «На выздоровление И. И. Шувалова» и «Гребеневский ключ», посвященный М. М. Хераскову. Все эти стихи, по моему мнению, едва ли не лучшие и совершеннейшие из поэтических произведений Державина. Они были напечатаны в «С.-Петербургском вестнике» в 1778 году и последующих, а потом некоторые из них перепечатаны с поправками в «Собеседнике любителей российского слова». В нем участвовала сама императрица. Ее сочинения выходили под названием «Были и небылицы». Издавался же он под надзором президента обеих Академий княгини Катерины Романовны Дашковой. Кроме «Фелицы», долго я не знал об имени автора упомянутых стихотворений. Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью находил в них более силы, живописи, более, так сказать, свежести, самобытности, нежели в стихах известных мне современных наших поэтов. К удивлению должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое

только число словесников — друзей Державина — чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды «К Фелице». Наконец, я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и самого его лично; но только глядывал на него издали во дворце с чувством удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним в знакомство; вот какой был к тому повод.

Во вторую кампанию шведской войны я ездил на границу Финляндии для свидания с старшим братом моим. Он служил тогда в пехотном Псковском полку премьер-майором. В продолжение дороги и на месте я вел поденную записку; описывая в ней, между прочим, красивое местоположение, употребил я обращение в стихах к Державину и назвал его единственным у нас живописцем природы. По возвращении моем, знакомец мой П. Ю. Львов переписал эти стихи для себя и показал их поэту. Он захотел узнать меня, несколько раз говорил о том Львову; но я совестился представиться знаменитому певцу в лице мелкого и еще никем не признанного стихотворца, долго не мог решиться и все откладывал. Наконец, одним утром знакомец мой прислал собственноручную к нему записку Державина. Он еще напоминал Львову о желании его сойтись со мною. Эта записка победила мою застенчивость. Итак, в сопровождении Львова отправился я к поэту, с которым желал и робел познакомиться.

Мы застали хозяина и хозяйку в авторском кабинете: в колпаке и в атласном голубом халате, он что-то писал на высоком налое; а она, в утреннем белом платье, сидела в креслах посреди комнаты и парикмахер завивал ей волосы. Добросердечный вид и приветливость обоих с первых слов ободрили меня. Поговоря несколько минут о словесности, о войне и пр., я хотел, соблюдая приличие, откланяться, но они оба стали унимать меня к обеду. После кофея я опять поднялся, и еще упрошен был до чая. Таким образом с первого посещения я просидел у них весь день, а через две недели уже сделался коротким знакомцем в доме. И с того времени редко проходил день, чтоб я не виделся с этой любезной и незабвенной четою.

Державину минуло тогда пятьдесят лет. Он был еще действительным статским советником и кавалером орде-

на св. Владимира третьей степени. Года за два пред тем он отрешен был от должности губернатора Тамбовской губернии по случаю несогласия, происшедшего между ним и генерал-губернатором или наместником графом Гудовичем. Взаимные их жалобы отданы были на рассмотрение Сената. Державин был оправдан. Любопытная столица с нетерпением ожидала от премудрой *Фелицы* решения судьбы любимого ее поэта.

Между тем князь Потемкин-Таврический, отправляясь в армию, приготовлялся несколько месяцев к великолепному угощению императрицы. Это было уже по взятии Очакова. Державину поручено было от князя заблаговременно сочинить, по сообщенной ему программе, описание праздника. Знакомство наше началось вместе с этой работою. Почти в моих глазах она была продолжаема и окончена. Праздник изумил всю столицу; описание напечатано, но не полюбилось, как слышно было, Потемкину; вероятно, за поэтическую характеристику хозяина, довольно верную, но не у места шутливую.

С первых дней нашего знакомства я уже пробежал толстую рукопись всех собранных его стихотворений, известных мне и неизвестных. Сверх того, показаны мне и те, которые, по хлопотам службы, долгое время лежали у него неоконченными. Главнейшие из них были: «Водопад», состоявший тогда в пятнадцати только строфах, «Видение Мурзы», ода «На коварство», «Прогулка в Сарском Селе». Последние стихи, равно как и «Видение Мурзы», дописал он уже при появлении «Московского журнала»; «Водопад» гораздо после, когда получено было известие о кончине князя Потемкина; оду же «На коварство» еще позднее. Немногим известно, что и «Вельможа» напечатан был в числе од, писанных при *горе Читалагае*, о коих я упоминал выше; но любители словесности познакомились с нею уже при втором появлении, когда поэт прибавил в этой оде несколько строф, столь изобильных сатирическою солью и яркими картинами. Возобновление ее последовало по кончине князя Потемкина, при генерал-прокуроре графе Самойлове. Общество находило в ней много намеков на счет того и другого. Тогда поэт был уже сенатором.

Державин при всем своем гении с великим трудом поправлял свои стихи. Он снисходительно выслушивал

советы и замечания, охотно принимался за переделку стиха, но редко имел в том удачу. Везде и непрестанно внимание его обращено было к поэзии. Часто я заставал его стоявшим неподвижно против окна и устремившим глаза к небу. «Что вы думаете?» — однажды спросил я. «Любуюсь вечерними облаками»,— отвечал он. И чрез некоторое время после того вышли стихи «К дому, любящему учение» (к семейству графа А. С. Строганова), в которых он впервые назвал облака *краезлатыми*. В другой раз заметил я, что он за обедом смотрит на разварную щуку и что-то шепчет; спрашиваю тому причину. «А вот я думаю,— сказал он,— что если бы случилось мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет «и щука с голубым пером». И мы чрез год или два услышали этот стих в его послании к князю Александру Андреевичу Безбородке.

Голова его была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих его поэтических произведений. Он охотник был до чтения, но читал без разборчивости. Говорил отрывисто и не красно. Кажется, будто заботился только о том, чтоб высказать скорее. Часто посреди гостей, особенно же у себя, задумывался и склонялся к дремоте; но я всегда подозревал, что он притворялся, чтоб не мешали ему заниматься чем-нибудь *своим*, важнейшим обыкновенных пустых разговоров. Но тот же самый человек говорил долго, резко и с жаром, когда пересказывал о каком-либо споре по важному делу в Сенате, или о дворских интригах, и просиживал до полуночи за бумагой, когда писал *голос*, заключение или проект какого-нибудь государственного постановления. Державин как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство.

Со входом в дом его как будто мне открылся путь к Парнасу. Дотоле быв знаком только с двумя стихотворцами: Ермилом Ивановичем Костровым и Дмитрием Ивановичем Хвостовым, я увидел в обществе Державина вдруг несколько поэтов и прозаистов: певца «Душеньки» Ипполита Федоровича Богдановича; переводчика «Телемака» и «Гумфрея Клингера» Ивана Семено-

вича Захарова; Николая Александровича и Федора Петровича Львовых; Алексея Николаевича Оленина, столь известного по его изобретательному таланту в рисовании и сведущему в художествах и древности. О первом не стану повторять того, что уже помещено было Карамзиным по пересказам моим в биографии Богдановича, напечатанной в «Вестнике Европы»; прибавлю только, что я познакомился с ним в то время, когда он уже мало занимался литературою, но сделался невольным данником большого света. По славе «Душеньки» многие, хотя и не читали этой поэмы, хотели, чтоб автор ее дремал за их поздними ужинами. Всегда во французском кафтане, кошелек на спине и тафтяная шляпка (клак) под мышкою; всегда по вечерам в концерте или на бале в знакомом доме, Богданович, если не играл в вист, то везде слова два о дневных новостях, или о дворе, или заграничных происшествиях, но никогда с жаром, никогда с большим участием.— Он не любил не только докучать, даже и напоминать о стихах своих: но в тайне сердца всегда чувствовал свою цену и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям насчет произведений пера его. Впрочем, чужд злоязычия, строгий блюститель нравственных правил и законов общества, скромный и вежливый в обращении, он всеми благоразумными и добрыми людьми был любим и уважаем.

Чрез Державина же я сошелся и с Денисом Ивановичем Фонвизиным. По возвращении из белорусского своего поместья, он просил Гаврилу Романовича познакомить его со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый, брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался. Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я «Недоросля»? читал ли «Послание к Шумилову», «Лису Казнодейку»; перевод его «По-

хвального слова Марку Аврелию»? и так далее; как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец, спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю о «Душеньке»? «Она из лучших произведений нашей поэзии»,— отвечал я.— «Прелестна!» — подтвердил он с выразительною улыбкою. Потом Фонвизин сказал хозяину, что он привез показать ему новую свою комедию «Гофмейстер». Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения автор глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. По словам его, во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только литератора, городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. «Которую же из од его,— спросил Фонвизин,— признаете вы лучшею?» — «Ни одной не случилось читать»,— ответствовал ему почтмейстер. «Зато,— продолжал Фонвизин,— доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают мне: «Приехал сочинитель»; — принять его, сказал я, и чрез минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию его *в новом вкусе*. Нечего делать; прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня или главное лицо — умрет естественною смертию. И в самом деле,— заключает Фонвизин,— героиня его от акта до акта чахла, чахла и наконец издохла».

Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был в гробе!

Между известными того времени поэтами, посещавшими Державина, к удивлению моему, не однажды не сходился я с Княжниным и Петровым. Первого, по крайней мере, видал я в театре, а последнего никогда

не знал, хотя и живал с ним в одном городе. Оды его и тогда были при дворе и у многих словесников в большом уважении; но публика знала его едва ли не понаслышке, а Державин и приверженные к нему поэты, хотя и не отказывали Петрову в лирическом таланте, но всегда останавливались более на жесткости стихов его, чем на изобилии в идеях, на возвышенности чувств и силе ума его. Что же касается до меня, я желал бы большего благозвучия стихам его, но всегда почитал в нем одного из первоклассных и *ученейших* наших поэтов. По моему мнению, лучшие из его произведений две оды: одна на сожжение турецкого флота при Чесме, другая — к графу А. Г. Орлову, начинающаяся стихом:

Защитник строгого Зенонова закона...

и элегия или песнь на кончину князя Потемкина. Он истощил в ней все красоты поэзии и ораторского искусства. Менее всего он успел в сатирическом и шутливом роде. В нежном писал он мало, но с чувством. В пример тому можно привести на память стихи его на рождение дочери. Они оканчиваются следующим обращением к его супруге:

О ангел! страж семьи! ты вечно для меня
Одна в подсолнечной красавица. Прелеста,
Мать истинная чад,
Живой источник мне отрад,
Всегда любовница, *всегда* моя *невеста*.

Какое глубокомыслие, какая нежность, истина и простота в последнем стихе!

Н. А. и Ф. П. Львовы, А. Н. Оленин и П. А. Вельяминов составляли почти ежедневное общество Державина. Здесь же познакомился я с Васильем Васильевичем Капнистом. Он по нескольку месяцев проживал в Петербурге, приезжав из Малороссии, его отчизны, и веселым остроумием, вопреки меланхолическому тону стихов своих, оживлял нашу беседу.

Но я еще более находил удовольствия быть одному с хозяином и хозяйкою. Катерина Яковлевна, первая супруга Державина, дочь кормилицы императора Павла и португальца Бастидона, камердинера Петра Третьего, с пригожеством лица соединяла образованный ум

и прекрасные качества души, так сказать, любивой и возвышенной. Она пленяла всех изящным и не могла скрывать отвращения своего от всего низкого. Каждое движение души обнаруживалось на миловидном лице ее. По горячей любви своей к супругу, она с живейшим участием принимала к сердцу все, что ни относилось до его благосостояния. Авторская слава его, успехи, неудовольствия по службе были будто ее собственные. Однажды она провела со мною около часа один на один. Кто же поверит мне, что я во это все время только что слушал, и о чем же? Она рассказывала мне о разных неудовольствиях, претерпенных мужем ее в бытность его губернатором в Тамбовской губернии; говоря же о том, не однажды отирала слезы на глазах своих.

Воспитание ее было самое обыкновенное, какое получали тогда в приватных учебных заведениях; но она по выходе в замужество пристрастилась к лучшим сочинениям французской словесности. В обществе друзей своего супруга она приобрела верный вкус и здравое суждение о красотах и недостатках сочинения. От них же, а более от Н. А. Львова и А. Н. Оленина, получила основательные сведения в музыке и архитектуре.

В пример доброго ее сердца расскажу еще один случай: жена, муж и я сидели в его кабинете; они между собою говорили о домашних делах, о старине, дошли, наконец, до Казани, отчизны поэта. Катерина Яковлевна вспомнила покойную свекровь свою, начала хвалить ее добрые качества, ее к ним горячность, наконец, стала тужить, для чего они откладывали свидание с нею, когда она в последнем письме своем так убедительно просила их приехать навсегда с нею проститься. Поэт вздохнул и сказал жене: «Я все откладывал в ожидании места (губернаторского), думал, уже получа его, испросить отпуск и съездить в Казань». При этом слове оба стали обвинять себя в честолюбии, хвалить покойницу, и оба заплакали. Я с умилением смотрел на эту добродетельную чету. Молодая супруга, пятидесятилетний супруг оплакивают — одна свекровь, другой мать свою — и чрез несколько лет по ее смерти!

Державин любил вспоминать свою молодость. Вот что я от него самого слышал: отец его, помещик Уфимской провинции, составлявшей тогда часть Казанской

губернии. Сам же он, обучаясь в Казанской гимназии, обратил на себя внимание директора ее, Михайла Ивановича Веревкина, успехами в рисовании и черчении планов, особенно же работы его — портретом императрицы Елисаветы, снятым простым пером с гравированного эстампа. Портрет представлен был главному куратору Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову. Державин взят был в Петербург вместе с другими отличными учениками и записан, по именному указу, гвардии в Преображенский полк рядовым солдатом. Отец его, хотя был не из бедных дворян, но по тогдашнему обыкновению, при отпуске сына, не слишком наделил его деньгами, почему он и принужден был пойти на хлебы к семейному солдату: это значило иметь с хозяином общий обед и ужин за условленную цену и жить с ним в одной светлице, разделенной перегородкою. Человек умный и добрый всегда поладит с выпавшим жребием на его долю: солдатские жены, видя его часто с пером, или за книгою, возымели к нему особенное уважение и стали поручать ему писать грамотки к отсутствующим родным своим. Он служил им несколько месяцев бескорыстно пером своим, но потом сделал им предложение, чтоб они, за его им услуги, уговорили мужей своих отправлять в очередь его ротную службу, стоять за него на ротном дворе в карауле, ходить за провиантом, разгребать снег около съезжей или усыпать песком учебную площадку. И жены и мужья на то согласились.

К числу примечательных случаев в солдатской жизни Державина поспешим прибавить, что автор оды «К Фелице» стоял на часах в Петергофском дворце в ту самую минуту, когда Екатерина отправилась в Петербург для совершения отважного дела: получить верховную власть или погибнуть.

В то же время начал он и стихотворствовать. Кто бы мог ожидать, какой был первый опыт творца «Водопада»? Переложение в стихи, или лучше сказать, на рифмы площадных прибасок насчет каждого гвардейского полка! Потом обратился он уже к высшему рифмованию и переложил в стихи несколько начальных страниц «Телемака» с русского перевода; когда же узнал правила поэзии, принял в образец Ломоносова. Между тем читал в оригинале Геллерта и Гагедорна.

Кроме немецкого, он не знал других иностранных языков. Древние классические поэты, итальянская и французская словесность известны ему стали в последующие годы по одним только немецким и русским переводам.

В продолжении унтер-офицерской службы его случилось ему быть в Москве; тогда Сумароков, еще в полном блеске славы своей, рассорился с содержателем вольного театра и главною московскою актрисою. Он жаловался на них начальствующему в столице фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову. Не получа же от него удовлетворения, принес жалобу на самого его императрице. Екатерина благоволила удостоить его ответом, но дала ему почувствовать, что для нее приятнее *видеть изображение страстей в драмах его, нежели читать в письмах*. С этого рескрипта пошли по рукам списки, все толковали его не в пользу Сумарокова. Раздраженный поэт излил горесть и желчь свою в элегии, в которой особенно замечателен был следующий стих:

Екатерину зрю, проснись, Елисавета!

Элегия была тогда же напечатана, несмотря на этот стих и многие колкие намеки насчет фельдмаршала.

Вместе с нею выпустил он еще эпиграмму на московских вестовщиков:

На место соловьев кукушки здесь кукуют
И гневом милости Дианины толкуют.

Державин, поэт еще неизвестный, вступясь за москвичей, сделал на эту эпиграмму пародию и распустил ее по городу. Он выставил под ней только начальные буквы имени своего и прозванья. Сумароков хлопочет, как бы по них добраться до сочинителя. Указывают ему на одного секретаря-рифмотворца: он скачет к неповинному незнакомцу и приводит его в трепет своим негодованием.

В скором времени после того смелый Державин успел познакомиться с Сумароковым; однажды у него обедал и мысленно утешался тем, что хозяин ниже́ подозревал, что против него сидит и пирует тот самый, который столько раздражил желчь его.

В дополнение характеристики достойно уважаемого нами поэта сообщу еще одну быль, рассказанную мне Елизаветой Васильевной Херасковой, супругою творца «Россияды», ныне столь нагло уничижаемого по слухам и эгоизму молодым поколением.

В семьсот семьдесят пятом году, когда двор находился в Москве, у Хераскова был обед. Между прочими гостьми находился Иван Перфильевич Елагин, известный по двору и литературе. За столом рассуждали об одах, вышедших на случай прибытия императрицы. Началась всем им оценка, большею частию не в пользу лириков, и всех более критикована была ода *какого-то* Державина. Это были точные слова критика. Хозяйка толкает Елагина в ногу: он не догадывается и продолжает говорить об оде. Державин, бывший тогда уже гвардии офицером, молчит на конце стола и весь рдеет. Обед кончился. Елагин смутился, узнав свою неосторожность. Хозяева ищут Державина, но уже простыл и след его.

Проходит день, два, три. Державин, против обыкновения своего, не показывается Херасковым. Между тем как они тужат и собираются навестить оскорбленного поэта, Державин с бодрым и веселым видом входит в гостиную: обрадованные хозяева удвоили к нему ласку свою и спрашивают его, отчего так долго с ним не видались. «Два дня сидел дома с закрытыми ставнями,— отвечает он,— все горевал об моей оде: в первую ночь даже не смыкал глаз моих, а сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание; так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и я прямо оттуда к вам».

Заключу, наконец, двумя чертами его простодушия, которое и посреди соблазнов, окружавших вельмож, никогда и ничем не было в нем заглушаемо.

Державин уже был статс-секретарем. Однажды входят в кабинет его с докладом, что какой-то живописец из русских просит позволения войти к нему. Державин, приняв его за челобитчика, приказывает тотчас впустить его. Входит румяный и слегка подгулявший живописец, начинает высокопарною речью извинять свою дерзость, происходящую, по словам его, *единственно от непреодо-*

лимого желания насладиться лицезрением великого мужа, знаменитого стихотворца и пр. Потом бросается целовать его руки. Державин хотел отплатить ему поцелуем в щеку. Живописец повис к нему на шею и насилу выпустил из своих объятий. Наконец он вышел из кабинета, утирая слезы восторга, поднимая руки к небу и ссыпая хозяина хвалами. Я приметил, что это явление не неприятно было для простодушного поэта.

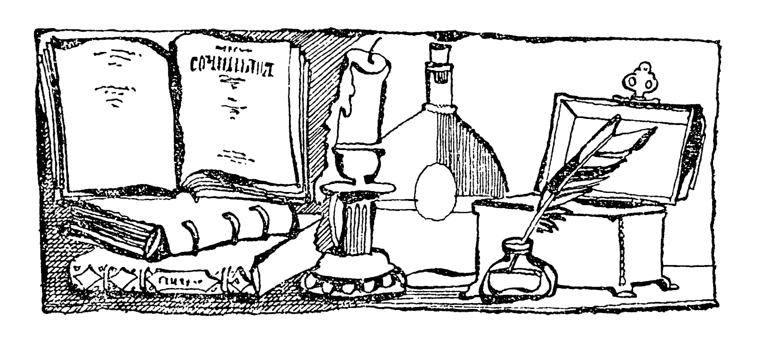
Чрез два или три дня живописец опять приходит и возобновляется прежняя сцена; хозяин с тем же покорством выносит докуки гостя, который стал еще смелее. Через день то же. Хозяин, уже с печальным лицом, просит у приятелей совета, как бы ему освободиться от возливого своего поклонника. Последовал единогласный приговор: *отказывать*.

В другой раз, около того же времени, я иду с ним по Невской набережной. «Чей это великолепный дом?» — спрашивает меня, проходя мимо дома принцессы Барятинской-Гольстейн-Бек. Я сказываю. «Да она в Италии, кто же теперь занимает его?» — «Иван Петрович Осокин».— «Осокин! — подхватил он,— зайдем, зайдем к нему!..» — и с этим словом, не ожидая моего согласия, поворотил на двор и уже всходит на лестницу. Мне легко было за ним следовать, потому что я давно был знаком с Осокиным. Хозяин изумился, оторопел, увидя у себя нового вельможу, с которым уже несколько лет нигде не встречался. Державин бросается целовать его, напоминает ему об их молодости, об старинном знакомстве. Хозяин же с почтительным молчанием или с короткими ответами кланяется и подносит нам кубки шампанского. Через полчаса мы с ним расстались, и вот развязка внезапного нашего посещения.

Отец Осокина, из купеческого сословия, имел суконную фабрику в Казани: сын его по каким-то домашним делам проживал в Петербурге; по склонности своей к чтению книг на русском языке, он познакомился с именитыми того времени словесниками: с пиитою и филологом Тредиаковским, с Кириаком Кондратовичем и их учениками. Он заводил для них пирушки, приглашая всякий раз и земляка своего Державина, который тогда был гвардии капралом. Кондратович привозил иногда и дочь свою. Она восхищала хозяина и го-

стей игрою на гуслях и была душою беседы. Молодой Осокин (Иван Петрович) и сам стихотворствовал. Я читал его пастушескую песню, отысканную добрым Державиным в своих бумагах.

Поэт на обратном пути, рассказывая мне об этом старинном своем знакомстве, не позабыл прибавить, что Осокин тогда помогал ему в нуждах и нередко ссужал его деньгами. Почитатели Державина! я не в силах был говорить вам об его гении: по крайней мере, в двух или трех чертах показал его сердце.



В. И. Панаев

ВОСПОМИНАНИЯ

Приступая к рассказу о знакомстве моем с знаменитым нашим поэтом, прежде всего с некоторою, думаю, позволительною гордостью, должен я сказать, что Гавриил Романович причитался мне по матери моей, урожденной Страховой, внучатным дедом. Родной брат ее, а мой дядя, следственно племянник Державина, часто упоминаемый Александр Васильевич Страхов, живший в последние годы царствования императрицы Екатерины и в первые — императора Павла — в Петербурге, был почти ежедневным посетителем Державина, пользовался особенным его расположением, делил с ним и радостные и горькие его минуты, а последних, как видно из записок Гавриила Романовича, было в ту пору у него немало. Поселясь впоследствии в казанском своем имении, дядя мой любил, бывало, особливо за

ужином, завести речь о Державине, о высоком его таланте, благородных качествах, стойкости за правду, смелости при докладах по делам государственным. Хотя ужины эти продолжались по большей части за полночь, но дядя мой говорил о любимом своем предмете с таким одушевлением, что я, несмотря на детский мой возраст, не только не дремал,— слушал его рассказ с жадностью, и мало-помалу усвоил себе понятие о Державине, о его личности, даже о его доме и некоторых, более оригинальных в нем комнатах. Хотя дядя мой вовсе не занимался литературою, но любил читать вслух стихотворения Гавриила Романовича, помещенные в первой части его сочинений, изданной в 1798 году, экземпляр которой подарил ему автор с следующею собственноручною надписью: «Любезному племяннику Александру Васильевичу Страхову в знак дружбы.— Гаврила Державин». Старшие братья мои, а вслед за ними и я, не только читали их и перечитывали, но и выучили наизусть. Кстати рассказать здесь об одном случае, доказывающем, как чтилось дядею нашим имя Державина. Мы сидели за обедом. Это было уже в городе пред поступлением моим в гимназию. Докладывают, что почтальон привез с почты какую-то посылку. Приказано позвать его в столовую. Почтальон подает письмо и небольшую посылочку в форме книги. Дядя распечатывает письмо и с восторгом вскрикивает: *от Гавриила Романовича!* Державин уведомлял его о назначении своем в министры юстиции, звал в Петербург, надеясь быть ему полезным в тяжебных делах его, а в заключение препровождал к нему хемницеровы басни, издание которых года за четыре перед тем приняли на себя Державин и Оленин, и на которые дядя мой подписался тогда у Державина. Не одна радость, а какое-то счастие разливалось по благородному лицу дяди, когда он читал письмо; но все присутствующие были поражены, когда он изумленному почтальону подал,— как бы вы думали? — беленькую пятидесятирублевую ассигнацию. Пятьдесят рублей в то время, в 1802 году, за письмо! Видно, что оно было драгоценно.

Независимо от объясненной выше родственной связи семейства нашего с Державиным, отец мой, принадлежа к образованнейшим людям своего времени и бывший в коротких отношениях с тогдашними литератора-

ми, еще до женитьбы на моей матери пользовался знакомством и добрым расположением Державина. Доказательством тому, между прочим, служит нижеследующее письмо отца моего, которым поздравлял он Державина с получением ордена св<ятого> Владимира 2-й степени.

Милостивый государь
Гаврила Романович!

По искренней преданности и привязанности к вам моей сердечной, судите о той радости, какую я чувствовал, получа известие о последовавшем к вам во 2-й день сентября монаршем высочайшем благоволении. Моя радость была одна из тех, коих источник в самой душе находится. Больше я не могу изъяснить. Примите мое поздравление с новыми почестями, на вас возложенными. Бог, любящий добродетель и правоту сердца, да умножит награды и благополучие ваше — к удовольствию добрых и честных людей. С сим чистосердечным желанием и совершенным высокопочитанием пребуду навсегда,

милостивый государь,
вашего превосходительства
всепокорнейший слуга
Иван Панаев.

Октябрь 11 дня 1793 года. Пермь.

Отец мой не мог лично передать мне никаких подробностей об отношениях своих к Державину, потому что скончался, когда мне не было еще и четырех лет; напротив, мать моя нередко о нем рассказывала слышанное от покойного своего супруга, сама же видала его только в детстве, в доме матери своей, в Казани <...>. Она нередко вспоминала об этом времени, о родственных ласках к ней Державина и, между прочим, рассказывала, как однажды приехал он к ним для перевязки легкой раны шпагою в палец, полученной им на какой-то дуэли, прося об этом не разглашать. Будучи уже вдовою, она постоянно, перед наступлением нового года, писала к Гавриилу Романовичу поздравительные письма и получала ответные поздравления.

Таким образом, сперва семейные предания о Державине, а потом его творения, достоинства коих, по мере возраста моего и образования, становились для меня яснее и выше, произвели то, что он сделался каким-то для меня кумиром, которому я в душе моей поклонялся и часто говорил сам себе: неужели я никогда не буду иметь счастия видеть этого великого поэта, этого смелого и правдивого государственного мужа. Университетские товарищи мои, посвятившие себя словесности, тоже бредили Державиным, и в свободное от классов время читали наперебой звучные, сочные стихи его. Во всех углах, бывало, раздаются: то ода «Бог», то «На смерть Мещерского», «На взятие Измаила», «На рождение порфирородного отрока», то «К Фелице», «К богатому соседу», «Вельможа», «Водопад» и проч. Мы были признательнее настоящего поколения.

В 1814 году, когда я, будучи уже кандидатом, оставался еще при университете, получил я однажды от брата моего Александра, служившего в гвардии, письмо, в котором он сообщал мне, что обедал на днях у Державина, и что Гавриил Романович, между прочим, спросил его: «Не знаешь ли, кто это такой у вас в Казани молодой человек, Панаев же, который занимается словесностью и пишет стихи, именно идиллии?» — «Другой фамилии Панаевых,— отвечал брат,— кроме нашей, в Казани нет; это, вероятно, меньшой брат мой Владимир, который в ребячестве оказывал наклонность к поэзии».— «Так, пожалуйста, напиши к нему, чтобы прислал мне, что у него есть».

Можете представить мое удивление, мою радость! Державин интересуется мною, моими стихами!

Тогда было написано у меня пять идиллий: я озаботился чистенько переписать их и при почтительном письме отправил к Гавриилу Романовичу, прося сказать мне, от кого узнал он об упражнениях моих в поэзии. Но радость моя не имела пределов, когда вскоре получил я благосклонный ответ его. Целую зимнюю ночь не мог я сомкнуть глаз от приятного волнения. Самый университет принял в том участие, профессора, товарищи — все меня поздравляли. Так ценили тогда великих писателей, людей государственных! Вот этот ответ, доселе мною сохраняемый:

Милостивый государь мой, Владимир Иванович!

Письмо ваше от 26 октября и при нем сочинения вашего идиллии с удовольствием получил и прочел. Мне не остается ничего другого, как ободрить прекрасный талант ваш; но советую дружески не торопиться, вычищать хорошенько слог, тем паче, когда он в свободных стихах заключается. В сем роде у нас мало писано. Возьмите образцы с древних, ежели вы знаете греческий и латинский языки, а ежели в них неискусны, то немецкие Геснера могут вам послужить достаточным примером в описании природы и невинности нравов. Хотя климат наш суров, но и в нем можно найти красоты и в физике и в морали, которые могут тронуть сердце, без них же все будет сухо и пусторечие. Прилагаю при сем и русский образчик, который заслуживает внимания наилучших знатоков. Матушке вашей свидетельствую мое почтение. Братец ваш живет почти все время в Стрельне; его здесь никогда почти не видно. Впрочем, пребываю с почтением

ваш,
Милостивого государя моего,
покорный слуга
Гаврила Державин.

P. S. Мне первый сказал о ваших идиллиях г. Бередников, который у вас теперь в Казани. <...>

В благодарственном ответном письме я, по студенческой совести, никак не мог воздержаться, чтобы не сказать откровенного своего мнения о стихах Бакунина; помню даже выражения. «Если,— писал я,— литература есть своего рода республика, где и последний из граждан имеет свой голос, то позвольте сказать, что прекрасное стихотворение г. Бакунина едва ли может назваться идиллиею; оно, напротив, отзывается и увлекает любезною философиею ваших горацианских од...»

Признаться, я долго колебался — оставить или исключить из письма моего эту педантическую выходку, но школьное убеждение превозмогло, и письмо было отправлено. Впоследствии, будучи уже в Петербурге, с удовольствием узнал я от одного из ученых посетителей Державина, что он остался доволен письмом моим,

читал его гостям своим, собиравшимся у него по воскресеньям, и хвалил мою смелость.

...мы приехали в столицу в августе 1815 года. Петербург ликовал тогда славою недавних побед нашей армии, славою своего государя и вторичным низвержением Наполеона. На всех лицах сияло какое-то веселие,— в домах пели еще:

Хвала, хвала тебе, герой,
Что град Петров спасен тобой!

Заглохшая в продолжение нескольких лет торговля была в полном развитии. Погода, как нарочно, стояла прекрасная. Я спешил воспользоваться ею, чтобы осмотреть достопамятности столицы. Вскоре последовала выставка Академии художеств, начинавшаяся тогда 1-го сентября. Отправляюсь туда; к особенному удовольствию нахожу там портрет Державина, писанный художником Васильевским, и, как говорили мне, очень схожий. Знаменитый старец был изображен в малиновом бархатном тулупе, опушенном соболями, в палевой фуфайке, в белом платке на шее и в белом же колпаке. Дряхлость и упадок сил выражались на морщинистом лице его. Я долго всматривался; невольная грусть мною овладела: ну, ежели, думал я, видимая слабость здоровья не позволит ему возвратиться на зиму в Петербург; ну, ежели я никогда его не увижу. На мое счастие, в декабре месяце<...>Державин возвратился. Спустя несколько дней еду к нему.

Он жил, как известно, в собственном доме, построенном в особенном вкусе, по его поэтической идее, и состоявшем из главного в глубине двора здания, обращенного лицом в сад, и двух флигелей, идущих от него до черты улицы, в виде двух полукругов. Будучи продан по смерти вдовы Державина, дом этот принадлежит теперь римско-католическому духовенству, несколько изменен, украшен в фасаде; но главный чертеж остался прежний. <...>

У подъезда встретил меня очень уже пожилой, небольшого роста, швейцар, и когда я сказал ему, кто я, он вскричал с добродушным на лице выражением: «Да вы, батюшка, казанские, вы наши родные!» Швейцар этот, как я после узнал, был из числа тех трех Кондратьев, которых Державин вывел на сцену в од-

ной шуточной своей комедии. Он принадлежал к родовому имению своего господина и потому-то встретил меня так приветливо. «Пожалуйте за мною наверх,— продолжал он,— я сейчас доложу».

С благоговением вступил я в кабинет великого поэта. Он стоял посреди комнаты в том же колпаке, галстуке и фуфайке, как на портрете, только вместо бархатного тулупа,— в сереньком серебристом бухарском халате,— и медленно, шарча ногами, шел ко мне навстречу. От овладевшего мною замешательства не помню хорошенько, в каких словах ему отрекомендовался; помню только, что он два раза меня поцеловал, а когда я хотел поцеловать его руку, он не дал, и, поцеловав еще в лоб, сказал: «Ах, как похож ты на своего дедушку!»

— На которого? — спросил я, и тотчас же почувствовал, что вопрос мой был некстати, ибо Гавриил Романович не мог знать деда моего с отцовской стороны, не выезжавшего никогда из Тобольской губернии. «На Василия Михайловича (Страхова), с которым ходили мы под Пугачева,— отвечал Державин.— Ну, садись,— продолжал он,— верно, приехал сюда на службу?» — «Точно так, и прошу не отказать мне в вашем, по этому случаю, покровительстве».— «Вот то-то и беда, что не могу быть тебе полезным. Иное дело, если бы это было лет за 12 назад: тогда бы я тебе пригодился; тогда я служил, а теперь от всего в стороне». Слова эти меня поразили. «Как,— вскричал я,— с вашим громким именем, с вашею славою вы не можете быть мне полезным?» — «Не горячись,— возразил он с добродушною улыбкою,— поживешь, так узнаешь. Впрочем, если где наметишь, скажи мне, я попробую, попрошу». Потом он стал расспрашивать меня о родных, о Казани, о тамошнем университете, о моих занятиях, советуя и на службе не покидать упражнений в словесности; прощаясь же, просил посещать его почаще. Раскланявшись, я не вдруг догадался, как мне выйти из кабинета, потому что он весь, не исключая и самой двери, состоял из сплошных шкафов с книгами.

Дней через пять, часов в десять утра, я опять отправился к Державину, и в этот раз не для одного наслаждения видеть его, говорить с ним, а для исполнения возложенного на меня Казанским Обществом люби-

телей отечественной словесности (которого я был членом) поручения — исходатайствовать копию с его портрета и экземпляр нового издания его сочинений. «Копию? да ведь это стоит денег»,— сказал Державин, улыбаясь. Не ожидая такого возражения, я несколько остановился, но вскоре продолжал: «Зато с какою благодарностью примет Общество изображение великого поэта, своего почетного члена, своего знаменитого согражданина. Да и где приличнее, как не там, стоять вашему портрету?» — «Ну, хорошо, но с которого же списать копию? с Тончиева, что у меня внизу? да он очень велик, поколенный».— «А с того, что был на нынешней академической выставке?» — подхватил я, и опять некстати.— «Как это можно, помилуй,— возразил он; там написан я в колпаке и в тулупе. Нет, лучше с того, который находится в Российской Академии, писанный отличным художником, Боровиковским. Там изображен я в сенаторском мундире и в ленте. Когда будет готов, я пришлю его к тебе для отправления; а сочинения можешь, пожалуй, взять и теперь; их вышло четыре тома, пятый отпечатается летом; его пошлем тогда особо». Я забыл сказать, что в этот раз нашел я Гавриила Романовича за маленьким у окна столиком, с аспидною доскою, на которой он исправлял или переделывал прежние стихи свои, и с маленькою собачкой за пазухой. Так, большею частью, заставал я его и в последующие посещения; в продолжение же нашего разговора о портрете и книгах мы уже сидели на диване. Этот диван был особого устройства; гораздо шире и выше обыкновенных, со ступенькою от полу, и с двумя по бокам шкафами, верхние доски коих заменяли собою столики. Державин кликнул человека, велел принести четыре тома своих сочинений и вручил их мне. Принимая, я позволил себе сказать: «Не будете ли так милостивы, не означите ли на первом томе вашею рукою, что дарите их Обществу? С этою надписью они будут еще драгоценнее».— «Хорошо, так потрудись, подай мне перышко». Я подал. Он положил книгу на колено и спросил: «Что же писать-то?» — «Что вы посылаете их в знак вашего внимания к Обществу». Он не отвечал, но вместо *внимания*, написал: *в знак уважения*. С книгами этими и портетом случилась впоследствии беда. Портрет был изготовлен и отправлен

вместе с книгами не ранее марта месяца (1816 года). Дорогою захватила их преждевременная ростепель; посылка попала где-то в зажору и привезена в Казань подмоченною. Что касается до портрета, то университетский живописец Крюков успешно очистил его от плесени и хорошо реставрировал; книги же, разумеется, очень пострадали, так что секретарь Общества, по поручению оного, умолял меня выпросить у Державина другой экземпляр. Не легко мне было сообщить об этой беде Гавриилу Романовичу, и не без сожаления он меня выслушал; но успокоился, когда я объяснил ему, что портрет не потерпел никакого существенного повреждения; книги же он обещал доставить; когда выйдет пятая часть, но не успел этого исполнить, и в библиотеке Общества остался, вероятно, храниться еще и теперь подмоченный экземпляр.

Описанное второе свидание мое с Державиным случилось дней за пять до праздника рождества Христова. Прощаясь, он потребовал, чтобы 25 числа я непременно у него обедал. «Такие дни,— примолвил он,— должно проводить с родными. Я познакомлю тебя с женою. Да привези с собою и брата. Он, кажется, нас не любит».

Здесь надобно сделать некоторое отступление. Когда я отъезжал в Петербург, дядя мой выразил мне полную надежду, что Гавриил Романович примет меня благосклонно, родственно,— и большое сомнение в том со стороны супруги его, Дарьи Алексеевны. По его словам, она старалась отклонить старика от казанских родных его и окружала его своими родственниками. То же подтвердил мне брат мой; то же заметил и я, когда явился к обеду в день рождества Христова. Она приняла меня очень сухо.

В этот раз я почти не узнал Державина — в коричневом фраке, с двумя звездами, в черном исподнем платье, в хорошо причесанном парике. Гостей было человек тридцать, большею частью людей пожилых. Один из них, с необыкновенным даром слова, заставивший всех себя слушать, обратил на себя особенное мое внимание. «Кто это?» — спросил я кого-то, сидевшего подле меня. Тот отвечал: «Лабзин!» Тогда внимание мое удвоилось: я вспомнил, что в бумагах покойного отца моего нашлось множество писем Лабзина под псевдони-

мом «Безъеров», вероятно потому, что он нигде *еров* не ставил. В письмах этих, замечательных по прекрасному изложению, он постоянно сообщал отцу моему о современном ходе французской революции. Впоследствии я познакомился с Лабзиным, и это знакомство составляет довольно любопытный эпизод в истории моей петербургской жизни.

В продолжение праздников я два раза, по приглашению Державина, был на его балах по воскресеньям; но от застенчивости посреди чужого мне общества и от невнимания хозяйки, скучал на них, не принимал участия в танцах, хотя, танцуя хорошо, мог бы отличиться. В эти два вечера занимали меня только два предмета: нежное обращение хозяина с тогдашнею красавицею г-жею Колтовскою, женщиною лет тридцати пяти, бойкою, умною. Гавриил Романович почти не отходил от нее и казался бодрее обыкновенного; второй предмет — это очаровательная грациозность в танцах меньшой племянницы Дарьи Алексеевны, П. Н. Львовой, впоследствии супруги <...> сенатора Бороздина. Она порхала, как сильфида, особливо в мазурке.

Холодность хозяйки сделала то, что я старался избегать ее гостиной и положил бывать у Гавриила Романовича только по утрам в его кабинете, где он всегда принимал меня ласково. Расскажу несколько более замечательных случаев из этих посещений. В начале 1816 года явился в Петербург Карамзин с осьмью томами своей «Истории». Это произвело огромное впечатление на мыслящую часть петербургской публики. Все желали видеть его, если можно послушать что-нибудь из его «Истории». Двор также был заинтересован прибытием историографа: положено было назначить ему день для прочтения нескольких лучших мест из его «Истории» во дворце, в присутствии всех императорских величеств.

«Виделись ли вы с Карамзиным?» — спросил я однажды Гавриила Романовича.— «Как же! он у меня был и по просьбе моей обещал прочесть что-нибудь из своей «Истории», не прежде, однако ж, как прочтет у двора; но как я не могу один насладиться этим удовольствием, то просил у него позволения пригласить нескольких моих приятелей. На днях поеду к нему и покажу список, кого пригласить намерен; тебя я также включил. Но меня вот что затрудняет: Александр Семенович Шиш-

ков — мой давний приятель и главный сотоварищ по «Беседе». Не пригласить его нельзя, а между тем это может быть неприятно Николаю Михайловичу, которого, ты знаешь, он жестоко преследовал в книге своей «О старом и новом слоге». Чрез несколько дней Гавриил Романович рассказал мне, что он был у Карамзина, показывал ему список и объяснил затруднение свое относительно Шишкова; но Карамзин отозвался, что ему будет весьма лестно видеть в числе слушателей своих такого человека, как Александр Семенович, и что он не только не сердит на него за бывшие нападки, но, напротив, очень ему благодарен, потому что воспользовался многими его замечаниями. «Я уверен,— примолвил Державин с одушевлением,— что история будет хороша: кто так мыслит и чувствует, тот не может писать дурное». Предположенное чтение, однако ж, не состоялось, потому что во весь великий пост не могло состояться и у двора; оно было отложено до переезда императорской фамилии в Царское Село, а вскоре после пасхи Державин, как увидим ниже, уехал на Званку. <...>

Я отправился к Гавриилу Романовичу. Это было в воскресенье после обедни. Он сидел за большим письменным столом своим, а от него полукругом пятеро гостей, в том числе Федор Петрович Львов и Гаврила Герасимович Политковский, критиковавших какое-то стихотворение Жуковского. Как скоро они умолкли, я попросил позволения почитать вновь написанные стихи. Державин мне их подал. А когда обратился я к нему с новою просьбою — дозволить мне взять их с собою и списать,— он отвечал: «У меня только и есть один экземпляр; между тем приезжают, спрашивают. Лучше сядь сюда к столу и спиши здесь». Я сел. Державин оторвал от какой-то писанной бумаги чистые пол-листа, подал мне и придвинул чернильницу. <...>

Стихи эти, переписанные мною в кабинете Державина, его пером, на его бумаге, и теперь хранятся у меня в том же виде.

Великий пост 1816 года замечателен двумя торжественными собраниями «Беседы любителей русского слова», происходившими, как и прежние, в доме Гавриила Романовича. Они в полном смысле могли назваться блестящими. Многочисленная публика наполняла об-

ширную, великолепно освещенную залу. В числе посетителей находились почти все государственные сановники и первенствующие генералы. Тут в первый раз видел я графа Витгенштейна, графа Сакена, графа Платова, которого маститый хозяин встретил с каким-то особенным радушием. На последнюю «Беседу» ожидали государя императора. Но когда все заняли места свои, вошел в залу С.-Петербургский главнокомандующий граф Вязмитинов и объявил Державину, что государь, занятый полученными из-за границы важными депешами, к сожалению, приехать не может. <...>

Наступила страстная неделя. Гавриил Романович предложил мне говеть с ним, для чего я должен был каждый день приезжать обедать и оставаться до вечера, чтобы слушать всенощную. Но я воспользовался этим предложением один только раз, в понедельник; холодность хозяйки поставляла меня в неприятное, затруднительное положение: я отговорился большим расстоянием моей квартиры от их дома и тогдашней распутицей.

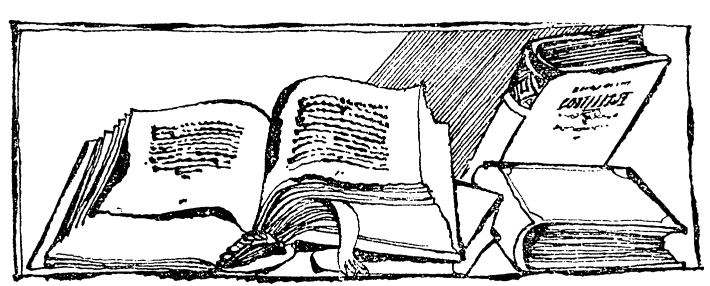
В Светлое воскресенье я, однако ж, приехал обедать и потом не был целую неделю. Прихожу во вторник на Фоминой. Гавриил Романович был один в своем кабинете; некоторые из шкафов стояли отворенными; на стульях, на диване, на столе лежали кипы бумаг. Спрашиваю о причине: «Во вторник на следующей неделе уезжаю на Званку; не знаю, приведет ли бог возвратиться, так хочу привести в порядок мои бумаги. Ты очень кстати пожаловал, пособи мне». С искреннею радостью принялся я за работу. Беру с дивана большую пачку, вижу надпись: «Мои проекты». «Проекты! Вы так много написали проектов и по каким разнообразным предметам»,— сказал я с некоторым удивлением, заглянув в оглавление.— «А ты разве думал, что я писал одни стихи? Нет, я довольно потрудился и по этой части, да чуть ли не напрасно: многие из полезных представлений моих остались без исполнения. Но вот что более всего меня утешает (он указал на другую пачку): я окончил миром с лишком двадцать важных запутанных тяжб; мое посредство прекратило не одну многолетнюю вражду между родственниками». Я взглянул на лежащий сверху реестр примиренных: это по большей части были лица знатнейших в государстве фамилий. Подхо-

жу к столу, на котором лежали две кучки бумаг, одна побольше, другая поменьше. «Трагедии?! Оперы?! — спрашиваю я, тоже с некоторым, по неожиданности, удивлением.— Я и не знал, что вы так много упражнялись в драматической поэзии; я думал, что вы написали одну только трагедию «Ирод и Мариамна».— «Целых пять, да три оперы»,— отвечал он.— «Играли ли их на театре?» — «Куда тебе; теперь играют только сочинения князя Шаховского, потому что он всем там распоряжает. Не хочешь ли прочитать которую-нибудь?» — «Очень хорошо».— «Так возьми хоть «Василия Темного», что лежит сверху; тут выведен предок мой Багрим. Да кстати, возьми уж и одну из опер; но с тем, чтобы по прочтении пришел к нам обедать в субботу и сказал бы мне откровенно свое мнение». Слова эти удивили меня по неожиданному лестному доверию к моему мнению и в то же время смутили при мысли, что произведения эти, судя по трагедии «Ирод и Мариамна», вероятно, найду я недостойными таланта великого поэта, что род драматический — не его призвание. Но нечего было делать; я взял и «Василия Темного» и оперу «Эсфирь», которая тоже лежала сверху.

Возвратившись домой, принялся читать. Ни та, ни другая мне не понравились — может быть, по предубеждению, по привычке к строгим классическим правилам, тем более, что трагедия имела форму почти романтическую, начиналась сценою в крестьянской хижине; может быть, прочитав ее теперь, я судил бы о ней иначе, был бы справедливее, снисходительнее. Чем ближе подходила суббота, тем сильнее возрастало мое смущение. Мог ли я нагло солгать пред человеком, столь глубоко мною чтимым: похвалить его произведение, когда убежден был в противном. С другой стороны, как достало бы у меня духа сказать ему правду?! Я не знал, что мне делать, как выйти из трудного моего положения? Думал, думал и решился не ехать обедать. В этой решимости подкрепляла меня мысль, что может быть, по старости лет, по сборам в дорогу, Гавриил Романович как-нибудь забудет, что дал мне эти пьесы, что звал меня обедать. Вышло, однако ж, напротив. В субботу, в седьмом часу вечера, докладывают мне, что пришел швейцар Державина, известный Кондратий. Я тотчас надел халат, подвязал щеку платком, лег на кро-

вать и велел позвать посланного. «Гаврила Романович,— сказал Кондратий,— приказали вам сказать, что они сегодня дожидались вас кушать и очень сожалели, что вы не пожаловали; да приказали взять у вас какие-то ихние книги».— «Ты видишь,— отвечал я,— что я нездоров, у меня сильно разболелись зубы; я таки перемогался, но кончилось тем, что не в силах был приехать, а дать знать о том было уже поздно; бумаги же хотел отослать завтра утром. Теперь возьми их с собою; да, пожалуйста, извини меня пред Гавриилом Романовичем».

Мне и теперь кажется, что я поступил хорошо, уклонившись, хотя, правда, и неделикатно и с примесью лжи от обязанности высказать Гавриилу Романовичу откровенное мнение мое о его трагедии и опере. Но, увы, эта студенческая честность стоила мне дорого: я лишился удовольствия с ним проститься, взглянуть на него в последний раз. Гавриил Романович действительно уехал в наступивший вторник, и чрез два месяца, 8-го июля, в день Казанской божией матери, скончался в сельском своем уединении...



С. Т. Аксаков

ЗНАКОМСТВО С ДЕРЖАВИНЫМ

В половине декабря 1815 года приехал я в Петербург на короткое время, чтобы взглянуть на брата, которого я в 1814 году определил подпрапорщиком в Измайловский полк. Брат жил у полковника Павла Петровича Мартынова, моего земляка и короткого приятеля, кото-

рый, как и все офицеры, квартировал в известном Гарновском доме; я поместился также у Мартынова. <...>

Я приехал в Петербург вечером. Хозяина моего, Мартынова, не было дома, брата также; брат был у товарищей своих, измайловских же подпрапорщиков Капнистов, родных племянников Державина, живших в доме у дяди и коротко познакомивших моего брата с гостеприимным хозяином. За братом послали. Между тем, узнав о моем приезде, пришли ко мне измайловские офицеры: Кавелин, Годеин, Лопухин и Квашнин-Самарин. Я был особенно дружен с Кавелиным, который в последнее время сделался очень коротким знакомым в доме Державина и бывал у него очень часто. После первых дружеских приветствий Кавелин спросил меня: знаю ли я, что Державин нетерпеливо меня ожидает? Что уже с неделю, как он всякий день спрашивает, не приехали ли я? — Такие слова сильно меня озадачили. Я был самым горячим, самым страстным поклонником Державина и знал наизусть все его лучшие стихи; я много раз видал его в публике, особенно до 1812 года, у А. С. Шишкова, но никогда не был ему представлен, не был с ним знаком. На двадцать четвертом году жизни, при моей пылкой природе, слова: «Державин тебя нетерпеливо ожидает»,— имели для меня такое волшебное значение, которое в теперешнее положительное время едва ли будет многими понято. Не успел я очнуться от изумления и радости, как прибежал мой брат, и первые слова его были: «Гаврила Романыч просит тебя прийти к нему сейчас...» Я совершенно обезумел. Наконец, опомнившись, спрашиваю: «Что же все это значит?» — и узнаю, что брат мой, бывший тогда восемнадцатилетним юношей, Кавелин и другие до того нахвалили Державину мое чтение, называемое тогда *декламацией*, что он, по своему горячему нраву, нетерпеливо желал меня послушать, или, как он сам впоследствии выражался, «послушать себя». Я не мог идти сейчас: я был красен с дороги, как вареный рак, и голос у меня сел, то есть не был чист, а я, разумеется, хотел показаться Державину *во всем блеске*. <...>

На другой день, в десять часов утра, явился за мной посланный от Гаврилы Романыча, и в одиннадцать часов я пошел к нему вместе с братом, несмотря на то, что еще не прошли на моем лице следы безобразия от

русской зимней дороги. Сердце билось у меня сильно, и врожденная мне необыкновенная застенчивость, от которой я тогда еще не совсем освободился, вдруг овладела мною в высшей степени. Если б дорога не состояла только из нескольких десятков шагов, вероятно, я воротился бы назад; но вошед в дом Державина и вступив в залу, я переродился. Робость моя улетела мгновенно, когда глазам моим представилась картина Тончи, изображающая Державина посреди снегов, сидящего у водопада в медвежьей шубе и бобровой шапке... Гений поэзии Державина овладел всеми способностями моей души, и в эту минуту уже ничто не могло привесть меня в замешательство. <...> Из залы налево была дверь в кабинет Державина; я благоговейно, но смело вошел в это святилище русской поэзии. Гаврила Романыч сидел на огромном диване, в котором находилось множество ящиков; перед ним на столе лежали бумаги, в руках у него была аспидная доска и грифель, привязанный ниткой к рамке доски; он быстро отбросил ее на диван, встал с живостью, протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать, я давно вас жду. Я читал ваши прекрасные стихи (Державин был плохой судья и чужих и своих стихов), наслышался, что вы мастерски декламируете, и нетерпеливо хотел с вами познакомиться». Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстука, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды. Я отвечал Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшею минутою моей жизни, и если чтение мое ему понравится...» Он прервал меня, сказавши: «О, я уверен, что понравится; садитесь вот здесь, поближе ко мне»,— и он посадил меня на кресло возле самого дивана. «Вы чем-то занимались, не помешал ли я вам?» — «О, нет, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в Лицее перещеголял всех пи-

сателей. Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны? Вы оренбурец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда никто и не помышлял. Да мы с вами соседи и по оренбургским деревням; я обо всем расспросил братца вашего. Мое село, Державино, ведь с небольшим сто верст от имения вашего батюшки (сто верст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии)...» Гаврила Романыч подозвал к себе моего брата, приласкал его, потрепав по плечу, и сказал, что он прекрасный молодой человек, что очень рад его дружбе с своими Капнистами, и прибавил: «Да тебе не пора ли на ученье? приятели твои, я видел, ушли».— «Пора, Гаврила Романыч,— отвечал мой брат,— и я сейчас пойду».— «Ступай с богом, а с братцем твоим мы уже познакомимся». И мы остались одни. Державин был так деликатен, что не заставил меня сейчас читать, хотя ему очень этого хотелось, как он впоследствии, смеясь, мне признавался. Он завел со мной довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете и на этот раз заставлял уже больше говорить меня, а сам внимательно слушал. Я говорил без запинки, с одушевлением, и несколько раз наводил разговор на стихи, и, наконец, как-то кстати прочел несколько его стихов из стихотворения «Арфа», где он обращается к Казани:

О колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель.
Когда я освещусь опять твой зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?
Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны,
По Волге между сел на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?

Лицо Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть»,— воскликнул он, и в глазах его засветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. «Всею душой хочу,— отвечал я,— только боюсь, чтобы счастие читать Державину его стихи не захватило у меня дыханья». Державин взглянул на меня и, видя, что это не комплимент, а чистая правда, схватил меня за руку и ласково про-

молвил: «Так успокойтесь». Наступило молчание. Державин встал и начал выдвигать ящики, которых находилось множество по бокам его большого дивана и както над спинкой дивана. На ящиках бронзовыми буквами были написаны названия месяцев, а на некоторых — года. Гаврила Романыч долго чего-то искал в них и, наконец, вытащил две огромные тетради, или книги, переплетенные в зеленый сафьянный корешок. «В одной книге мои мелочи,— сказал он,— а об другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? верно, оды: «Бога», «Фелицу» или «Видение Мурзы»?» — «Нет,— отвечал я,— их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду «На смерть князя Мещерского» и «Водопад».— «А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию».— «Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями».—«Извольте».— «Я знаю наизусть почти все ваши стихи; но на всякий случай я желал бы иметь в руках ваши сочинения; верно, они есть у вас».— «Как не быть,— улыбнувшись, сказал Державин,— как сапожнику не иметь шильев» (сравнение довольно странное),— и он достал, также из ящика, свои стихотворения, богато переплетенные в красный сафьян с золотом. Я знал, что читать, сидя очень близко от человека, которому читаешь, неудобно и невыгодно, и потому пересел на кресло, стоявшее довольно далеко от Державина; он хотел удержать меня, говоря, что не так будет слышно, но я уверил его, что он услышит все. Наружное мое волнение затихло и сосредоточилось в душе. Я прочел оду к Перфильеву «На смерть князя Мещерского». С первыми стихами:

Глагол времен, металла звон,
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает,—

Державин превратился в слух, лицо его сделалось лучезарным, руки пришли в движение. Когда я прочел:

Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны —
И точит лезвие косы,—

Державин содрогнулся. Едва я произнес последние стихи:

Жизнь есть небес мгновенный дар,
Устрой ее себе к покою
И чистою твоей душою
Благословляй судеб удар,—

Державин уже обнимал меня со слезами на глазах. Он не вдруг стал меня хвалить. Он молча сел опять на свое место, посадил и меня на прежнее кресло и, держа за руку, сказал тихим, растроганным голосом: «Я услышал себя в первый раз...» — и вдруг прибавил громко, с каким-то пошлым выражением (что меня очень неприятно поразило): «Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, за пояс заткнете», и в то же время я приметил, что Державин вдруг сделался чем-то озабочен, что у него было что-то другое на уме. Он опять встал, вынул другую рукописную книгу; несколько раз брал в руки то ту, то другую и, наконец, одну спрятал, а другую оставил на столе. Я видел ясно, что сильное впечатление, произведенное чтением оды к Перфильеву, у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, чтоб я читал трагедию. Скрепя сердце я пожертвовал на этот раз «Водопадом» и хорошо сделал: Державин стал бы слушать меня рассеянно. Впоследствии я нашел минуту, когда он свободно мог устремить все свое внимание на это чудное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотами: выражение этих красот было им тогда почувствовано вполне.— Итак, я обратился к Державину, державшему в руках большой том в зеленом корешке и рассеянно смотревшему в сторону: «Позвольте мне теперь прочесть вам трагедию».— «Знаете ли, о чем я думаю? — с живостью сказал он.— Вам трудно будет читать в первый раз рукописное сочинение». Я отвечал, что это правда, что даже печатную драматическую пиесу нельзя в первый раз прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, вникнуть в характеры лиц, изучить ход сильных сцен; что я не читаю никогда никакой большой пиесы другим, не прочитав ее вслух предварительно самому себе.— С живостью и удовольствием подал Державин мне обеими руками зеленый том и сказал: «Так возьмите, прочтите, изучите, и когда будете готовы, тогда прочтите мне. Но вот что: вы, верно, чи-

тали или слышали на театре «Ирода и Мариамну»; прочтите мне из нее некоторые сцены,— и, не дождавшись ответа, он позвонил и приказал вошедшему человеку собрать экземпляр этой трагедии из печатных листов, лежавших большим тюком в нижнем ящике того же дивана. Разумеется, я сказал, что пиесу знаю и прочту с большим удовольствием, и это была правда. Я был в таком лирическом настроении, что рад был читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй, неизвестного языка,— будут полны чувства и произведут сочувствие. Этим, по-моему, объясняется удивительный и нередкий факт, что на сцене истинные артисты приводили в восхищение слушателей, не знающих языка представляемой пиесы.— Между тем Гаврила Романыч послал за своей женой, племянницей (П. Н. Львовой) и племянником, служившим в статской службе, Капнистом. Пришли первая и последний; племянница была еще не готова и явилась к концу чтения. Нетерпение Державина было очевидно: он едва познакомил меня с своей женой, а с Капнистом даже и не познакомил. Я начал читать и без всяких выпусков прочел трагедию до конца, отдыхая не более двух-трех минут между действиями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я не соглашался: трагедия была небольшая, и притом я чувствовал, что моя восторженность может охладеть, а тогда все бы погибло. Это чтение было единственным явлением в продолжение тридцатипятилетнего моего поприща в качестве чтеца,— явлением психологическим и весьма замечательным. Чтобы понять вполне мои слова, надобно взять «Ирода и Мариамну» и попробовать прочесть ее вслух. Я сам впоследствии, достигнув несравненно большего искусства в чтении, не один раз пробовал исполнить этот подвиг — и не находил возможности не только чем-нибудь воспламениться, но даже сносно прочесть и еще менее заставить других прослушать с участием хоть две страницы... а тогда я читал около полутора часа, и каждое слово было полно какого-то огня, какого-то чувства! Чтение было в то же время— мало сказать не верно, не сообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Я чувствовал это, хотя

не ясно, в самое то время, как читал. С полным сознанием и искренностью повторяю теперь, что чтение происходило на неизвестном мне языке; но тем не менее и на других и на меня произвело оно магическое действие. Можно себе представить, что было с Державиным! Он решительно был похож на человека, одержимого корчами. Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук перечувствовала его восприимчивая, страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятиям — не было конца, а моему счастью — не было меры. Державин через несколько минут схватился за аспидную доску и стал писать грифелем. Все присутствовавшие, кроме меня, вышли. Разумеется, я догадался, что Державин пишет стихи на мое чтение, и не ошибся. Торопливо писала его дрожащая рука и беспрестанно стирала написанное. Мне показалось, что писание продолжалось с полчаса. Наконец, Гаврила Романыч взял читанную мною трагедию и на первом мягком листе, вверху названия трагедии, написал четыре стиха. Мне самому труднее, чем всякому другому, поверить, что я не помню этих стихов. Я тогда имел такую память, что с одного раза мог запомнить несколько куплетов, если только стихи мне нравились. Что книжка, подаренная Державиным, с его стихами, собственноручно написанными, у меня пропала — это не диковинка; я растерял в жизнь мою немалое число книг с надписями их авторов, иногда глубоко мною уважаемых, но не запомнить четырех стихов Державина, мне написанных, при моем благоговении к Державину, при моей памяти — это просто невероятно! Впрочем, дело объясняется несколько тем, что книга пропала у меня в первые два-три дня. Только и помню, что стихи, весьма не гладкие, оканчивались словами: «Себя услышал в первый раз», словами, вырвавшимися у него после чтения оды на смерть Мещерского. Несказанно счастливый мыслию, что я мог привесть в восхищение величайшего из поэтов (так я думал тогда), опьянелый от восторга и удовлетворенного самолюбия, я поспешил уйти от Державина, чтоб поделиться моими чувствами с моими друзьями. Само собою разумеется, что я сделался частым и любимым гостем «Певца Фелицы», как выража-

лись тогда литераторы и дилетанты русской словесности. Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь. Чего не перечитал я Державину! И переведенную им «Федру» Расина и собственные его трагедии: «Св. Евпраксию», «Аталибу, или Покорение Перу», «Сумбеку (кажется, так), или Покорение Казани» и проч. и сверх того два огромные тома в лист разных мелких его сочинений в стихах и прозе, состоявшие из басен, картин, нравственных изречений, всякого рода надписей, эпитафий, эпиграмм и мадригалов: все это перечитал я по нескольку раз. Я не говорю здесь о собственных записках Державина, имеющих большой интерес; я их видел, перелистывал, но не читал. При наших же стихотворных чтениях нередко с грустью думал я: умрет Державин, этот великий лирический талант, и все читаемое теперь мною, иногда при нескольких слушателях, восхищающихся из уважения к прежним произведениям писателя или из чувств, родственных и дружеских,— все будет напечатано для удовлетворения праздного любопытства публики, между тем как не следует печатать ни одной строчки. Но благодарение разумной разборчивости его наследников: из рукописных сочинений, о которых я говорю,— именно не было напечатано ни одной строчки, сколько мне известно. Между тем, надобно сказать правду, кроме выгод чисто материальных, можно было соблазниться исполнением желания горячих поклонников Державина: ибо в этой громаде стихов, лишенных иногда всякого достоинства, изредка встречались стихи очень сильные и блестящие лиризмом, впрочем по большей части не свойственные лицу, их произносившему. В мелких стихотворениях также изредка мелькал, может быть, не строго верный, но оригинальный взгляд и если не цельный, то односторонне-живой и поэтический образ. Вулкан потухал; но между грудами камней, угля и пепла мелькали иногда светлые искры прежнего огня.— Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора — все была песнь; но, увы, он думал, что его имеет; часто он говорил мне с неуважением о своих одах и жалел, что в самом начале литературного поприща не посвятил себя исключительно трагедии и вообще драме. «Аталиба», трагедия в пяти действиях, с хорами и великолепным, не исполнимым на сцене спектаклем, была любимым его

произведением. В ней главный эффект основывался на солнечном затмении: Пизарро, захваченный в плен мексиканцами, со всей свитою и в оковах ожидающий казни, предсказывает потемнение солнца как знамение гнева небесного; солнце в предписанную минуту помрачается (все это происходит на сцене), и победители упадают к ногам побежденных, освобождают их и признают своими повелителями. Помню я из этой трагедии один стих, который ценился Державиным выше всего. Аталиба, упрекая Пизарро в жадности к золоту, говорит длинный монолог, который оканчивается так:

Вы преплыли моря, расторгнув крови связь,
Чтоб из-под наших ног увезть блестящу грязь.

Может быть, я что-нибудь и перепутал в первом стихе, но второй верен буквально. Из мелких своих сочинений Державин особенно любил одно осьмистишие, которым, по его мнению, вполне обрисовывались трое знаменитых наших баснописцев: Хемницер, Дмитриев и Крылов, из которых первого он предпочитал остальным за простоту и естественность рассказа. Стихов не помню, но содержание их состоит в том, что три поэта являются к Аполлону, который говорит Дмитриеву: ты ловок, образован и ввел басню в гостиную; Крылову — ты колок, народен и умен; а Хемницеру Аполлон протягивает руку, жмет ее, «и ни слова». Этими словами заключается стихотворение.

Почти всякий раз, как я бывал у Державина, я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими, или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотам природы. Гаврила Романыч легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свидание, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говаривал: «Ну да, это недурно, есть

огонь, да ведь все пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет; все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить». Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних пустяков, я уже не мог воспламеняться до самозабвения, читая его новейшие сочинения, как это случилось со мной при чтении «Ирода и Мариамны». Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации; он досадовал и огорчался. «У вас все оды в голове,— говорил он,— вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете». Иногда, впрочем, он бывал доволен мною.— Державин любил также так называемую тогда «*эротическую поэзию*» и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою *р*. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишенные прежнего огня, замененного иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» — «Ничего,— возразил, смеясь Гаврила Романыч,— у девушек уши золотом завешаны».

Так продолжалась моя жизнь около месяца; все время, свободное от необходимых дел и свиданий в Петербурге, проводил я в доме Державина, который в последние дни казался не так здоровым. Наконец, один раз пришел я к нему обедать, что бывало довольно часто. Швейцар встретил меня с обыкновенной ласковой улыбкой, но сказал мне, чтоб я вызвал камердинера Гаврилы Романыча, который имеет до меня какую-то надобность. Я несколько удивился и, взошед наверх, встретил этого самого камердинера; он сказал мне, что Дарья Алексевна (жена Державина) просит меня, не входя в кабинет к Гавриле Романычу, повидаться с ней и для того зайти наперед в гостиную; я удивился еще более и поспешил к разгадке. Дарья Алексевна, несколько встре-

воженная, весьма учтиво и ласково сказала мне, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него сильное раздражение нерв и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гаврила Романыч слушает мое чтение, что она просит, умоляет меня несколько времени не ходить к больному или ходить, но не читать под каким-нибудь предлогом; «а всего лучше скажитесь больным,— прибавила она,— если он вас увидит, то начнет так приставать, что трудно будет отказать ему». Я сейчас почувствовал, что все это совершенно справедливо. Я уже говорил, как Державин слушал мое чтение в первое наше свидание; точно то же продолжалось до сих пор, если не всегда при слушании прежних од, то всегда при слушании трагедий. Я вспомнил, какое изнеможение выражалось на лице Державина после наших, иногда долгих, дообеденных или вечерних чтений. Мне стало совестно, и я покраснел до ушей. Я сказал Дарье Алексевне, что мне больно, и грустно, и досадно на себя, для чего я сам давно этого не приметил. Она призналась мне, что уже с неделю всякий день сбирается поговорить со мной об этом, что она боялась оскорбить меня и что боже сохрани, если узнает об этом Гаврила Романыч. Я решил ее успокоить и прибавил, что я сам болен, что доктор давно требует, чтоб я сидел дома, и что я выезжал единственно для Гаврилы Романыча. Все это была совершенная правда, только я был болен не от чтения, а от петербургского климата, от которого уже поотвык. Хозяйка благодарила меня искренно и упрашивала, чтоб я в доказательство, что не сержусь на нее, остался у них обедать. Я не остался под предлогом, что должен держать строгую диету; мне показалось как-то странно оставаться в доме контрабандой от хозяина. Я приехал, однако, вечером к Державину, сказал ему, что я давно нездоров, что должен лечиться и, может быть, недели две не выйду из комнаты. Гаврила Романыч чуть не заплакал и так огорчился, что я испугался вредных последствий. Он сам был, очевидно, нездоров. Глаза у него были мутные и пульс бился, как в лихорадочном жару, но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался мне, что с некоторого времени хотят уверить его, что он хворает, а он, напротив, давно не чувствовал себя так бодрым и крепким. Наконец, он отпустил меня в *лазарет* (как он выразился) и обнял на

прощанье несколько раз, прибавив, что кстати исполнит просьбу жены и, хотя без надобности, сам полечится в это время.

<...> Ровно через две недели явился я к Державину, хотя дни за два до срока Дарья Алексевна уже присылала звать меня. Гаврила Романыч очень мне обрадовался, но не так, как я ожидал. Может быть, ему успели внушить, что в обществе смеются над ним, будто бы с утра до вечера заставляющим читать себе свои сочинения; может быть, сказали, что мне это в тягость, что я скучаю и жалуюсь на такое принуждение, а может быть, что всего вероятнее, успели его убедить, что такое неравнодушное слушание точно ему вредно. Как бы то ни было, только Державин был со мною как-то принужден и не сказал ни слова о моих стихах. На другой день то же, и я уже подумал, что мои отношения к Гавриле Романычу должны измениться, как вдруг последовало неожиданное возвращение к прежнему порядку вещей. Один из его племянников, А. Н. Львов, спросил меня при своем дяде: «Каково идет «Мизантроп»?» Эти слова обратили на себя внимание Державина, и я должен был рассказать ему, в чем состояло дело; оно состояло в следующем: Ф. Ф. Кокошкин перевел Мольерова «Мизантропа»; перевод его пользовался тогда большою славою; петербургская актриса М. И. Вальберхова выпросила у Кокошкина эту пиесу, еще не игранную на петербургской сцене, себе в бенефис. Я отправлялся в самое то время из Москвы в Петербург; Кокошкин прислал со мною г-же Вальберховой «Мизантропа» и взял с меня обещание, что я прочту сам его перевод всем актерам на «считке» и даже посмотрю за репетициями, на что дал мне письменное полномочие. Я принялся было за дело с обычною мне горячностью, но скоро увидел, что играю тут смешную роль: никто из актеров не хотел меня слушать и не обращал внимания на мои права, потому что заведовавший тогда репертуарною частью кн. А. А. Шаховской, с которым я был впоследствии очень дружен, не благоволил к Кокошкину и оскорбился, что такой молодой человек, как я, имел право ставить на петербургскую сцену такую знаменитую пиесу, как «Мизантроп» Мольера. Считку, разумеется, произвели без меня, и только по необходимости, очень сухо приглашен я был на репетиции. Я, увидя явное от всех нерасполо-

жение, отстранился и был только из приличия раза два на репетициях. Родные Державина знали эту забавную историю, и Львов (с которым мы были потом друзьями) сделал этот вопрос намерением надо мной посмеяться. Я рассказал откровенно все. Державин по добродушию принял живейшее участие в моем неприятном положении; он знал только отрывки из перевода Кокошкина, когда-то прочтенные мастерски (по общему мнению) самим Кокошкиным в «Беседе русского слова». Гавриле Романычу очень захотелось послушать, как я читаю комедию, и он стал меня убедительно просить, чтобы я прочел ему всего «Мизатропа». У меня был особый экземпляр, окончательно исправленный переводчиком, и на другой день вечером, при довольно многочисленной публике, я прочел «Мизантропа»; Гаврила Романыч был совершенно доволен. Опять расшевелилось горячее сердце Державина, и с следующего дня начались опять наши чтения по-прежнему, хотя не так уже часто.

Кроме собственных сочинений, Державин охотно слушал чтение и других стихотворцев: И. И. Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и проч. Крылова я не читал никогда, потому что Гаврила Романыч был недоволен мною при чтении собственных его басен, и это было совершенно справедливо. <...>

Благородный и прямой характер Державина был так открыт, так определенен, так известен, что в нем никто не ошибался; все, кто писали о нем,— писали очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для бу-

дущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина. Я осмелился слегка сказать ему мнение, и он весьма благодушно согласился. Впрочем, такое сознание ни к чему не вело, и я вскоре увидел довольно красноречивый опыт нетерпения, вспыльчивости и неуменья владеть собою престарелого поэта. Однажды Карамзин уведомил его запиской, что в такой-то день, в семь часов вечера, приедет и прочтет ему отрывок из «Истории Российского государства». Державин пригласил многих знакомых, большею частью людей почтенных уже по одним своим летам; не знаю почему, меня прислал он звать не более как за полчаса до условленного начала чтения. Я был дома и поспешил явиться: интерес мой особенно возбуждался тем, что дни за три Н. М. Карамзин сказал мне, что обещал Державину прочесть что-нибудь из «Истории» и прочтет такое место, которым он сам доволен, но сомневается, чтоб оно понравилось другим. Я нашел у Державина: А. С. Шишкова, известного стихотворца гр. Д. И. Хвостова, также А. С. Хвостова, известного едкостью критических замечаний и в общественных беседах и в рукописных стихах, Ф. П. Львова, П. А. Кикина, Н. И. Гнедича и многих других. Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпенье, которое возрастало крещендо с каждой минутой. Проходит полчаса, и нетерпенье его перешло в беспокойство и волнение: он не мог сидеть на одном месте и беспрестанно ходил взад и вперед по своему длинному кабинету между сидящими по обеим сторонам гостями. Несколько раз хотел он послать к Карамзину и спросить: будет он или нет; но Дарья Алексевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку; я стоял недалеко от него и видел, как он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. К счастью, в самое это время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романыча назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра.

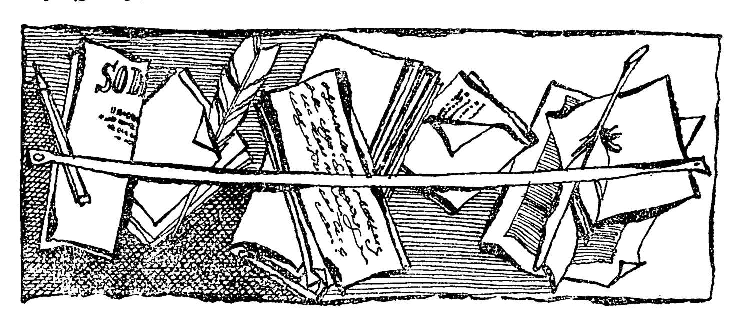
Очень жалею, что я не списал этой записки или не оставил ее у себя. Державин, показав ее многим из гостей, отдал потом мне; я прочел, положил в карман и забыл; я возвратил ее через несколько дней. В семи или осьми строчках этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое спокойствие, такое искреннее сожаление, что он не мог исполнить своего обещания! Казалось, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить какое-нибудь неудовольствие в сердце; но не то было с Державиным: он никак не мог так скоро совладеть с своей досадой, ни с кем не говорил, беспрестанно ходил, и все гости в несколько минут нашлись принужденными разъехаться. Тут Дарья Алексевна уже сама пожелала и попросила меня, чтоб я прочел что-нибудь. Надобно сказать, что в последнее время она постоянно показывала мне какую-то холодность, и я не вдруг согласился исполнить ее желание и предложить чтение. Гаврила Романыч тоже не вдруг принял мое предложение, наконец сказал: «Пожалуй, прочтите что-нибудь»,— и я начал читать. Державин долго слушал без участия, то есть без всяких движений в руках и лице; но мало-помалу пришел в свое обыкновенное положение и даже развеселился. В этот раз я просидел у него целым часом долее положенного срока, уже не читал, а слушал его рассказы о прошедшем, невозвратно прошедшем. <...>

Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось еще в этом семидесятитрехлетнем старце, в этом гениальном таланте! Вечер накануне моего отъезда, как нарочно, мы провели вдвоем. Много добрых желаний и советов сказал он мне на прощанье, искренно благодарил за удовольствие, доставленное моим чтением; много предсказывал мне в будущем и даже благословил меня на литературные стихотворные труды. Он ошибался во мне, и потому предсказания не исполнились и благословение не пошло впрок. Самый последний совет состоял в следующем: «Не переводите, а пишите свое, что в голову войдет; в молодости переводить вредно: сейчас заразишься подражательностью; в старости переводите сколько угодно».

С глубоко растроганным сердцем вышел я из кабинета Державина, благодаря бога, что он послал мне такое неожиданное счастье — приблизиться к великому по-

эту, узнать его так коротко и получить право любить его, как знакомого человека! Каким-то волшебным сном казалось мне все это быстро промелькнувшее время! Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мной, так много занимался мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне... Радостно билось мое сердце, и самолюбие плавало в упоении невыразимого восторга.

В исходе июля, собираясь уехать на десять лет из Москвы в Оренбургскую губернию, я узнал о смерти Державина. Еще живее почувствовал я цену моего с ним очень кратковременного, но полного, искреннего, свободного, кабинетного знакомства. Итак, скромный путь моей жизни озарился последними лучами заходящего светила, последними днями великого поэта! Тридцать пять лет прошло с тех пор, но воспоминание об этих светлых минутах моей молодости постоянно, даже и теперь, разливает какое-то отрадное, успокоительное, необъяснимое словами чувство на все духовное существо мое. И чему я обязан за все это? — единственно моему чтению. Да будет же благословенно искусство, которое звуками даже чужих слов, проникнутых собственным чувством человека, может так могуче переливать их в сердце другого! <...>



КОММЕНТАРИИ

В эту книгу входит значительная часть поэтического наследия Державина. Стихотворения публикуются в хронологическом порядке. Книга знакомит читателя и с прозой Державина: его «Объяснениями» к стихотворениям и автобиографическими записками, которые со времен издания, осуществленного Я. К. Гротом в 1864—1883 годах, не печатались. Как «Объяснения», так и «Записки» имеют не только историческое значение и ценность литературного документа: они интересны живым, темпераментным отношением поэта к событиям его эпохи, ярким воссозданием ее атмосферы, а главное — личностью самого Державина, пылкого и простодушного, прямолинейного и умного, неподкупно честного, бескорыстного и обаятельного.

Составитель комментировал не все стихи Державина. Одни из них не нуждаются в примечаниях. Другие прокомментировал сам Державин (такие стихи отмечены в «Содержании» звездочкой). Составитель не счел нужным давать примечания и к тем строкам и стихам, которые шире и многозначнее реального комментария к ним Державина. В «Объяснениях» и «Записках» сохранена последовательность, установленная самим поэтом.

Стихи и проза поэта, дополняя и обогащая друг друга, дадут читателю более полное представление и о самом Державине и о тех вопросах, к которым он упорно обращался на протяжении его жизни.

Из «Объяснений» изъято «изъяснение картин, при них находящихся», так как сами «картины» в настоящем издании не воспроизводятся.

Прозаические тексты Державина печатаются в основном в соответствии с нормами современной орфографии. Сохранено лишь

написание отдельных архаизмов, характерных как для стиля Державина, так и для литературы XVIII века в целом.

Стихи печатаются с учетом определенной текстологической традиции, сложившейся на протяжении многих лет в советских изданиях Державина. Так, например, не изменяется архаическое написание рифмующихся слов, а также слов, стоящих под ударением. Это же относится к некоторым названиям и именам собственным (в частности, Румянц*ов*).

В датировке стихотворений составитель считал возможным ограничиться лишь указанием года создания стихотворения, не мотивируя эту датировку в примечаниях.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Невесте. (Стр. 23.) — Обращено к Е. Я. Бастидон, на которой Державин женился 18 апреля 1778 года.

Препятствие к свиданию с супругой. (Стр. 24.)— *Укротися же, стихия...*— Осенью 1778 года Державин не мог вернуться в Казань к жене из своего имения под Оренбургом, так как по Каме шел лед.

На рождение в Севере порфирородного отрока. (Стр. 26.) — Написано по случаю рождения (12 декабря 1777 года) великого князя, будущего императора Александра I. *С их ты матерью...*— то есть Екатериной II.

На Новый год. (Стр. 36.) — *Пленира* — так в стихах Державин называл свою первую жену. *Петры, и Генрихи, и Титы...*— Имеются в виду: Петр I; Генрих IV (1553—1610), французский король; Тит Флавий Веспасиан (39—81), римский император. *Элементы* — здесь: стихии.

На выздоровление Мецената. (Стр. 38.) — Обращено к И. И. Шувалову. *Старик* — Харон. *Ты Ломоносовым пером.*— Речь идет о поэме Ломоносова «Петр Великий», посвященной Шувалову.

Решемыслу. (Стр. 48.) — Обращено к Г. А. Потемкину. *Решемысл* — герой «Сказки о царевиче Февее», написанной Екатериной II. *Подруга Флаккова...*— то есть муза Горация Флакка. *...царице той...*— Елизавете Петровне. *И не кубарит кубарей...*— Здесь: не бездельничает. *Минерва* — здесь: Екатерина II. *Героям шьет коты да шубы.*— Екатерина II разрешила войскам носить зимой теплую одежду.

Желание Зимы. (Стр. 60.) — Обращено к П. М. Захарьину (1750—1800), стихотворцу, с которым Державин позна-

комился в Тамбове. Державин писал о Захарьине, что он «непреодолимою побежден страстью к пьянству, от которой был удерживаем разными средствами сочинителем сей оды; но как ничто не успело, то в шутку над ним и написана сия площадная пиеса» («Объяснения»). *В убранстве козырбацком...* — по смыслу — молодецком. *...седого трыка...* — франта, ветрогона. *И будь лишь в стойке дивен...* — то есть у стойки кабака. *...ширень да вирень...* — песенный припев.

На смерть графини Румянцовой. (Стр. 62.) — Обращено к Е. Р. Дашковой. *Седый собор Ареопага...* — здесь Сенат. *Терпи! — Самсон сотрет льву зубы, // А Навин потемнит луну...* — Речь идет о войнах с Турцией (1787—1791) — луной, и Швецией (1788—1790) — львом (по гербам этих стран). *Самсон и Навин* — библейские герои, один из которых победил в единоборстве льва, а другой остановил солнце.

Справки. (Стр. 65.) — В основе стихотворения — подлинный случай, происшедший с Державиным в период его ссоры с И. В. Гудовичем.

На Счастие. (Стр. 70.) — *Девиц и дам магнизируешь...* — Насмешка над модным в ту пору учением о присутствии в человеке «животного магнетизма». *Полна земля вся кавалеров...* — то есть награжденных орденами. 5-я и 6-я строфы намекают на злободневные политические события и международную политику Екатерины II. *Ерихонцы* — здесь: чиновники, подьячие. *Мартышки* — здесь масоны (мартинисты). *Уранги* — орангутанги. *...мудрость среди тронов // Одна не месит макаронов...* — Державин противопоставляет Екатерину II *(мудрость)* испанскому королю, любившему готовить макароны, и французскому — Людовику XVI, занимавшемуся кузнечным делом. *И припевает хем, хем, хем.* — Припев персонажа из «Былей и небылиц» Екатерины II. *Гудок гудит...* — намек на И. В. Гудовича. *И вьется локоном хохол.* — Выпад против А. А. Безбородко. *...шар Монгольфиера...* — Воздушный шар братьев *Монгольфье. Жить буду в тереме богатом...* — Эта строфа направлена против П. В. Завадовского.

Изображение Фелицы. (Стр. 78.) — *Норд* — здесь Россия. *Поставь на сорок двух столпах...* — 42 русские губернии. *Хаос на сферы б разделился...* — Разделение России на губернии. *...Зороастров истукан...* — бюст Петра I (которого поэт сравнивает с пророком Заратустрой) стоял в кабинете Екатерины II. *И самое Недоуменье...* — Державин имеет в виду комедию Екатерины II «Недоразумение» (пост. в 1789 году).

На взятие Измаила. (Стр. 90.) — Турецкая крепость *Измаил* была взята русскими войсками под предводительством

А. В. Суворова 11 декабря 1790 года. *...вождя веленьем...* — Г. А. Потемкина. *...пастырь вдохновенный...* — Суворов. *Лице бледнеет Магомета...* — Речь идет о Турции. *Олег* (IX—X вв.) — киевский князь, завоевавший Константинополь. *Ольга* (X в.) — киевская княгиня, которая, по преданию, приняла в Константинополе христианство. *Ахеяне* — здесь: греки, *агаряне* — турки. *Град Константинов Константину...* — Екатерина стремилась создать греческое государство со столицей в Константинополе под покровительством России.

Любителю художеств. (Стр. 100.) — *С горы зеленой, двухолмистой...* — с Парнаса. *Я вижу, вижу Аполлона // В тот миг, как он сразил Тифона...* — Аполлон сразил Пифона.

Водопад. (Стр. 107.) — Ода написана на смерть князя Г. А. Потемкина. *...некий муж седой...* — П. А. Румянцев. *Во храме муз друг Аполлона...* — Намек на то, что Потемкин покровительствовал поэтам и писателям. *Вознесть твой гром на те стремнины...* — то есть Константинополь. *Се ты, которому врата // Торжественные созидали...* — Триумфальные ворота в Царском Селе, воздвигнутые в 1791 году в ознаменование побед русских войск.

Ко второму соседу. (Стр. 120.) — В 1791 году Державин купил дом на набережной Фонтанки в Петербурге. М. А. Гарновский, управитель Таврического дворца Потемкина, владелец огромного состояния, составленного нечестными путями, строил себе роскошный дом рядом со скромным домом поэта. В 1797 году Гарновский был заключен в тюрьму, а дом его год спустя превратился в конногвардейские казармы. *...сокровищи Тавриды... Средь полицейских ссор?* — После смерти Потемкина Гарновский начал вывозить из Таврического дворца дорогие вещи, но полиция пресекла это.

Анакреон в собрании. (Стр. 121.) — *Анакреон* — здесь Потемкин. *Паллада* — Екатерина II. *...вьется мальчик* — Амур.

Скромность. (Стр. 122.) — Подражание итальянскому поэту Пьетро Метастазио (1698—1782).

Амур и Псишея. (Стр. 127.) — Написано по случаю сговора великого князя Александра Павловича с принцессой Луизой Баденской.

Колесница. (Стр. 131.) — Отклик на революционные события во Франции.

Вельможа. (Стр. 137.) — *Не истуканы за кристаллом...* — то есть изваяния за стеклом. *Кумир, поставленный в позор...* — то есть выставленный напоказ.

Ласточка. (Стр. 148.) — Посвящено памяти Е. Я. Державиной.

К лире («Звонкоприятная лира!») (Стр. 151.) — *Кто Аристон сей младой?* — *Аристон* — отец Платона, знаменитого греческого философа; здесь — П. А. Зубов. *Астрея* — здесь: Екатерина II.

На кончину великой княжны Ольги Павловны. (Стр. 154.) — Дочь великого князя (будущего императора Павла I) умерла в январе 1795 года в трехлетнем возрасте. *Жизнь и успенье // Кто ее пел...* — В 1792 году Державин написал стихи на рождение Ольги Павловны.

Приглашение к обеду. (Стр. 157.) — Обращено к И. И. Шувалову и А. А. Безбородко.

Фельдмаршалу графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому на пребывание его в Таврическом дворце 1795 года. (Стр. 159.) — Приехав из Варшавы в Петербург в декабре 1795 года, Суворов жил в Таврическом дворце, где по своей привычке спал на соломе. *Плоть Эпиктетову прияв...* — то есть уподобившись *Эпиктету*.

Анакреон у печки. (Стр. 159.) — *Анакреон* — здесь: Державин.

Хариты. (Стр. 161.) — *Харитами* поэт называет здесь великих княжен Александру Павловну и Елену Павловну — «внук» (внучек) Екатерины II.

Потопление. (Стр. 166.) — Написано под впечатлением гибели композитора Ф. М. Дубянского.

На рождение царицы Гремиславы. (Стр. 167.) — *Гремислава* — здесь: Екатерина II. *И ты сидишь, как сирский царь...* — то есть как Гарун аль Рашид. *Соломон* — царь иудейский — собрал, по преданию, на пир весь израильский народ.

Афинейскому витязю. (Стр. 170.) — *Афинейский* (афинский) *витязь* — здесь: граф А. Г. Орлов-Чесменский. *...бедрой // Своей препнув склоненье, // Минерву удержал в паденье...* — Орлов спас Екатерину, остановив на ходу сломанную коляску, в которой царица съезжала с деревянной горы. *Дьяки, взяв шапку, выходили...* — В петровские времена дьяки-секретари, не желая подписывать несправедливо составленных сенаторами бумаг, оставляли зал заседания. *Мамон* — здесь карман. *Пиявиц унимали...* — взяточников.

Пришествие Феба. (Стр. 181.) — Вольный перевод гимна Аполлону, приписываемого греческому поэту Дионисию Александрийскому (ок. II в. до н. э.). *Феб* — здесь: Павел I. *...с рамен по багрянице...* — то есть с плеч по царской мантии.

Сафо. (Стр. 183.) — Вольный перевод оды Сафо, греческой поэтессы (VII—VI вв. до н. э.).

Развалины. (Стр. 186.) — *Кипр* — здесь Царское Село, опустевшее после смерти Екатерины II (Киприды). *Полки прекрасных метких слуг...* — то есть эротов. *Парнас* — здесь: гора в царскосельском парке. *Верхом скакали на коньках...* — Имеется в виду карусель. *Она смотрела: на Алкида...* — то есть на памятник А. Г. Орлову-Чесменскому. *...перлов гнезд...* — здесь: перламутр.

Люси. (Стр. 189.) — Обращено к Елизавете Федоровне Штернберг, воспитаннице графини Е. А. Стейнбок.

К портрету В. В. Капниста. (Стр. 200.) — *Надежда, ябеда...* — Державин имеет в виду «Оду на надежду» (1780) В. Капниста и его комедию «Ябеда» (1798).

На ворожбу. (Стр. 204.) — *Халдейским мудрованьем знать...* — Речь идет об астрологии.

Похвала за правосудие. (Стр. 207.) — Князь И. А. Шаховской просил поэта сочинить оду в похвалу за справедливый суд, но Державин не мог без оговорок хвалить «неосновательное правосудие, в рассуждение чего и сказал автор, что: «Счастлив, коль отмечает Павел // И совесть у тебя чиста!"» («Объяснения»).

На переход Альпийских гор. (Стр. 210.) — Посвящено переходу русских войск во главе с Суворовым через Сен-Готардский перевал. *Но что! не дух ли Оссиана...* — *Оссиан* — легендарный кельтский бард. *Моран* — герой «Поэм Оссиана», созданных Джеймсом Макферсоном. *Как шел он на царя царей?* — Здесь: на римского императора. *Массена* — французский генерал, защитник Сен-Готардского перевала. *Алкид* — Геракл. *...знак свой там поставил...* — то есть Геркулесовы столпы, поставленные, по преданию, Гераклом у Гибралтара как символ того, что плыть дальше нельзя. *Гованó* (Гозонó) — по преданию, убил страшного дракона, опустошавшего землю («Объяснения»). *Евгений, Цесарь, Ганнибал...* — По объяснению Державина, это имена тех, кто переходил прежде Альпийские горы. *Могущий Леопольд...* — Герцог *Леопольд* Австрийский, которого в 1315 году победили швейцарцы. *Гельвеция* — древнее название Швейцарии. *Русса* — приток Рейна. *Секвана* — латинское название Сены.

Утро. (Стр. 219.) — *В фригический настроя тон...* — По объяснению Державина, «тон, которым греки пели гимны богам».

«Всторжествовал — и усмехнулся...». (Стр. 223.) — *Тиран* — Павел.

Венчание Леля. (Стр. 226.) — Это «аллегорическое описание коронации императора Александра I 1801, 15 сентября» («Объяснения»).

Деревенская жизнь. (Стр. 235.) — По объяснению Державина, *Лель* — это Амур, *Лада* — Венера, *Услад* — Бахус.

«Ареопагу был он громом многократно...»: (Стр. 239.) — Написано как эпитафия самому себе. *Ареопаг* — здесь: Сенат.

Фонарь. (Стр. 241.) — *Озетя* — то есть высмотрев. *Пернатой лыстью...*— чешуйчатой кожей. *Стремит в свои вод реки трубы...*— Имеются в виду киты. *Угобзя* — удобрив. 9-я строфа посвящена Наполеону.

Мужество. (Стр. 245.) — Поводом к созданию оды была ложная тревога в Павловске в 1797 году, когда гвардия собралась по ошибке на звук почтовой трубы. Державин намекает в оде на трусость Павла I. *...храбрый Леонид...*— спартанский царь; погиб в неравной схватке с персами, защищая Фермопильский проход. *Зинобия* (Зино́вия) — по преданию, исключительно храбрая царица Пальмиры. 8-я строфа посвящена Павлу I.

На гроб N. N. (Стр. 252.) — Написано в форме эпитафии самому себе. *...трех царей.*— Екатерину II, Павла I и Александра I.

Цыганская пляска. (Стр. 253.) — Обращено к И. И. Дмитриеву. *Египтянка* — здесь: цыганка; в XVIII веке полагали, что цыгане — потомки древних египтян. *И в нежного певца.*— И. И. Дмитриева.

«Кто вел его на Геликон...». (Стр. 255.) — 31 мая 1805 года Державин писал Д. И. Хвостову по поводу этого стихотворения: «...объяснение четырех сих строк составит историю моего стихотворства, причины оного и необходимость» (т. VI, с. 169—170).

Облако. (Стр. 256.) — *...вздувшись туком...*— зажирев.

Гром. (Стр. 259.) — Державин иносказательно сравнивает с бурей революционные события конца XVIII века. *...гроза духов тех гордых, // Кем колебался звезд престол!* — По библейской легенде, бог одержал победу над восставшими против него ангелами. *Князь ада* — здесь: Наполеон.

Поминки. (Стр. 261.) — Написано на смерть М. А. Львовой («Майны»), сестры Д. А. Державиной и жены Н. А. Львова.

Признание. (Стр. 262.) — Державин писал в «Объяснениях», что это стихотворение объясняет все его сочинения.

Персей и Андромеда. (Стр. 264.) — Здесь иносказательно говорится о битве при Прейсиш-Эйлау. *Персей* — здесь:

Александр I, *Андромеда* — Европа, *дракон* — Наполеон I, *Губитель* — Наполеон. *Языки* — здесь народы.

Атаману и войску Донскому. (Стр. 268.) — Обращено к М. И. Платову. *Янство* — у Державина эгоизм. *Был враг чипчак —и где чипчаки?* — То есть Батый и Золотая Орда. *Чернец Донского* — по преданию, монах Пересвет, дружинник Дмитрия Донского. *Голицын, Шереметев* — полководцы Петра I. *На кляче белая рубашка...* — Суворов в жару ездил на лошади в белой рубашке. *Саламандр* — здесь: Наполеон I. *Илья* — *Илья* Муромец. *Уранг* — здесь: Наполеон I. *Денисов, Краснощекий, Орлов, Иловайский* — атаманы Донского казачьего войска. *...крестов чертог...* — парадная комната.

Милорду, моему пуделю. (Стр. 279.) — Пародия на оду. *Диоген* (IV в. до н. э.) — греческий философ, основатель школы циников (киников). *...мира победитель...* — Александр Македонский. По преданию, он предложил Диогену, жившему в бочке, выполнить любое его желание. Диоген попросил его отойти и не заслонять ему солнечного света. *...из рук пашинских...* — то есть из рук П. Н. Львовой. *Ко мне в мой приносивших толк...* — то есть на мое решение.

Привратнику. (Стр. 284.) — Обращено к привратнику Державина, который принял по ошибке пакет, адресованный однофамильцу поэта, священнику И. С. Державину. *Навин* — по библейскому преданию остановил Солнце. *Он в семинарьи им нарекся...* — то есть принял в семинарии фамилию Державина. *Но гербом — не Державин он!* — В гербе Державина изображена рука, держащая звезду.

Задумчивость. (Стр. 287.) — Перевод 28-го сонета Петрарки.

Издателю моих сочинений. (Стр. 289.) — Обращено к А. Ф. Лабзину, издателю собрания сочинений Державина 1808 года.

Аспазии. (Стр. 291.) — Обращено к М. А. Нарышкиной, любовнице Александра I. *Аспазия* (V в. до н. э.) — афинская гетера, прославившаяся красотой и образованностью, была обвинена в кощунстве против богов, но Периклу (ее мужу) удалось защитить ее перед Ареопагом. *Но сняла лишь покрывало — // Пал пред ней Ареопаг!* — Речь идет о Фрине (IV в. до н. э.), также обвиненной в безбожии и оправданной после того, как она, нагая, предстала перед судьями.

Надежда. (Стр. 293.) — Посвящено памяти Н. И. Львовой-Березиной, племянницы Д. А. Державиной.

Римскому народу. (Стр. 297.) — Перевод 7-го эпода Горация. В стихотворении идет речь о междоусобицах в Риме во второй половине I в. до н. э.

Аристиппова баня. (Стр. 297.) — *Видна и ссылка Аполлона...* — По преданию, *Аполлон* был осужден за убийство циклопов жить на земле в образе пастуха. *Арета* — дочь Аристиппа. «Дионисий, царь Сиракузский, подарил Аристиппу трех красавиц. Он привел их к себе и отпустил назад, не прикасаясь к ним» (Примечание Державина в V части сочинений). *...воздержностью не дмися...* — то есть не чванься.

Эхо. (Стр. 301.) — Обращено к Евгению Болховитинову, который любил слушать эхо на Званке. *...коль Нарциссом // Тобой я чтусь,— скалой мне будь...* — Державин имеет в виду греческий миф, рассказывающий о том, что нимфа Эхо превратилась в скалу от безответной любви к Нарциссу. *Нарцисс жил нимфы отвечаньем...* — то есть отвечанием Эхо, которую Гера лишила дара речи, оставив ей способность повторять чужие слова. *...Фивов разоритель...* — Александр Македонский, пощадивший во всем городе только дом поэта Пиндара.

К Меценату. (Стр. 302.) — Перевод 20-й оды книги I од Горация.

Полигимнии. (Стр. 302.) — Обращено к А. С. Стурдзе, фрейлине при дворе Александра I, полугречанке по происхождению. По свидетельству П. Н. Львовой, Стурдза пленила Державина, прочитав ему наизусть его оду «Бог».

«Река времен в своем стремленьи...». (Стр. 304.)— В статье, сопровождавшей публикацию стихотворения, говорилось: «За три дни до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту «Река времен» (или «Эмблематическое изображение всемирной истории».— *И. П.)*, начал он стихотворение «На тленность» и успел написать первый куплет... Сии строки написаны им были не на бумаге, а еще на аспидной доске (как он всегда писывал начерно)...» («Сын отечества», 1816, ч. 31, № XXX). Грифельная доска хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

ОБЪЯСНЕНИЯ НА СОЧИНЕНИЯ ДЕРЖАВИНА

Печатается с сокращениями по изданию: Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти томах. (Под редакцией Я. К. Грота.) Т. 3. СПб., 1866.

Предварительное примечание вообще ко всем сочинениям. (Стр. 305.) — *...о чем в первом издании сей 1-ой части...* — Речь идет о первом томе сочинений Державина, вышедшем в свет в 1798 году.

Фелица. (Стр. 308.) — *...сочинением опер и сказок...* — Екатерина II написала несколько комических опер, а также «Сказку о царевиче Хлоре» и «Сказку о царевиче Февее». *Полкан и Бова* — герои сказки XVII века о Бове-Королевиче. *...по окончании первой турецкой войны...* — войны 1768—1774 годов. *Вальдмейстер* — в Российской империи чиновник, заведовавший казенными лесами. *Шувалов.* — О каком из Шуваловых идет речь, не ясно. *...вознамерилась издавать от Академии журнал...* — «Собеседник любителей российского слова».

Видение Мурзы. (Стр. 313.) — *...в кавалергардской комнате...* — то есть в комнате почетной стражи императрицы.

На взятие Измаила. (Стр. 314.) — <Пробел> — так отмечал Я. К. Грот пропуски слов в рукописях Державина. *Разрушили римскую монархию...* — В 476 году вождь германских наемников Одоакр низложил последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула. Восточная Римская империя под названием Византия просуществовала еще около 1000 лет. *...Византия, или Константинополь...* — Константинополь (Царьград), столица Византийской империи. В 1204 году стал столицей Латинской империи. Был отвоеван византийцами в 1261 году. В 1453 году город взяли турки и переименовали его в Стамбул. *Рында, дубина или палица...* — В «Толковом словаре» В. И. Даля слово «рында» имеет другое значение: нескладный верзила, сухопарая баба, исхудавшая кляча, одер.

Изображение Фелицы. (Стр. 315.) — *Оттоманская Порта* — название правительства Османской империи (султанской Турции), принятое в европейских документах и литературе.

На смерть князя Мещерского. (Стр. 319.) — *А. И. Мещерский* (умер в 1779 году) и *С. В. Перфильев* принадлежали к придворному кругу будущего императора Павла I. Державин познакомился с ними после Пугачевского восстания и принимал участие в пирах, происходивших в доме хлебосольного Перфильева.

Осень во время осады Очакова. (Стр. 319.) — *...декабря 6 числа...* — В 1788 году.

На смерть графини Румянцовой. (Стр. 320.) — *...в крайнем огорчении о женитьбе ее сына...* — Дашкова была крайне недовольна неравным браком: ее сын женился на девушке из

купеческой семьи, недавно получившей дворянство. *...в противоположность гр. Румянцовой...* — *М. А. Румянцева* (1698—1788), мать П. А. Румянцева-Задунайского, пережила почти всех своих родных, но до глубокой старости сохранила ясность и бодрость духа. Поэтому Державин и ставит ее в пример Дашковой.

Водопад. (Стр. 327.) — *...в семилетнюю...* — Семилетняя война 1756—1763 годов между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) и Португалией, с другой. *...он на Черном море основал флот...* — Потемкин руководил строительством Черноморского флота. *Фирс, или Тирсис...* — Державин имеет в виде Терсита (персонаж «Илиады»).

Мой истукан. (Стр. 334.) — *В Царском Селе была колоннада...* — «Камеронова галерея», построенная в 1780—1793 годах.

Флот. (Стр. 337.) — *...на отбытие эскадры...* — Союзная эскадра отплыла под русским флагом для крейсирования вдоль берегов революционной Франции.

Храповицкому. (Стр. 341.) — *Храповицкий Александр Васильевич* был в приятельских отношениях с Державиным с того времени, когда они вместе служили в Сенате под началом А. А. Вяземского, то есть с 70-х годов. Позднее Храповицкий, как и Державин, был статс-секретарем Екатерины II. Автор интересного «Дневника», охватывающего события 1782—1793 годов.

Урна. (Стр. 342.) — *Медицис* — род герцогов Медичи, правивший во Флоренции в XV — XVIII веках. Представители этого рода были покровителями искусства.

На победы в Италии. (Стр. 347.) — *...а валками назывались у них...* — Державин имеет в виду валькирий. В древнескандинавской мифологии — это воинственные девы-богини, которые помогали героям в битвах и уносили души убитых воинов в Валгаллу, где прислуживали им на пирах. *Валгалла* — дворец бога Одина, обиталище душ воинов.

Мужество. (Стр. 351.) — *Пальмира* — древний город на территории северо-восточной Сирии.

Оленину. (Стр. 353.) — *Nec plus ultra* (лат.) — непревзойденный.

Память другу. (Стр. 355.) — *...начало небольшой поэмы, называемой «Добрыня»...* — «Добрыня» (богатырская песня) — первая глава поэмы Н. А. Львова («Друг просвещения», 1804, № 9).

Графу Стейнбоку. (Стр. 356.) — Граф Я. Ф. Стейнбок был женат на Е. А. Дьяковой, сестре Д. А. Державиной, второй жены поэта.

ЗАПИСКИ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВСЕМ ПРОИСШЕСТВИЕВ И ПОДЛИННЫХ ДЕЛ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЕ ЖИЗНЬ ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА

Печатается с большими сокращениями по изданию: Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти томах. (Под ред. Я. К. Грота.) Т. 6. СПб., 1871.

Стр. 361. *...родился в Казани...*— Державин родился в деревне Кармачи или деревне Сокура Казанской губернии в небогатой дворянской семье.

Стр. 362. *...по тогдашним законам...*— Закон о явке недорослей на смотр (в семь, двенадцать и шестнадцать лет).

Стр. 363. *...и с дочерью...*— Анной, которая скоро умерла.

Стр. 364. *...при царе Иване Васильевиче Темном...*— Державин имеет в виду Василия II Темного (1415—1462). Великий князь московский, сын Василия I.

Бархатная книга — родословная книга знатных русских боярских и дворянских фамилий, составленная в 1687 году.

Стр. 367. *...до вступления на престол...*— Петр III Федорович (1728—1762), внук Петра I, стал русским императором в 1761 году.

Стр. 368. *...поутру, часу пополуночи в 8-м...*— Здесь начинается рассказ Державина о дворцовом перевороте 1762 года и воцарении Екатерины II.

...к матушке...— то есть к Екатерине.

Стр. 374. *...перевозить без ряды...*— то есть без торга, сделки.

Стр. 375. *...из книги о поэзии, сочиненной г. Тредиаковским...*— Державин имеет в виду его трактат «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735).

Стр. 384. *Здесь влагается подлинный журнал...*— «Журнал веденный во время Пугачевского бунта» — это подробный деловой отчет Державина за время его работы в Следственной Комиссии. Характер этого документа имеет несомненную историческую ценность, однако для широкого читателя он не представляет особого интереса. В приведенном ниже письме Екатерине II Державин кратко излагает события, которым посвящен его «Журнал».

Стр. 385. *Письмо сие подано в июле месяце...*— В 1776 году.

Стр. 386. *Беклемишев Сергей Васильевич* был в это время вице-президентом коммерц-коллегии.

Стр. 388. *...сего сильного вельможи...*— Державин говорит об Александре Алексеевиче Вяземском.

...на порозжую вакансию.— То есть на свободное место.

Стр. 389. *Урусова Екатерина Сергеевна* — дочь кн. С. В. Урусова, поэтесса, с 1811 года была почетным членом «Беседы».

Стр. 397. *...который начало свое возымел... от вышесказанной оды «Фелицы»...* — Я. К. Грот пишет: «В самом «Собеседнике» (ч. 16, с. 6) сказано, что поводом к изданию его послужила именно ода к Фелице. Что касается Российской Академии, то этот журнал возник еще до основания ее, когда Дашкова была директором Академии наук...» (т. VI, с. 559).

Стр. 403. *...призвав наместника Тутолмина...* — Я. К. Грот указывает, что речь здесь идет не о Т. И. Тутолмине, а о его брате — Н. И. Тутолмине, председателе верхнего земского суда.

Стр. 404. *...и то только гусем...* — то есть одиночкой, один за другим.

Стр. 408. *Нилова Елисавета Корниловна* (урожд. Бороздина). — Ее переводы печатались в Тамбове, а позднее и в Петербурге.

Стр. 409. *...в Рязань...* — Гудович жил постоянно в Рязани.

Стр. 418. *Это было в 1788 году.* — Я. К. Грот указывает, что это было в 1789 году.

Стр. 421. *...к автору торжественных хоров... на взятие Измаила...* — Хоры были написаны Державиным для торжества в Таврическом дворце, устроенного кн. Потемкиным 28 апреля 1791 года.

Стр. 422. *Чичагов В. Я.* — Речь идет о сражении под Ревелем 2 мая 1790 года. Державин написал по этому поводу стихотворение «К бюсту Василия Яковлевича Чичагова» (1790).

Стр. 423. *...а написала она сама прозою...* — На надгробном памятнике Чичагова (на кладбище Александро-Невской лавры) вырезана надпись, сочиненная Екатериной II:

С тройною силою шли шведы на него;
Узнав, он рек: господь — защитник мой:
Они нас не проглотят.
Отразил, пленил и победу получил.

...описание того праздника. — «Описание торжества в доме князя Потемкина» (1791).

Стр. 424. *...князем Репниным с турками мир заключен.* — 31 июля 1791 года Н. В. Репнин подписал предварительные условия мира.

Стр. 429. *...под мундштуком Державина.* — *Мундштук:* железные удила с подъемной распоркой в небе и подбородником в виде цепочки для сдерживания горячих лошадей. Здесь: под властью.

Стр. 431. *...трактат 1793 года с Польшею...*— Речь идет о втором разделе Польши в 1793 году.

Стр. 433. *...занималась сочинением российской истории.*— Екатерина писала «Записки касательно российской истории».

Стр. 437. *А когда происходил Польши раздел...*— Раздел 1795 года.

Стр. 439. *...и зятьев ее..*— Имеются в виду Н. А. Львов, Я. Ф. Стейнбок и В. В. Капнист, которые были женаты на сестрах Дьяковых.

Стр. 442. *«Ты переложил псалом 81-й...»* — Речь идет о стихотворении «Властителям и судиям».

Стр. 444. *...от эпилептического удара скончалась.*— Екатерина II умерла от апоплексического удара.

Стр. 445. *Чесночняк.*— По поводу этого слова Я. К. Грот пишет: «Этого существительного нет в словарях; но оно легко объясняется словом чеснок (вернее: частнок) в значении частокола и т. п.» (т. VI, с. 700).

Стр. 447. *...день советский.*— То есть день, когда собирался Совет.

Стр. 454. *Что мне, что мне суетиться...*— «К самому себе» (1798).

Стр. 456. *...привез с собой оду...*— «На рождение великого князя Михаила Павловича» (1798).

Стр. 467. *...за псалом 101, переложенный им в стихи...*— Стихотворение «Сетование» (1807).

Стр. 468. *...из анекдота, написанного при сем случае.*— Не сохранился.

ДЕРЖАВИН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

А. С. ПУШКИН

Державин

Печатается по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в десяти томах. Том 8. Л., 1978, с. 48.

Воспоминания о Державине написаны Пушкиным в 1835 году.

Стр. 471. *...где упоминаю имя Державина...*— Стихи: «Державин и Петров героям песнь бряцали // Струнами громозвучных лир».

С. П. ЖИХАРЕВ

Записки современника

Степан Петрович Жихарев (1788—1860) — литератор, драматург, переводчик. Жихарев родился в помещичьей семье, учился в частном пансионе, окончив который поступил в Московский университет. Однако студенческая жизнь Жихарева продолжалась недолго: в 1806 году он вышел из университета, переехал в Петербург и поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Здесь же, в Петербурге, Жихарев начал пробовать свои силы в литературе: он переводит французские пьесы, пишет стихи; очень скоро он завязывает знакомства в литературно-театральном мире. Он встречается с баснописцем И. А. Крыловым, с поэтами И. И. Дмитриевым и Н. И. Гнедичем, с актером А. С. Яковлевым. 5 декабря 1806 года Жихарев наносит свой первый визит Г. Р. Державину.

Еще в 1805 году, семнадцатилетним юношей, Жихарев начал вести дневниковые записи; из них впоследствии он и составил книгу «Записки современника». Записи Жихарева о Державине относятся к 1805—1807 годам. Они появляются в дневнике до личного знакомства его с Державиным. Эти записи, из которых отобрано все, наиболее интересное для читателя, приводятся здесь в той же последовательности, как и в дневниках Жихарева.

Отрывки из «Записок современника» печатаются по тексту книги: Жихарев С. П. Записки современника. М.— Л., 1955.

Стр. 472. *...Между прочим, к слову о Державине...*— Запись от 14 октября 1805 года.

За обедом...— Запись от 5 ноября 1805 года.

Лопухин Дмитрий Ардальонович — калужский губернатор; был родственником любовницы Александра I, а потому имел в Петербурге большие связи. Державину было поручено расследование жалоб на него, и он в 1802 году отправился в Калугу, где собрал около 150 дел против Лопухина. Прибегнув к помощи своих покровителей, Лопухин обвинил Державина в жестоких приемах ведения следствия, и расследование прекратилось. Лопухин был все же отставлен от должности губернатора, но другого наказания не понес.

...по выходе Державина в отставку...— Державин вышел в отставку 7 октября 1803 года.

И в отставке от юстицы... — С 1802 года до выхода в отставку Державин был министром юстиции.

Стр. 473. *На днях думаю представиться Державину...* — Запись от 30 ноября 1806 года.

...в эпоху губернаторства своего в Тамбове... — то есть с декабря 1785 года до 1788 года.

Был у Державина... — Запись от 5 декабря 1806 года.

...кто, строя лиру, // Языком сердца говорил! — Не точная цитата из стихотворения Державина «Лебедь» (1804).

Стр. 475. *...доктора Эллизена.* — *Эллизен* Егор Егорович — известный в ту пору петербургский врач.

К Гавриилу Романовичу приехал я... — Запись от 7 декабря 1806 года.

Стр. 476. *Старший Леонид...* — Львов *Леонид* Николаевич (1784—1847) — сын Н. А. Львова.

Львова *Вера Николаевна* — дочь Н. А. Львова.

Стр. 477. *Почувствовать добра приятство...* — Строки из оды «Фелица».

...портрет его, писанный Тончи. — В 1801 году Тончи написал портрет Державина, восхищавший современников поэта.

А ты, любезная супруга... — Не совсем точная цитата из стихотворения Державина «Мой истукан» (1794).

...Его в серпяный свой диван — то есть в диванную комнату.

Стр. 478. *...граф Петр Васильич...* — Министр народного просвещения граф П. В. Завадовский. В оде Державина «На Счастие» (1789) есть сатирическая строфа (21-я), направленная против Завадовского, который прославился сочинением пышных реляций и «вошел в родство через брак к большим боярам и в роскошных пирах повторял часто известную оду Горация, которая начинается *Беатус*, то есть *Блажен*» (Державин, т. III, с. 626).

Обедал у Гаврила Романовича... — Запись от 11 декабря 1806 года.

Гаврила Романович хотел на этих днях... — Запись от 30 декабря 1806 года.

Стр. 479. *В. В. Капнист, написав комедию «Ябеда», ...читал ее при ...посетителях...* — Капнист в 1793 году написал сатирическую комедию в стихах «Ябеда» — о суде и судейских. Она была запрещена цензурой. Капнист изъял наиболее резкие нападки на продажность суда, и в 1798 году комедия была опубликована с посвящением Павлу I и поставлена в Петербурге. Вскоре, однако, изда-

ние было конфисковано, а постановки после четвертого представления запрещены. Запрет был снят только в 1805 году.

Гаврила Романович представил меня А. С. Шишкову... — Запись от 9 января 1807 года.

Стр. 480. *Он очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания...* — По инициативе А. С. Шишкова возникла в 1811 году «Беседа любителей русского слова». Собрания, о которых пишет Жихарев, были преддверием «Беседы».

У Гаврила Романовича обедали... — Запись от 18 января 1807 года.

...хвалил покойного Харитона Андреевича... — Жихарев ошибается: в 1805 году X. А. Чеботарев ушел с поста ректора, а умер 10 лет спустя.

Говорили о «Дмитрии Донском»... — Трагедия Владислава Александровича Озерова (1769—1816); поставленная в 1807 году, эта трагедия словно предвещала намерение Александра I спасти европейские народы от Наполеона. После Тильзитского мира (25 июня 1807 года), когда был заключен союз Александра с Наполеоном, отношение придворных кругов к трагедии изменилось. Как показывает Жихарев, Державин задолго до этого отнесся к трагедии критически.

Стр. 481. *Литературные вечера назначены по субботам...* — Запись от 24 января 1807 года.

Поздно вечером возвратился я от А. С. Шишкова... — Запись от 3 февраля 1807 года.

Стр. 482. *...о кровопролитии при Эйлау...* — 7—8 февраля 1807 года у Прейсиш-Эйлау произошло кровопролитное сражение между русскими и французскими войсками. Обе стороны понесли огромные потери, а спор о победителе остался нерешенным. Русские войска устояли, но ночью после битвы отошли к Кенигсбергу, что дало повод Наполеону считать себя победителем. Несколько дней спустя, преследуемая казаками М. И. Платова, отступила и французская армия, полному разгрому которой помешала нераспорядительность командовавшего русскими войсками генерала Л. Л. Беннигсена.

Стр. 483. *«Гимн кротости»* — стихотворение Державина, написанное в 1801 году по случаю коронации Александра I.

...баснею... «Смерть и дровосек»... — Жихарев имеет в виду басню Крылова «Крестьянин и смерть». Последние две строки процитированы не совсем точно.

Стр. 484. *...князя Шихматова...* — Жихарев имеет в виду героическую эпопею Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» (1807).

Стр. 485. *...послание к «Счастливцу»...* — Эти стихи Жихарева под заглавием «К Филалету» были опубликованы в журнале «Сын отечества» (1816, ч. 31, № XXXI, с. 205—207).

И. И. ДМИТРИЕВ

Взгляд на мою жизнь

Иван Иванович Дмитриев (1760—1837) родился в помещичьей семье. В четырнадцать лет он начал рядовым военную службу, а в 1796 году вышел в отставку полковником. Его дальнейшее продвижение по служебной лестнице отчасти напоминает блестящую карьеру Державина. Как и он, Дмитриев занимал самые высокие государственные посты: был обер-прокурором Сената и министром юстиции. И так же, как Державин, Дмитриев имел другую, не связанную с государственными делами, сторону жизни — он увлеченно занимался литературой. Первые стихотворные опыты его появились в печати в 1777 году. Расцвет его творчества совпал с последними годами уходящего столетия и началом нового, XIX века. В 1790 году Дмитриев познакомился с Державиным. В литературном кругу своего времени Дмитриев был наиболее близок с Н. М. Карамзиным.

Записки И. И. Дмитриева — одна из интереснейших страниц русской мемуаристики. Из них приводится только отрывок, посвященный Державину. Этот отрывок печатается по изданию: Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866, с. 52—68.

Стр. 486. *...первые произведения его вышли в свет...* — «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года», были изданы в 1776 году.

...«К соседу»... — Не ясно, какое стихотворение имеется в виду: «К первому соседу» (1780) или «Ко второму соседу» (1798).

...дифирамб «На выздоровление И. И. Шувалова»... — Стихотворение вышло отдельным изданием в 1781 году под названием «Дифирамб на выздоровление покровителя наук».

«Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей» — ежемесячный журнал; издавался в Петербурге Академией наук по инициативе и при ближайшем участии Екатерины II. Фактическим редактором журнала была Е. Р. Дашкова. Выходил с июня 1783 года по сентябрь 1784 года.

Ее сочинения выходили под названием «Были и небылицы».— Екатерина II опубликовала в журнале цикл нравоописательных очерков и сатирико-дидактических этюдов под названием «Были и небылицы».

Стр. 487. *...с старшим братом моим.*— Дмитриев Александр Иванович (1759—1798) — литератор.

Стр. 488. *...по взятии Очакова.*— Во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов Очаков был осажден в июне 1788 года русскими войсками под командованием фельдмаршала Г. А. Потемкина и взят штурмом 6 декабря 1788 года, то есть за два года до событий, упоминаемых Дмитриевым. Праздник, о котором он пишет, был устроен 28 апреля 1791 года в Таврическом дворце по случаю взятия Измаила (11 декабря 1790 года). Державин написал «хоры» к празднику и составил «Описание торжества в доме князя Потемкина».

«Московский журнал» — литературный ежемесячный журнал, который издавал Н. М. Карамзин в 1791—1792 годах.

...когда получено было известие о кончине князя Потемкина.— Потемкин умер 5 октября 1791 года.

Стр. 489. *...«К дому, любящему учение»... в которых он впервые назвал облака краезлатыми.*— Дмитриев имеет в виду стихотворение «Любителю художеств» и строку из него: «Лазурны тучи, краезлаты...»

Стр. 490. *...помещено было Карамзиным...*— См.: «Вестник Европы», 1803, № 9.

...читал ли «Послание к Шумилову», «Лису Казнодейку»...— Речь идет о стихотворении Фонвизина «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (опубл. в 1769), басне «Лисица-казнодей» (опубл. в 1787).

Стр. 491. *...а наутро он уже был во гробе!* — Фонвизин умер 1 декабря 1792 года.

Стр. 494. *Гагедорн* — немецкий поэт, в 1757 году издал в Гамбурге свои сочинения с собственным комментарием. Державин был знаком с его творчеством.

Стр. 495. *...стих: Екатерину зрю, проснись, Елизавета!* — Речь идет об элегии Сумарокова «Все меры превзошла теперь моя досада...»

...эпиграмму на московских вестовщиков...— Дмитриев приводит здесь две первые строки эпиграммы.

...сделал на эту эпиграмму пародию...— Речь идет о пародии Державина «Не будучи Орлом Сорока здесь довольна...» (1768).

Стр. 496. *...супругою творца «Россиады»..*— то есть женой Хераскова.

В. И. ПАНАЕВ

Воспоминания

Владимир Иванович Панаев (1792—1859) был дальним родственником Державина, которому его мать, Надежда Васильевна (урожденная Страхова), приходилась двоюродной племянницей. Время поступления В. И. Панаева в Казанскую гимназию (где, кстати сказать, задолго до него учился и Державин), совпало с его первыми литературными опытами. «Еще в нижнем классе,— вспоминал он,— сидя подле С. Т. Аксакова, я посвятил ему первые мои стихи «Зима»...» (с. 217). Однако первые идиллии Панаева появились в печати не скоро — лишь в 1815 году. В том же году их автор покинул Казань и уехал в Петербург, где и состоялось его знакомство с Державиным. Идиллии В. И. Панаева вышли отдельной книжкой (СПб., 1820) уже после смерти Державина. Много позднее, в 1832 году Панаев занял высокий по тем временам пост директора канцелярии министерства императорского двора. В 1858—1859 годах Панаев написал свои воспоминания, из которых приводится только отрывок, посвященный Державину.

Отрывок из воспоминаний В. И. Панаева печатается с небольшими сокращениями по тексту, опубликованному: «Вестник Европы», 1867, № 9, с. 239—254.

Стр. 499. *Это было уже в городе...*— то есть в Казани.

...хемницеровы басни...— то есть басни Ивана Ивановича Хемницера (1745—1784). Панаев упоминает о посмертном издании сочинений Хемницера «Басни и стихи» (ч. 1—3, СПб., 1799), с изображением урны и с эпитафией поэта: «Жил честно, целый век трудился и умер наг, как наг родился».

...в то время, в 1802 году...— По-видимому, Панаев ошибается: это могло быть не позднее 1800 года.

...отец мой... бывший в коротких отношениях с тогдашними литераторами...— Отец В. И. Панаева — Иван Иванович Панаев (1753—1796) в 1768 году обратил на себя внимание правителя Сибири, губернатора Д. И. Чичерина, который, записав его пра-

порщиком в один из полков, стоявших в Сибири, поселил в своем доме и взял к нему лучших учителей. В 1774 году И. И. Панаев был произведен в подпоручики; тогда же Чичерин отправил его с рекомендательными письмами в Петербург. И. И. Панаев делал блестящую военную карьеру, но вместе с тем живо интересовался литературой; он близко познакомился с Н. И. Новиковым, И. В. Лопухиным, Ф. А. Эминым, Г. Р. Державиным, Н. И. Тургеневым и др.

Стр. 501. *«К богатому соседу».*— Стихотворение называется «Ко второму соседу».

Стр. 502. *Геснер* Соломон (1730—1788) — швейцарский художник и поэт. Писал на немецком языке стихи и идиллии в прозе, изображающие условный мир пастухов и пастушек. Пользовался популярностью в России в период расцвета сентиментализма.

Прилагаю при сем и русский образчик...— К письму было приложено стихотворение Бакунина «Жатва». Кто такой Бакунин, установить не удалось.

Стр. 503—504. *...в одной шуточной своей комедии.*— Комедия «Кутерьма от Кондратьев» (1806).

Стр. 505. *...экземпляр нового издания его сочинений.*— Издание: Сочинения Державина. Ч. 1—4. СПб., 1808, Ч. 5, СПб., 1816.

Стр. 507. *...с осьмью томами своей «Истории».*— Панаев ошибается. Первые 8 томов «Истории государства Российского» вышли в 1818 году.

Стр. 508. *...по Беседе.*— *«Беседа* любителей русского слова» — литературное общество в Петербурге (1811—1816), возглавляемое Г. Р. Державиным и А. С. Шишковым. Большинство членов общества придерживалось консервативных взглядов.

Стр. 510. *...предок мой Багрим.*— В примечании к стихотворению «Приношение к императрице» Державин писал, объясняя свой стих «Последний род Багрима»: «Под сим автор разумел предка его Багрима, выехавшего из Золотой Орды на службу к великому князю Василию Васильевичу Темному, от коего дети были Нарбек, Кегл, Акинф и Держава; от них пошли роды: Нарбековы, Кеглевы, Акинфовы и Державины; сие в бархатной дворянской книге и в грамоте на дворянство Державина видеть можно...» (т. III, с. 593).

С. Т. АКСАКОВ

Знакомство с Державиным

Воспоминания были написаны С. Т. Аксаковым в 1852 году. Печатается (с сокращениями текста и подстрочных примечаний Аксакова) по изданию: Аксаков С. Т. Собр. соч., в 4-х томах. Т. 2. М., 1955, с. 314—335.

Стр. 511. ...*чтобы взглянуть на брата*...— *Брат* — Аксаков Аркадий Тимофеевич (1803—1860).

Стр. 519. ...*«Аталибу, или Покорение Перу»*...— Речь идет о незавершенной трагедии Державина «Атабалибо, или Разрушение перуанской империи».

...*«Сумбеку (кажется, так), или Покорение Казани»*...— Пьеса называется «Грозный, или Покорение Казани».

Стр. 520. ...*любил одно осьмистишие*...— См. «Суд о басельниках».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Авраам *(библ.)* — мифический родоначальник евреев.

Андромеда *(греч. миф.)* — прекрасная царевна, принесенная в жертву чудовищу и спасенная Персеем.

Аполлон (Феб) *(греч. и рим. миф.)* — сын Зевса; покровитель искусств, целитель, прорицатель.

Ариман *(перс. миф.)* — древнеперсидское божество, олицетворение злого начала.

Астрея *(греч. миф.)* — прозвище богини справедливости Дике, дочери Зевса.

Афет (Иафет, Яфет) *(библ.)* — один из трех сыновей Ноя, библейского патриарха.

Афина *(греч. миф.)* — богиня мудрости, искусств и ремесел, а также войны и победы.

Ахиллес *(греч. миф.)* — один из храбрейших героев, осаждавших Трою.

Венера (Афродита) *(рим. и греч. миф.)* — богиня любви и красоты.

Ганимед *(греч. миф.)* — троянский юноша-красавец, похищенный Зевсом и ставший виночерпием богов.

Геликон *(греч. миф.)* — гора в Средней Греции, обитель муз. В переносном смысле — место поэтического вдохновения.

Гера *(греч. миф.)* — царица богов, сестра и жена Зевса.

Геракл (Геркулес) *(греч. миф.)* — сын Зевса и смертной женщины; отличался исключительной силой, совершил множество подвигов.

Гесперский сад *(греч. миф.)* — место, где росли золотые яблоки и жили девы геспериды, дочери титана Атланта.

Гидра (Лернейская) *(греч. миф.)* — чудовище с девятью головами, побежденное Гераклом.

Диана (Артемида) *(рим. и греч. миф.)* — богиня Луны; Артемида — богиня охоты.

Инсфендармас *(перс.)* — ангел, покровитель Персии.

Клио *(греч. миф.)* — муза истории.

Колхида — древнегреческое название Западной Грузии, где до нашей эры существовали греческие колонии.

Коцит *(греч.)* — река в подземном царстве, приток Стикса.

Крез — последний царь Лидии (VI в. до н. э.). Богатство Креза вошло в поговорку.

Кронос *(греч. миф.)* — отец Зевса.

Люцифер *(христ. миф.)* — падший ангел, дьявол.

Марс *(рим. миф.)* — бог войны. В греч. миф.— Арес.

Мафусаил *(библ.)* — дед Ноя, проживший, по преданию, 969 лет. В переносном смысле — долгожитель.

Меркурий *(рим. миф.)* — бог торговли, покровитель путешественников. В греч. миф.— Гермес.

Минерва *(рим. миф.)* — богиня, покровительница искусств и ремесел.

Музы *(греч. миф.)* — дочери Зевса, покровительницы поэзии, искусств и наук.

Нарцисс *(греч. миф.)* — прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение в воде. Превращен за это богами в цветок.

Нептун *(рим. миф.)* — бог морей. В греч. миф.— Посейдон.

Нимфы *(греч. миф.)* — дочери Зевса, божества природы, обитающие в горах, лесах, морях, реках и т. д.

Одиссей (Улисс) *(греч. миф.)* — царь Итаки, герой «Одиссеи» Гомера; славился умом и хитростью; участник Троянской войны.

О р о м а з (Ормузд) *(перс.)* — в древнеперсидской миф.— бог света и добра.

О р ф е й *(греч. миф.)* — легендарный певец, музыкант, укрощавший своим волшебным голосом диких зверей и стихии.

П а р к и *(рим. миф.)* — богини судьбы. В греч. миф.— мойры.

П а р н а с — горный массив в Греции. В греч. миф.— обитель Аполлона и муз.

П е н е л о п а *(греч. миф.)* — жена Одиссея, ожидавшая возвращения мужа из-под Трои 20 лет. Воплощение супружеской верности.

П е н т е з и л е я (Пенфесилея, Пентесилея) *(греч. миф.)* — царица амазонок, помогавшая троянцам и убитая Ахиллом.

П е р с е й *(греч. миф.)* — легендарный герой, спасший прекрасную Андромеду от чудовища.

П и ф о н (Питон) *(греч. миф.)* — чудовищный змей, убитый Аполлоном.

П л у т о н (Аид) *(рим. и греч. миф.)* — бог подземного царства.

П о л и г и м н и я *(греч. миф.)* — одна из девяти муз, покровительница гимнов.

П о н т Э в к с и н с к и й *(греч.)* — Черное море.

П р о т е й *(греч. миф.)* — бог, обладавший даром прорицания и способный бесконечно менять свой облик.

Р е м — по преданию, один из двух братьев — основателей Рима.

С а л а м а н д р а *(греч.)* — в средневековых поверьях — дух огня.

С а р д а н а п а л — последний ассирийский царь. Отличался склонностью к роскоши и изнеженностью.

С а т у р н — у древних италиков покровитель земледелия. Соответствует греческому Кроносу.

С т и к с *(греч. миф.)* — река, протекающая в царстве мертвых.

С ц и л л а и Х а р и б д а *(греч. миф.)* — чудовища, обитающие в пещере у пролива между Италией и Сицилией. Иносказательно «находиться между Сциллой и Харибдой» — подвергаться опасности с двух сторон.

Т и ф о н *(греч. миф.)* — чудовище с сотней змеиных голов, изрыгавших пламя. Считался отцом Лернейской гидры. Боролся с Зевсом за власть над миром, был побежден и низвергнут в Тартар.

Фемида *(греч. миф.)* — богиня правосудия, законного порядка и предсказаний. Изображалась с повязкой на глазах (символ беспристрастия), с рогом изобилия и весами в руке. Жрецы Фемиды — слуги закона.

Феникс *(египетск. миф.)* — сказочная птица, обладавшая способностью при приближении смерти сгорать в гнезде и потом вновь возрождаться из пепла. Символ вечного обновления.

Фетида *(греч. миф.)* — дочь морского царя Нерея, мать Ахилла.

Флора *(рим. миф.)* — богиня цветов и юности.

Фурии *(рим. миф.)* — демоны подземного царства, божества мести и кары. В переносном значении — злобные, разъяренные женщины.

Хариты *(греч. миф.)* — богини радости, красоты, олицетворение женской прелести.

Харон *(греч. миф.)* — перевозчик подземного царства, переправляющий души умерших в Аид.

Цирцея (Кирка) *(греч. и рим. миф.)* — волшебница, превратившая спутников Одиссея в свиней. В переносном смысле — обольстительница.

Цитера (Цитерея, Киферея) *(греч. миф.)* — одно из прозвищ Афродиты.

Элизей (Элизий, Элизиум, Елисейские поля) *(греч. миф.)* — поля блаженных, загробный мир праведников.

Эреб *(греч. миф.)* — олицетворение вечного мрака; подземный мир.

Эрот (Амур) *(греч. и рим. миф.)* — бог любви, один из древнейших богов Греции.

Юпитер *(рим. миф.)* — бог неба, властитель грома и молнии, патрон Римского государства. В греч. миф.— Зевс.

Язон (Ясон) *(греч. миф.)* — предводитель аргонавтов, похитивший в Колхиде золотое руно.

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ И ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

Анатолия *(греч.)* — так в древности называлась Малая Азия.

Антологический *(греч.)* — написанный в духе древнегреческой лирической поэзии.

Ареопаг *(греч.)* — высший орган судебной и политической власти в древних Афинах.

Архонты *(греч.)* — высшие должностные лица в древних Афинах.

Аттика *(греч.)* — область в Древней Греции с главным городом Афины.

Бармы *(арх.)* — «ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями» (В. Даль). Их надевали во время коронации и торжественных выходов византийские императоры, русские князья и цари в XIV — нач. XVIII века.

Борей *(греч.)* — у древних греков северный холодный ветер, а также крылатое божество, олицетворявшее этот ветер.

Брамины *(брахманы)* — жрецы брахманизма, религии, возникшей в древней Индии в X — XI веках до н. э.

Бригадир *(нем.)* — военный чин, средний между полковником и генералом. В России был введен Петром I; упразднен Павлом I.

Буй (сокращенное от буйный) — смелый, храбрый, дерзкий.

Валторна *(нем.)* — медный духовой мундштучный музыкальный инструмент. Имеет форму кольцеобразно изогнутого охотничьего рога.

Вальдмейстер *(нем.)* — в Российской империи чиновник, который заведовал казенными лесами.

Виссон *(греч.)* — шелковая ткань для царской одежды.

Вокабула *(лат.)* — отдельное слово иностранного языка с переводом на родной язык.

Вяха *(вологодск.)* — куча, ворох, большая ноша; у Державина: небывалое известие, случай.

Герольдия *(нем.)* — в дореволюционной России ведомство по делам о титулах и дворянских привилегиях.

Гофмейстер *(нем.)* — придворная должность, введенная в России в XVIII веке. Гофмейстер ведал дворцовым хозяйством, придворным церемониалом.

Дервиш *(перс.)* — нищенствующий мусульманский монах.

Диадема *(греч.)* — здесь знак царской власти; головной убор царей в древности и в средние века.

Диван *(перс.)* — совещательный орган в бывшей султанской Турции, состоявший из министров и высших сановников.

Дивий *(церк., арх.)* — дикий, лесной.

Домекать *(арх.)* — понимать, постигать, догадываться.

Досканцы *(арх.)* — ящички, ларцы.

Жупел *(арх.)* — «горючая сера, горящая смола, жар и смрад» (В. Даль).

Завертки *(обл.)* — загородки в поле.

Зажора *(арх.)* — подснежная вода в яме на дороге.

Зерцала *(церк.)* — треугольные призмы с орлом и тремя указами Петра I, написанными на их гранях. Стояли на столе во всех присутственных местах.

Имам *(араб.)* — титул верховного правителя у мусульман.

Кадуцей *(лат.)* — в мифологии — обвитый двумя змеями магический жезл Гермеса-Меркурия.

Каптенармус *(фр.)* — должностное лицо сержантского состава, обязанное получать со склада, хранить и выдавать сержантам и солдатам роты оружие, снаряжение, обмундирование и пр.

Колпик (колпь, колпица, колпик) *(арх.)* — «чубатая птица из разряда цапель <...>, белая, нос ложкою; перья идут на казачьи султаны» (В. Даль).

Консонамент *(фр.)* — расписка, удостоверяющая принятие груза к перевозке; выполняет функции товарораспорядительного документа.

Конфирмация *(лат.)* — у Державина: утверждение высшей властью.

Котурны *(греч.)* — у древнегреческих и древнеримских актеров — род сандалий с очень толстой подошвой; их надевали, чтобы увеличить рост актера и придать тем самым большую величественность образам богов и героев античной трагедии.

Коты *(арх.)* — мужская верхняя обувь; калоши, надеваемые поверх сапог.

Кубарь — волчок. Кубарить — забавляться, дурить, заниматься пустяками.

Куликать *(арх.)* — пьянствовать, напиваться.

Ландкарта *(нем.)* — географическая карта.

Лапландцы — название народа саамов (лопарей), употреблявшееся до начала XX века.

Левант *(ит.)* — употреблявшееся раньше название для стран восточного побережья Средиземного моря, Ближнего Востока.

Мириады *(греч.)* — великое, неисчислимое множество.

Митра *(греч.)* — головной убор высшего православного и католического духовенства, надеваемый во время богослужения.

Муфтий *(араб.)* — мусульманский ученый богослов-правовед в странах зарубежного Востока, толкователь Корана; представитель высшего мусульманского духовенства.

Мытарства *(церк.)* — разные состояния, которые проходит душа, покинув тело.

Напрягай *(арх.)* — головомойка, строгий выговор.

Норд *(голланд.)* — северный ветер.

Омофор *(греч.)* — часть облачения архиерея.

Орясина *(арх.)* — кол, дубина.

Парафразис (парафраза) *(греч.)* — передача своими словами; пересказ чужих текстов, мыслей.

Перл *(фр.)* — жемчуг.

Персть *(арх.)* — пыль, прах, плоть, материя.

Подзоры — архитектурные украшения с резьбой.

Позорище *(арх.)* — народное представление.

Пониматься *(арх.)*.— О птицах: «пароваться, сочетаться, жить попарно и плодиться» (Даль).

Понтировать *(фр.)* — термин карточной игры.

Порфира *(греч.)* — длинная, обычно пурпурного цвета мантия, надеваемая монархами в торжественных случаях; один из символов власти монарха.

Пресвитер *(греч.)* — священник (у католиков и православных).

Притин *(арх.)* — место, где ставится часовой.

Пря *(арх.)* — распря.

Пряженый *(арх.)* — жаренный в масле.

Ранжир *(нем.)* — расстановка людей по росту в одну шеренгу.

Расправа *(арх.)* — разбирательство, суд.

Рашкуль *(нем.)* — угольный карандаш.

Ро́ститься *(арх.)*.— О птице, рыбе — плодиться, размножаться, нести яйца, метать икру.

С а й д а к *(татарск.)* — чехол на лук.
С к у ф ь я *(церк.)* — ало-синяя бархатная шапочка, знак отличия для белого духовенства.
С т и х е р ы *(греч.)* — духовные песни.

Т а в р и д а — название Крымского полуострова после присоединения его к России (1783).
Т е м п е й с к и й д о л — долина в Греции, славившаяся своей красотой.
Т е н е т и т ь *(обл.)* — опутывать тенетами, ловить в тенета.
Т о н ч и ц а *(церк.)* — тонкая ткань.
Т о р о к и *(арх.)* — седельные ремни.
Т р а н т е л е в о — термин карточной игры.
Т у л *(арх.)* — колчан.
Т у л и т ь с я *(арх.)* — прятаться.
У с п е н и е *(церк.)* — кончина.

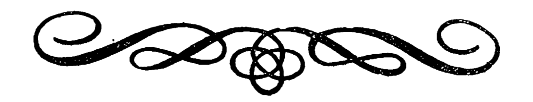
Ф у р ь е р *(фр.)* — военнослужащий младшего командного состава.

Ц е в н и ц а *(церк.)* — свирель.

Ч е р в л е н ы й *(арх.)* — красный, багряный.
Ч е р м н а *(арх.)* — багровая.

Ш и р и н к а *(арх.)* — платок.
Ш л а ф р о к *(нем.)* — домашний халат.
Ш т а л м е й с т е р *(нем.)* — букв.: начальник конюшни; один из придворных чинов в царской России.

Э к з е р ц и и (экзерциции) *(лат.)* — упражнения.
Э к з е к у т о р *(лат.)* — чиновник, ведавший хозяйственной частью в учреждении.
Э п о д *(греч.)* — в античном стихосложении лирическое стихотворение, в котором длинный стих чередуется с коротким.



СОДЕРЖАНИЕ

Державин в воспоминаниях современников

Державин Г. Р.

Д 36 Сочинения / Сост., биограф. очерк и коммент. И. И. Подольской; Ил. и оф. Е. Е. Мухановой и Л. И. Волчека — М.: Правда, 1985.— 576 с., ил.

В издание включена значительная часть поэтического наследия русского поэта Г. Р. Державина (1743—1816) и его проза: «Объяснения» к стихотворениям и «Записки», которые воссоздают события XVIII века.

Д $\frac{4702010100-864}{080(02)-85}$ 864—85 84 Р1

Гаврила Романович Державин

СОЧИНЕНИЯ

Составитель
Ирена Исааковна Подольская

Редактор
Н. А. Галахова

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

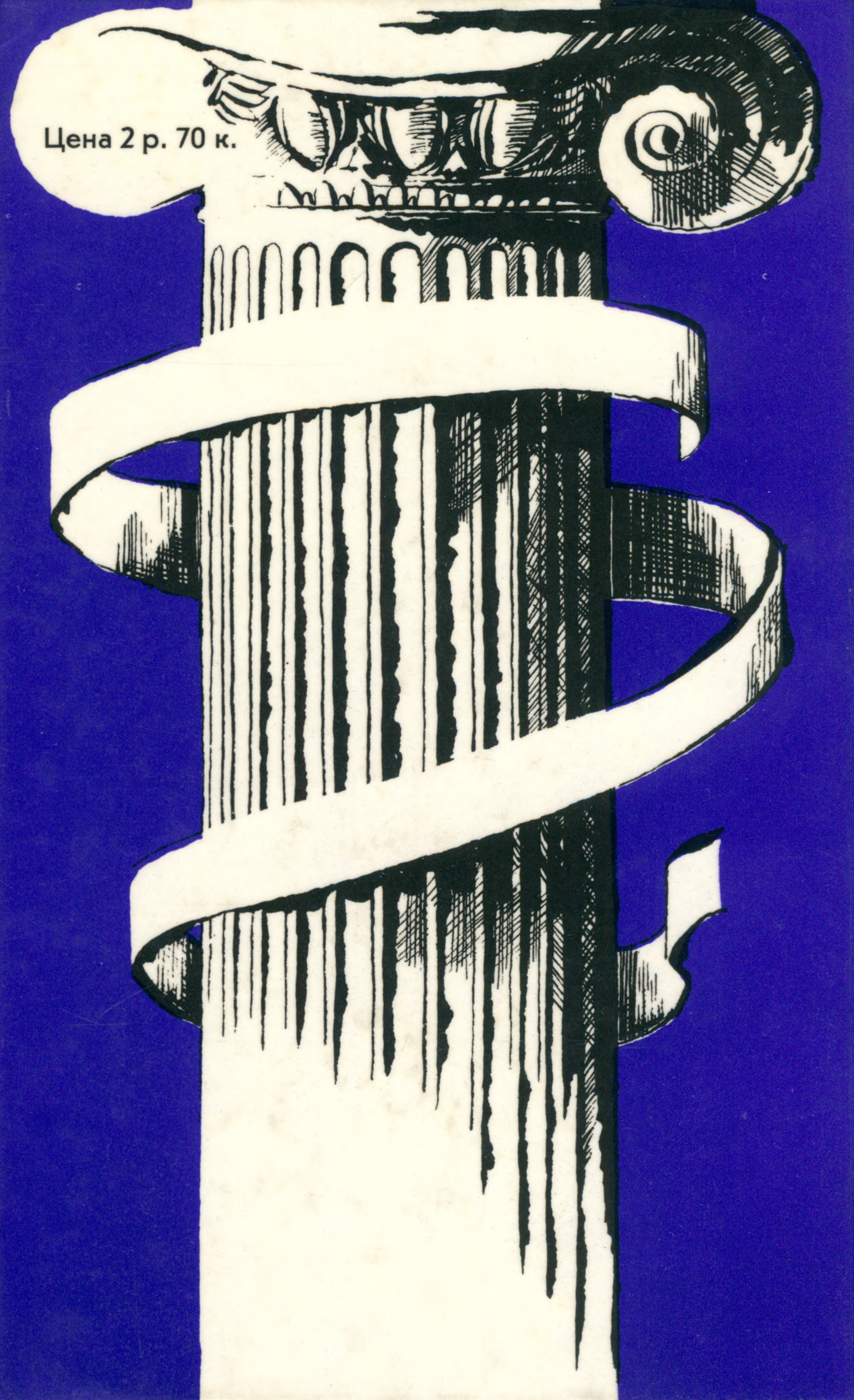
Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 864

Сдано в набор 09.07.84. Подписано к печати 09.01.85.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 3.
Гарнитура «Академическая» Печать высокая
Усл. печ. л. 30,24 Усл. кр.-отт. 30,45 Уч.-изд. л. 31,52
Тираж 500 000 экз. (4-й завод: 300 001 -400 000 экз.).
Заказ № 31[illegible]7 Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Ворошиловградская правда», 348022
г. Ворошиловград, ул. Лермонтова, д. 1б.


Цена 2 р. 70 к.